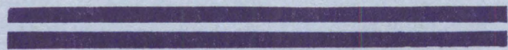


# НОВОБЫИ МИИР

НОВОБЫИ МИИР

9



1979

9

1979



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издаётся с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА	3
МИКОЛА БАЖАН — Памятник Лесе Украинке в Саскатуве, стихотворение. Перевел с украинского Лев Озеров	4
ЕВГ. ВИНОКУРОВ — Из цикла «Мифы»	7
МИХАИЛ АНЧАРОВ — Самшитовый лес, роман	9
ЛЮДМИЛА ОЛЗОВА — Смородиновый куст, стихи	121
ГЕРМАН КАНТ — Остановка в пути, роман. Перевели с немецкого И. Каринцева и С. Шлапоберская	123
ВСТРЕЧА В ВЕНЕ: Виталий Кобыш. Крутые ступени; Генрих Боровик. Размышления в пресс-центре	192
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
ВЛАДИМИР КАРПОВ — Вспоминая Овечкина...	207
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ЮРИЙ АЗАРОВ — Диалог. Заметки о Бенджамине Споке и о современных проблемах воспитания	212
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
НАДЕЖДА МАРКОВА — «Батрак» Маркуса Гонтя. Вместо послесловия — Юрий Жуков	225
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. КОСОЛАПОВ — Жить и действовать. Заметки о книжной серии «Пламенные революционеры»	243
АДОЛЬФ УРБАН — Зовем эту землю своею. Размышления о репутации стиха	253
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
А. Бочаров. Бойцовский темперамент. — Юрий Яковлев. Исповедь поэта.	266

( См. на обороте )

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	272
<b>И. Григулевич.</b> Пропагандистская машина США буксует.— <b>Н. Эйдельман.</b> Первая книга о Дашковой.— <b>Н. Агаджаян, А. Катков.</b> Современный человек и сердце.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b> <b>И. Гринберг.</b> — Юрий Оклянский. Повесть о маленьком солдате. ♦ <b>Н. Михайловская.</b> — Марк Гроссман. Камень-обманка. Роман. ♦ <b>С.т. Золотцев.</b> — Вадим Рабинович. В каждом дереве скрипка. Стихи. ♦ <b>Сергей Львов.</b> — А. Каменский. Рыцарский подвиг. Книга о скульпторе Анне Голубкиной. ♦ <b>Вл. Котовсков.</b> — Тодор Павлов. Избранные труды по эстетике. ♦ <b>Георгий Степанидин.</b> — Н. Б. Биккенин. Социалистическая идеология. ♦ <b>Г. Резниченко.</b> — Михаил Арлазоров. Артем Микоян. ♦ <b>Вл. Гаков.</b> — Лоуренс Д. Куше. Бермудский треугольник: мифы и реальность. ♦ <b>П. Черкасов.</b> — Д. М. Прозктор. Пути Европы.	281
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	288

---

---

## ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Умер Константин Михайлович Симонов. Многонациональная советская литература понесла тяжелую, невосполнимую утрату.

Без имени Константина Симонова нельзя представить себе историю современной отечественной литературы. На протяжении многих десятилетий выдающийся советский писатель был в центре событий, происходивших в стране. Его произведения радовали и волновали советского и зарубежного читателя.

С необыкновенной силой эти качества писателя и воина проявились в годы Великой Отечественной войны. Человек с предельно развитым чувством долга, наделенный большой личной храбростью, он с первого до последнего дня войны был корреспондентом «Красной звезды». Корреспонденции и очерки Константина Симонова писались буквально по следам, а зачастую и в огне боевых операций. Его стихи отражали душу и чаяния советского человека — бойца и труженика, они навсегда вошли в золотой фонд советской культуры («Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Майор привез мальчишку на лафете...», «Жди меня, и я вернусь...»). Событиями войны продиктованы и его пьесы «Русские люди», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», а впоследствии трилогия «Живые и мертвые», цикл повестей «Из записок Лопатина», а также опубликованные недавно военные дневники, которые — при всей нагрузке, выпадавшей на плечи военного корреспондента, — он находил силы и возможности вести почти ежедневно.

После войны — сразу, без передышки — Константин Симонов отправляется в только что побежденную Японию. Его интереснейшие дневниковые записи той поры были напечатаны три года назад в «Новом мире».

С нашим журналом у Константина Симонова были не только творческие связи. Он дважды занимал пост главного редактора «Нового мира»: с 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 годы. За это время журнал напечатал многие значительные произведения, без которых история нашей литературы была бы бедна. Много потрудился Константин Михайлович Симонов как редактор «Литературной газеты». Активной и неустанной была его деятельность на посту секретаря правления Союза писателей СССР. Он с честью и достоинством нес почетные и ответственные обязанности депутата Верховного Совета СССР, члена Центральной ревизионной комиссии КПСС, члена президиума Советского комитета защиты мира. Во все, что делал, писал, говорил Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Константин Михайлович Симонов, он вносил свой талант, горенье и так сильно присущее ему высокое чувство ответственности перед товарищами, перед читателями, перед народом.

Таким он навсегда останется в памяти советских людей и своих товарищей по работе.

*Редколлегия журнала «Новый мир».*



---

МИКОЛА БАЖАН

★

## ПАМЯТНИК ЛЕСЕ УКРАИНКЕ В САСКАТУНЕ

*С украинского*

В октябре 1976 года в канадском городе Саскатуне открыт памятник Лесе Украинке как дружественный дар народа советской Украины. Националисты всячески этому препятствовали. И все же они не смогли помешать празднику солидарности, мира, поэзии.

Сквозь преодоленные дали  
и мирные меридианы,  
Сквозь штормы, и гулы, и громы,  
и тишь наступающей мглы,  
Сквозь бури, и шквалы, и смерчи,  
сквозь грозные океаны,  
Что грузно на пирсы и судна  
бросают седые валы,  
К тенистым аллеям Канады,  
на Саскатуна поляны,  
Затягивая все туже  
тугие морские узлы,  
Везли эту звонкую бронзу —  
литейное чудо Урала  
И выбранный для пьедестала  
волынских карьеров гранит.  
И статуя — соединенье  
любви, вдохновенья, металла —  
За морем взойдет по ступеням  
до блеска шлифованных плит  
Как вестница мира и дружбы,—  
им Леся душой присягала,  
Об этом глубокую память  
строка ее внятно хранит.  
О, бронзы величие вечное!  
О, камни, упорно граненные!  
О, женщина храброго племени  
творцов, мастеров и борцов!  
Она на гранит свой поднимется,  
глаза приоткроет бессонные  
И вымолвит слово сердечное —  
сокровеннейшее из слов.

И вылетит слово стозвонное,  
как искра, как сталь закаленная,  
В осенние синие дали  
канадских долин и лесов.  
Ту даль нечужую почувствует,  
увидит своими глазами  
Эти холмы, что похожи  
на склоны равнины родной,  
И поле Альберты покажется  
гадячскими полями,  
Саскачеванские волны —  
припятскою волной.  
Вокруг Лесиной статуи  
в порыве совсем непарадном  
Они, молодые и старые,  
на встречу с ней собрались,  
Обвеяны духом осенним,  
прозрачным, чуть-чуть прохладным,  
И всю толпу озарила  
та, что сияла, как мысль,  
В солнечных беглых бликах,  
под куполом неоглядным —  
Под небом люди стояли,  
мечтой порываясь ввысь.  
Привет, светоносная Леся,  
ты росы любила, как звезды,  
Страдалица, что неуклонно  
служила великой мечте,  
Ты в вечность ступила так твердо,  
по-человечески просто,  
Так, как по жизни ступала,—  
в борении, в правоте,  
По темным рабочим кварталам  
по тропам волынских погостов,  
Ступала всегда без боязни  
под тучами в высоте.  
Приветствуй людей, что как праздника  
твоего ожидали прихода,  
За имя твое боролись,  
и было им так тяжело.  
А недругов выдавала  
продажная их порода,  
Поклепы, коварство, интриги,  
предательство, ненависть, зло.  
Враги замолчали угрюмо,  
предатели стиснули зубы.  
И только гримасами скрытными  
им злоба коверкает рты.  
Пусть сами себя проклинаят  
безумцы и душегубы,  
Увязнув в трясилах отчаянья,  
одиначества и тщеты.  
Как смеют поднять они руку  
на Лесю, которую любит  
Прекрасное человечество  
в сиянье ее красоты!

Она поднялась здесь навеки —  
ласково, гордо, смело,  
Посреди широкого луга,  
толпою людей окруженного,  
В своей нежно-женственной стати  
болезненно-хрупкого тела,  
Работами и заботами  
горестно изможденного...  
Как солнца певучие блески,  
над ней музыкально звенела  
Листва канадского клена,  
осенним днём золоченного.

*Перевел ЛЕВ ОЗЕРОВ.*



---

ЕВГ. ВИНУКUROB

★

## ИЗ ЦИКЛА «МИФЫ»

### ОТЕЦ

Что же, здравствуй, отец, я, наверно, был сыном плохим,  
вечно спорил с тобой и тайком воровал папиросы,  
не ходил на уроки и в Осравиахим  
не платил регулярно, как было положено, взносы.  
И в учебник по химии взор мой был тупо впереи:  
до сих пор я не понял задачу, где смешаны сера с азотом...  
Но что было мне делать, когда меня вел Аполлон  
по ночам подниматься к парнасским высотам?..  
Но и все ж, как тогда говорили, я жил мирово:  
у меня была тропка, а у тебя-то — дорога...  
Но на свете есть место для всех —  
И ведь в Доме Отца Моего,  
как в писании сказано было, обителей много!  
До сих пор тебя вижу таким: черный шлем с шицкаком  
и на лбу твоём складка, что непримирима!..  
У окна, что открыто, ты в шинели стоишь, политком,  
за тобой на церквах блещет золото третьего Рима.  
Ты со мною всегда — от тех формул, что было мне день  
в милом детстве решать, от задачек, что с зетом и иксом,  
до поры той печальной, когда моя зыбкая тень  
одиоко забродит над хладным и пасмурным Стиксом.

### ДОМ

Соблазн опять велик задуматься глубоко,  
как Пенелопа, ждаль, как Пенелопа, пряхь  
и в гулкой тишине живую тайну бога,  
зевнув с трудом в ладонь, негаданно украсть,  
но к днищу корабля уже давно налипли  
медузы и рачки неведомых морей.  
И вот уже давно толкуют на Олимпе:  
— Куда ты, Одиссей? Вернись домой скорей,  
чтоб чашу воспринять с ладони домочадца,  
чтоб головой кивать жужжащей прялке в лад!..  
Но Одиссей домой не хочет возвращаться,  
давно простор морской надежней во сто крат.



\*\*\*

Простите мне, стихи,  
 что я кормился вами.  
 За вас, мои стихи, что я проврал нутром,  
 краюху рижского я брал в универсаме,  
 и соли полкило имел я за надлом.  
 Простите мне, стихи,  
 но часто пачку чая  
 я за свою тоску приобретал.  
 Издательский кассир,  
 меня не замечая,  
 презренный мне отсчитывал металл...  
 Простите мне, стихи.  
 Хозяйственного мыла  
 я приобрел и леденцов на вес  
 за вас, пришедшие мне из другого мира,  
 ниспосланные мне так, ни за что, с небес.

### ГОСТИНИЦА

Я бежал из столицы, позади оставляя  
 прожитое, бежал от настигшей судьбы,  
 так бегут от погонь и от песьего лая,  
 от проклятых охотников и от пальбы.  
 Я бежал, оставляя шерсти рваные клочья,  
 постарев, под собою не чувствуя ног,  
 и в районной гостинице позднею ночью  
 я почувствовал вдруг: как же я одинок!..  
 И подумал: ведь то новой жизни начало,  
 так чего же я так беспросветно тужу?..  
 И душой отошел в час, когда поступала  
 мне под утро дежурная по этажу.

\*\*\*

Тебя я разлюблю за то, что плохо почта  
 мне телеграммы шлет, что путает слова,  
 за то, что смутно все, за то, что все неточно,  
 за то, что в мире сем трагедия жива.  
 Тебя я разлюблю за то, что мне неясен  
 всех замыслов моих таинственный чертеж,  
 за то, что все не так и от ничтожных басен  
 до смутных эпопей талдычат все про то ж.  
 Тебя я разлюблю за то, что мне подарен  
 счастливый этот дар не вспоминать обид,  
 за то, что мой удел, быть может, легендарен  
 и что меня еще от музыки знобит.



---

МИХАИЛ АНЧАРОВ

★

## САМШИТОВЫЙ ЛЕС

Роман

От автора

Автор предупреждает, что все научные положения в романе не доказаны в отличие от житейских фактов, которые все выдуманы.

Из рецензии Мухиной

«...Кстати, о предисловии. Автор, видимо, надеется таким наивным приемом избежать критики. И характерно, что, когда его спросили, понимает ли он, что его расчет наивен, автор ответил: «Понимаю». На вопрос, зачем же в таком случае он прибегает к дешевому приему, автор ответил: «Очень хочется»...»

Сплетня

— А говорят, Сапожников петуха купил?

— Этого ему еще не доставало!

Галиматъя

Галиматъя на древнеанглийском — кушанье, составленное из разных остатков и обрезков, — ныне означает запутанную, несвязную речь. По другому объяснению, в Париже жил доктор Галли Матье, лечивший пациентов хохотом. (Брокгауз и Ефрон, т. 14, стр. 900)

Пролог

Выступает однажды научная дама по телевизору и показывает детские рисунки. Мухина ее фамилия. Эти, говорит, рисунки традиционные, с натуры, а вот эти нетрадиционные, поразительные рисунки, с фантазией, на них кикимора нарисована. А Сапожников глядит — обыкновенная кикимора нарисована, никакой фантазии. Тоже с натуры, только с воображаемой. Вот и вся разница. Прочел ребенок сказку про кикимору, где она подробно описана, и нарисовал. Какая ж это фантазия? Это простое воображение. Да мы только тем и занимаемся, что воображаем понаслышке.

Затрепали словечко «фантазия». А фантазия — это как любовь. У Пал Палыча большая любовь к выпиливанию лобзиком. У Ромео

любовь к Джульетте, а у Пал Пальча к выпиливанию — и всё любовь. Или слова надо менять, или то, что за ними стоит.

Фантазия — это прозрение. Фантазия — это когда вообразишь несусветное и это оказывается правдой. Вот если б ребенок сумел увидеть в научной даме живую кикимору и это бы оказалось правдой — вот тогда фантазия. Фантазия — это прозрение. Вот о чем забыли.

А представить себе по описанию Цхалтубу, Занзибар или Пал Пальча — какое же это прозрение? Приезжаешь в Цхалтубу, а она оказывается вовсе другая. Какое же это прозрение?

На этом пока остановимся. Потому что этого объяснить нельзя. Это надо сначала прожить.

...Я, Приск, сын Приска, на склоне лет хочу поведать о событиях сокрушительных и важных, свидетелем которых я был, чтобы не угасли они в людской памяти, столь легко затемняемой страстями.

Сегодня пришел ко мне владелец соседнего поместья и сказал:

— Приск, напиши все, что ты мне рассказывал. Оно не идет у меня из ума и сердца. Ходят слухи о новом нашествии савроматов, я буду прятать в тайники самое ценное имущество. Но кто знает, что сегодня ценно, а что нет, когда люди сошли с ума и царства колеблются. Запиши, Приск, все, что ты мне рассказывал, и мы спрячем свиток в амфору, неподвластную времени, и зальем ее воском, выдержанным на солнце. И зароем в землю в неприметном месте, чтобы, когда схлынет нашествие или утвердится новое царство, можно было продать твое повествование новому властителю. Потому что опыт жизни показывает, что...

...Бульдозерист Чоботов собрал осколки глиняного старинного горшка и немножко подумал — стоит ли связываться? И так уже план дорожных работ трещал по швам, а до конца квартала оставалось десять дней. Но потом все же заглушил мотор и сказал Мишке Греку, непутевому мужчине, чтобы позвали Аркадия Максимовича.

Аркадий Максимович пришел. Чоботов стал есть ставриду, потому что он любил есть ставриду, а Аркадий Максимович начал пособачьи рыться в развороченной земле и махать своими кисточками, и стало ясно, что дорогу они проложат примерно лет через двадцать, аккуратно ко второму кварталу двухтысячного года.

А потом Чоботов доел ставриду и увидел, что Аркадий Максимович сидит на земле, держит в руках коричневый рулон и плачет.

Море было спокойное в этот вечер, а над горой Митридат стояло неподвижное розовое облако.

Сапожникова всегда поражало, что научные люди относятся к некоторым проблемам со злорадством и негодованием. И даже просто интерес к этим проблемам грозит человеку потерей респектабельности.

— Ну почему же вы так мучаетесь и страдаете, Аркадий Максимович? — спросил Сапожников у Фетисова. — Ведь если вам пришла в голову мысль, то ведь она же пришла вам в голову почему-нибудь?

— Так-то оно так... — ответил Аркадий Максимович.

— Ведь ничего из ничего не рождается, закон сохранения энергии не велит. Все из чего-нибудь во что-нибудь перетекает, — сказал Сапожников. — Значит, были у вас причины, чтобы появилась эта мысль. Вот и исследуйте все это дело, если оно вас волнует. Почему вы должны отгонять ее от себя, как будто она гуляющая девка, а вы неустойчивый монашек?

— Так-то оно так, — сказал Аркадий Максимович. — Но вокруг проблемы Атлантиды образовался такой моральный климат, что ученого, который за нее возьмется, будут раздраженно и свысока оплевывать, как будто он еще один псих, который вечный двигатель изобрел.

— Ну и что особенного? — сказал Сапожников. — Я вечный двигатель изобрел.

— То есть как? — спросил Аркадий Максимович Фетисов. — Вы же сами говорите, что энергию нельзя получить из ничего?

— А зачем ее брать из ничего? — спросил Сапожников. — Надо ее брать из чего-нибудь.

— Но тогда это будет не вечный двигатель.

— Материя движется вечно. Если на пути движения поставить вертушку, то она будет давать электричество.

Аркадий Максимович догадался, что Сапожников говорит серьезно, и посмотрел на него с испугом.

Так они познакомились — Аркадий Максимович, который занимался историческими науками, и Сапожников, который историческими науками не занимался, однако был битком набит бесчисленными историями и разными байками. У него этих баек было сколько хочешь.

А работал он тогда инженером в Проммонтажавтоматике, в просторечье называемой шарашмонтажконторой широкого профиля, и выезжал по ее указанию в различные места нашей необъятной родины, если там не ладилась какая-нибудь автоматика. Он туда приезжал, беседовал с этой автоматикой по душам, что-нибудь в ней ломал иногда и даже не велел чинить, после чего эта автоматика почему-то начинала работать и перепуганное начальство пыталось устроить банкет. Но Сапожников от банкетов уклонялся, потому что пил редко и помногу, но это он проделывал один и к работе это не имело никакого отношения, и к автоматике тоже.

Так они и познакомились и задружились с Аркадием Максимовичем, тайным атлантологом, который пил часто и по капельке. И потому он и Сапожников не совпадали по фазе и не могли друг другу причинить вред, а были друг для друга как бы помехопоглощающими устройствами. Их души взаимно укреплялись и распрямлялись во время нечастых их встреч, и им приходили в голову всякие забавные мысли, которые могли бы принести пользу человечеству, утомленному высшим образованием.

Если говорить правду, то надо сказать, что у Сапожникова была одна странная черта, которая влияла во многом на его резвую судьбу, — он любил доигрывать чужие проигранные партии. Он чинил диван, ремонтировал матрацы, покрывал лаком чужие осыпавшиеся квартиры, доделывал чужие рацпредложения, разрабатывал пустую породу; влезал в чужие запутанные судьбы, и ему все казалось, что семь раз отмерить для того, чтобы отрубить, чудовищно мало и все, что может быть починено, должно быть починено и сможет работать. Короче, он занимался тем, чем занимался крыловский петух, — искал в навозе жемчуг. Две трети его попыток, ясное дело, кончались крахом и прахом, и тогда он упорно и назидательно читал себе переделанную крыловскую басню, которая у него кончалась тем, что жемчужина, найденная петухом, оказывалась застывшим фекалием, и мораль была переделана соответственно: знать, петуху урок был нужен, чтоб не искал в дерьме жемчужин. Но басня не помогала, и снова Сапожников разрабатывал брошенные штреки, танцевал с девушка-



ми, которых никто не приглашает, признавал терапию и неважно относился к хирургии.

Но зато когда он находил то, что искал, тогда его идеями пользовались без указания источника — и в науке и, как ни странно, в искусстве — и, добавив к блюду другой гарнир, выносили обедающим. Сапожников являл собою как бы олицетворенный научный и прочий фольклор. А фольклор, как известно, не только безымянное, но и бесхозное имущество. Сапожников был бесхозным имуществом. Хотя бы спасибо говорили, что ли! Но и спасибо не говорили. Это было бы непоследовательно. А как мы с вами понимаем, главное качество бездарности — это последовательность, которая не принимает корректирующих сигналов извне.

Из этого вышло остальное. Но не все, конечно. А то бы у каждой причины был единственный ряд последствий. К счастью, в жизни не так. И это обнадеживает.

Талант — это тайна связи с основным потоком жизни, талантливые люди хоть иногда способны жить в гармонии с основным потоком, который часто противоречит конкретной ситуации, то есть противоречит причинно-следственной программе. По крайней мере очевидной.

Поэтому быть самим собой — это вовсе не строптивость, а способность соответствовать моментам, совпадающим с основным потоком. И тогда человек испытывает радость и даже предчувствует ее. Неочевидная программа. Вот в чем вся загвоздка.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СКАЗАНИЕ О ВЕЛОСИПЕДНОМ НАСОСЕ

### Глава 1. Тихий взрыв

**С**апожниковы жили как раз посреди короткой улицы. Напротив были избы, а за ними, если глядеть влево, открывался огромный луг, по которому взгляд скользил все дальше, и там глаз упирался в город Калязин, который громоздился на высоком берегу. А великая река была не видна, потому что хотя и низок был левый берег, на котором жили Сапожниковы, а все же вода заливала его только весной, а так текла и текла себе в своем русле, тащила за собой большие и малые водовороты, и где-то там, в учебнике географии, впадала в Каспийское море.

А если отойти от окна, то окажешься в комнате, где у одной стены диван, который теперь называется антикварный, а у другой стены диван, который даже теперь антикварным не называется, хотя уже появилась такая надежда. Потому что он был не диван, а сундук, накрытый холщовым паласом с изображением черкеса и двух тигров, от которых он отбивался голыми руками, поскольку его шапку и частично пистолет съела моль. На сундуке хотя и не спали, но он был как бы тахта, в сундуке хранились валенки всего сапожниковского рода, и потому от сундука тревожно пахло зимой и нафталином.

Над сундуком висели два неродных портрета, тщательно и прекрасно написанных масляной краской. На одном был купец бородатый, с глазами как незабудки, скатерть кружевная, на которой лежала купцова рука с перстнем, а на другом — его жена в зеленом платье. Позади купца было растение рододендрон, а позади жены — бордовая штора. Оба портрета так и остались на стенке, когда дом отдал учителям Сапожниковым, мужу и жене, и их дочке с зятем,

и сыну холостому — все учителя калязинские, — когда их собственный дом сгорел по тридцатому году от злодейской руки внука купца с рододендронам, бывшего ученика старших Сапожниковых.

Главное, чем отличался Калязин от любого города нашей округлой планеты, было то, что как в нем, так и в ближайших окрестностях всегда стояла хорошая погода и имелось все, что нужно человеку для хорошей жизни. Была черника там в сосновом бору позади огородов, и был хлеб на кухне в деревянном ларе. Был снег зимой, и трава летом, и птицы в небе, и рыба в великой реке и в старице у стен монастыря святого Макария, в котором музей и профсоюзный дом отдыха, и трудящиеся для отдыха кидают кольца на доску с гвоздями.

И вот в этом ландриновом краю блаженства и хорошей погоды родился Сапожников.

История умалчивает о том, была ли эта погода непременно хорошей для родителей Сапожникова, а тем более для бабушки его и дедушки, либо она была таковой всего лишь для него одного. В сущности, история даже вовсе об этом не умалчивает.

Но почему же, почему, когда Сапожников обращается пронзительным своим оком к тем пожелтевшим временам, его память рисует ему картины буколические и неправдоподобные?

Посудите сами. Разве правдоподобно такое, чтобы на протяжении десяти лет жизни человек ни разу не голодал, а только чувствовал постоянно приятный аппетит, не замерзал, а испытывал лишь бодрый физкультурный морозец, не тонул в реке, а нырял с берега или с понтонного моста, соединявшего левую и правую части этого прекрасного города, не был ни разу бит, а всего лишь любовно упреем?

Остается предположить, что либо врет сапожниковская память-сладкоежка, произвольно, как сказал поэт, выковыривая излом из жизненной сайки, либо Сапожников жил во времена неисторические. Что, однако, вполне противоречит фактам.

И можно догадаться, что либо врет Сапожников, рассказывая нам про эти калязинские чудеса кулинарии и метеосводок, либо история для него одного сделала исключение, протекая мимо его персональных берегов.

Если выйти из комнаты, то справа по коридору будет остальной дом, а слева изи, в которых неинтересно. А дальше будет крыльцо во двор, заметьте, не на улицу. А во дворе булыжник для купцовых телег, квартира собачки Мушки и сараи, никому лично не принадлежащие. В нормальных городах такие сараи наполнены легендами, скелетами и кладами. В Калязине же ничего этого не водилось. И потому сараи были заколочены и наполнены воздухом, и в трухлявую щель четвертого венца была видна простодушная человечья кашка неизвестной эпохи, освещенная пыльным лучом дырявой крышки. Это деталь чрезвычайно важная, поскольку символизирует отсутствие любопытства калязинцев к тайнам чужого существования. Люди этого мудрого города к чужим кашкам интереса не проявляли, что вовсе не исключало любознательности. Тому пример хотя бы сапожниковская клубника, которую Сапожников, будучи ребенком четырех лет, сам развел на огороде. Клубнику калязинцы не разводили. В бору земляники было сколько хочешь. А когда шла черника, то ее тащили ведрами, высунув темно-фиолетовые языки.

А Сапожников развел в конце огорода одну штуку клубники, и она у него росла, эта клубничина, втайне от всех — сюрприз для бабушкиного дня рождения. Ну, естественно, весь дом об этом знал, но притворялся.

В день рождения, когда дядя хрустел соленым льдом в старой мороженице, а бабушку поздравляли пожилые ученики, Сапожников сорвал клубничину и принес дарить. Все, конечно, сюрпризно ахали, плескали ладошами и поражались, и бабушка держала клубничину за стебель. А Сапожников посмотрел на клубничину, глубоко вздохнул и сказал: «Большая-ая...» И ему тут же отдали фрукт.

Потом, когда Сапожников вырос, с ним почему-то такого уже больше не случалось, хотя нельзя сказать, чтоб он скупился. Скорее наоборот. То он, бывало, годами ходил с корзиной подарков и кричал: «А ну налетай!» — но никто не налетал, а когда он говорил: «Не троньте, братцы, это мое...» — то шустрые граждане беспардонно расклеивали его клубничину, а последний уходил тупо дожевывая стебелек и забывая сказать мерси.

На калитке была огромная кованая щеколда, которая пригодилась всего раз, потому что бык Мирон механике был не обучен.

На улице закричали: «Мирон! Мирон бежит!» Мама схватилась одной рукой за сердце, другой за крыльцовую балясину, а Сапожников помчался к калитке и успел накинуть щеколду. А потом, когда все утихло, мама, шатаясь, подошла к калитке и долго смотрела на раздвоенные следы на песке и представляла тяжкие бычьи копыта и рогатую глыбу, которая промчалась мимо ворот вдоль по улице, туда, где Калязин кончался и стоял дом, в котором жил Аграрий.

Аграрием его называли потому, что он был лысый, читал книжки по аграрному вопросу и карандашами разного цвета подчеркивал нужные ему моменты и соображения, на полях писал чернилами, расставлял восклицательные и вопросительные знаки, а также «нота bene» и «сик», равно загадочные, пока книжка не распухла как бы в две книжки и годилась только на то, чтобы читать по ней лекции, что Аграрий и делал каждую зиму. Однако летом приезжал с новой книжкой и новыми силами, чтобы черкать на полях «моменты» и «соображения». А так во всем прочем он был тихий человек. У него была подслеповатая улыбка, заграничная кофейная мельница на две персоны, ручная, и жена, тоже заграничная, не то англичанка, не то немка, которую Сапожников видел только в двух позициях: либо она лежала на кровати ровно расположив поверх суконного одеяла без простыни голые руки, и глядела в потолок, либо она купалась в Волге совершенно голая, без бюстгальтера и трусов, и хотя лицо имела старое и волосы рыжие с сединой, тело у нее было розовое, как у девочки.

А Сапожников и Аграрий сидели на камешках и смотрели, как она идет в воду, и дальше смотрели на ту сторону реки, где по откосу ползли телеги, а на плоской вершине стоял бывший храм с желтой парашютной стрелой, высунутой с колокольни, и с этой стрелы по выходным дням сигали допризывники и опускались в сквер с легким криком, а на сквере этому ужасались калязинцы, бродя по дорожкам вокруг чугунного памятника Карлу Марксу. А дальше — улицы Калязина, и на одной из них по правую руку — городская библиотека. А дальше небо, небо и миражи, миражи.

Если повернуться спиной к городу Калязину, то в недолгом расстоянии от того места, где входила в воду совершенно голая не то немка, не то англичанка, глаз различал Макарьевский монастырь, стоявший на огромном лугу, монастырь святого Макария, или, как высказался массовик-затейник профсоюзного дома отдыха, монастырь имени святого Макария. И потому половина города были Макары, Макарьевичи, Макарьевы.

Дом отдыха московского электрокомбината помещался в монастыре, из чего следует, что монастырь и в новые времена исполь-

зовался по назначению и в нем все так же люди отдыхали от забот мирских, хотя и по-другому, чем представлял себе его основатель.

Монастырь стоял плоско, не возвышался земной монастырь, а был заподлицо с луговиной и порядками домов левого берега, только отстоял от них метров за девятьсот — поближе к сосновому бору.

Там по монастырскому двору среди вечерней золотой листвы гуляли московские городские люди. Там накидывали на гвозди проволочные кольца для меткости глаза, там дирижер поперек себя шире по имени Рудольф Фукс махал и махал черными руками, там показывали антирелигиозный фильм «Праздник святого Йоргена», немой вариант. Все так. Но если обогнуть монастырь и пройти вдоль стен над старицей и оказаться с тыла, то можно окунуться в чудо, непохожее на жульничество. Если встать перед серым выступом и громко сказать: «Ха! Ха!» — то вдруг услышишь рев толпы и грохот голосов, обороняющих монастырь от призрачного нашествия. Так и было задумано строителями крепостных стен — орда, зашедшая внезапно с тыла, пугалась собственного эха.

Пришел Аграрий к Сапожниковым, познакомился с матерью и сказал, что хочет Сапожникова забрать в монастырь посмотреть кино «Праздник святого Йоргена», немой вариант. И на канонический вопрос Сапожникова: «Про что кино, про войну или про любовь?» — ответил кратко: «Про жуликов». И стал разглядывать народные масляные портреты купцовой жены с бордовой занавеской и купца с рододендроном. А потом вдруг осведомился, а что, мол, это за растение в горшке, на что получил незадумчивый ответ — дескать, это рододендрон.

— Нет, — сказал Аграрий, — это не рододендрон. Это дерево — самшит. Только еще маленький.

Так Сапожников впервые услышал про дерево самшит.

Он еще ничего не знал о дереве самшите, только почему-то вдруг ему стало холодно в спине, как будто откинули дверь в ночь и теперь в затылок ему светит морозная звезда.

Стоп. Спокойно. О чем, собственно, речь? В конце концов, даже наука не вся состоит из арифметики. А тем более жизнь, которая эту науку породила.

Святой Макарий был сыном боярина Кожы. Еще в юности принял иноческий сан, а потом основал монастырь-крепость, которая грозно и чудесно перечила ордынскому ходу.

Аграрий сказал:

— При чем тут чудо? Что есть — есть, чего нет — нет. Монастырь-крепость есть? Есть. Макарий, сын боярина Кожы, негромкий участник освободительной войны, есть? Есть. Потому он святой. А не потому, что останки его тлению не подверглись, что сомнительно. Хотя состав почвы позволяет сделать это предположение. А ежели бы даже подверглись? Что ж его из святых увольнять? Орда-то ведь сгинула. Вот чудо без подделки и никакого Йоргена, — сказал Аграрий, когда они с юным Сапожниковым возвращались ночью по черному луку из монастырского кино.

— И откуда вы все это знаете? — льстиво спросил Сапожников.

— Я расстрига, — сказал Аграрий.

— А что такое расстрига? — спросил юный Сапожников.

И во всем Калязине было так. Что есть — есть. Чего нет — нет. Калязинцы народ негромкий и житейски трезвый. За всю коллективизацию всего-то один дом и сгорел по левой стороне, и тот был подожден злодейской рукой купцова внука, балдой и холостяком, помнившим еще дореволюционные свои муки, принятые от учительницы, сапожниковской бабки. Его, может быть, и помиловали бы из уважения к роду Сапожниковых, которые скопом просили не губить его и тем не



усугублять их древнюю педагогическую неудачу, но, как на грех, выяснились еще кое-какие дела, а дела эти были громкие и имели последствия. Что есть — есть, чего нет — нет. Но миражи, миражи...

— Значит, по-вашему, чуда не может быть? — спросил Сапожников. — Совсем не бывает? Совсем?

— Смотря что считать чудом, — сказал Аграрий, — все рано или поздно объясняется.

— Все? — спросил Сапожников.

— Все.

— Все-все?

— Все-все, — сказал Аграрий.

— А как же...

— Что «а как же»? — спросил Аграрий.

Но тут залаяла собачка Мушка — и миражи пропали.

Рассказывают, что композитор Глинка, великий композитор, к слову сказать, сидел на подоконнике и мечтал. В доме звенели вилками, готовясь к обеду, а за окном гремели экипажи. Но только вдруг звуки дома и улицы начали странно перемешиваться и соответствовать друг другу. И тогда композитор Глинка схватил перо и стал торопливо писать ноты. Потому что он был великий композитор и внутри себя услышал музыку.

И это есть открытие и тихий взрыв.

Потому что человек, который делает открытие, и вовсе не важно, какое — большое или маленькое, звезду открыл или песню, травинку или соседа, пожаловавшего за табаком и солью, это все не важно, — открытие всегда приходит единственным путем: человек прислушивается к себе и слышит тихий взрыв.

Тихий взрыв может услышать каждый, но слышит в одиночку и, значит, один из всех. Потому что нет двух одинаковых, а есть равные. И, значит, каждому свое, и что свое, то для всех, а что только для всех, то не нужно никому, потому что дешевка, сердечный холод, второй сорт.

В доме Сапожниковых жила Нюра, вдова младшего дяди. У нее были серые глаза, серые волосы, серый передник на сером коротком платье. И когда она низко нагилась вытащить из грядки красную морковку, надо было отвернуться, потому что было совсем не так, как когда жена Агрария входила в великую реку. Почему не так, десятилетний Сапожников еще не знал, но надо было отвернуться.

Нюра задавала вопросы. Про все. «А это что?.. А это как называется?..» Но ответы ей были неинтересны. Задаст вопрос и прислушивается к своему голосу. А отвечать ей можно было что угодно, лишь бы сотрясать воздух. Сосед, который приходил за табаком и солью, всегда смотрел на нее не глазами, а затылком. Выслушает ее вопрос и отвернется, помолчит лишнее время, давая затихнуть ее голосу, и ответит что в голову придет. А юный Сапожников стоит посредине комнаты и переводит глаза с нее на него и обратно, пока шея не заболит.

Однажды Нюра спросила:

— Стяпан, а Стяпан, что за дерево растет в горшке на купцовой картине, зеленое? Как называется?..

— Рататандр... — ответил Степан что попало, — табаку-то нет у вас? Мой весь...

— Пойду в сенях натреплю, — сказала Нюра. — Тебе с корешком? А то либо чистого листа?..

Сапожников спросил у среднего дядьки, учителя ботаники, тычинки-пестики:

— Где растет рататандр?

— Нет такого растения, — сказал дядька тычинки-пестики.  
 — А Степан сказал — есть.  
 — Ну-у, Дунаев... — пренебрежительно сказал средний дядька. — Он у меня больше уд с плюсом никогда и не вырабатывал... Рататандр... Может быть, рододендрон?

Так и осталось в купцовом горшке — рододендрон.

Ан все-таки не так. Аграрий-расстрига посмотрел невидяще своим шалым глазом и определил:

— Дерево самшит. Только маленькое.

И Сапожников услышал тихий взрыв.

Он услышал тихий взрыв, и почувствовал нездешний сладкий запах, и увидел далеко, и страшно, и маняще-маетно леса и Волгу, и не наше море, и звезду над белыми песками, и давние народы, и будущие времена, и дерево самшит стояло неподвижно, как мираж на каменистом пути, и, как мираж, пропало. Осталась только радуга-мост через великую реку от калитки сапожниковского дома до калязинской городской библиотеки. И юный Сапожников пробежал по радуге и сказал в продолжающемся озарении:

— Можно мне взять вон ту книгу?

— С собой нельзя, — сурово ответила библиотечарша. — Только в читальне. Да не хватай все тома. Бери один...

И выдала нетерпеливому Сапожникову «Историю искусств...» Гнедича, даже в те времена значительно устаревшую.

Энтузиазм — это одно, а экстаз, наоборот, совсем другое. Экстаз нахлынет — и пропал. За это короткое время можно открытие сделать, можно дом поджечь. Сам по себе он ни хорош, ни плох. Смотря что из него вышло. А энтузиазм — ровное пламя, само себя поддерживает, само себя питает, бежит по бикфордову шнуру, и ветер его не гасит.

Экстазу нужны пружина с бойком, детонация, а энтузиазму только пища по дороге. И потому к энтузиазму у многих есть некоторое небрежение. Взрыв каждому заметен, его без очков видно, а жизненное пламя заметно, когда руку обожжешь, и еще по результатам. Десятилетиями ходили мимо, а на площади только возня, да строительный мусор, да что-то пучится посередке, а потом однажды глядь — Василий Блаженный с цветными куполами стоит, будто всегда стоял, туристы аппаратами щелкают, посмотрите налево, посмотрите направо, перед вами памятник архитектуры. А кто сейчас про само строительство помнит? Как будто в одну ночь построила Марья-искусница. Если сказать ненаучно, на глазок, то трава растет с энтузиазмом, дерево растет с энтузиазмом. Цыпленок в яйце растет с энтузиазмом, а проклеивается с экстазом.

Здравствуй, Сапожников! Я тебя бог знает сколько лет не видел. Как ты прожил свою жизнь и зачем?

## Глава 2. Уходящий горизонт

Его Вартанов взял за горло:

— Сапожников, нужно обязательно поехать в Северный-второй. Он сказал:

— Подумаю... Меня же в Запорожье посылают?

А разговор состоялся на вечере. Был юбилей их конторы. Когда ее создавали, никто не верил, что она продержится больше года. Как

только не обзывали старушку: и «Сандуновские бани», и «невольничий рынок» и «центральная шарагина контора», — а вот справляют юбилей, и, говорят, разгонять ее вовсе не собираются.

Они наладчики, обслуживают весь белый свет. Если что где застывает по электрической части, какая-нибудь новинка трещит, устройство, механизм, система — обращаются к ним, кто-нибудь едет и налаживает. Иногда приехавший не может разобраться. Тогда он колдует и тычет что-нибудь куда-нибудь, после этого устройство (новинка) обычно начинает работать. Почему так получается, никто не знает. Этот метод называется «методом тыка».

Народ у них довольно способный, хотя кое-кто говорит, что, если бы не было их, не было бы и аварий, поэтому их еще называют «фирма Дурной Глаз». Основное время они проводят в разъездах, поэтому большая часть сотрудников холостяки или разведенные.

Если бы Сапожникова спросили: какое наследство ты бы хотел оставить тем, кто пойдет после тебя, ну не духовное, понятно, о духовном разговор особый, а материальное, какое? — он бы не задумываясь ответил: «Кунсткамеру».

Слово старое и уже давно пренебрежительное. Потому что давно уже выросла наука из детских штанов и стремится жить систематически, а не разевать рот перед диковинами, собранными несистемно в одно место. Тут тебе и овца о двух головах, и индейская трубка мира, не имеющие очевидно друг к другу никакого отношения.

А разве это так очевидно? Разве их не объединяет удивление?

Ведь это только потом приходит — почему? зачем? для какой надобности и откуда взялась? как это сделать еще лучше или как от этого избавиться? А вначале ты должен удивиться тому, что не каждый день видишь. И лучше, если эта непохожая диковина возникнет перед тобой отдельно, дискретно, автономно, как твое бытие, а не системно, как чужое мышление. Потому что мышление вторично, а первичное бытие всю дорогу поправляет наше мышление своими новинками и требует разгадок и системных выводов. Вот для чего кунсткамера — для удивления.

А если еще точнее спросить, чего бы хотело дефективное, чересчур конкретное воображение Сапожникова, то он ответил бы — кунсткамеру изобретений, которые почему-либо не вышли в производственный свет божий.

Открытие — это то, что природа создала, а изобретение — это то, чего в природе не было, пока ты этого не придумал.

Если опытные люди и комиссии, которые ведут счет изобретениям, говорят, что до этого раньше тебя никто не додумался, они дают тебе справку, что ты первый, и кладут изобретение в бумажное хранилище, чтобы было с чем сравнивать, когда придет другой выдумщик, и чтобы сказать ему — велосипед уже изобрели.

Велосипеды действительно бегают. А сколько выдумок не бегают? Столько, сколько не пустили в производство? Потому что карман у общества не бездонный. И потому выдумка, в которой нужды нет, лежит себе полеживает, забытая. Проходят годы, появляется нужда, а люди не знают, как эту нужду насытить. Иногда вспоминают прежнюю выдумку, а чаще заново голову ломают.

Сапожников считал, что каждое установленное изобретение, которое не пошло в производство, нужно выполнить в виде действующей модели и поставить в музей без всякой системы, чтобы оно вызывало удивление и толкало на мысль, куда бы его применить, а там, глядишь, родило бы и новую диковинную выдумку.

Так ему подсказывал духовный голод.

— Ну, знаешь! Чего бы покушать, ты ищешь каждый день А духовный твой голод — это уж по праздничкам,— сказал Вартанов, когда брал его на работу, почти силком.

А сказал он это Сапожникову, который как раз в то время кушал не каждый день, потому что от него как раз тогда ушла жена и Сапожников как раз тогда уволился с прежней службы, уволился как выстрелил. А куда выстрелил? В белый свет как в копеечку. Ну, тут его Вартанов и подобрал, не знал Вартанов, с кем связывается. А тут как раз Сапожникову стали опять приходиться в голову разные светлые идеи, и опять есть стало некогда, жалко было время тратить. И так новая служба подняла, да еще часть суток с самим собой надо было сражаться, обиду преодолевать, да еще спать надо было часть суток — чистое разоренье. И подумать о жизни — хорошо, если шесть часов оставалось, а что за шесть часов успеешь? Поэтому Вартанов мимо сказал насчет еды каждый день, к Сапожникову это относилось едва.

Сапожников потом вспоминал те странные давние годы, когда добрые замыслы с трудом пробивались сквозь нелепости первых прикидок мирной жизни и прекрасная овощ кукуруза слабо проклевывалась на нечерноземной полосе и севернее, когда царил «штиль-левен» и «натюрморт». Горы рожали мышей или шли к своему Магомету, кулики хвалили свои болота, и почти тем же самым занималась гречневая каша. Башни слоновой кости стали ориентирами для прямой наводки, и отшельничьи души предпочитали колодцы, откуда, конечно, видны днем звезды, но всегда рискуешь получить ведром по голове.

Ведь это так говорится, что выдумщики и поэты умирают от пули или от старости. Они умирают от разочарования, все остальное детали чисто технические.

У Сапожникова были серые волосы.

В Северном-втором он никогда не был, а ехать туда на зиму глядя и вовсе не хотелось. Особенно не хотелось на этом вечере, где можно было посидеть в буфете около «трех звездочек» и оттуда без зависти поглядывать на танцы и стараться не слушать праздничной передачи по внутреннему вещанию, которая все равно лезла в уши — эти унылые вопросы и ответы:

— Что вы желаете к празднику себе лично?

— Надо, чтобы премию выдали к празднику.

— Ну, и еще чтобы буфет был лучше организован.

— Чтобы наша молодежь начала активно заниматься самодеятельностью. А то мы уже третий праздник приглашаем самодеятельность Института вирусологии.

Сапожников посидел за столиком, стараясь не слышать эту унылую чушь и вдруг на вопрос «ваше любимое занятие в нерабочее время?» он услышал спокойный и тихий ответ:

— Я очень люблю читать книги и разговаривать по телефону. А еще я люблю играть в преферанс.

Это переводчица из научной библиотеки. Они незнакомы, но почему-то здороваются, когда она молча курит в коридоре и стряхивает пепел с рукавов. Больше он о ней ничего не знает.

После ее ответа диктор заторопился:

— Скажите, как вы относитесь к абстракционизму?

— Ну, как в каждом течении,— спокойно и тихо ответила она,— и в абстракционизме есть бездарности и таланты. Поскольку это течение новое, по крайней мере для меня, я ему сочувствую.

После этого диктор сказал:

— Ну-у, знаете. Я думаю, что это не совсем так.

— Что не совсем так?

После этого радио выключили.

Сапожников подумал, что это и для него совсем новое. Зимой, конечно, хорошо бы поехать на юг, но в Запорожье он уже бывал, а в Северном-втором монтируют интересный конвейер, надо ехать туда. Все перепуталось, но это не страшно. И он сказал Вартанову, что согласен ехать.

— Ладно, — сказал Сапожников. — Поеду в твой Северный-второй. Но это после отпуска, у меня отпуск пропадает... Мне надо своих повидать. И к Барбарисову смотаться. Он сейчас в Риге лекции читает.

— Неужели он решился взяться за твой двигатель?

— Попытаемся... Я ему от Глеба письмо везу. Глеб для него бог.

А фактически Сапожников согласился совсем по другой причине.

Просто Сапожников на этом вечере вспомнил, как он прятался от бабушки под ее большой кроватью, когда она заставляла его за попыткой стянуть и полистать большую оранжевую книгу с таинственным и непонятным названием. Бабушка прятала ее в шкафу на верхней полке, среди стеклянных банок с сахарным песком и кульков с крупой, потому что это была книга не для детей.

А его неистово тянуло к этой книге, потому что там были таинственные рисунки.

У этой оранжевой книги на переплете, похожем на закатное небо, был овальный гравированный портрет, обведенный узором незнакомых букв, и этот овальный портрет был похож на странное темное солнце, закатывающееся на оранжевом матерчатом небе.

Картинки в этой книге были похожи на старинное серебро. На драгоценные сплавы и слитки были похожи эти картинки. В них все было перемешано, слито, сплавлено, птицы, драгоценные кубки, окна замков, оружие, облака, фантастическая снедь и дикие морды — вулканическое изобилие. И почему-то казалось, будто они похожи на современную жизнь больше, чем тощенькие картинки отдельных предметов, которые он видел в детских и взрослых книжках.

Во всяком случае, когда Сапожникова впервые повезли по Москве и он за один день побывал в ГУМе, на ткацкой фабрике, в Замоскворечье у отца брата, на Центральном рынке, на Цветном бульваре, а вечером в цирке, он был уверен, что все это он уже видел в оранжевой книге, которую ему не давала бабушка. А когда он, все же нашкодив, прятался у нее под большой кроватью, где пахло половиками, валенками и кошками, она старалась достать его веником, откинув кружевные подзоры, и она не могла его достать, ей было трудно нагибаться, она была совсем старенькая.

Он потом прочел эту книжку. Она называлась: Франсуа Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль», иллюстрации художника Густава Доре, издательство «Земля и фабрика». По мнению Сапожникова, это хорошая книжка и издательство тоже хорошее — «Земля и фабрика».

Слепящая отчетливость хороша, если она результат, вывод, если за ней кипит варево. Иначе это неотчетливость, а скука. Непозволительно долго он жил в слепящей, никому не нужной отчетливости и выполнял планы, придуманные не им. Хорошо бы все перепуталось, как в этой книжке, подумал Сапожников и решил ехать в Северный-второй, пусть все перепутается, пусть он будет изменяться вместе с рекой жизни, будет расти, как дерево, — в разумном сопротивлении.

Он представлял себе, что его пошлют в Северный-второй вместо Запорожья, но Роза Шарифутдинова допечатала в командировочном

предписаний: «...и в Северный-2». Словно по дороге в булочную зайти. Только число не проставила. Пусть...

Неси меня, река.

Хлеб... Тревога... Высокий звон одиночества...

Творчество, откуда оно?

Ум? Лихорадка? Лампа, горящая с перекалом? Или последняя свобода? Или первая радость? Или рыбку ловить на высоком берегу времени и ждать, ждать, пока екнет пестрый поплавок сердца?

А вообще дела у Сапожникова стали налаживаться. Утерся и жив, и жизнь ему исходит сладости.

Но тут мы переходим к смыслу жизни, а это уж вопрос веры. Во что веришь, таков ты и есть.

Идти далеко, мираж над горизонтом маячит, а земля-то круглая и горизонт все не приближается. И, обогнув шар земной, возвращается человек к своему началу и думает — что же вышло из моей мечты? Одна дорога и ничего больше. Так стоило ли ходить, если вернулся к началу своему? Ан стоило. Если б не двинулся в путь, не вернулся бы обогащенный и не оставил бы наследства новому путнику, не сумел бы рассказать ему, что истина находится там, где он живет, только надо снова и снова до нее доискиваться и, значит, снова идти к уходящему горизонту. Почему это так — неизвестно. Может быть, потому, что сама истина тоже не стоит на месте, а живет, меняется, развивается и растет, как бессмертное дерево самшит.

### Глава 3. Все по местам

Когда они уже из Калязина приехали и в Москве жили, позвали раз Сапожниковых в один важный дом. Хозяин — главный инженер какого-то огромного по тем временам завода. В двадцатые годы ездил обучаться опыту за границу, а теперь, в тридцатые, трепетал, чтоб ему этот опыт не припомнили. Но все обошлось благополучно, потому что Сапожников его видел и узнал на похоронах матери. А это уже было в пятидесятые. Белый-белый весь и лицо белое. Постоял молча, послушал органную музыку, записанную на магнитофоне, и вышел. Мать схоронили. Как и не было. Все разошлись. А Сапожников не мог понять, что мама умерла. И тогда не мог понять и потом. Пока мы про человека помним, он для нас живой. Вот когда забываем про кого-нибудь, то и живого как не было, умирает для нас этот человек, и в нас что-то умирает от этого, чтобы остальному в нас жить. Ужасно это все, конечно, но по-другому пока природа не придумала. Может, люди что придумают. Вышел Сапожников из крематория, а уж перед дверьми другой автобус стоит, серый с черной полосой, другое горе очереди ждет и своего отпевания. Не знал тогда Сапожников, что в ближайшие несколько лет жена его умрет, проклятая и любимая, а потом и отец. Всех подберет серый автобус. Смерть, смерть, будь ты проклята!

А тогда, в гостях, Сапожников почти ничего не запомнил, так ему тогда казалось. Только запомнил две овальные фотографии в квадратных рамках — главного инженера и его жены с брошкой между грудями — и ширму возле кровати: на коричневое дерево натянут складками зеленый шелк. Так и осталось все это посещение в коричневом деревянном цвете и в зеленом матерчатом шелковом. А еще запомнил, как чай пили, ели не частые тогда еще пирожные и мама жеманилась: «Мне мучное нельзя и сладкое тоже» — и ложечкой чуть с краешку поковыривала, чуть с краешку. А Сапожникову было жаль

маму и хотелось перевернуть стол с пирожными. Но стол был дубовый и неподъемный. Не поднимешь.

Потом Сапожников много столов с пирожными переворачивал в своей жизни и так до конца и не смог понять, почему он это делал. Притащит его жизнь к изысканному столу, тут бы и расположиться на софе и канапе, возле трельяжа с торшером, а какой-то бес под руку — толк! — и все испорчено — сервиз и баккара на полу, а остатки пралине и грильяжа с пола выметают. И опять у Сапожникова в доме шаром покати, в кармане ветер дует, друзей-приятелей как дождеком смыло, а сам Сапожников лежит на тахте, простите, и новую немислимую идею обдумывает. Пора с этим кончать Сапожникову.

У Сапожникова были убогие вкусы. Для него богатство было всегда не счет в сберкассе, счет у него почему-то исчезал раньше, чем появлялся, — интересно, может ли так быть? Ощущение богатства вызывал у него районный универмаг, а конкретно — новый магазин, или, как его звали, новмагáзин, в одно слово. Так точнее. Ему уже скоро полвека, но так и осталось — новмагазин, будто Новгород. А в нем весь нижний этаж был занят продуктовым отделом, а верхний — предметами, которые есть нельзя. Там пиджаки, велосипеды, нет, велосипеды — это позднее, там одеяла, кепки, канцтовары, полубаяны, и ботинки примеряют перед зеркалом на полу. Серый день виден в большие окна и мокрые серебряные крыши. Душно на втором этаже и пахнет портфелями. А внизу, на первом этаже, — холодный воздух, простой. Рубят мясо с хеканьем на толстом пне могучим топором. Запах сельдей и лука, шорох бакалеи и хруст пергамента, где масло продают, тпают его из куска. И булки стучат о лоток в кондитерском отделе. Лязгает и грохочет касса, хлопают двери, ведущие на улицу или вниз, в сказочный мир складов, торговых дворов, где грузовики разворачиваются, где с визгом волокут ящики по цементному полу. Вот что такое богатство по его примитивному ощущению.

Сапожников любил грубую пищу без упаковки, пищу, которую едят, только когда есть хочется, и ему не нужно было, чтоб его завлекли на кормежку лаковыми этикетками. Красочными могут быть платья на женщинах и парфюмерия. Пласты мяса и мешки с солью красочны сами по себе для того, кто проголодался, натрудившись. Потому что после труда у человека душа светлая. А у объевшегося душа тусклая, как разделка в поликлинике.

В масляном отделе теперь Нюра работала. Они с Дунаевым расписались через два года после того, как Сапожников с матерью в Москву уехали из Калязина к дунаевской родне — жить и комнату снимать. А через год сам Дунаев с Нюрой заявили. Нюра теперь за прилавком глазами мигала. Поднимет на покупателя, опустит, поднимет, опустит. Серые волосы ушли под белую косынку, руки полные, чистые и пергаментом хрустят. Очередь до нее шла быстро, а после нее задерживалась сколько могла, как у памятника.

Сапожников однажды дождался, когда очередь кончилась, взял свои сто сливочного, несоленого и сказал ей в спину, когда она бросок масла нужной стороной поворачивала:

— Нюра, а мы кто?..

— Сапожниковы. Как кто? Сапожниковы...

— Нет. Мы все?.. Вы с Дунаевым и мы. Все. Ну, калязинские, кто? Рабочие, крестьяне? Кто? Служащие, что ли?

— Были рабочие, потом служащие, крестьяне тоже были, — задумчиво сказала Нюра. — Теперь не знаю кто. Наверное, мы обыватели... Дунаев говорит.

— А обыватели — это кто?

— А я не знаю... Мы, наверно...

Одно слово — Нюра. Вот и весь сказ.

— Магазин закрывается, — сказал масляный мужчина в синем берете и желтом фартуке и посмотрел Нюре на шею.

Нюра мигнула.

Почему люди живут, Сапожников знал. Потому что их рожают. Почему люди помирают, Сапожников тоже знал — испекла бабушка колобок, а он возьми и укатись. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, серый волк, и подавно удеру. А потом приходит смерть, лисичка-сестричка, — ам, и нет колобка.

А вот зачем люди живут и помирают, для чего — Сапожников не знал.

Спросил он как-то много лет спустя у Дунаева, а тот ответил:

— Для удовольствия.

Но Сапожников не поверил. Уж больно прост оказался ответ. А главное, не универсален. Для чьего удовольствия? Для своего? Так ведь начнешь на ноги наступать и локтями отмахиваться. Сапожникову тогда еще непонятно было, что можно для своего же именно удовольствия людям на ноги не наступать и локтями не отмахиваться.

Мать Сапожникова с сыном в Москву уехали. Они уехали в Москву из Калязина потому, что для этого не было никаких причин.

Постоял Сапожников у холодной кафельной печки, что мерцала в углу в пасмурный калязинский вечер, потом обернулся и видит — мама сидит на сундуке с не доеданным молью черкесом и на Сапожникова смотрит. Сапожников тогда сказал:

— Ма... уедем отсюда? В Москву поедем...

И мама кивнула. А Сапожников понял, что это он не сам сказал, это мама ему велела молча.

Сапожников потом спросил у Дунаева:

— Как ты думаешь... зачем вот мы тогда все бросили? Зачем в Москву приехали?

А Дунаев ответил:

— За песнями.

Ну вот, а тогда Сапожников вернулся из новмагазина и сказал:

— А что такое обыватели?

Мама ответила:

— А помнишь, как нам хорошо было в Калязине? Помнишь, какая печка была кафельная — летом холодная, а зимой горячая-горячая? Я любила к ней спиной прислоняться. А помнишь Мушку, собачку нашу? Это теперь называется — обыватели.

— А обывателем быть стыдно? — спросил Сапожников.

Мама не ответила.

Сапожниковы как приехали в Москву, так и поселились у Дунаевской родни в мезонине. Мезонин был большой. Там еще, кроме Сапожниковых, жил бедный следователь Карлуша и его сын Янис, а внизу вся орава Дунаевых. Потом переехали жить на Большую Семеновскую, в двухэтажные термолитовые дома, возле парикмахерской, и новмагазин рядом. Когда эти дома построили, их сразу стали называть «дермолиповыми», а ведь и до сих пор стоят.

А потом, через много лет, мама сказала:

— Ты ошибся. Карлуша был не следователь. Он был ткач, мастер ткацкого дела. Просто его часто вызывали для судебной экспертизы. А помнишь Агрария? Вы с ним валялись на берегу...

— Ма, а помнишь, ты рассказывала про купцова сына, который наш дом поджег, а мы потом в ихний дом въехали? — спросил Сапожников.



— А как же,— сказала мать.— Это же была классовая борьба. Борьба классов.

— Ну, не только классов,— сказал Сапожников.— Он был сам сволочь. Ни один класс от личного сволочизма не гарантирует.

— Не говори так. Это не принято.

— Ма, обывателем быть стыдно? — повторил свой вопрос Сапожников.

— А чего стыдного? Путают обывателя с мещанином, вот и весь стыд. Мещанин лижет руки сильному, а слабого топчет. Обыватель — это как старица. Помнишь старицу?..

Старица. Это когда река разлилась, а потом сошла вода с луговины, а в углублении осталась. До следующего половодья. Это называется — старица.

Стало быть, вода обновляется раз в сезон. И старица живет от половодья до половодья, в бурной смене событий, и в промежутке у нее есть время подумать не на бегу. Хорошо это или плохо? А никак. И то нужно и другое. Потому что и реку, и старицу, и все остальное несет река времени. Общая река. Тоже делает витки вместе со своими водоворотами, то есть отдельными телами, которые и есть эти водовороты. Времявороты, точнее сказать. Каждое тело на свете — это времяворот, большой или маленький.

А у Дунаева опять Нюру увели.

— Вернется,— сказал Дунаев, как про корову.

Действительно вернулась. И стали они жить дальше.

А что ж удивительного? Около Нюры мужики дурели.

Еще пока она ходит туда-сюда, то все еще туда-сюда. А как нагнетается за чем-нибудь, с полу чего-нибудь подобрать или мало ли за чем,— то все, конец. Лепетать начинают, молоть что ни попадя. Дунаев видит — дело плохо, и скажет:

— Мне завтра вставать рано.

Гости и расходятся утихать по домам.

Сказано — все счастливые семьи счастливы одинаково, и тем как бы принизили счастливые семьи. Потому что одинаковость — это неодушевленный стандарт. А кому охота считаться неодушевленным? А ведь это для несчастливых счастливые семьи как кочки на болоте, для человека утопающего всякая кочка издали на диво хороша. И выходит, что они только для утопающего одинаковые, а сами-то для себя все кочки разные.

— Мораль тут ни при чем,— сказала мама Дунаеву.— Нюра — случай особый... Вам хорошо, и слава богу.

— Каждый случай особый,— сказал Дунаев.

— Я с вами согласна,— ответила мама.

Мама вышла из сеней на лестницу, где Сапожников тупо смотрел на велосипедный насос, который ему починил Дунаев, и думал: а что внутри насоса делается, когда поршень вытягиваешь, а новому воздуху всосаться не даешь, если, конечно, дырку пальцем зажать? Говорят, воздух разряжается. А почему тогда, если поршень опустить, его обратно как резиной тянет?

— Пошли домой, сынок... Нам пора,— сказала мама.— Уроки надо делать. Ты учишь хорошо. А то нас с тобой завуч не любит.

— Ладно,— сказал Сапожников.

— А ты когда в Калязин в зимний лагерь поедешь, ничего бабушке про Нюру не рассказывай.

— Ладно,— сказал Сапожников.

В то время в школе к Сапожникову относились сдержанно. Это потом к нему стали хорошо относиться. Когда ему уже на это наплевать было, а тогда нет, путано складывались у него отношения в школе.

В классе как привыкли? Либо ты свой, и тогда ты как все, и подчиняешься правилам неписаным, но жестким. Либо ты сам эти правила устанавливаешь, и тогда все тебе подчиняются, и тогда ты лидер, и будьте ласковы — что ты сказал, то и закон. В первых классах кто лидер? У кого за спиной компания на улице, шарага или двор сильный. В средних классах — кто самый отчаянный. Ну а в последних классах лидер — это кто самый хитрый, кто хорошо питается и умеет слова говорить.

А Сапожников всю дорогу хотя сам правил не устанавливал, но и подчиняться не собирался.

Пришел он сразу в третий класс, а портфеля у него нет. Мама ему для учебников отцовскую охотничью сумку приспособила, кожаную. Хотела патронташ отпороть — Сапожников не дал. Сказал, что будет туда карандаши вставлять. Сразу, конечно, в классе смех. Шишкин сказал:

— Дай сумку, дамочка.

— На,— сказал Сапожников.

Шишкин сумку за ремень схватил и над головой крутит. Все в хохот. Учитель входит в класс:

— В чем дело? Все по местам.

На большой перемене Сапожников завтрак достал — два куска булки, а внутри яичница, белые лохмотья. Шишкин сказал:

— Ну-ка дай.

— На,— сказал Сапожников и отдал завтрак.

Ну, все сразу поняли — телок. Шишкин откусил, пожевал и сказал:

— Без масла сухо.

И через весь класс шарах бутерброд об стенку возле классной доски. Все смотрят. Сапожников пошел за бутербродом, нагнулся, а ему пенделя. Но он все же на ногах устоял, бутерброд поднял, яичницу, обкусанную шишкинскими зубами, двумя пальцами взял, в фанерный ящик-урну выкинул, а хлеб сложил и к Шишкину вернулся.

— Попроси прощенья,— сказал Сапожников.

Все смотрят.

— Я? — спросил Шишкин.

— Ты.

Шишкин ему еще пенделя. Учитель в класс входит:

— В чем дело? Все по местам.

Следующая перемена короткая. Сапожников вытащил обкусанный хлеб, подошел к Шишкину:

— Попроси прощенья.

— Ну, ты... — сказал Шишкин и опять ему пенделя.

— Попроси прощенья,— сказал Сапожников.

Шишкин взял у него хлеб и опять в стенку запустил, как раз когда учитель входил и все видел.

— В чем дело? По местам. Шишкин, а ну подними хлеб.

Шишкин пошел поднимать хлеб, Сапожников за ним. Когда Шишкин нагнулся, Сапожников ему пенделя. При учителе. Шишкин выпрямился, а Сапожников у него хлеб из руки взял.

— Шишкин, на место,— сказал учитель.— А ты откуда взялся? Я тебя не знаю!

— Из Калязина,— сказал Сапожников.

— А-а, новенький... Плохо начинаешь,— сказал учитель.— На место.

Сапожников весь урок старательно писал арифметику. На другой переменке Шишкин убежал.

На следующее утро Сапожникову дали в глаз перед самой школой — двое подошли и сделали ему синяк. На уроке Шишкин смотрел на доску и улыбался. На перемене Сапожников достал вчерашний хлеб и подошел к Шишкину.

— Попроси прощенья.

Шишкин кинулся на Сапожникова и хотел повалить, но Сапожников не дался. По тетрадке отличницы Никоновой потекли чернила, а на тетради у нее закладка — лента шелковая, вся промокла. Визгу было на всю Москву. Шишкина и Сапожникова выгнали из класса. Вызвали родителей.

Вечером лампы в классе зажгли над учительским столом только, а остальные не зажигали. За окном городская ночь с огоньками, а в классе полутьма. Мать с Сапожниковым на одной парте, Шишкин с отцом на другой.

— Сапожников,— сказала завуч.— Объясни, почему ты ударил Шишкина ногой?

— Он сам знает,— сказал Сапожников.— Пусть попросит прощенья.

— Прощенья?! — рявкнул отец Шишкина.— Прощенья?! Его ударили, а ему еще прощенья просить?

— Родители, будьте добры, снимите головные уборы,— сказала завуч.

Мать сняла платок, отец Шишкина кепку.

— Мальчик,— сказал отец Шишкина,— кто ты такой? Может быть, ты фон барон? Фон баронов мы еще в двадцатом в Анапе утопили... Почему сын рабочего человека должен у тебя прощенья просить? А?

— Не у меня,— сказал Сапожников.

— У кого же? — спросила завуч.

— У хлеба,— сказал Сапожников.

— Как можно у хлеба прощенья просить? — сказала завуч.— Дикость какая-то... Он у вас нормальный ребенок?

— У кого? — спросил отец Шишкина.

— Это его бабушка приучила,— сказала мама.— Он не виноват... Когда хлеб падал на землю, она велела его поднять, поцедовать и попросить у него прощенья... Он так привык, он не виноват.

— Мальчик,— сказал отец Шишкина,— у тебя хлеб с собой?

— Ага,— сказал Сапожников.

— Дай-ка сюда,— сказал отец Шишкина. И разлепил две половинки, снаружи сохшиеся, а внутри еще влажные.

— Васька, ешь,— велел отец Шишкину.

— Перестаньте! — вскрикнула завуч.

— Не буду,— сказал Шишкин.

— Не будешь — в глотку вобью,— сказал отец Шишкина.— Ешь.

— Вы с ума сошли! — возмутилась завуч.

Шишкин зарыдал и стал есть хлеб.

— Перестаньте мучить ребенка,— сказала завуч.

— Вы извините, товарищ завуч,— сказал отец Шишкина.— Он у вас отучился и ушел, а мне с ним жить.

— Он же сухой... Черт! — давясь, сказал Шишкин.

— Ничего,— сказал отец Шишкина.— Слезами запьешь.

И надел кепку.

— Пошли... Спасибо, мальчик,— сказал Сапожникову отец Шишкина, и они вышли.

— Какая-то дикость! — развела руками завуч.

И тут же в коридоре раздался визг Шишкина.

— Он же его бьет! — вскрикнула завуч и кинулась в коридор.

Но не дождалась и вернулась.

— Ну, Сапожников!.. — сказала она.

На следующий день Шишкин ушел в другую школу, и Сапожников стал лидером.

К нему сразу подошли получить указания, как жить, и присмотреться к новому лидеру.

— А пошли вы... — сказал Сапожников.

— Ты что? — спросили его. — Ты что?

— Шишкина жалко, — сказал Сапожников.

— Чего делать будем? — спросили его.

— А я почему знаю?

Так Сапожников перестал быть лидером.

В средних отчаянных классах Сапожникова опять трогать было нельзя — он изобретателем стал, а в лидеры не пошел. А в старших хитрых классах Сапожников уже боксом занимался и набил морду самому хитрому, но сам опять в лидеры не пошел. Так и жил, как собака на сене, ни себе, ни другим. Поэтому отношение к нему было сложное. Но об этом потом. А теперь, в шестом классе, он ехал на верхней полке в пионерлагерь, который как раз оказался в городе Калязине, поскольку школа была у электрокомбината подшефной.

А у Дунаева опять Ньюру увели.

#### Глава 4. Зеленые яблоки

— Старики, сколько до Вереи? — крикнул шофер.

— Двадцать километров, — ответили мальчики.

И они с Сапожниковым поехали дальше и въехали в лесок с длинными тенями через голубое шоссе, и в опущенное окошко влетал запах хвои, и тут шофер опять рассказал историю, похожую на куриный помет, и ехать с ним надо было еще двадцать километров.

Поворот замелькал полосатыми столбиками, еще поворот — и московское такси съехало на базарную площадь городка, лучше которого не бывает.

Там напротив торговых рядов с уютными магазинчиками был сквер, где стояли цементные памятники партизанам на мраморных постаментах со старых кладбищ. Там в тени рейсового автобуса лошади жевали сено. Там к мебельному магазину была привязана корова. Там длинноволосый юноша в джинсах, с чешским перстнем на руке гнал караван гусей мимо известковой стены церкви. Там на мотоцикле с коляской везли матрац.

И Сапожников повеселел немножко.

Нырять в колеях, такси покатило вниз, к реке, по немощеной улице, и внимательные прохожие провожали московский номер сощуренными глазами.

Машина остановилась у палисадника, за которым виднелся дом с недостроенной верандой, и Сапожников вылез на солнце.

Он размял затекшие ноги и поболтал подолом рубахи, чтобы остудить тело, прилипшее к нейлону, и шофер намекнул ему на обратный порожний рейс до Москвы. Но Сапожников не поддался, он помнил гнусное водителево оживление и различные интересные истории о бабах и студентах, которые его кормили, и одевали, и давали выпить и закусить, и как он сначала копил на аккордеон «Скандале» или «Хохнер», а потом подумал, что тут и на «Москвич» натянешь, и как он говорил: «Я на деньги легкий» — и как его в детстве зажимали родители и он этого им не забудет. И Сапожников дал ему двугривен-

ный по верх счетчика и объяснил, что в машине воняет куриным пометом. А шофер вдруг понял, в чем дело, и растерялся, так как его сбила с толку заграничная рубашка клиента, и медленно уехал, упрекая Сапожников все же глазами за скупость.

Тут Сапожников почувствовал немотивированную злобу и вошел в калитку, у которой вместо пружины был прибит отрезок резинового шланга от клизмы. И опять его сжигало и изводило видение мира в точных деталях и мешало ему думать в понятиях и отвлечениях, и на этом он всегда прогорал.

На веранде навстречу ему от керосинки выпрямилась женщина в трикотажном переднике и сказала, что они еще с речки не приходили.

И Сапожников сказал: «Ну ладно», поставил сумку на струганный пол и вышел на улицу за калитку и увидел, как они с Дунаевым идут к нему навстречу, и Нюра была выгоревшая и загоревшая, похожая на негатив, шла смешная и незнакомая и несла на нитке растопыренных пестрачей.

И Сапожников почувствовал запах воды и травы, и пропал запах куриного помета. Сапожникову тогда еще было непонятно, что просто он снова начинает радоваться жизни и в этом все дело.

А Нюра сказала:

— Мы тебя поместим в дом учительницы. У нее комната целая. Это рядом с нашим домом.

...Лошади были сытые. Они хрупали сено, перебирали ногами, и белая ночная дорога, видневшаяся в проломе сарая, манила их и завораживала. Рыжие роммелевские танки еще не показались из-за поворота. Галка подняла ракетницу. «Ну, мальчики», — сказала она...

... Сапожников не стал досматривать сон. Он скинул ноги с кровати и сел. В доме учительницы, куда его устроили ночевать, крашениный пол был холодный, и это было хорошо. «Нас, видимо, много не спит сейчас по ночам», — подумал Сапожников, и ему не стало легче. Наоборот.

Их много еще ворочается в темноте и не может заснуть. Под закрытыми веками им кто-то навязчиво крутит отрывки все того же фильма, потом они спускают ноги на холодный пол в избах и городских квартирах, и курят, и кашляют, и ждут рассвета.

Сапожников уже отвык спать на первом этаже и дурил от запаха травы и мокрых цветов, который волной плыл в комнату из распахнутого в сад окошка.

Сапожников поднялся — заскрипела кровать, хрустнули доски пола. Оглушительно тикали ручные часы. Ночь — как разболтанный механизм. Даже слышно, как кишки шевелятся в животе, печенки-селезенки, как щелкнули коленные суставы, когда Сапожников присел за часами и папиросами, даже движение глазного яблока, когда Сапожников протер глаза. Когда Сапожников заводил часы, они откликнулись короткими очередями.

...— Рамона, скоро? — спросил Бобров.

— Нашла, — ответила Галка.

«Рамона... — запела пластинка у нее в руках. — Я вижу блеск твоих очей, Рамона...» Это была ее любимая пластинка. Третья за эту войну. Две разбились.

Группа отстреливаясь, отходила в глубь подвала этого огромного универсального магазина, и Рамона, расстегнув ворот, сунула под гимнастерку гибкий целлулоидный диск розового цвета. Что-то ей говорило, что эта пластинка не сломается. Совсем необязательно бы-

ло задерживаться из-за банальной песенки «под Испанию», но Галку любили.

Ее любили за то, что она не боялась хотеть сразу, сейчас, и если ей нужна была песенка, она не откладывала до окончания войны, а срывала ее с дерева недозрелую, не дожидаясь, пока отшлифует свой вкус. Галку любили потому, что в ней жизни было на десятерых.

Сапожников шел последним и положил под дверь противотанковую мину. Они бегом двинули по переходам, чтобы успеть уйти прежде, чем немцы взорвутся, когда распахнут дверь...

...Сапожников застыл, когда лопнула тишина и упали вилы, на которые он наткнулся в сенах.

Однако никто не проснулся в огромной избе, срубленной по-старинному, с лестницей на чердак, забитый сеном, с пристройками под общей крышей, с мраморным умывальником возле пузатых бревен сеней.

Не проснулись ни хозяева, ни хмельные шоферы крытых грузовиков, заночевавшие в пути. Это были люди молодых реальных профессий, и видеть фильмы по ночам им еще не полагалось. Все дневные сложности заснули, и наступила простота нравов. Мужчины были мужчинами, женщины женщинами. Мальчики летали, девочки готовились замуж, дети отбивались во сне от манной каши или видели шоколадку. Ну и дай бог, чтобы и так и далее.

Сапожников наконец выбрался в темный сад, отдышался и сорвал с дерева зеленое яблоко. В детстве ему очень хотелось стать мужчиной. Теперь он им стал. Ну и что хорошего?

Кто-то сказал: если бы Адам пришел с войны, он бы в райском саду съел все яблоки еще зелеными.

Когда Сапожников перестал жмуриться от кислоты и открыл глаза, он увидел, что сад у учительницы маленький, а над черным штaketником звенит фиолетовая полоса рассвета.

После этого Сапожников еще неделю пробыл в Верее. Купался в речке, лежал на земле, мыл ноги в роднике у колодезного сруба с ржавой крышей, возвращался по улице, через которую переходили гуси. Дышал.

После этого он уехал.

Ему Нюра сказала:

— Уезжай, пожалуйста. Не могу смотреть, как ты маешься.

И он уехал.

## Глава 5. Спасательный пояс

Новый учитель математики, бывший красный артиллерист, спросил у Сапожникова:

— Ты кто?

— Мальчик.

— Вот как?.. А почему не девочка?

— Девочки по-другому устроены.

Учитель поднял очки на лоб и сказал:

— Запомни на всю жизнь... Никогда не болтай того, чего еще не знаешь. Запомнил?

Сапожников запомнил это на всю жизнь.

— Запомнил,— сказал Сапожников.

— Ну... Так кто же ты?

— Не знаю.

— Как это не знаешь?.. Ах да,— вспомнил учитель свое только что отзвучавшее наставление.— Я имею в виду, как твоя фамилия?

— Сапожников.

С тех пор его никто по имени не называл.

Знал бы учитель, к чему приведут его слова — не болтать, чего еще не знаешь,— он бы поостерегся их произносить. Нет, не поостерегся бы.

— Дети, вы любите свою страну? Сапожников, ты любишь свою страну? — спросил учитель математики, бывший красный артиллерист.

Сапожников ответил:

— Не знаю.

— Как не знаешь? — испугался учитель.— Почему?

— Я ее не видел,— сказал Сапожников.

— А-а... — успокоился учитель.— Как же ты ее не видел? Ты откуда родом? Ну? Где ты родился? — подсказывал учитель.

— В Калязине.

— В городе Калязине,— уточнил учитель.— В математике главное — это логическое мышление. Пойдем по этой цепочке. А ты любишь город Калязин?

Еще бы не любить!

— Люблю,— ответил Сапожников.

— Ну а Калязин где находится? — подталкивал учитель.

— На Волге.

Волгу Сапожников тоже любил.

— А разве Калязин и Волга находятся в другой стране?

— Нет.

— Ну хорошо... Мать ты свою любишь?

— Да.

— А отца?

— Не знаю.

Запинка. Учитель не стал уточнять. Восхождение от конкретного к абстрактному — дело, конечно, важное, но сердце человеку не очень к этому стремится. Так практика показала.

— Ну ладно... Вы с мамой жили в доме, а дом свой любишь?

— Да.

— А дом расположен в городе Калязине. А Калязин ты любишь.

— Да.

— Прекрасно... А Калязин расположен в нашей стране... Значит, что ты любишь?

— Калязин.

Учитель помолчал.

— Трудно тебе будет,— сказал он.

Он рассказал об этом разговоре в учительской. Вся учительская сошлась на том, что Сапожников, по-видимому, дефективный.

— Нет... — сказал учитель.— Он очень послушный... Я сам велел ему не утверждать того, чего он не знает.

Послушный, но, значит, неразвитый и потому умственно отсталый. Все-таки не москвич, из Калязина приехал. И с этим учитель не согласился. Потому что они с Сапожниковым успели друг другу в глаза посмотреть. И в этом тоже есть своя логика, только другая.

— Сапожников, заполняй, заполняй анкету... Не тяни,— сказала молодая библиотекарьша Дома пионеров, что на горке возле Введенского народного дома на площади Журавлева.— Ну что тебе здесь непонятно? Социальное происхождение? Твой отец рабочий? Пиши — рабочий.

- Он не рабочий.
- А кто? Крестьянин? Нет? Пиши — служащий.
- Он не служащий.
- Как же это не служащий? Он где-нибудь служит? Как это нет?
- А кто же он у тебя?
- Борец.
- Борец за что? — опрометчиво спросила библиотекарьша.
- За деньги, наверно, — ответил Сапожников.
- За деньги борются только капиталисты и жулики! Он у тебя капиталист?
- Нет, — сказал Сапожников. — И не жулик. Борец он... Он в цирке борется.
- А-а... Работник цирка. Пиши — служащий.
- Он не служит.
- А что же он там делает?
- Борется.
- Сапожников, вот тебе записка. Попроси мать зайти в библиотеку.
- Сапожников попросил.
- Сапожников, почему ты перестал ходить в библиотеку? — спросил учитель. — Библиотекарьша говорит, что за этот месяц ты взял всего одну книгу... Да и ту про марионеток. Вот... — он опустил очки, — «Деревянные актеры» называется.
- Я туда не пойду.
- В чем дело?
- Вы сказали, что я дефективный.
- Я сказал? А ну пойдём вместе.
- Пришли. Сапожников остался в зале, а учитель прошёл за прилавок и скрылся за полками.
- Я сказал, что у Сапожникова есть дефект — чересчур конкретное воображение.
- Ну и что? — сказала библиотекарьша.
- У каждого человека может быть какой-нибудь дефект... Вот у меня вместо левой ноги протез — разве я дефективный?
- Почему вы меня обвиняете? Я этого про вас не сказала...
- А зачем же вы про Сапожникова?
- Но у него же в мозгу дефект!..
- А вы знаете, что Сапожников на районном конкурсе юных изобретателей занял первое место?.. Он придумал оригинальный спасательный пояс.
- Какой пояс? Что я вам сделала?
- Библиотекарьша заплакала. Учитель и Сапожников ушли.
- В библиотеку будешь ходить. Я тебе составлю список книг, которые ты должен обязательно прочесть, — сказал учитель, хлюпая по лужам. — Нет, список составлять не буду... Почему ты взял книжку «Деревянные актеры», зачем тебе деревянные человечки?
- Там написано, как они устроены.
- Помолчали. Одни ботинки хлюп-хлюп, другие хлюп-хлюп-хлюп. А в результате идут рядом и никто никого не обгоняет. Интересно.
- Кстати, ты можешь мне подробно рассказать весь процесс, который привел тебя к решению задачи с поясом?
- А что такое процесс? — спросил Сапожников.
- Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп.
- Ну хорошо... Была поставлена задача — придумать новый спасательный пояс...
- Освод поставил, — сказал Сапожников.
- Что поставил?



- Освод поставил задачу...
- Помолчи... В котором не было бы недостатков пробкового пояса — громоздкости, и надувного — долго надувать, когда человек тонет... Я правильно формулирую?
- Вы правильно формулируете.
- Ну и что дальше? Дальше ты начал читать книги насчет поясов...
- Зачем?
- То есть как зачем? Чтобы узнать, что придумали до тебя.
- А зачем?
- Ты действительно дефективный! Чтобы прежние выдумки могли новым.
- Так ведь никому не помогли,— сказал Сапожников.— Иначе бы конкурс не объявили.
- Объявили потому, что осознали ограниченность обоих вариантов,— строго сказал учитель.— Это очень много... Это диалектика... Тебе не понять... Мал еще... В каждом явлении есть противоречие... Что такое противоречие, знаешь? Нет? Ну хоть так: в каждой вещи есть для нас полезная сторона и есть вредная — и так и так, понятно?
- И так и так — понятно.
- Ну и расскажи, как ты придумал свой пояс... Только подробно.
- Да вы же сами сказали — и так и так.
- Ну и что?
- Ну, надо взять от двух поясов только полезное, а остальное не брать.
- Ну а как ты взял, как? Другие же не взяли?
- А-а... вон про что,— сказал Сапожников.  
Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп.
- Насколько я понимаю, суть твоей выдумки в следующем: берутся две гибкие пластины разной длины и прикрепляются к двум стенкам плоского мешка из водонепроницаемой ткани.
- Можно из плаща сделать мешок,— сказал Сапожников.— Он резиной покрыт.
- Молчи... Получается плоский мешок, где две стенки состоят из гибких пластин.
- Можно в чемодан положить и ехать на пароходе,— сказал Сапожников.
- Да подожди ты с пароходом... Подожди! — сказал учитель.— Дальше... В случае нужды человек огибает вокруг талии короткую пластину, образуя круг малого диаметра, в то время как длинная пластина образует круг большого диаметра... Правильно я формулирую?
- Вы правильно формулируете... Мешок растопыривается — а в нем воздух. И надувать не надо. Только пробку завинтить. В большой пластине же дыра с пробкой на цепочке?
- Ну и как ты рассуждал, когда это придумывал?
- Как — рассуждал?
- Ну хорошо... Что тебе прежде всего в голову пришло? Взять пластины — одну длинней, другую короче...
- Нет,— сказал Сапожников.— Пластины я потом придумал.
- Потом?
- Ага. Я сначала разозлился. Шину велосипедную накачивал насосом. Долго очень... пояс надувать. Надо, чтобы он сам воздух всасывал, как велосипедный насос, когда обратно тянешь. И у насоса одна стенка от другой отходит... ну, поршень, а внутрь воздух всасывается...

Дырку если заткнуть пробкой, то насос плавать будет... Ну а пластины потом... когда сообразил, что насос надо вокруг живота обогнуть...

— Так-так,— сказал учитель.

Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп.

Они шли сквозь осеннюю ночь и очень боялись друг друга.

Учитель боялся, что мальчик спросит его: «А почему чересчур конкретное воображение — это дефект?» А Сапожников боялся, что учитель поймет, что он наврал, когда сказал насчет велосипедного насоса. Потому что главное было в том, что Сапожников разозлился. Насос просто подвернулся под руку в этот момент.

А разозлился Сапожников потому, что ему жалко было кукольников, которые бродили по Франции со своими деревянными человечками и всякая сволочь могла их обидеть, потому что они бедные и за них заступиться некому и спасти, а они ведь никому ничего плохого не сделали, а только хорошее. И тут он придумал, как он их спасет, когда они все плывут на пароходе, и сволочи и кукольники, все. И вдруг капитан кричит: «Граждане! Тонем! Пароход тонет! Спасательных кругов на всех не хватит! Спасайся кто может!»

И конечно, сволочи богатые расхватили все пробковые пояса, а кому не хватило, те начали надувать свои надувные. Дуют, дуют, а пароход тонет, а кукольники стоят кучкой и прижимают к себе деревянных человечков, и должны все погибнуть, потому что чудес не бывает. Ах, не бывает?! И тут Сапожников спокойно так открывает чемодан, и у него там весь чемодан набит плоскими широкими поясами, как у пожарников, в одном чемодане помещается целая куча этих поясов. И он говорит кукольникам: «Берите пояса». А они говорят: «Спасибо, мальчик. Нам ничто не поможет. Чудес не бывает». А Сапожников говорит: «Берите. Это конкретное чудо, и все рано или поздно объяснится. Это мне Аграрий сказал».

Они берут пояса и надевают на себя, оборачивая, конечно, вокруг тела. И вдруг все видят: как только пояс обернут вокруг живота, так он уже надутый, а если обратно снять — он плоский.

Тут все кукольники с радостью надели пояса, прыгнули в воду и поплыли, а сволочи дрались из-за пробковых и надувных поясов, потому что ихний капитан приказал им: «Спасайся кто может!» А кукольники плыли, плыли и поддерживали Сапожникова, потому что ему пояса не хватило, и они выплыли на берег к городу Калязину и обсохли на том берегу, где росло дерево самшит, только еще маленькое. Ну, тут залаяла собачка Мушка, и миражи пропали. Сапожников закончил накачивать велосипедную шину, отвинтил насос, а на ниппель навинтил колпачок на цепочке. Вот как он изобрел спасательный пояс для того конкурса, про который им в классе объявил учитель. А остальное было просто. Надо было только сообразить, из каких материалов сделать пояс.

Как все это расскажешь учителю? Потому Сапожников соврал про насос, чтобы учителю было понятно.

— Может быть, основной принцип изобретательства...— сказал учитель,— это осознать в явлении главное противоречие и искать выход за пределами этого противоречия...

— Может быть,— вежливо поддакнул Сапожников.

Учитель вздохнул.

— Ну, иди,— сказал учитель.— Маме скажешь, что был со мной. Физику можешь сегодня не готовить. Я завтра тебя спрашивать не буду. Ботинки на печку не ставь. Кожа от высокой температуры сохнет и трескается, потому что процессы, в ней происходящие... В об-

щем, до утра так просохнут. И спать, спать! Почему ты галоши не носишь?

— Я их теряю,— сказал Сапожников.

## Глава 6. Угловая скамья

— Внимание!.. Поезд номер сто одиннадцать Москва — Рига прибывает на пятую платформу... Внимание!

Сапожников смотрел на перрон и не торопился выходить.

Виднелись черепичные крыши незнакомого города, солнце проваливалось в черные тени между домами, и воздух, влетающий в опущенную фрамугу, был сырой и незнакомый.

Сапожников взял свой кошель с барахлом и стал пробираться к выходу и вышел на солнечный перрон. Была вторая половина дня. Август.

Тут Сапожникова стали толкать, и покатились тележки с чемоданами — берегись! — и ему это было приятно.

Он не торопился и оглядывался. А потом узнал Барбарисова. Полнеющий человек в замшевой молниеносной куртке, с плащом через руку, он все вглядывался в проходивших, потом надел черные очки, и лицо его стало стремительным.

— Здравствуй,— сказал Сапожников.

Они обнялись, и Сапожников поцеловал его в щеку.

— Сними очки,— попросил Сапожников.— Не надо стесняться.

— Сейчас сядем в электричку и поедем в Майори, в пионерлагерь,— сказал Барбарисов.— Я захвачу дочку, договорюсь о лекции — я там читаю третьего числа, а ты пока посмотришь море. Там и пообедаем. А потом вернемся в Ригу.

— Да, да.

Они прошли через вокзал, и Сапожников все оглядывался. Ему нравилось. Но чересчур быстро шли. Ему казалось, будто он пустился в авантюру, хотя причин для такого настроения не было вовсе. Просто город похож на иностранный. Впрочем, так с ним бывало, даже когда он заходил в соседний двор или подворотню или видел вывеску «Баня», или «Химчистка», или «Клуб завода Гознак», или «В этом доме жил артист Мерцалов-Задунайский», как будто артист помер, а дверную табличку не снял, плут этакий.

— Это Майори. Мы приехали,— сказал Барбарисов.— Нравится?

— Да.

От всей дороги у Сапожникова осталось только стеснение от незнакомого говора, серый блеск реки, перепутанный с гулом моста, и за окнами — налетающий шум листьев.

А теперь они проходили вдоль редких заборов, а за ними красивые дома и деревья, и урны для мусора не стояли на земле, а висели на заборах, как почтовые ящики с оторванными крышками.

Фонтан с чугунными рыбами, навес концертного зала, сырой воздух, трепет теней на асфальте, рай земной.

— Дай мне сумку. А вон там пляж. Мы сейчас придем,— сказал Барбарисов.

Сапожников увидел дрожащий блеск на желтой стене, обогнул дом и увидел море.

Оно было огромное, до горизонта, темное, сине-зеленое, расписанное белыми барашками. Сапожников задохся и пошел по пляжу проваливаться ботинками в светлый песок. Немногие мужчины в шерстя-

ных плавках и женщины в бикини лежали на песке, грелись, а если кто стоял загорелый и нарядный — было видно, что ему холодно. Но все они были физически подкованные и закаленные хорошей жизнью.

Летела живая чайка, и ветер заваливал ее на крыло. Сапожников дышал и дышал, он моря сто лет не видел, и ему стало почему-то обидно, и он вернулся с пляжа на старое место.

— Здравствуйте, — сказала девочка в клетчатой юбке, стоявшая рядом с Барбарисовым, у нее был прекрасный цвет лица.

— Здравствуйте.

— Ты Глашку зовешь на вы? — спросил Барбарисов. — Ей четырнадцать лет.

— Именно поэтому.

— Ты же ее видел в Москве прошлый раз?

— Господи, конечно, — сказал Сапожников. — Но у нее была коса.

— Она ее отрезала недавно.

— Ничего, ей идет.

— Папа, я есть хочу, — сказала Глаша.

— Это значит — пойдем в шашлычную, — сказал Сапожников.

— Откуда вы знаете?

— Это же ясно.

Они пошли по улицам-аллеям, и Сапожникову все хотелось протрещать прутиком по штакетнику, но он только два раза кинул окурки в висячие урны.

— Давай мне сумку, — сказал он. — Чего ты ее тащишь?

— Мы уже пришли. Обязательно возьмем вина... Надо разрядиться. Ты письмо от Глеба привез?

— Да привез... — нехотя сказал Сапожников.

Они вошли в угловую шашлычную и сели за столик у окна. Тень. А на улице ровные одноэтажные дома и магазины.

— Вы будете пить целую бутылку вина? — спросила Глаша.

— О, господи, — сказал Сапожников.

Он думал, что Барбарисов возьмет коньяку, и теперь только покопился на эту педагогическую бутылку кисленького винца, он даже названия вин не знал и сказал:

— О, господи.

И стал есть шашлык.

— Глаша, ты знаешь, раньше он был меланхоликом, — рассказывал Барбарисов. — В нем было что-то байроническое.

— Это ~~явно~~, что у меня были грязные ногти, — сказал Сапожников.

Он повеселел. Что-то ему начинало становиться почти совсем хорошо, и обида прошла.

— Почему? — спросила Глаша.

— Так полагалось влюбленным. Меланхолия и грязные ногти.

У Сапожникова даже обида прошла. О море он старался не думать. Может быть, он даже еще искупается. Море-то было общее. В крайнем случае он будет купаться в сторонке, чтобы не видели, как у него живот растет.

Обратную дорогу Сапожников не запомнил.

Потом они долго поднимались на четвертый этаж старинного дома.

Блеклые каменные ступени, незнакомый запах на площадках, чугунные перила и хорошие выцветшие двери. А потом вдруг Сапожников вспомнил стихи про юродивого, который позвонил в квартиру за милостыней, а была зима.

СOLIDНЫЕ запахи сна и еды,  
 Допечек дверных позолота,  
 На лестничной клетке босые следы  
 Оставил невидимый кто-то.  
 Откуда пришел ты, босой человек?  
 Безумец, оборван и голоден.  
 И нижется снег и нежится снег,  
 И полночью кажется полдень.

— Пойдемте завтра посмотреть со мной фильм «Хижина дяди Тома»,— вежливо сказала Глаша.

— Ладно,— ответил он.

— Вот мы и приехали. Это квартира сестры. Они с мужем на юге. Спать ты будешь здесь.

— Прекрасная тахта.

— Сделана по заказу,— сказал Барбарисов, застилал постель.

— Барбарисов, что это за дамочки на стенках? Ужасные картинки.

— Иллюстрации из дореволюционных французских журналов. А может быть, из «Нивы».

— Мне они нравятся,— с вызовом сказала Глаша.

— Ну, значит, так правильно,— согласился Сапожников.

За окном было уже совсем темно. Сапожников заснул и видел во сне нехорошее. А раньше Сапожникову кошмары снились только дома.

— Чего ты ждешь от Риги? — спросил Барбарисов наутро.

— Развлечений,— сказал Сапожников.— Нормальное чувство командировочного.

— Понятно. Сильная выпивка, много красивых баб и сувениры с видами города.

— Нет... Просто несколько солнечных дней, минимум выпивки и общество милых людей. И давай начнем разбираться в нашем двигателе.

— Нашем? — спросил Барбарисов.

Сапожников не ответил.

— Кого ты считаешь милыми людьми? — спросил Барбарисов.

— Думаешь, я знаю? — сказал Сапожников.— Тебя, наверно.

За прохладным подоконником солнечная листва, спокойные крыши. На улицу, на улицу. Тишина, тайна, шелест шагов, вывески и трамваи. Полупустой вагон, синие рельсы, и, может быть, в пролете домов блеснет море. Хорошо бы поселиться здесь навсегда.

Тут вошла Глаша.

— Папа, я есть хочу,— удивилась она.

— Надо же, все время она хочет есть,— удивился Сапожников.

— А поздороваться не надо? — спросил Барбарисов.

— Доброе утро,— удивилась Глаша.

— Доброе утро,— удивился Сапожников.

В ушах Сапожникова звенело — утро, утро, утро,— что это их понесло, черт возьми? А, чепуха! Вчерашний день не в счет. Все они встретились только сегодня.

Если бы в это утро специалисты засекали время, не пропал бы невидимо рекорд мира по марафону.

Ничего не вышло. За сорок минут Сапожников отхлестал десяток улиц, и от свидания с городом остался только портрет Пола Раксы на афише и трамвай, пролетевший с безумной скоростью.

Опять зеленые яблоки. Сапожников как с цепи сорвался.

Он затормозил и посмотрел на часы. Он не сразу разобрал, где часовая стрелка, а где минутная, мешала длинная секундная, которая отбивала секунды со скоростью пульса.

Сапожников успел к десяти, как договорились, на угол улицы Ауссекля и даже купил в киоске пачку аэрофлотовских карточек-календарей для московских знакомых. Сапожников сел на чугунную угловую скамью и развернул веером глянцевые карты. Крапом были недели и месяцы, а рубашкой — самолет, летящий над Даугавой. Можно было бы, наверно, еще отыгаться, если бы знать правила. Но правил становилось все больше, и было скучно их заучивать. Чересчур солидно все выглядело, вот что.

Глаша переходила улицу, независимо оглядываясь по сторонам.

— Ах, вы уже здесь?

— Ах, я уже здесь, — сказал Сапожников.

Она вздернула брови.

— Как вам понравился город Рига? — светски бросила она.

— Мне очень понравился город Рига... А какие у вас отметки по диктанту?

— При чем здесь диктант? Я серьезно спрашиваю, вам понравился город?

Сапожников засмеялся.

— Во! — сказал он и поднял большой палец.

— Скажите, почему вы меня зовете на вы? Это странно.

— Чтобы вы не думали, что я нос задираю.

— Это странно! — сказала она.

— Будет вам восемнадцать, перейдем на ты. Годится?

— Это еще долго!

— Не успеете оглянуться, — сказал Сапожников. — А вот и наш папа идет.

Барбарисов двигался, помахивая портфелем. Свет-тень, свет-тень, солнечные зайчики.

— Ну, граждане, — сказал он, — пошли завтракать.

— Я придумал кое-что, — сказал Сапожников.

— Что?

— Мы позавтракаем, так? Потом сходим на вокзал, и я возьму обратный билет... Я, пожалуй, сегодня уеду в Москву.

Барбарисов неподвижно смотрел на Сапожникова.

— Ты с ума сошел, — сказал он спокойно. — Я созвонился с ребятами. Сегодня у меня в гостях куча сослуживцев и половина молодежного театра. Не валяй дурака, Сапожников... Вот, оказывается, ты какой стал.

## Глава 7. Серебряные велосипедисты

Прошел еще год-другой.

Сидел Ньютон в саду, вдруг ему по голове яблоко шарах — упало яблоко ему на голову. И Ньютон понял, что его голова притягивает яблоки. Так представлял это происшествие Сапожников. Но потом глядит Ньютон — яблоки падают не только ему на голову, а еще и на землю. Значит, его голова только помеха. А на самом деле, значит, это Земля притягивает яблоки. А если прорыть шахту сквозь земной шар, куда упадет яблоко? Оно, наверно, в центр Земли упадет. Оно, конечно, сначала с разбегу проскочит на ту сторону, но потом поболтается в шахте и вернется в центр Земли, как маятник.

Интересное дело получается.

Одно тело притягивает другое. А чем оно притягивает? Резинкой, что ли? Что-то тут не сходится.

Все знают: чем сильнее резину в рогатке оттянуть, тем сильнее она назад руку тянет. Или лук натягивать. Слегка натянуть и ребенок может, а вот натянуть так, чтобы лук согнулся, может только стрелок. Робин Гуд. Да это же всем известно. Значит, когда тетива сильнее растянута, она обратно сильнее тянет, а не слабей. Вот это притяжение. А в этой силе гравитации, в притяжении, все наоборот. Чем дальше одно тело от другого оттянуто, тем оно, тяготение это, все слабей и слабей. Все слабей одно тело к себе другое тянет. Что же это за притяжение такое?

А вот если вагон поставить на рельсы и давить на него изо всех сил, то он с места стронется и помаленьку покатится все быстрее. А ты дави с той же силой и только за ним поспевай. Что будет? А то будет, что он будет разгоняться, пока на станцию не влетит и в тупик не врежется, как яблоко в Ньютоновом садике. Потому что сила на него давила всю дорогу одна и та же, передыху не давала.

Вот и получается, что когда камень на землю падает, то это гораздо больше похоже на то, что его какая-то сила сверху давит и разгоняет, чем на то, что его сама Земля неизвестно какой резинкой притягивает. И потому похоже, что не сами тела друг к другу притягиваются, а какая-то сила их друг с другом в одну кучу сталкивает.

Скажете, что-то нам неизвестна такая материя, которая давила бы на тела и сталкивала их друг с другом. Но ведь и такая материя неизвестна, которая тела друг к другу тянет. Назвали гравитацией, а что такое гравитация? Любовь, что ли? Яблоки землю любят? Или Ньютонову голову? Пришло в голову Ньютону, что два тела друг к другу тянутся потому, что похоже, что тянутся. Так мало ли что на что похоже? Похоже, что солнце всходит и заходит, а пригляделись — все наоборот.

Ну, что тут поднялось, когда Сапожникову эти дефективно-конкретные несуразности в голову пришли и он их высказал, что тут началось!

— Сапожников из шестого «б» против Ньютона пошел! В шестом «б» все дефективные!

— Ты обалдел, что ли? Кто Ньютон — и кто ты? У тебя вон по химии и по немецкому тройки! И макулатуры ты собрал меньше всех!

— Какое может быть давление, если всем известно, что тела притягиваются? Это же всем известно!

— Это ты где же свое давление выкопал? В велосипедном насосе, что ли?

— Ага, — сказал Сапожников. — Если в насосе дырку зажать, а за поршень тянуть, то будет пустота, а природа пустоты не терпит.

— Поэтому я тебя терпеть не могу, — сказала Никонова.

— А если поршень отпустить, то наружный воздух его обратно затолкнет. Атмосферное давление. Один килограмм на квадратный сантиметр.

— Никто меня к тебе не толкает, — сказала Никонова. — Не надо сплетни слушать! Не надо! Не говори, чего не знаешь! Не надо чужие записки читать! А Лариса дура! Это тебе Котька Глинский сказал?

— Что?

— Что Лариска меня к тебе толкает?

— Я с Глинским вторую четверть не разговариваю.

— И напрасно... Он к тебе очень хорошо относится. Гораздо лучше, чем ты к нему.

— А ты откуда знаешь?

— Я с ним разговаривала. Ты просто людей не любишь.

- А ты знаешь, какую про него эпиграмму написали?
- Кто написал?
- Не знаю...

Сводник, сплетник и дурак —  
Сборник всяких глупых врак,  
Облик целый тут его,  
Во! И боле ничего.

- Гнусно! Наверно, ты и написал! — закричала Никонова.
- Я не умею, — сказал Сапожников.
- Это была правда. Никонова это знала.

Она только не знала, что ее подталкивало к Сапожникову. И он тогда этого не знал. Узнал только потом. Время. Время толкало и кружило их в своих водоворотах-временворотах. Тик-так, работали его часы, тик-так — и уже Сапожникову четырнадцать лет, а Глинскому часы подарили.

- Мама, — сказал Сапожников, — зачем людей рожают?
- Людей? Детей, наверно?
- Ну, детей...
- Чтобы любить кого-нибудь.

— Кого-нибудь? — спросил Сапожников.

— Кого-нибудь, кто будет тебя вспоминать долгое время... Конечно, бывает всякое... война, например, не дай бог... но в принципе дети должны пережить родителей... Детей рожают, чтобы любить того, кто тебя переживет.

— Мама, что такое время? — спросил Сапожников.

— Время? Откуда же я могу знать?.. Никогда не задумывалась, — сказала мама. — Как тебе в школе живется, сынок?

— Хорошо, — сказал Сапожников. — А что?

— Ты стал вопросы задавать, как Ньюра. А почему ты про время спросил? Кому-нибудь уже в классе часы подарили?

— Нет...

— Глинскому, наверно, — сказала мама. — Его отец третий день в цех без часов ходит, время спросить не у кого... Мы думали, в починку отдал.

— Котька все уроки на часы смотрит.

— Я тебе тоже подарю. Отцовские, серебряные, с велосипедистами на крышке... Не знаю, ходят ли они еще или нет.

— Мне не нужно, — сказал Сапожников.

На серебряной крышке мчались серебряные велосипедисты.

— Ты не думай, это ведь все равно твои часы, — сказала мама. — Когда ты фолликулярной ангиной заболел, приехал отец. Ты, конечно, ничего не помнишь, ты без сознания был... Он оставил часы и велел продать в торгсин... Тогда еще торгсины были... Доктор велел для тебя лимоны где-нибудь достать... Сейчас уже есть новые средства, красный стрептоцид и белый... а тогда не было... Я тогда все отнесла что было — несколько ложек серебряных, обручальное кольцо, отцовский Георгиевский крест. Отец и в германскую был пулеметчиком и в гражданскую у Ковтюха... А часы не продала... Я хотела, чтобы они были у тебя... Ты уже взрослый... Носить их, конечно, нельзя, они карманные, их в жилетном кармане носят на цепочке. А где теперь жилеты?.. Будут у тебя над кроватью висеть на гвоздике.

— Ма, а почему отец пошел в цирк работать? — спросил Сапожников.

— Это сложная история... Ты еще маленький, — сказала мама.

Серебряные непроданные велосипедисты мчались по серебряному полю мимо старинных серебряных трибун с навесами и оглядыва-



лись на полустершихся серебряных соперников. Время не продавалось ни за какие лимоны, его нельзя было отменить даже ради спасения жизни или ради того, чтобы быть с человеком, к которому тянет больше всего на свете. Это и есть настоящее человеческое земное тяготение, а не бессмысленный камень, который падает на землю по невидимым рельсам.

Сапожникову тогда хорошо жилось в школе. Его почему-то начали любить. То все не очень, а теперь вдруг все наоборот. Махнули на него рукой, что ли?

## Глава 8. Все еще обойдется

Сапожников пришел в институтскую столовую. Гремели металлические табуретки на каменном полу и посуда в раздаточной, солидные голоса просили борщ, «пожалуйста, половинку», беф-строганов, компот. Молодые сотрудники сидели отдельно, пожилые отдельно. Пожилые смеялись, молодые сидели тихо. Сапожников и Барбарисов сели в уголок. В столовую вошла молодая женщина лет двадцати пяти, в тесном платье серого цвета. У нее были длинные волосы. Она подошла к столу молодых сотрудников, о чем-то заговорила и поставила ногу на перекладину табуретки. Потом ей что-то сказала девушка с птичьим носом, она обернулась, посмотрела на Сапожникова, и Сапожников поймал сонный и любопытный взгляд. Она смотрела чуть искоса и неподвижно и была похожа на старшеклассницу, которой тесна школьная форма. Сапожников отвернулся и заговорил с Барбарисовым, а потом спросил;

— Кто это?

— Ее зовут Вика.

— Откуда ты знаешь, про кого я спрашиваю?

— Это же ясно,— сказал Барбарисов.— Пей кофе, ненормальный.

— Скажи ей, что моя фамилия Сапожников.

— Когда?

— Сейчас.

Сапожников молчал. Барбарисов смотрел на него.

— Ладно, не тоскуй,— сказал Барбарисов.— Заводной ты.

Он поднялся, подошел к ней, взял ее за руку и подвел к Сапожникову.

— Фамилия этого дяди — Сапожников,— представил Барбарисов.

Она улыбнулась. Сапожников обмер. Вот как иногда звучит труба архангела.

— Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда,— пел Сапожников.— И любят песню деревни и села... и любят песню большие города,— пел Сапожников.

Он шел по улицам Риги веселенький, и пел песню, и не иронизировал.

В огромных деревьях парков запутался оранжевый закат. Зеленое и золотое — что за дни стоят! Где суровое небо Прибалтики, где хмурые северные краски, которые обещало воображение при словах «Рига», «Латвия»? Не погода, одно баловство. Сапожников грыз индийские орешки без скорлупы, клевал из пакета скрюченные белые орешки, похожие на личинок, и ему казалось, что за крышами домов закат опускается на колени.

А как все хорошо начиналось, подумать только! Нет, нет, думать как раз не полагалось. И, может быть, этому не надо сопротивляться, когда такая красота кругом.

Темнело постепенно, и Сапожников проходил улицы и парки и спорил с Барбарисовым, который сегодня показывал ему древнюю стену. Там, где раньше у бойниц стояли воины, теперь под черепичным навесом лежали аккуратные дрова.

Барбарисов сказал:

— Они хотят здесь все почистить и устроить кафе.

— Красивая черепица,— сказал Сапожников.— И кирпичи.

— Бар поставят, кофеварку, современная музыка. Будет занятно, снаружи старина, а внутри модерн.

«Как бы не вышло наоборот,— подумал Сапожников.— Снаружи модерн, а внутри старина».

А теперь Сапожников клевал орешки и спорил с собой.

Потому что нет, и раньше, в неподходящие самые моменты, жизнь не сдавалась. Потому что когда лошади были сытые, не так все происходило, как Сапожников вспоминал в Верее, и Рамона искала пластинку. Лошади переступали копытами, и сырая солома шелестела и перетряхивалась, и лошади тянули морды в сторону дороги, которая вся как есть была видна из сарая. Прямо-таки набегала на сарай, втыкалась в открытую дверь, и луна била в лошадиные храпы, как будто дорога уже летела им навстречу, а ведь это еще только предстояло.

— Почему мужчины? — спросил Цыган.

— Ай-яй-яй, какой интересный мальчик,— сказала Галя Дзماشенко, по прозвищу Рамона.— А ты не забыл, где надо нажимать, чтобы выстрелило?

Интересный мальчик промолчал. Она имела право так спрашивать. В прошлый раз интересный мальчик действовал автоматом как дубинкой. Он действовал экономно и удачливо, и у них сейчас было три лишних диска.

— Интересно, сколько детей может родить женщина? — спросила Галя.

— Зараз или по очереди? — спросил Цыган.— И потом, смотря какая женщина.

— Вот как я, например.

Заскрипело седло. Цыган дотянулся и погладил Галю по бедру.

— Штук десять, наверно.

— И здесь погладь.— Она показала нагайкой на свои выступающие груди.

Цыган погладил ей груди.

— Приятно,— сказала она.

Она имела право говорить и делать все что ей вздумается. Ее могли убить первой.

— Дорогу женщине,— сказала она.

Они дали ей дорогу, и луна осветила ей колени. Галя любила короткие стремена.

— А еще я бы послушал джаз,— гордо сказал Сапожников, потому что он был самый младший.

Никто ничего не ответил. Цыган рвал фотографии, и все поняли, что он их не сдал, как положено.

— Чтобы труба закричала,— сказал Сапожников.

Тогда он во всех компаниях был самый младший, а теперь он во всех компаниях был самый старший.

— Мечтательная труба,— сказал Сапожников.

— Не бойся,— сказала Рамона.— Ты красивей всех, и я тебя люблю.

Галя каждому говорила только то, что делало его человеком, не меньше, но и не больше. Покойники ее не интересовали.

Дорога звала, дорога заманивала. Роммелевские танки, выкрашенные в рыжий цвет, потому что их перегнали из Африки, молчали уже полчаса.

— Ну...— сказала Галя.

Сапожников вытянул ракетницу и направил ее в заднее оконце сарая, прорезанное в толстых бревнах.

— Пошла,— сказала Галя и медленно подняла на дыбы своего чалого.

Хлопнул выстрел ракетницы, чалый хрипел и перебирал в воздухе красивыми ногами. Кони дрожали.

Вспухла и развернулась осветительная ракета. Стали видны рыжие танки, торчавшие у поворота. Все дело было в ракете. Из-за нее они могли удрать только на свету.

Галя шевельнула коленями. Чалого кинуло на дорогу...

Вот как все было на самом деле. Как в замедленном кино, а не так — тыр-пыр, в два счета, и поскакали. Было даже еще медленнее...

— Я пойду провожу Вику,— сказал Сапожников,— уже очень поздно.

— Когда вернешься, звони сильней. Я могу заснуть,— сказал Барбарисов.

Вика пошла вперед, Сапожников за ней. Когда Сапожников снимал ее плащ с вешалки, он слышал, как Глаша сказала угрюмым голосом:

— По-моему, она из себя строит.

Диктор сказал:

— «Маяк» продолжает свою работу. Передаем легкую музыку.

Она привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку.

— Приятно,— сказал Сапожников.— Только непонятно за что.

— За глупость.

Под эту легкую музыку Сапожников и Вика шли по ночной улице.

— Ну так вот...— сказал Сапожников.— Все будет отлично.

— О чем вы?

— Вы уже начинаете радоваться,— сказал Сапожников, не понимая, что это он говорит о себе,— поэтому держите себя на вожжах, понятно? Иначе вас разнесет к чертям от первой царапины.

Они стояли на темной улице. Начал накрапывать дождь.

— Пошли,— сказал Сапожников.— Промокнете. Рассвет скоро.

— Не бойтесь,— успокоила она.— Все еще обойдется. Я вам обещаю.

Подоконник был мокрый, крыши серебряные. За окнами хмурый рассвет. Дождик. Как будто кончились прологи и теперь пойдет жизнь без пустяков.

Глаша стояла и смотрела на будильник. Это будильник ее поднял, а не звонок в дверь.

— Это будильник звонит,— сказала она.

— Так что же ты?

— Все равно уже утро... Папа, вставай.

Воздух тянет с моря, Глаша догадалась, что сейчас живет в Риге, а то она забыла об этом. Все последние дни была Москва, Москва из-за этого Сапожникова. Особенного ничего не было, а весь дом покачивается на тихой волне, как ресторанчик в порту.

Глаша спросила:

— Как ты думаешь, Сапожников остался ночевать у Вики?

Отец сразу открыл глаза.

— Что ты болтаешь! — сказал он.— Ну что ты болтаешь!

— Он не должен так поступать.

— Он должен тебя спрашивать,— сказал отец, вылез из-под одеяла и начал одеваться.

Потом он прислушался. Кто-то тихо позвонил в дверь.

— Ну вот он пришел. Иди открой,— сказал отец.

— Не пойду.

— Долго ты еще будешь мне голову морочить?

И пошел открывать дверь.

Глаша включила радио, повернула на полную мощность, и диктор сказал:

— ...дописана четвертая страница летописи советского бадминтона. Она может войти в историю под названием турнир Константина Вавилова. Военнослужащий из Москвы — сильнейший мастер волана.

Было слышно, как в прихожей шумит плащ, с которого стряхивают воду. Потом Сапожников сказал:

— С добрым утречком, Агафья Тихоновна... виноват, Глафира Александровна. Как почивали, мамаша?

Глаша обернулась.

— А вы?..— спросила она.

И ушла.

Барбарисов сказал хмуро:

— Не расспрашиваю об успехах...

— Дурачок ты...— сказал Сапожников.— Трамваи же не ходят.

Шел пешком через весь город.

И ему снова вспомнилась вся пустынная дорога, и его громкие шаги по твердому ночному асфальту, и блеск трамвайных рельсов на перекрестках, и внезапные сутулые пары из-за угла — обязательно мужчина в ватнике и женщина в резиновых сапожках: грибники спешили за город, — а потом стал накрапывать дождик, и впереди между домами начал вспухать рассвет, и Сапожников первый раз не чувствовал себя одиноким на пустой ночной дороге.

— Окажи мне услугу,— прошептал Барбарисов.— Повтори то, что ты сказал, только погромче.

— Понятно,— сказал Сапожников, покосился на дверь и сказал громко: — Дурачок ты... Трамваи же не ходят!.. Шел пешком через весь город!

— Да не ори так.

Отворилась дверь, и вошла Глаша.

— Вы хотите есть? — спросила она.

И тут опять раздался звонок.

Барбарисов сказал:

— Кого там еще черт несет?

— Это телефон...— Глаша убежала.

— Ну что Вика? — спросил Барбарисов.

— Если мне не изменяет память, я, кажется, втрескался,— сказал Сапожников.

Глаша протянула через комнату шнур и поставила аппарат на стол.

— Это вас.

Сапожников взял трубку.

— Слушаю. Привет... А, собственно, почему вы не спите?.. Конечно... Я только что говорил Барбарисову, что я, кажется, втюрился... Почему потише?.. Мне приятно, чтобы об этом знала вся Рига.

Он положил трубку. На него смотрели.

— Ну, братцы,— сказал он,— я отправляюсь к Вике... Спать, видимо, буду только в Москве... Глаша, есть возражения?

Глаша смотрела на него с интересом. Подняв бровь.

— Мне понравилось, как вы с ней говорили...— протянула она.— И что все вслух... Мне это нравится.

— Вы хороший парень,— сказал Сапожников.— И я вас люблю.

— Я не парень,— сказала Глаша.

— Слушай, от тебя электричество в тыщу вольт,— сказал Барбарисов Сапожникову.— Сегодня ты на моем докладе, не забудь. В Майори. Бери Вику, и приезжайте вместе.

— Если она не заснет,— сказал Сапожников, бойко, петушком серым козликком выскакивая из комнаты, будто и не было ничего, будто он хмельной, или бездушный, или легко относится к жизни и все его страдания липовые, но, слава богу, жизнь сложнее всякого мнения о ней, и это обнадеживает, надо только иметь терпение, а где его взять иногда...

Сапожников хлопнул дверь, и квартира Барбарисовых закачалась на тихой волне.

Тихая волна понесла Сапожникова, и он закачался первый раз за эти лютые годы, потому что ему не стало смысла сопротивляться, потому что первый раз он не должен был перед кем-то хранить навязанный ему облик, хранить даже тогда, когда все облики были разбиты и его предали, и четыре года длилась эта метель, эта пытка, когда с него сдирали панцирь и ели живого, как китайцы черепаху.

Они с Викой поцеловались.

Весь день они провели вместе и ели сосиски и яичницу в каком-то буфете, у стойки пили кофе, потом обедали в ресторане «Луна», до смерти хотели спать, потом перехотелось, осталась только лихорадка и гул в ушах, потом вечерело и пришла пора ехать в Майори. Грохотала электричка, Барбарисов сидел напротив них, а Вика пыталась задремать на плече у Сапожникова. Все было открыто всем, и никто ничего не понимал, а за окном хмурые поля и мокрые полустанки.

Лекцию Барбарисов читал хорошо, а в перерыве сказал грустно:

— Идите прогуляйтесь у моря. Потом встретимся.

— Нет-нет,— сказала Вика.

И они ушли.

Это было странное, совсем другое море, плоское, серо-сиреневое от вечернего неба до горизонта. По блеклому спокойному песку прогуливались люди в пальто, и на воде, как утки в пруду, сидели белые чайки.

— Иди сюда... я соскучился,— сказал Сапожников.

Она стала перед ним и подняла голову.

— Я все равно соскучился,— сказал Сапожников.— Даже когда ты рядом, я по тебе соскучился. Мне кажется, я тебя сто лет не видел.

Они поцеловались. Потом долго стояли, обнявшись, и никто им не мешал.

— Почему ты такой? — сказала Вика ему в плечо.

— Не знаю...— сказал Сапожников.— Жизнь меня дразнит, как дети мартышку. Протягивают яблоко, потом отдергивают его, и я становлюсь злым и недоверчивым. Тогда я говорю — а подите вы все, не нужен мне ваш сладкий кусок, плевать я на него хотел, обойдусь черной корочкой. И тогда поднимается вопль. Ах так, кричат дети, не хочешь нашего яблочка, ну мы тебе покажем! И показывают, между прочим. Я не доверяю детям.

— Я не ребенок,— сказала Вика.— Ты с самого начала меня не понял. Я здоровая баба. Это у меня только глаза жалобные. Зачем ты соврал, что получил телеграмму?

— Я не соврал,— сказал Сапожников.

Они перешли на шаг в сторону, потому что песок под ними все время проваливался, он только сверху был слежавшийся и твердый.

— Я же знаю, что никакой телеграммы не было.

— Не важно, что не было,— сказал Сапожников.— Важно, что я ее получил.

— Не смейся.

— Я не смеюсь. Я кричу... Неужели незаметно?

И тут диктор неугомонной радиостанции «Маяк» сообщил:

— Советский ансамбль «Березка» отбыл сегодня на родину, завершив триумфальную поездку по странам Среднего Востока.

— Знаешь, хорошо, что у нас не было романа,— сказал Сапожников.

— А у нас не было романа?

— Ну, всяких там плотских радостей.

— Мы просто не успели.

— Нет, не просто,— сказал Сапожников.— Просто это было не нужно.

Они услышали тяжелые шаги по песку, как будто шла статуя командора, но ей было трудно в темноте на рижском взморье.

— Сапожников,— сказал Барбарисов.— Я Глаше звонил, тебе телеграмма пришла из Москвы.

— Какая телеграмма? — спросил Сапожников.

— Анна Сергеевна какая-то спрашивает о твоём здоровье. Беспокоится. Всем приветы.

Абсолютно тихо было на взморье. Ни звезд не было, ни моря, и песок не скрипел.

— А, Ньюра,— сказал Сапожников.— Теперь все в порядке. Можно ехать.

— Ты считаешь, что все в порядке? — сказала Вика. — Я тебя никому не отдам, слышишь?

— Это меня и беспокоит,— сказал Сапожников.

После этого он уехал.

## Глава 9. Приглашение на праздник

Учитель сказал:

— Ребята, попробуйте сформулировать, каким должен быть, по вашему мнению, самый лучший дом, даже идеальный дом, дом будущего. Ну-ка попробуйте!

— Зачем? — спросил Сапожников.

— Сапожникова я не спрашиваю,— сказал учитель.— Конечно, лучше его Калыгина ничего не может быть. Это же весь мир знает.

— Весь мир не знает,— сказал Сапожников.

— Ну, значит, ты объявишь... урби эт орби... городу и миру. Сапожников, убери с парты эту гадость.

— Это насос.

— Я и говорю, убери эту гадость.

Это было как раз в ту зиму, когда Сапожников против Ньютона пошел. И потому они с учителем были в ссоре. Вся школа про это знала, и даже из района приезжал инструктор, расспрашивал учителя и завуча.

— Все нормально,— сказал учитель.— Пусть спотыкается. В науке отрицательный результат — очень важное дело. Он сам поймет, что на этой дороге тупик.

— При чем тут наука? — воскликнула завуч.— Сейчас ему надо запомнить основные законы природы! Парень уже здоровый. шестой

класс, а ему ничего втолковать нельзя. Я буду ставить вопрос перед районо.

— Ну и что же он утверждает? — спросил представитель районо. — Что закон всемирного тяготения — это ошибка?

— Нет, — сказал учитель, — этого он не утверждает... Он говорит, что закон правильный, по вычислениям все сходится. Сила действительно убывает пропорционально квадрату расстояния. Только он говорит, что это не притяжение.

— Как же так? — спросил представитель районо. — Закон правильный, а притяжения нет... А что же есть?

— Просто хулиганство какое-то, — сказала завуч.

— Погодите, — сказал представитель. — Это забавно. А что же есть?

— Он еще этого не знает, — сказал учитель.

Представитель районо засмеялся.

— Ну, слава богу, — сказал он. — Я думаю, ничего страшного... А откуда у него такая странная идея?

— Из-за насоса! — воскликнула завуч. — Из-за проклятого велосипедного насоса... Я запретила ему приносить насос в школу... Но если вы попустительствуете...

— Да вовсе я этого не делаю, — сказал учитель.

— Он молится на этот насос! Как вы не понимаете? Он часами тупо на него глядит! Это фетишизм какой-то, тотемизм! Религиозное извращение, вы понимаете или нет? Сектантства нам еще недоставало!

— Погодите, — сказал представитель.

— Я за ним с третьего класса наблюдаю... С самого прихода я заметила ненормальность... Вы помните, как он заставлял просить прощения у бутерброда?! Помните?

— Не у бутерброда, — сказал учитель.

— Он упрямый, как осел! Он спорщик! Ему ничего втолковать нельзя!

— А доказать пробовали? — спросил представитель районо. — Ну вот вы, например? Вы же преподаватель математики.

— Во-первых, строго говоря, я физик.

— У нас вы преподаватель математики, — сказала завуч. — И, кроме того, вы классный руководитель.

— Увы, руководитель я далеко не классный...

— Что верно, то верно, — сказала завуч.

— А во-вторых? — спросил представитель.

— А во-вторых, строго говоря, наличие в природе силы тяготения не обнаружено.

— Та-ак... — сказала завуч. — Договорились...

— Обнаружено только взаимодействие между телами, подчиняющиеся формулам, которые вывел Ньютон.

— Мило, очень мило, — сказала завуч.

— Сам же характер этого взаимодействия еще не изучен, и потому слово «тяготение», или иначе «гравитация», является рабочей гипотезой, удобной для вычислений.

— Это действительно так? — спросил представитель. — По образованию я гуманитарий.

— Да... — сказал учитель. — Это действительно так.

— Мне об этом ничего не известно! — вскричала завуч. — И не ему об этом судить! Не Сапожникову! Какой-то Калязин! Какой-то монастырь, какое-то чудо святого Макария! Вы чувствуете, откуда ветер дует?

— Но Сапожников как раз утверждает, что никаких чудес не бывает, что все рано или поздно объяснится... А это, простите, чистейший материализм, — сказал учитель.

— Это действительно так? — спросил представитель.

— Конечно... Можете с ним поговорить.

— Я вам верю... А как учащиеся ко всему этому относятся?

— Смеются, конечно.

Представитель района засмеялся.

— Я думаю, ничего страшного, Екатерина Васильевна, — сказал представитель. — И кроме того, этот мальчик занял первое место на районном конкурсе изобретателей...

— Это ему и вскружило голову, — сказала завуч. — За это ему надо дать по рукам.

— И кроме того, насколько мне известно, идея изобретения пришла ему, когда он изучал велосипедный насос... Из-за этого случая ваша школа на хорошем счету даже в гороно... Ваш опыт изучают.

— А вы знаете, что мне сказала библиотекарь в Доме пионеров? — успокаиваясь, сказала завуч. — Когда он заполнял анкету, то в графе социального происхождения он написал «обыватель»... Ну, Сапожников... Правда, это давно было.

— Ну вот видите? — сказал представитель района. — Когда будет вечер отдыха, позовите меня.

— А вам как классному руководителю я заявляю официально, — сказала завуч, — в присутствии представителя района — велосипедный насос приносить в школу запрещаю. Это вопрос принципа... Ну, Сапожников!..

Это еще было до всеобщего признания теории относительности, которая внесла поправки в небесную механику, и фамилия Ньютона была, как фамилия Аристотеля в прошлые века, и любое сомнение считалось грехом. Теперь это происходит с фамилией автора теории относительности, имя коего называть всуе также считается грехом.

Сапожников убрал в парту велосипедный насос и стал формулировать задачу насчет идеального дома.

— Итак, к чему мы пришли? Из чего состоит дом? Давайте подведем итоги, — сказал учитель.

— Из мебели, — сказал Сапожников.

Никонова заржала. Она тоже так думала, но побоялась сказать.

— Сапожников! — сказал учитель и помолчал. — Итак, подведем итоги. Дом — это некий объем, стены которого образуют искусственно созданную среду, делающую человека независимым от влияния внешних изменений... То есть дом — это как одежда, это, если хотите, инструмент для поддержания постоянной температуры, необходимой человеку... Нас сейчас интересует именно этот вопрос — температура среды, теплопроводность изоляции, то есть стен дома, и теплообмен между внутренней и внешней средой... Почему греет одежда?

— Она не греет, — сказал Сапожников.

Никонова заржала. Она знала, что, когда она смеется, все на нее оглядываются. На нее оглянулись.

— Сапожников прав, — сказал учитель.

Теперь засмеялись все.

— Ну? Долго будем смеяться? Сапожников, еще раз вытащишь насос — выйдешь из класса. Итак, одежда не греет, а является изоляцией внутренней среды от внешней. Прекрасной изоляцией является воздух. Поэтому в окнах делают двойные рамы. Если бы можно было сделать одежду из воздуха...

— То все были бы голые, — задумчиво сказала Никонова.

Мама сказала:

— Хочешь Калязин последний раз повидать?

— Почему последний? — удивился Сапожников.



— Ходят слухи, что на месте Калязина сделают море.

— А куда же Калязин денется?

— Он уйдет под воду... Ну, может быть, не весь, частично... Но левая сторона, где мы жили, уйдет под воду.

— И наш дом?

— Не знаю... Может быть, перевезут куда-нибудь... Бабушка переезжать не хочет. Нюра уехала, мы уехали, дядя в школе весь день. Как бабушка с печкой управляется?.. Как все это будет — не представляю... Надо отцу написать, чтобы приехал. Он сейчас где-то в Калининне выступает. Мне в школе обещали, что тебя в зимний лагерь возьмут на две недели на январские каникулы, а лагерь будет как раз в монастыре... Помнишь, там был дом отдыха электрокомбината?

— Наша школа ему подшефная.

— Да, я знаю... Я как-то забыла об этом. Какое совпадение, — сказала мама, — представляешь? Кто мог подумать, что все так переплетется?

— Ведь Дунаев в трансформаторном работает, — сказал Сапожников.

— Ах да... Действительно... Хорошо, что мы все вовремя приехали в Москву... Теперь с пропиской все трудней и трудней. Если бы не Карлуша, старый папин друг, мы бы никогда в Москве не устроились... Как все переплелось. Прямо паразитительно.

— А Нюру опять у Дунаева увели, — сказал Сапожников. — Помоему, она обыкновенная...

— Замолчи! — прервала его мама, не дав сказать последнее непоправимое слово. — Молчи. Ты ничего в жизни еще не понимаешь...

— Потому что частицы воздуха, — сказал учитель, — отстоят далеко друг от друга и им, чтобы встретиться и столкнуться друг с другом, нужно больше времени... Вот почему воздух — прекрасная изоляция... В чем дело, Сапожников?

— А если воздух выкачать? — спросил Сапожников.

— Откуда?

— Ну, если между окон выкачать воздух, то что останется?

— Осколки, — сказал учитель. — Давление атмосферы вдавит с двух сторон стекла. Природа не терпит пустоты, запомните...

— Значит, пустота ни на что не годится?

— То есть? — настойчиво спросил учитель.

— Если в пустоте частиц нет, значит, они не сталкиваются?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Изоляция, — сказал Сапожников. — Теплоту не проводит.

— А-а... — успокоился учитель. — Это термос... Так делают термосы. Колба с двойными стенками, между которыми вакуум, пустота.

— Ну да, стенки двойные, а внутри пустота. Можно стенки в доме сделать такие... Воздух выкачивать... Отопления не нужно... Печку топить не нужно будет, — сказал Сапожников.

Он хотел добавить, что бабушке уже трудно печку топить, но не добавил. Он теперь уже был немножко умный. И ему от этого было скучно. Потому что ему много раз объясняли, что умный — это тот, кто неоткрытый, а открытые только простофили. Что-то тут не совпадало с правдой, но что именно, Сапожникову еще понять было не дано. Для этого ему нужно было узнать женщину и понять, что для большинства из них главное не оказаться простофилей. И Сапожников тогда не знал еще, что обречен всю жизнь искать подругу-простофилю, чтобы и самому быть с ней простофилей. И он иногда сталкивался с такими, но потом с ужасом видел, как быстро они умнеют. И это приводило их к мелким тактическим выигрышам и имитации и к ог-

ромному стратегическому проигрышу всей жизни и к несчастью. А разве это правильно?

— Термосы все равно остывают,— сказала Никонова.— Вечером нальешь кипяток, а утром уже пить можно.

Учитель смотрел на Сапожников не мигая. Сапожников испугался.

— Я убрал насос, убрал, честное слово,— сказал он.

Поезд остановился, и школьники начали выгружаться. Сапожников, как всегда, последний — пока слез с третьей полки, которая для вещей, пока снова наверх полез за чемоданом, пока в ночное окно смотрел, пока снова спустился, в вагоне уже никого не осталось.

— Мальчик, побыстрей,— сказала проводница.

Сапожников вылез на ночной перрон, и никто его не спросил, куда он девался. А он все равно втайне на это надеялся.

Потом поезд ушел и открыл ночное поле, где стояли лошади и много саней, в которые стали грузиться школьники — вещи отдельно, школьники отдельно. Сено в ногах, звезды наверху в небе, скрип полозьев, сопение одноклассников, ветер, ветер — это они едут. А дорога все назад бежит, назад, а впереди Калязин, который тоже давно позади, все времена перепутались, ничего теперь не понять, как время течет, то быстро, то медленно, как будто у него то узкие берега со стремниною, то широкие берега с разливами, старицами и времяворотами, где кружатся щепки, все сближаясь друг с другом, чем глубже их засасывает воронка.

Гиганты старшеклассники, которые уже дожидались их на станции, теперь везли на гигантских санях гигантскую елку.

Впереди загадели. Сапожников приподнялся и увидел теплые огни в освещенных воротах дома отдыха и холодные монастырские стены, которые построили для изоляции внутренней среды от внешней.

Потом всех школьников разгрузили по палатам — каждый чемодан под свою кровать — и велели ничего не есть из домашнего, потому что будет праздничный новогодний ужин, а в кельях было холодно, потому что стены их были цельнокаменные и внешняя среда отнимала теплоту у внутренней.

И тут, конечно, двое школьников из ихней кельи шутя подрались, чтобы согреться, а потом не шутя подрались, чтобы остыть. А третий все-таки жрал ногу от курицы, приговаривая: «Вот он, твой Калязин». Тогда Сапожников сказал, что в монастыре есть музей старого оружия и подземный ход, и это их успокоило. Они надели пионерские галстуки и пошли на праздничный ужин, потому что их туда позвали.

В огромной столовой дома отдыха вдоль всех стен, кроме эстрады, стояли огромные праздничные столы, в центре стояла огромная праздничная елка, почти достававшая до огромного потолка трапезной, где еще виднелись ржавые крылатые люди и линия-голубое штукатурное небо. А во время огромного праздничного ужина, куда добавили еще и обед — первое, второе и третье, потому что рассчитывали, что школьники приедут засветло, не пропадать же обеду,— был концерт, где артист на сверкающей дудке, похожей на никелированное пирожное, исполнял номер «Смеющийся саксофон», Дора Рубашкина из десятого «а» пела «Соловья» Алябьева не хуже Барсовой и «Санта Лючию» на русском языке, а гиганты старшеклассники показывали упражнения на брусках, с грохотом падая на подмышки.

И в огромном зале было светлым-светло от электрического освещения и от свеч на праздничной елке, а также было тепло от праздника на душе и оттого, что в огромных окнах были двойные рамы, между

которыми метались эти странные частицы, которые редко сталкиваются друг с другом и потому берегают драгоценное общее тепло праздника от внешней стужи.

И теперь уже чересчур конкретное дефективное воображение вовсе не мешало Сапожникову, а, наоборот, помогало испытывать счастье праздника, счастье теплоты, счастье песчинки, частицы, кружащейся в праздничном времявороте. И кружился пол с конфетти под музыку артиста с саксофоном, и кружилось небо с рыже-голубыми гигантами, нарисованное чьим-то конкретным воображением.

А потом снова келья, где ребята все свои. Сапожников тут пошел искать и нашел перед сном ледяную уборную, где в соседней кабине кто-то басом пел: «И будешь ты царицей мир-ра...» — а в разбитое окно была видна луна, которая убежала от облаков. Праздник кончился.

Утром было соревнование по конькам и эстафета. Сапожников свой этап выиграл, а этот паскуда, курицын сын, сначала пошел хорошо, а на финише упал на метельном льду старицы. И Сапожников не спросясь ушел к бабушке.

Белое огромное поле с вешками для тех, кто не знает дороги, заметаемая тропка, проложенная чьими-то ногами. Трезвость. Высокий звон одиночества. Слепящий белый снег. Слепящий белый ветер в лицо.

Но потом черное пятнышко на дороге — собачка Мушка, которая не узнала его и отскочила от протянутой руки, но побежала за ним вслед.

Стук, стук, стук с замиранием сердца в калитку. Открыл средний дядя тычинки-пестики, пригляделся и ахнул. Сапожников вошел во двор. Залаяла собачка Мушка и вылезла из своей конуры, она была уже совсем старенькая и на улицу не выходила, а это дочка ее попалась Сапожникову на метельной дороге. Теплота, теплота.

— Бабушка, а почему праздник не может быть каждый день? — спросил Сапожников.

Это у него всю жизнь было так.

Еще когда он совсем маленький был, лет пяти, наверно, его первый раз в Москву повезли. Отец с мамой тогда еще были вместе. И пришли они все в цирк, где работал отец, и посадили их, конечно, в ложу. Сапожников поглядывал на все без интереса. Много людей в пальто, полутьма какая-то, веревки, и пахнет, как у коновязи.

Ему только понравился красный бархатный барьер там, внизу, огромный, низкий и круглый, и здесь, наверху, маленький бархатный барьер, которым была ограничена ложа, чтобы Сапожников не выпал.

И тут вдруг ударила медь, вспыхнул ослепительный свет, заорал духовой оркестр, и в центр круга на белой лошади вылетела наездница — белое виденье, прекрасная женщина в белом платье, черной шапочке с пером и голыми руками — и понеслась по кругу. А в центр вышел черный гад, злодей в черном фраке и цилиндре, с длинным бичом, и все пыгался хлестнуть красавицу женщину, но промахивался. А белая лошадь то мчалась по кругу, то вставала на дыбы, и ничего этот гад с ними сделать не мог, а только хлопал пушечно. И это было так прекрасно, что Сапожников вцепился в свой малый барьер, обшитый бархатом, и заостенел, и не слышал, как его испуганно окликали, и полюбил первый раз в своей жизни, потому что, конечно, первая любовь всякого порядочного Сапожникова — это, конечно, наездница.

А потом внизу откинули барьер и наездница ускакала, гад стал кланяться, а Сапожников заплакал.

— Что ты? Ты что? — стали спрашивать его папа и мама, которые тогда еще были вместе.

А Сапожников в ответ спросил:

— Больше уже все?.. Больше ничего не будет?

И тогда все взрослые в ложе засмеялись и объяснили ему, что это только начало и что программа длинная и еще много чего будет, и это все подтвердилось. Но каждый раз, когда кончался номер, Сапожников холодел от печали и старался не плакать. И это осталось на всю жизнь, и дальше всю жизнь на любом празднике Сапожников никак не мог обрадоваться взახлеб, потому что на доньшке всегда трепетала болевая точка, ожидавшая, что праздник сейчас кончится. И только потом, много лет спустя, Сапожников осознал, что эта болевая точка есть мечта о коммуне, о празднике каждый день, когда все как один теплый дом, где каждый друг другу в помощь и никто тебя за это не искажает. Когда не толпа, а шествие, и не одиночество, а уединение. Счастье общности, где все не щепки в потоке, который сталкивает времявороты, и не гайка ты и не винтик, а человек... И эту коммуну и способы приблизить ее искал Сапожников всю жизнь, часто ошибался, торопился, срывая яблоки еще зелеными, не понимая иногда сам, чего же он ищет, чего же он мечется, отстаивая свой путь простофили среди злобы дня и запальчивости близких людей, не доверяющих друг другу. Потому что для этого одного ума мало, ум здесь бесперспективен, а у простофили перспектива есть — мудрость. И за эту коммуну, за этот праздник Сапожников воевал всю жизнь и старался понять, как же его приблизить конкретно, и потому пускался в поиск в любую область, где такая возможность брезжила, и опрокидывал стол с яствами, если они уводили его с дороги к этому празднику. Вот что такое изобретательство, если говорить всерьез, а не просто изучать насос, и любопытство.

А когда Сапожников вернулся из зимнего лагеря, учитель сказал:

— Я тут без тебя кое-что посчитал... Давай-ка напиши мне на бумажке насчет вакуумных стенок для строительства домов без отопления... ну, эти твои термосы-кирпичи. Бред, конечно. Стекло хрупко, а в других материалах вакуума едва ли добьешься... в промышленных масштабах, конечно. Но давай попробуем оформить заявку.

Конечно, бред. До сих пор таких домов не строят, где отопления практически не требуется. То ли заявка Сапожникова затерялась, то ли еще почему. И спасательных поясов таких Сапожников ни разу не видел, чтобы раз, надел на себя — и уже надувать не надо, не потонешь. Потому что у Сапожникова характер был не пробивной. Он всегда так считал: нужен буду — разыщут под землей, а не нужен — и толкаться не стану. Так и во всем, жил и дожидался, пока заметят, и старался ничего не просить. Потому что на праздники не просят. На праздники приглашают.

## Глава 10. Шаровая молния

Сапожников убежал из Риги как последний трус.

Так на нем и было написано: трус.

Когда он из Риги заявился к Дунаевым, Нюра отводила глаза от его жалкой размазанной улыбки.

Он еще хорохорился, мужественно хмурил брови и выпячивал грудь, но потом, когда пил чай, сидел за столом тяжелой грудой, снова появлялась эта улыбка, и тогда он становился похож на оседающий, в морщинах, пробитый аэростат заграждения или на грязный тающий сугроб на краю тротуара.

— Сапожников, иди к Нюре, — сказал Дунаев. — У тебя вид, как у нашкодившего пса.

Сапожников снова улыбнулся, красиво нахмурил брови и пошел на Нюрину половину дожевывать пирожок.

Нюра старалась не смотреть на эти руины изобретателя.

...Тогда, в июне, Нюра зашла и сказала: «Твоя бывшая жена умерла» — и Сапожников ничего не понял, а потом вдруг закричал, и комната стала желтая и круглая, как шаровая молния.

— Выпей скорей,— сказал Дунаев.— И еще выпей.

И Сапожников докончил свою поллитровку.

— Возьми сала.

Была ночь, и они сидели у Дунаевых.

А Нюра погладила Сапожникова по голове и сказала:

— Не казись. Хуже нет начать казниться.

Дунаев сказал жене:

— Выбей из него эту дурь. Он говорит, что он бездарный. Не хватило таланта, не смог ничего придумать, чтобы вырвать ее из этой помойки, выбей из него эту дурь.

И Сапожников сказал:

— У меня тост. Если есть рай, давайте выпьем, чтобы она была в раю.

Водка была как вода.

Утром они вышли из решетчатых ворот дома и увидели, что первые прохожие идут на работу.

А потом приехал Глеб, и шаровая молния медленно растаяла...

Нюра что-то говорила ему, и Сапожников отвечал:

— Да-да, конечно... само собой.

— Что ты все бормочешь?— сказала Нюра.— Поговори со мной.

— Со мной беда,— сказал Сапожников.

— Ну.

Дунаев на кухне громил посуду. Сквозняк надувал и тормозил ситцевый занавес, отгораживавший Нюрину половину.

— Какая она?— спокойно спросила Нюра.

— Не знаю.

— Значит, влюбился...

— Поехал к Барбарисову по делу — и вот что вышло.— Сапожников кричал сдавленным шепотом.— Я ее вижу все время! Ясно? Мне все опостылело! Ясно? А вы с Дунаевым все время молчите! Ты же все время молчишь!

Нюра ничего не отвечала, только все время убирала прядь солба.

— Я ничего понять не могу! — шепотом орал Сапожников.— Я не знаю, похоже это на любовь или нет! Какая это любовь, если я помню все свои дурости и ошибки? Любовь должна быть беспечной, а я жду спасителя.. Понимаешь? Понимаешь?

Он таращил глаза и разевал рот, как рыба.

— Трус... — медленно сказала Нюра.

И Сапожников опомнился.

— Что ты сказала?

— Трус ты,— припечатала Нюра.

— Я не трус...— сказал Сапожников.— Ты ошибаешься.. Просто она очень похожа.

Нюра ничего не ответила. Сапожников посмотрел на нее пристально, уже догадываясь.

— Я тебя правильно понял? — спросил он.

— Иди к телефону,— крикнула Нюра,— иди!

— Я не трус, Нюра.— Сапожников поднялся и вытер лицо.— Я просто забыл, что надо быть храбрым.

Он вышел за перегородку, пузатую от сквозняка, и Нюра слышала, как захрипел и защелкал телефонный диск.

— Междугородная? Я бы хотел заказать разговор с Ригой...

— Не дрейфь, сусалик! — тихонько сказала Нюра.

Но он расслышал, конечно.

— Ах, черт возьми, — сказал там, за перегородкой, Сапожников. — Я слышу родимый голос. Спасибо, сержант.

— Почему сержант? — тихонько спросила Нюра.

— Да... — сказал Сапожников. — Слушаю... Вика? Да.. Это я... Ты можешь вырваться на денек?.. Ладно. Жду. Ни о чем другом думать не могу... Да, кончили, кончили... отбой.

Он положил трубку, и Нюра слышала, как он сказал:

— Что я наделал?

Нюра тоже что-то сказала, но Сапожников не расслышал на этот раз.

Давайте сделаем затемнение.

И в этом затемнении Сапожников провел сутки, весь заостенев от ожидания, ходил по магазинам подарков и антикварным, натамкиваясь на людей, — искал тяжелый цыганский браслет, твердо зная, что нужен именно такой, и не нашел его и даже сам начал его делать из куска латуни, пока не опомнился и не увидел, что у него выходит не браслет, а скорее наручник, и догадался, что барельеф из сплетенных трав и танцующих менад, который стоял у него перед глазами, видимо, должен все-таки делать скульптор, и желательно древнегреческий, и тут он испытал счастье, потому что ночь прошла и был розовый ледяной рассвет и еще куча времени на то, чтобы побриться, одеться и вымести из комнаты медные опилки. И тут он вспомнил, что до Внукова дорога в тысячу верст и надо еще искать такси, и вылетел пулей из дома. Такси он нашел сразу и разбудил водителя, который спал на сиденье, накрывшись журналом «Спортивная жизнь России». Всю дорогу до Внукова они летели по розовой дороге, в щель окна ножом входил ледяной ветер осени, и Сапожников разговаривал и разговаривал не переставая, и стрелка на часах то делала гигантские скачки, то застывала на месте, и Сапожников разговаривал и разговаривал, как контуженный.

А когда они влетели и развернулись у аэровокзала, Сапожников сразу стал железный и предусмотрительный, и хотя машин и автобусов было полно на площади, но ведь их могли расхватать пассажиры бесчисленных самолетов, ревущих на полосе и гудящих в воздухе. Поэтому Сапожников дал водителю трешку и велел запомнить его в лицо, потом вернулся и сказал ему еще одну свою примету — зеленая кожаная куртка с вязаным воротником и манжетами, на «молнии», и дал еще трешку, потом вернулся и хотел дать еще трешку, чтобы наверняка, но водитель сказал «не надо» и трешку не взял. Тогда Сапожников обошел весь зал ожидания, и проверил всеходы и выходы, и получил информацию у всех весовщиков, кассиров и вахтеров, а также в справочном бюро устно и на матовом экране, нажав кнопку, пока методом исключений не выяснил, что все пассажиры, все как есть, входят только в одну дверь и самолет из Риги не запаздывает. После этого он обнаружил, что сидит у стеклянной двери на столе и сидеть ему неудобно, он сидит на купленном букете, потому что всегда стеснялся цветов.

Он еще успел купить второй букет, и его чуть не постигла такая же участь, и, ничего не стесняясь, встал у двери и тридцать семь минут приставал ко всем прибывающим — не из Риги ли они. Взрывали, гудели и кашляли моторы, слепяще покачивались винты, болтались прозрачные двери вокзала, и Сапожников выскочил на летное

поле и побежал навстречу редкой цепочке людей, потому что как только перестал вглядываться в дальние лица, сразу узнал походку Вики — она шла осторожно, как по булыжнику.

Он остановился потому, что понял — сейчас потеряет сознание. Он когда-то читал о таком в одной средневековой новелле, как любовники теряли сознание при виде друг друга, но там не было написано, что до этого они ничего не ели двое суток, а один из них пытался сделать цыганский браслет из снарядной гильзы от сорокапятки, служившей ему пепельницей.

Они кинулись навстречу, обхватили друг друга руками и застыли.

Сапожниковский букет нелепо торчал у Вики за спиной, и гул самолетов постепенно затихал. Потом Сапожников прямо ей в лицо сказал:

— Здравствуй.

И она ему в лицо сказала:

— Здравствуй.

Он взял ее сумку, она взяла его букет, и они пошли к вокзалу, ничего не стесняясь, и Сапожникову даже хотелось нести эту сумку в зубах, но этого совершенно не требовалось. И когда они сели в машину, и водитель, растроганно сопя, глядел на них в зеркальце, и Вика сидела рядом, и они проезжали по знакомым улицам, Сапожников заулыбался и понял, что он мертвый и что все пропало.

Совсем мертвый и надо немедленно об этом сказать. Потому что он еще сутки назад боялся, что увидит сходство и этого не перенести, а сейчас, когда они ехали по всем местам, где ездили с другой тысячу раз, он увидел — с ним сидит совершенно незнакомая хорошая девушка, которая приехала по его вызову и которая там, в Риге, была слишком похожа на другую, потому что он и потом, куда бы ни приезжал, всюду видел другую, потому что он смутно верил, что она куда-то переехала и живет, но только не в Москве, в Москве ее не было. Так.

Потом они тут же по пути в пустой центральной кассе взяли билет в Ригу сегодня на вечер и как-то провели день после того, как Сапожников все рассказал, и даже пообедали в «Софии», но ничего есть было нельзя, потому что еда состояла из медных опилок и стекла.

Они еще раз сели в машину и въехали в серые сумерки, по дороге Сапожников купил две плетеные бутылки гамзы, ей на память и Барбарисову, и когда стемнело на аэродроме, пошли на летное поле к серебристой туше с передвижными ступеньками и пробивались сквозь команду латвийских баскетболисток, которые опоздали на предыдущий рейс, и их обоих бросало в холод при мысли о том, что может не хватить мест и продлится эта мука. И пробились. У самого трапа Сапожников сказал:

— Так... все...

— Да.

Она поднялась по трапу, дверь закрылась. Сапожников прошел под крылом не оглядываясь, и его до входа в вокзал преследовал трап с мотором и на колесиках.

Сапожников пошел в вокзальный ресторан и сидно отметил конец отпуска под музыку радиолы, которая гремела, потому что в нее кидали пятаки.

Радиола играла буйную мелодию «О, мадам», и из кинофильма «Путь к причалу», и многое другое интересное.

Гуськом появлялись официантки с подносами, и каждая ставила перед Сапожниковым тарелки. Официантки двигались по кругу, и

когда последняя ставила тарелку, первая ее тут же убирала, а за ней вторая и остальные. Сапожников сидел неподвижно, и официантки ушли под музыку «Очи черные».

Сапожников лег щекой на стол и увидел того пьяницу, который месяц назад обозвал его богом. «Куда ж ты прешься, японский бог!» — сказал ему пьяница, и Сапожников понял, что стал богом и его узнают в очередях.

И тут опять загремела радиолка, официантки начали танцевать танец пингинов, а толстый пьяница стал яростно крутить твист. Потом строй официанток и гостей, красиво вскидывая ноги, прошел за спиной Сапожникова, и ресторан закрылся. А Сапожников почти протрезвел и спустился в ночной буфет, по дороге врезаясь в шестые прибывающих пассажиров.

### Глава 11. Колдовство

В соседней школе девятиклассник застрелился. Дядя у него военный. Приехал в командировку, остановился ночевать, а утром выстрел — так рассказывали. Племянника в больницу. Дядьку до выяснения. Долго выясняли. Но племянник выжил и рассказал, как было дело. Дядю выпустили, а дело было так, что племянник стрелялся из-за любви.

Сапожников никак не мог постигнуть, что значит из-за любви. Но дело-то, оказывается, не в любви, а в вероломстве. Она сначала с этим племянником была, а потом не захотела с ним быть, с племянником. Сапожникову показали ее. Волосы пушистые белокурые, а нос тонкий. Волейболистка. Глинский сказал:

— Ее все лапают.

— А ты откуда знаешь?

— И я.

— Слушай,— перебил Сапожников Глинского,— откуда у тебя шары никелированные?

— От бильярда.

— Это же подшипники...

— Не знаю... В парке бильярд сломали, а шары разобрали кто успел. Я успел. Я три штуки спер. А тебе подшипники зачем?

— Бумагу прожигают,— сказал Сапожников.— Если с двух сторон по бумаге кокнуть — прожигают.

— Покажи.

Сапожников показал. На тетрадном листе появилась дырка.

— Где ж прожигает? Пробыл, и все. Как гвоздем,— сказал Глинский.

— А ты понюхай,— сказал Сапожников и еще раз кокнул.

Глинский понюхал.

— Паленым пахнет.

— Значит, он из-за тебя стрелялся? — спросил Сапожников.

— Нет... Ее все лапают.

— А Никонову? — спросил Сапожников.

— Нет.

— Почему?

— Она отличница,— сказал Глинский.

Ночь.

— Она от тебя без ума,— сказал Глинский.

— Без кого? — спросил Сапожников.

Переулок темный-темный, а впереди освещенная улица.

— Она так говорит,— сказал Глинский.— Она говорит, что ты ее околдовал.



- А кому говорит?
- Всем.
- А-а... — сказал Сапожников.
- А хочешь ее спасти? — спросил Глинский. — Я уже спасал.
- Никонову?
- Нет. Вообще. Двое сговариваются. Один пристаёт, а другой спасает. Хочешь Никонову спасти от меня?
- А зачем?
- Они героев любят. Я пристану, а ты спасешь. Только в темноте. А то она в школе на меня скажет.
- А почему они героев любят? — спросил Сапожников.
- А ты нет, что ли?
- Я их никогда не видел, — сказал Сапожников.

Никонова сказала глухим голосом:

- Ну тебе чего?.. Тебе чего?.. Пусты, ой, мама!.. Мама!
- Сапожников перебежал улицу и схватил Глинского поперек живота. Он оглянулся и уперся Сапожникову ладонью в нос. Сапожников отпустил его. Никонова побежала. Глинский за ней. Сапожников за ним. Глинский обернулся и ударил его в лицо.
- Сапожников поднялся с земли. Глинский схватил его за горло. Тогда Сапожников провел два аперкота ему в живот, а головой ударил ему в скулу. Глинский обмяк.
- Пошли, — сказал Сапожников.
- И они с Никоновой вышли из переулка на светлую улицу.
- Под фонарем стоял дрожащий, но совершенно целый Глинский.
- Ребята, вы откуда? — нереальным голосом спросил он.
- Там ко мне кто-то пристал, — сказала дрожащая Никонова, — а Сапожников меня спас.
- А кого же ты бил? — спросил дрожащий Глинский.
- Не знаю... — ответил дрожащий Сапожников.
- Будешь мне по физике объяснять? — спросила Никонова.
- Буду, — ответил Сапожников.
- А они как раз тогда магниты проходили. Электромагнитную индукцию. Это когда одни магниты постоянные, а другие непостоянные.

Мама сказала:

- Она хорошая девочка, но не твоя.
- Почему?
- В ней колдовства нет, — сказала мама.
- А во мне есть, — сказал Сапожников.
- Кто тебе сказал? — спросила мама.
- Никонова.
- Это не твое колдовство, — сказала мама, — а ее самолюбие. Она перепутала.
- А в тебе колдовство есть?
- Было. Но пропало, — сказала мама.
- Почему?
- Потому что я его на твоего отца истратила.
- На Сапожникова иногда вдруг накатывало.
- Вдруг он застывал и отключался. Он не переставал видеть, и сознание его было отчетливо, но что-то в нем самом, внутри него, будто слышало движение невидимое.
- И если кто-нибудь в этот момент задавал ему вопрос, он, конечно, отвечал невпопад. Удивительно было другое. Эти ответы сапожниковские потом странным образом подтверждались. А это раздражало.

Математику теперь преподавала завуч, а прежний учитель вел физику. И теперь Сапожникову приходилось круто. Завуч не любила Сапожникова, а Сапожников не любил завуча. Она ему мешала думать. Еще по устному счету нет чтобы сложить пять плюс семь равняется двенадцати, он воображал столбик из пяти кубиков, надстраивал еще семь штук, и когда два вылезали поверх десяти, говорил — двенадцать. Казалось бы, Сапожников и завуч должны были ладить, потому что для завуча большинство вещей состояло из кубиков. А все остальное было отклонение. Но и отклонение можно было разбить на мелкие кубики, а если все равно получались отклонения, их можно было опять раздробить и так и далее. А до каких пор?

— Пока они не станут круглыми,— сказал Сапожников.

— То есть? — спросила завуч.

А как раз тогда проходили понятие «бесконечность», и если делить без конца, получаются частицы, из которых эти кубики состоят.

— Ну и что? — раздраженно спросила завуч.— Это физика. А к математике какое это имеет отношение?

— Математика ведь тоже для жизни?

— Начинается... Ну и что?

Завуч хотела загнать его в угол. Вид Сапожникова вызывал у нее тоску и отвращение.

— А в жизни частицы мечутся хаотически. Броуново движение.

— Ну и что?

— А когда они сталкиваются, они друг о друга стачиваются. Как галька морская.

— Во-первых, кто тебе это сказал? А во-вторых, как же ты из круглых частиц сложишь граненые? Кристалл, к примеру?

— Приблизительно.

— Кристалл? Приблизительно?.. Сапожников!

В общем, для Сапожникова противоречие между математикой и физикой было такое же, как в свое время между физикой и законом божьим. Можно, конечно, вычислять, сколько ангелов поместится на острие иглы, но для этого надо доказать, что ангелы существуют. А пока это предположение не доказано, то и вычислять нечего. Мозг у Сапожникова был грубо материалистический, и ничто научно-вышшенное в нем не помещалось, а вернее, не удерживалось.

Сапожникову как объяснили, что весь мир состоит из материи, так он сразу и понял, что материя должна как-нибудь выглядеть. А всякие там кванты света, которые одновременно и частица и волна, его начисто не устраивали, и он полагал, что, значит, как теперь говорят, модель еще не придумана и уж он-то, если понадобится, конечно, придумает наверняка. До сих пор у него нужды не возникало.

— Твердое тело, жидкое тело, газообразное тело,— зудело у него в ушах.

— А дальше что?

— А дальше пустота,— сказал учитель.

— А в пустоте что?

— Ничего.

— Значит, мир состоит не только из материи?

— А из чего же еще? — спросил учитель.

— И из пустоты,— сказал Сапожников.

— Пустота — это не вещество, это пространство, ничем не заполненное,— сказал учитель.— Потому в космосе так холодно, почти абсолютный нуль. Нет частиц, которые сталкивались бы.

— Значит, движению тел ничто там не мешает?

— Вот именно.

— А почему же тогда все планеты и звезды не собрались в одну кучу?

— А почему они должны собраться?

— Закон Ньютона... Должны были упасть друг на друга.

— Ну ты же не веришь в притяжение,— сказала завуч.

— Но вы же верите?

— Останешься после уроков.

— Хорошо,— сказал Сапожников.

Сапожников считал, что всякая материя должна как-нибудь выглядеть. А что никак не выглядит, то и не материя. А раз не материя, то этого и нет вовсе.

— А совесть, а мораль, а чувства?

— Что чувства?

— Они же никак не выглядят. Значит, нематериальны.

— Почему? Раз я что-то чувствую, значит, что-то происходит, значит, что-то влияет на что-то, значит, какие-то частицы сталкиваются или колеблются, самая материя и есть,— сказал Сапожников.— А если не колеблются и не сталкиваются, никаких чувств нет, одно вранье. Все рано или поздно объяснится.

— Какое грубое воображение у этого мальчика,— сказала завуч.— Даже странно в таком возрасте. Ничего святого...

— А что такое святое? — спросил Сапожников.

— Святое, милый друг, это когда люди что-нибудь считают высшим... идеальным... может быть, тебе и это объяснять надо? — спросил учитель.

— Не надо.

— Ты, случайно, не марсианин? — спросила завуч.— Ах да, ты из Калязина... Такие понятия надо всасывать с молоком матери.

— Значит, понятия — это вещества? — спросил Сапожников.

И так во всем. Кстати, это был первый раз, когда Сапожникова спросили, не марсианин ли он. Потом его спрашивали не раз. Но он не признавался. Говорил — я и сам не знаю.

— Фокусник ты,— сказал учитель после педсовета, где обсуждалась судьба Сапожникова,— фокусник ты... Зачем делаешь вид, что не понимаешь, о чем речь? Ты всерьез думаешь, что математика не нужна? Да без нее в физике ни шагу.

— Наверно,— сказал Сапожников.

— А зачем завуча дразнишь? Зачем сказал, что можешь решить теорему Ферма?

— Могу. Частично,— сказал Сапожников.

— Ну вот, опять за свое... Триста лет академики решить не могут.

— Они сложно решают. А Ферма написал, что нашел простое решение. Я же читал. Правда могу. Не для всех чисел. Для некоторых.

— Да ты сдачу в магазине толком не можешь подсчитать! Что я, не знаю?

— Я округляю.

— А для каких чисел можешь решить? — спросил учитель.

— Для Пифагоровых.

— То есть?

— Ну, которые квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов... Для других не пробовал.

— Ну?

— Ну, например, три в квадрате плюс четыре в квадрате равно пять в квадрате. Так?

— Ну? — нетерпеливо спросил учитель.

— Ну вот, для таких чисел, из которых получается это равенство, могу доказать.

— Что именно?

— Что от этих чисел все другие степени — кубы, четвертые и так далее — никогда не дадут равенства.

— Ну-ка давай на доске.

Перешли к доске.

— Давай по порядку,— сказал учитель.— Сначала саму теорему. Надо доказать, что  $a$  в степени  $n$  плюс  $b$  в степени  $n$  никогда не равняется  $c$  в степени  $n$  при  $n$  больше двух... Пишу  $a^n + b^n \neq c^n$  при  $n$  больше двух.

— Ага,— сказал Сапожников.

— Ну и как ты это доказываешь?

— Только для Пифагоровых,— сказал Сапожников.— Для других не пробовал.

— Да, да, не тяни.

— А вот так...  $3^3 + 4^3 \neq 5^3$  — могу доказать, что не равняется.

— Господи, не тяни.

Сапожников вдруг остановился и выпучил глаза:

— Ведь триста лет ждали... А если сейчас все решится вдруг...

— Да что ты за человек?! — крикнул учитель.

— Каждая степень — это умножение, так? — сказал Сапожников.

— Так.

— А каждое умножение — это сложение, так?

— То есть?.. Ну, можно сказать и так. И что из этого вытекает?

— А то вытекает, что  $3^3 + 4^3 \neq 5^3$  можно записать так:  $3^2 + 3^2 + 3^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 \neq 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2$ , а теперь по обеим сторонам можно вычеркивать по Пифагорову равенству.

— Ну вычеркивай.

Сапожников стал вычеркивать поштучно. Начал с левой стороны, потом перешел на правую, и когда все тройки квадратные с левой стороны кончились, то осталась одна четверка квадратная, а с правой остались две пятерки квадратные.  $4^2 \neq 5^2 + 5^2$ .

— Лихо... — сказал учитель.

— И всегда так,— сказал Сапожников.— Когда степень больше двух... Если начинать вычеркивать, то слева материал быстрее кончается, а справа еще остается. Это же очевидно.

— Мне надо подумать,— сказал учитель.

Он ушел думать. Думал, думал, думал, а потом на педсовете сказал:

— Этого мальчика нельзя трогать. Надо его оставить в покое.— И рассказал о теореме Ферма для Пифагоровых оснований.

Но всем было очевидно, что Сапожников, который магазинную сдачу округлял и складывал пять и семь, воображая столбик, не мог решить теорему Ферма ни для каких чисел.

— Он, наверно, у кого-нибудь списал,— предположила преподавательница литературы.

— Не у кого,— сказал учитель.— Не у кого!

Не мог Сапожников решить теорему Ферма, потому что в психбольницах перебивала куча математиков не ему чета, которые пытались эту теорему решить. Их так и называют «ферматиками», и каждое их доказательство занимало пуды бумаги.

— А может быть, этот мальчик гений? — мечтательно спросила преподавательница литературы.

— Гений?! — вскричала завуч.— Гений?! Этот недоразвитый?! На его счастье, педологию отменили! А помните, в шестом раздали таблички? И всего-то нужно было проткнуть иголкой кружочки с точками, а без точек не протыкать. Все справились, кроме него!

— Я тоже не справился,— сказал учитель.

— Значит, вы тоже гений?

— Упаси боже,— сказал учитель.— Но ведь потому и педологию отменили...

— Да бросьте вы! — сказала завуч.— Знаем мы, почему ее отменили! Чтобы дефективных не обижать. Все нормальные дети с заданием справлялись нормально!

— А может быть, он безумец? — мечтательно спросила преподавательница литературы.

— Его давно надо на обследование послать,— сказала завуч,— сидит всю перемену и двумя подшпипниками стучит по бумаге!

— Ну-ка, ну-ка, это интересно,— сказал учитель физики.

— Раньше на насос пялился... теперь у него новая мания — шары... Все у него теперь круглое.

— Раньше он в Ньютоне сомневался,— сказала литераторша.

— А теперь? — спросил учитель.

— Вам лучше знать, в ы классный руководитель,— сказала завуч.

Учитель подумал об Эйнштейне и похолодел. Слава богу, про Нильса Бора и Макса Планка он Сапожникову еще не рассказывал.

— Да, с этим надо кончать,— сказал он.

## Глава 12. Приземление

— Я думаю, мы возьмем в Северный две сотни яиц и ящик помидоров, ну, конечно, и «Лайку» еще. Во-от... — сказал Фролов.— А кроме того, когда я оттуда уезжал последний раз, там был только один кагор. Остался от предыдущей навигации. Так что уж это как хотите. По паре бутылок нужно взять. Потому что даже когда там бывает водка, то это сучок, лесная сказка, жуткая гадость местного завода.

— Ладно,— сказал Сапожников.— Если так нужно — повезем. Все-таки витамины. А как быть с Витькой?

Сапожников никогда в Северном-втором не был, и Вартанов не был, Виктор Амазаспович, а Фролов Генка ездит туда все время. Генка ведет у них эту машину, но есть такие вопросы, что ему не справиться. Все-таки конвейер в километр, с выходом на поверхность, довольно сложная автоматика. Фролов — народный умелец, ездит туда все время, знает, как туда собираться и что нужно везти.

Они сдали багаж на площади Революции у бывшего «Гранд-отеля» в транспортное агентство. Все эти люди тоже летят в Северный-второй. Все очень четко считают вес вещей.

— Мы с вами каждый имеем по тридцать килограммов бесплатно груза. Свыше тридцати — рублик,— сказал Фролов.

Вартанов вез с собой семьдесят килограммов приборов. В два конца с билетами — это четыреста рублей. Денег, конечно, не дали, обещали оплатить по возвращении в Москву. Жуть. Он же там подохнет.

— Ничего,— сказал Фролов.— Скинемся.

Ночь.

Спускаются и поднимаются самолеты. Где-то есть погода, где-то нет погоды. Аэропорт Домодедово. Никакой экзотики. Деловая обстановка.

— ...Рейс пятьдесят шестой Москва — Северный через Сыктывкар, Ухту и Воркуту откладывается на два часа...

Сапожников не любил летать на самолете, поэтому ему нравилось, что в Домодедове никакой экзотики, сугубо вокзальная обстановка, дети, кого-то кормят, кого-то на горшок посадили, развязывают узлы, бесконечные объявления по радио.

Два часа ночи. Ноябрь. Стеклоздание модерн, зал регистрации. Народы сидят и спят на чем-то очень длинном, в линию. Барут служитель в фуражке начинает их будить и поднимать. Оказывается, все они сидели на конвейере, на котором транспортируют вещи. Интересно, какова производительность, сколько чемоданов в час, есть ли автоматика. Кресел мало. Сонные народы поднимаются, прихватывают детей. Включается конвейер — загружают очередной рейс, и Северный обращается в контору, чтобы прислали Сапожникова, Вартанова и Фролова: есть ряд вопросов, самим не справиться в условиях полярной ночи и отсутствия сигарет с фильтром. После чего конвейер останавливается, и люди опять раскладываются, опять укладывают детей. «Как в метро во время бомбежки», — подумал Сапожников, клюнул носом и протер глаза.

Яйца и помидоры они не сдали, Фролов не позволил — побьют. Вот и таскаются по аэропорту с двумя ящиками — один деревянный для яиц, один картонный для помидоров — из-под телевизора «Темп-3».

Виктор Амазаспович сказал Фролову:

— У тебя есть ножик? — И стал проковыривать дырки в телевизионной коробке для вентиляции.

— Пожалуй, одну бутылку можно распить, — сказал Генка. — Холодно, скучно.

— Давайте по мелкой банке, — сказал Сапожников. — Виктор, как ты смотришь насчет горлышка?

— Можно и из горлышка.

— Нет, нет, все-таки так нельзя, — сказал Генка. — Сейчас достану стакан.

— Украдешь? — спросил Виктор.

— Что ты! Сейчас все сделаю.

Через минуту он вернулся с тонким стаканом.

— Заплатил честно двадцать копеек.

Он попросил в буфете, и ему продала буфетчица. Такой изобретатель. Закусывали уткой в пакете.

— Может, телевизор тронем? — спросил Сапожников.

— Не-не-не! — замахал руками Фролов.

— Объявляется посадка Москва — Северный-второй! — крикнуло радио. — Через Сыктывкар, Ухту, Воркуту. Пассажиры просят пройти на летное поле.

— Самое главное, сколько детей на этот раз будет, — сказал Генка.

Он знает все на свете. С ним не пропадешь.

— Где наша беременная лошадь? — спросил Генка, когда вышли на поле в прожекторах.

— Какая беременная лошадь? — спросил Виктор.

— «АНТ-10», — сказал Генка.

Сапожникову тогда было сорок три года, Генке и Виктору по тридцать четыре. Негатив и позитив. У них все еще было впереди.

Сапожников все смотрел на футляр от телевизора «Темп-3» с проковыренными дырками.

...Он вспомнил песню «Калеми банана». Это когда еще они пытались укрепиться на твердом фундаменте и поселились наконец вместе, он работал как зверь, появились деньги, и купили телевизор. Они долго выбирали его в магазине, и продавец выбрал им самый лучший. А потом привезли телевизор домой, и не верилось, что в их комнате стоит такая красивая машина и это значит — кончилось бездомье и можно не бояться холода на пустых улицах и по вечерам смотреть дома кино. И вообще не верилось, что он заработает, этот ящик. Зара-

ботал. Зеленоватый экран, полоски — их сразу перестали замечать. Поставили на стол еду, погасили свет и не замечали вкуса еды. И почему-то не верилось, что это может быть. А потом кончилась передача, но хотелось еще и еще, и Сапожников включил старенький приемник, и какой-то иностранный голос запел экзотическую песню, там были отчетливые и непонятные слова «калеми банана» — не поймешь, на каком языке. И Сапожников дурачился, и пел «калеми банана», и дурачился, а на душе было предчувствие, что все плохо кончится и все разлетится. Потому что они предпочли общению с людьми общение с машинами, забыли, что человек рожден для общения и дружбы. И в этом была их трусость. И она их погубила и их любовь. Вот какая песня «Калеми банана». Интересно бы узнать, о чем она...

Они, трое командированных, шли в толпе к самолету, который повезет их в зону вечной мерзлоты, и, может быть, наконец, все застынет, и здесь ледок еще тоненький и хрупкий под каблуком...

...Сначала Сапожников услышал шаги в коридоре и не поверил. Она целый месяц не выходила из комнаты, лежала. Потом шаги остановились, и под дверь пролез конверт. Пока Сапожников поднимал, она ушла.

«Неужели ты не понимаешь — то, что нас связывает, это поверх всего. Не могу больше. Мне нужно с тобой встретиться. Ответ. Никому не говори. Ответ положи в карман своего пальто в коридоре. Я возьму».

Конечно, поверх всего. Где и когда, как это сделать, если супруг вопит в соседней комнате и следит, чтобы муха не сорвалась с паутины. Супруг всегда очень страдал, что его недооценивают. Он любил свое тело и занимался зарядовой гимнастикой.

Во втором конверте было: «Завтра в три часа у кинотеатра „Россия“».

Боже мой, как она доберется, она же еле ходит.

Сапожников понимал, что ей нужны деньги всего-навсего, но это уже не имело значения.

Они встретились у кинотеатра «Россия» и прошли в скверик на Страстном бульваре. Снег утром таял, а после полудня замерзал. Она сидела на скамейке в белом кожаном пальто, совсем холодном, и каблуки-шпильки проламывали тонкий лед. Она была чуть жива, в чем душа держалась, боже мой! Она сказала:

— Я не буду с этим человеком — это очень плохой человек. Я выздоровлю, и мы опять будем вместе.

Сапожников не знал тогда, что видит ее в последний раз.

— Пойдем отсюда, ты замерзнешь, — сказал он.

— Мне надо позвонить по телефону.

Они пошли к автомату на углу Петровки, и она позвонила супругу, что скоро вернется, все в порядке. Но это уже не имело значения. Ничего уже не имело значения, кроме того, как она выглядела.

— Давай я тебя покормлю, — сказал Сапожников.

— Я хочу мороженого, — сказала она.

Они спустились по улице Горького до кафе-мороженого, и Сапожников ловил взгляды, которыми ее провожали.

В кафе-мороженом она разделась, и гардеробщик испуганно взял у нее пальто. Она подошла к зеркалу и поправила волосы. Сапожников видел это в последний раз.

Они взяли разноцветное мороженое, и она жадно пила фруктовую воду. Она пила, как птица.

Сапожников тоже видел это в последний раз.

— Сколько тебе надо денег?

— Триста рублей,— сказала она наугад,— займы.

— Займы... — сказал Сапожников.— Не говори глупостей... Я попробую.

Это было очень много, это было гораздо больше, чем он тогда мог рассчитывать добыть. Потом у него были деньги. Но это было потом.

Они вышли, и Сапожников взял такси.

— Подожди немножко,— сказал он, когда машина остановилась.

Он забежал к сослуживцу и сказал, что ему нужно на короткий срок триста рублей. Сослуживец сказал, что у него нет, потом ушел в другую комнату и принес деньги. Сапожников кивнул и ушел. В машине он отдал ей деньги. Она заплакала.

— Прости меня,— сказала она.

— Не вешай носа,— сказал Сапожников.— Держись.

Потом он вылез, прикрыл дверцу, и машина укатила, а Сапожников пошел пешком туда же, куда укатила машина, где за стеной его комнаты высасывали и забивали человека, потому что человек сделал ошибку, был гордый и не позволял себя спасти и вырвать из грязной паутины.

Потом Сапожников пришел домой и, чтобы ничего не слышать за стеной, включил радио. И тогда здесь, в комнате, он услышал японскую песенку о двух супругах, разлученных, которые умерли, и каждый год в какой-то праздник их души подходят к двум берегам Млечного Пути, и смотрят друг на друга через белую реку, и не могут встретиться никогда,— такая в Японии есть сказка. И об этом песня.

Есть такой стих: ты домой не вернулась...  
Я плачу в углу...

Сапожников сидел и плакал.  
Что делать? Что делать?..

Самолет разогнался и взлетел. Огни провалились вниз.

Теперь Сапожникову было... было... сколько же ему было? Было сорок три, а Фролову и Вартанову по тридцать четыре. У них все еще было впереди.

### Глава 13. Безымянный младенец

А это тоже еще до войны было.

Серый день был и бледные лица. Сапожников из парадного вышел, а двор пустой. Осень холодная. По переулку мокрые булыжники текут, деревья черные во дворах, облетевшие, а у черного забора — зеленая трава, пронзительная. Так и осталось — бледно-серое, черное и мокро-зеленое, пронзительное. Мимо две женщины прошли в беретках, вязанных крючком, жакетки и юбки длинные. Друг с другом тихо переговариваются, а глаза напряженные и бегают.

— А где он?

— В дровах лежит... Возле дома девятнадцать.

И прошли мимо.

Выходной день. Уроки утром не готовить, в школу не идти. Где все?

Сапожников пошел на уголок, а там никто не стоит, не курит.

Прошел трамвай третий номер, потом четырнадцатый. Прохожих один-два — и обчелся. Пустынно, как после демонстрации. И такую Сапожников тоскливую радость почувствовал, что горлу поцерек.



Стоит на углу двух улиц, и идти можно куда хочешь, как будто ты подкидыш и теперь обо всем должен думать сам.

Мама хорошо пела, когда одна оставалась и думала, что никто не слышит. Доставала из заветной театральной сумочки листки с песнями и раскладывала рядом с собой на диване. Сумочка желтой кожи, на никелированной цепочке, а внутри запах духов, белый бинокль на перламутровой выдвижной ручке и листки с песнями, карандашными и чернильными, разного почерка. Разложит, посмотрит на первую строчку и поет, глядя в окно, старые песни и романсы, еще девческие. А тут вдруг согласилась учиться петь. Познакомилась на родительском собрании с учительницей Аносовой, и та ее уговорила учиться петь. У Аносовой Веры Петровны многие учились и с Благуши, и с Семеновской. Бесплатно учила, для души. Сапожников и сына ее знал, Лешку, первый из ребят радиотехник в районе, и компанию всю ихнюю знал, Панфилова и Якушева. Сапожникову они нравились, но уж больно тесно держались, никого к себе не пускали, дружили очень, да еще родились тут же, а Сапожниковы калязинские, да и школа соседняя, ну, Сапожников и не притыкался.

Аносова бесплатно учила, а все же учила. А после ученья, сами знаете, кто плохо пел, поет лучше, а кто хорошо пел, поет хуже. И все уравниваются. Мастерства больше, таланта меньше. По системе. А искусство какая же система? Искусство — нарушение системы. Хоть в чем-нибудь. Иначе зачем ты в искусстве, если тебе своего сказать нечего?

И мама стала хуже петь, по чужим правилам и не про свое, мамино. До этого пела про сирень, про калитку, про ямщиков, про разлуку. А теперь стала петь Корчмарева и Раухвергера — современный репертуар. А его только можно петь под рояль — белые клавиши. Мама эти песни наедине с собой петь стеснялась, и они с Сапожниковым стали отдаляться друг от друга.

Вот и стоит теперь Сапожников на осеннем перекрестке, и смотрит Сапожников в серые тучи, и в душе у него тоскливая радость свободного подкидыша, безымянного младенца.

Зашел вчера Сапожников к Аносовым:

— Мама не у вас?

— Проходи, — сказал Леша.

— Что такое? — спросила мама, когда Сапожников в комнату вошел, где рояль, и кудрявая посторонняя женщина петь учится, и яркий свет из-под стеклянного абажура с голубой оборочкой.

— Письмо получили, — сказал Сапожников. — Дунаев велел за тобой сходить.

— От кого письмо? — нахмурилась мама.

— От отца...

— Это не спешно, — сказала мама. — Погуляй... У меня еще урок не начинался.

А Вера Петровна сказала женщине в кудряшках:

— Ну, давайте, Лида, еще раз Корчмарева.

И Сапожников узнал библиотечаршу из Дома пионеров. Пожилую женщину, лет двадцати.

Сапожников спросил у Лешки:

— Что читаешь?

— «Двадцать лет спустя».

— Не знаю.

— А «Три мушкетера»? Это продолжение.

— Начал, да отняли. Давали на один день.

— Так это моя книжка была. На, читай.

Сапожников приткнулся у рояля и стал мушкетерами захлебываться. Не д'Артаньяном, конечно, — Атосом: бледный и не пьянеет, терпеливый, одно слово — граф де Ла Фер.

А кудряшки поют:

— Нынче в море кач-ка-а высока-а... не жалея, морячка-а, морячка... Тру-убы... ма-ачты... За кормою пенится вода... Ча-айки пла-ачут... — И бодро: — Но моряк не плачет никогда!

Тут д'Артаньян заглянул в окно павильона, увидел раздавленные фрукты и с ужасом понял, что госпожу Бонасье сперли.

А кудряшки заглянули через плечо и спросили:

— А что, д'Артаньян — армянин?.. Тру-убы, матчы... Но моряк не плачет никогда.

Заморосила водяная пыль, и через улицу на уголок перебежал парень с соседнего двора.

— Смотрел? — спросил он у Сапожникова.

Вытащил из пальто две папироски «Норд», почти высыпавшиеся в кармане, потом они стали «Север».

Но Сапожников курить отказался.

Парень закурил сам.

— Что видел-то? Кино, что ли? — спросил Сапожников.

— Какое кино?.. У дома девятнадцать ребеночек мертвый лежит. Голый, — сказал парень.

Трава была пронзительная, торцы поленницы черные, а кожа на ней белая с червоточиной, березовая, и завитками отставала. В одном месте у самой земли дрова вдвинуты вглубь, и под навесом верхних рядов, чтобы дождь не лил, лежало синее тельце, голенькое, чтобы быстрее умер, и головка уходила вглубь, в темноту, или у него это были темные волосики, — одну секунду это все видел Сапожников, и его тут же оттолкнули люди в пальто, а потом оттащили туда, где толпились пацаны и уходили по одному. А милиционер и доктор в пальто поверх халата писали бумаги. Люди стояли.

— Подкинули, — сказал один.

— Бывает, — сказал другой.

— Сука, — сказал третий.

И эти три слова Сапожников запомнил навсегда. И когда вспоминал их, приходило одиночество.

— Что с тобой? — спросила мама.

Сапожников запел громко:

— Нынче в море качка высока-а! Тру-бы!.. Ма-ачты!.. Но моряк не плачет никогда!

— А-а... — сказала мама. — Значит, ты ходил смотреть?

— Тру-убы... ма-ачты...

— Подкинули... — сказала мама.

— Это я слышал.

— Бывает...

— И это я слышал...

— Я больше не буду учиться петь, — сказала мама.

— И еще слышал, что она сука...

— Отец пишет, что приедет, — сказала мама.

— Он и раньше приезжал.

— Нет, он хочет еще раз попытаться с нами жить.

— Ты пой. Только по-старому, — сказал Сапожников.

— Смешной ты... Неужели ты мог подумать, что я тебя подкину?

— А если ты умрешь раньше меня?

— А если ты раньше меня? Что тогда?

- Не знаю,— сказал Сапожников.  
 — Ничего не изменится. Человек умирает, только когда его забывают.  
 — Он лежит там на самом деле мертвый, хоть помни его, хоть нет...  
 — Нет,— сказала мама.— Ты ничего не понял. Его живого забыли.  
 Вот почему он умер.

#### Глава 14. Ожидание

Самолет взревел и затих. Люди зашевелились и стали подниматься, разминаться и потянулись к выходу сонные, помятые.

Сапожников вышел последним.

Внизу его поджидали Виктор и Генка Фролов.

Рассвет был бледно-синий и морозный. Снега не было. Пассажиры тянулись к аэровокзалу, одноэтажному зданию из белого кирпича.

— Торопиться не будем,— сказал Фролов.— Столовая еще закрыта, и все равно сначала будут кормить команду. Предлагаю выскочить в город, в магазин. Тут близко четвертый гастроном.

Земля была твердая, как керамика.

— Четвертый закрыт,— сказал им на улице сонный дядька в кепке.— Придется вам в первый бежать.

Рассвет стал розовым.

— Далеко это? — спросили они.

— Нет, близко. Минут семь. За угол, пройти новостройку, ну а там увидите.

Дядька потерял уши и ушел.

— Рискованно,— сказал Виктор.

— Вы как хотите, а я хочу бутылку достать,— сказал Сапожников.

— Ну, побежали,— сказал Фролов.

Побежали.

И тут начался кошмар.

Они бежали по узким дощечкам мимо строящихся домов, и тут навстречу им люди двинулись на работу, и разойтись нельзя, начались объятия на жердочках. А люди все шли и шли, нескончаемая цепочка людей, и с каждым надо было обняться, чтобы сделать шаг вперед, и обратно повернуть нельзя, ну точь-в-точь как в жизни. Наконец они вырвались на улицу и побежали мимо обыкновенных новых четырехэтажных домов. Они бежали, прогоняли холодный воздух через легкие, сонная кислотина полета испарялась из мозгов, и на душе было просторно и ветрено. И Сапожникову теперь было все равно, опоздают они на самолет или нет.

Он знал это состояние безвольной решимости, когда не надо никуда стремиться и хорошо там, где стоишь, бежишь — живешь, в общем. Многие боятся толпы, барахтаются, а Сапожников любил, когда толчея, когда толпа тебя несет, куда — сам не знаешь. Не надо только барахтаться.

Бульжная мостовая, деревянные высокие тротуары, современный магазин, а за окнами вид на замерзшие огороды.

Схватили бутылку — глядь, а она московская. Побежали обратно, и у новостроев все сначала — стали пробираться с объятиями.

— Куда?.. Куда?..

— Граждане, на самолет опаздываем,— резво отвечал Сапожников, и ему пришло в голову, что бутылка, за которой они бежали,—

это предлог для объятий. Впрочем, это с ним бывало довольно часто, и не с ним одним.

Хмурые попутчики галошировали рядом. Всем троим пот заливал глаза. Они мчались, как говорится, теряя тапочки, и самолеты гудели в сплошной облачности. Но это были не их самолеты. Самолеты Сапожникова давно уже улетели, а у Генки и Виктора не прилетали еще.

На аэродроме даже столовую еще не открыли.

Ну, открыли столовую. Люди стали в очередь, получили талончики в кассе. А тут объявили посадку, все побросали талончики, ринулись к самолету, посидели минут двадцать. Посадку отменили.

— Хочешь быстро — летай на самолете, — сказал Фролов. — Хочешь вовремя — поезжай в поезде.

Они пошли к столовой.

И Сапожников опять увидел очередь в кассу. Он удивился, и ему объяснили, что те талончики, которые побросали, пропали и надо выбивать новые.

Тогда Сапожников разыскал начальницу в фуражке и сказал ей, чтобы немедленно возвратили людям деньги.

— А вы кто такой? — спросила начальница.

— Неважно. Требую, и все, — сказал Сапожников.

Та улыбнулась эдак с толком и сказала:

— А что вы можете сделать? Жаловаться? Жалуйтесь. Трасса северная. Условия особые. Полетайте-ка, поработайте.

— Что я могу сделать? — спросил Сапожников. — А вот я пойду в клуб, и сорву фотографии с Доски почета, и отвезу в ГВФ.

У начальницы вытянулось лицо.

— Да что вы! С Доски почета за талончики?

— Не за талончики, а за нахальство.

— Это же политически неверно, — сказала начальница обалдело. — Вы знаете, какой эффект?

— Я и хочу эффекта, — сказал Сапожников и пошел прочь.

— Гражданин... постойте... — сказала начальница ему вслед.

— Накормите людей и верните деньги.

— Так бы и сказали! — крикнула начальница и отошла в сторону размахивать руками перед хмурой женщиной в наколке и в переднике поверх пальто.

После этого Сапожников с приятелями поели и закусили компотиком, а водку пить почему-то не стали и вышли на воздух, и тут они увидели начальницу, которая стояла на крыльце и глядела в сторону.

— Вы Сапожников, — спросила она, обращаясь к Сапожникову утвердительно. — Вам телеграмма-молния.

И Сапожников прочел: «Беспокоюсь здоровье, настроении. Коллектив нетерпением ждет приезда. Блинов».

— Бред, — сказал Сапожников. — Почему коллектив беспокоится здоровье, настроении? Бред какой-то.

— Шикует Блинов, — сказал Генка.

— Аэродромы задыхаются, — сказала начальница в фуражке, обращаясь неизвестно к кому. — Раньше принимали четыре самолета, теперь по сто... Раньше десятиместные самолеты местного сообщения раз в неделю. А теперь ежедневно четыре самолета по тридцать и сто двадцать человек... Все захлебываются, и столовые тоже, а стулья гнутые, современные... И во всем Гэвезе так... Не хватает красивых стюардесс. Завод выпускает самолет, а сменных летчиков не хватает, бензовозов, грязь — не хватает дорог...

Все так толково объяснила, и все только из-за этих проклятых талончиков и Доски почета.

— Жуткая картина,— сказал Сапожников задумчиво.— По-моему, вас пора снимать с работы.

И они сошли с крыльца.

— А вообще надо летать днем,— сказал Генка.

— Любишь виды? Это для девиц,— рассмеялся Виктор.

— Нет,— объяснил Генка.— Днем кормят, а ночью минводы. Раньше в «Ту-104» отбивные давали, а теперь легкая закуска. В гробу я видел этот чай с лимоном... Видишь, самолет загружают? Два ящика загружают. А ночной рейс — один ящик, только к чаю.

Удивился Сапожников такому знанию жизни, и они обошли весь вокзал в поисках, где бы отдохнуть, потому что Сапожникову было приятно, что он человек нужный и его ждут ради реального дела и ради его сапожниковских способностей, в которые он последнее время вовсе перестал верить. А теперь это снова было как первый снег — такая свежесть души. Они увидели клуб авиаотряда, деревянное здание барачного типа, поломанные декорации на сцене, крашенные тряпки, в углу куча трубчатых раскладушек, Доска почета с портретами передовиков девять на двенадцать, кипятильный бак с краником.

— Отдых,— сказал Сапожников.

И потащил на сцену раскладушку.

— Как бы не заснуть... — сомнительно сказал Фролов, но раскладушку взял, Виктор Амазаспович тоже.

Улеглись, вытянули ноги.

Сапожников думал о телеграмме. Потому что никто не знал, а он за доброе слово готов был горы перевернуть. На этом его всегда и ловили.

Вбежала женщина и сказала:

— Самолет ваш улетел.

Они подскочили.

Сапожников любил оставаться один добровольно и ужасался, когда его бросали без спросу. Это он заметил еще в войну — больше всего он боялся отстать от эшелона, хотя привык, казалось, к ситуациям и похуже.

Выбежали на летное поле, а там такая картина: на ветру стоят четыре самолета и винты воют, у кого один, у кого два. Тоскливое пустынное поле.

— Скорей, скорей, бегите за мной! — со злостью, со слезой кричит начальница.— Ну что я с вами буду делать?.. Здесь же билетов фактически никогда не продают!

И тут подходит давешний мужик, который им насчет гастронома объяснял и уши потирал от холода, когда они за бутылкой бегали, и был синий рассвет, а потом стал розовым, и они на жердочках обнимались. Уже воспоминания, черт возьми! Теперь мужик в замасленном комбинезоне и уши не потирает, и спокойно так говорит:

— А ваш самолет-то еще не улетел. Вон он стоит на старте.

Они видят самолет, который не заметили сразу, и этот самолет сдвигается с места — доезжает до самого конца, разворачивается, тут он может брать разгон, и стартовик стоит рядом с ним.

— Так давайте бежим туда скорей,— говорит Сапожников.

А давешний мужик говорит спокойно:

— Да не догоните.

Виктор сказал начальнице:

— Немедленно бегите к радисту... задержите самолет.

И в тот момент, когда начальница убежала, они с ужасом увидели, что самолет разворачивается на дорожке, на разгон пошел... Едет...

Сапожников впервые подумал: «Почему такая паника? Почему такой страх?! Ну не сядем на этот, сядем на другой, ведь не война же,

не гибель?» И опять ужаснулся и понял, что он по-детски загадал: если улетим на этом самолете, значит, будет жизнь, если нет — нет. Вот такая была игра, вот такая ставка. А почему, спрашивается? Такая боязнь отстать от эшелона — смешно, в конце концов... «Кто может, смейтесь,— подумал Сапожников.— А я не могу».

Тут самолет подъезжает прямо к зданию вокзала и останавливается. Открывается дверца, бежит обратно начальница, не успела сказать радисту, видимо, сам догадался.

Опустился трап — железная плоская лесенка на крючках,— и они побежали к трапу.

— Только ни с кем не спорить,— предупредил Сапожников.— Молча. Не отвечать ни на одно слово.

Генка полез первый, за ним Виктор. Сапожников чмокнул начальницу в щеку и сказал спасибо.

— Что вы наделали! Мне теперь голову оторвут,— сказала она.

Кто ей голову оторвет, Сапожников не понял.

Он влез по трапу и услышал дикий крик:

— Трое суток ждали!.. Сию секунду закروют небо!.. У нас дети!.. Они здесь амуры разыгрывают, а мы опять на сутки застрянем.

Постепенно крики затихли.

Пассажирские самолеты улетали, как эскадрилья.

— А ты им еще талончики добывал,— сказал Генка Сапожникову.

— Последний раз видим солнышко,— сказал Генка, когда самолет пробился через облака и лица пассажиров стали розовые.— А там ночь темная на полгода. Вечная мерзлота. Летом на полметра оттаивает.

Летчик прошел по проходу и сказал сердито, но довольно спокойным голосом по сравнению с криком, которым их встретили:

— Так нельзя, товарищи. Это все-таки не железная дорога.

— Чертова телеграмма,— сказал Генка Сапожникову.— Если бы не она, я бы и бегать не стал, плюнул.

— Срочно мы им понадобились,— сказал Виктор.

Он совсем задохся. Набегались за это утро. Не инженеры, а кенгуру какие-то, честное слово.

— Всегда одна и та же ловушка,— сказал он.— Вернее, приманка... Блинов знает, что делает.

И Сапожников с ним согласился. Блинов ударил без промаха. Сапожникову только неприятно было, что Блинов, может быть, знает, что они тают от доброго слова, и поэтому будет излучать профсоюзную ласку. Но у него это быстро пройдет, когда Сапожников возьмется за конвейер как надо, и все увидят, что Сапожников — бог в автоматике, и полуторакилометровая лента потянет уголек из шахты наружу.

## Глава 15. Времяворот

«Знаменитая заслуженная артистка, иллюзионистка поэзии, красоты, грации, пластики, художества и науки Ля Белла Франкарио, итальянка. Артистка, имея великолепное сложение, принимает перед экраном требуемые картиной позы. Пять программ. Исключительно для взрослых».

Такие объявления сопровождали Сапожникова всю жизнь. Отец вваливался в дом огромный, красивый, с хохотом швырял на стол афиши и читал объявления и анонсы.

— Запомни,— сказал отец,— работа должна выглядеть так, как будто ее делали играючи.

Сапожников запомнил.

И Пушкина полюбил, а Достоевского не полюбил. Ну это его частное дело, верно? Каждый имеет право на своего классика и свои причуды. Вон ведь и Пастернак мечтал под конец жизни впасть, как в ересь, в неслыханную простоту. И если Сапожников видел, что ученый или артист держится таинственно, как загнилотирированная курица, ему хотелось крикнуть простакам: «Пан Козлевич, берегитесь, вас охмуряют ксендзы!»

Простота — это не элементарность. Простота дело таинственное. Помните «Даму с горностаем»? Или «Мадонну Литту»? Или руки Моны Лизы? Леонардо их писал из маленького города Винчи, бастард, незаконный сын нотариуса.

— А как ты борешься? — спросил Сапожников отца. — По правде или для цирка?

— Не знаю, — сказал отец.

— Мне говорили, ты всех кладешь, — сказал Сапожников. — Ты самый сильный?

— Под настроение, — ответил отец. — Не люблю чемпионов. Сопят, воняют.

— А зачем бороться?

— Как зачем?.. Для веселья, — сказал отец.

— Я в секцию бокса пойду, — сказал Сапожников.

— Можно, — согласился отец. — Можно и бокс, если играючи.

Сапожников вспомнил этот разговор, когда увидел Кассиуса Клея и Фрезера. Кассиус делал что хотел, а Фрезер сопел и бил Кассиуса. А потом Фрезер упал.

Тренер у Сапожникова был Богаев, худой человек. Первый чемпион-олимпиец. Об этом теперь забыли, а зря. Была в двадцатых годах всемирная рабочая олимпиада. Забыли рабочую олимпиаду. Была она для веселья, а теперь другой раз смотришь — сопят. И еще грудные дети вращаются. На брусках. С пустышками во рту. Дети с вывернутыми в обратную сторону биографиями, где начинают с триумфа, а потом всю жизнь его вспоминают. А жизнь не состоит из триумфов, дети-то, может, и сильные, да вот, ставши взрослыми, не опростоловолосились бы.

Богаев Сапожникова взял.

— Ты игру понимаешь, — сказал он.

А давным-давно Богаев Маяковского тренировал.

— ...Просто частицы в веществе не изнутри друг к другу притягивает, а их снаружи в кучу стоняет. Как щепки в водовороте, — сказал Сапожников.

— Какое странное предположение, — сказал учитель.

Сапожников, когда вырос и вернулся с войны, потом много раз в жизни слышал эту фразу. И каждый раз ее произносил думающий человек, а все остальные или разговор переводили, или слюной брызгали. Но не сразу. Примерно сутки созревали, а потом переставали здороваться. Как будто Сапожников у них трешку спер. Или уверенность.

— Ерунда все это, — сказал учитель. — Земля вращается вместе с воздухом, а если давление снаружи, то воздух или сгустился бы, или отставал бы от вращения.

— Я и говорю, — сказал Сапожников. — Велосипедное колесо можно раскручивать за ось, а можно за обод.

— Чуть, — сказал учитель. — У тебя выходит, что некая движущаяся материя раскручивает Землю за воздух? Так, что ли?

— Ага,— сказал Сапожников.— За ветер. Я узнавал у географички — есть такие ветры. Постоянные — дуют с запада на восток, как раз куда Земля вращается.

— Ладно... Хватит,— сказал учитель.— Так мы с тобой до новой космогонии договоримся.

— А космогония — это что? — спросил Сапожников и добавил: — И никакого притяжения нет. Есть давление. Оно тем слабее, чем больше расстояние.

— Ты только не ори, не ори,— сказал учитель.

— Я не ору,— ответил Сапожников.

— Ладно,— сказал учитель.— Все хорошо в меру. Пошли спать. Завтра у тебя последний экзамен. Физика. Не вздумай там фокусничать в ответах. Спрашивать буду не я, а комиссия.

С тех пор Сапожников и не встретил больше такого собеседника, который выслушал бы все, а возражал бы только в главном, не цепляясь самолюбиво к подробностям и стилю изложения. А не встречал потому, что после экзаменов за десятый класс началась война и учитель был убит во время второй бомбежки, как раз когда Сапожников присягу принимал на асфальтовом кругу в Сокольниках.

— Вот и свет,— сказал Сапожников.— Свет — это сотрясение материи, которая на все давит и все вращает за обод.

— Ну что? Эфир, значит?

— Пусть эфир,— сказал Сапожников.— Только я не слышал, чтобы эфир двигался. А потом, зачем другое название давать, если одно уже есть?

— Какое? — спросил учитель.— Какое название уже есть?

— Время,— сказал Сапожников.

Но это он уже потом сказал, несколько лет спустя и несколько эпох спустя, после войны, когда записывал свои конкретно-дефективные соображения в тетрадку под названием «Каламазоо» и продолжал мысленный разговор со своим убитым на войне учителем, красным артиллеристом. Он и потом многие годы вел с ним мысленный разговор, как и со всеми людьми, которых уже нет на свете, но которых Сапожников любил и потому они были для него живые.

А тогда реальный разговор кончился тем, что сошлись на ошибочном слове «эфир», справедливо отброшенном, хотя и не по тем причинам, что у Сапожникова. И это понятно, потому что «эфир» отбросили до расцвета ядерной физики, а Сапожников додумался до энергии материи — Времени как раз перед тем, как физику начали захлестывать факты противоречивые и парадоксальные и возникла необходимость в теории, которая, как сказал один американец на симпозиуме в Киеве в семидесятые годы, была бы понятна ребенку. Но она и высказана была фактически ребенком. Была ли она правильна — вот вопрос. Но в семидесятые годы Сапожникова это уже мало интересовало.

## Глава 16. Из шахты наружу

— Братцы,— сказал Виктор,— когда к нам в Ереван приезжал сценарист из Москвы, меня пригласили консультантом на киностудию 1ю технике... И я присутствовал на худсоветах. Знаете, за что больше всего ругали автора? За то, что у него отрицательный герой получался неживым и стандартным.

— Уймись,— сказал Генка.

Сапожников только плюнул.

Но Виктор не унялся.



— Чего только не делали на киностудии, чтобы его оживить! И личную жизнь ему придумывали, и сложные мотивы его сволочизма, и характерные словечки, делали его не грубияном, а ласковым человеком, а все получался стандарт... И никто не догадался, что они и в жизни такие... Вот, скажем, как описать Блинова, если он не живой?..

— Очень даже живой,— сказал Генка.

— Не живой,— сказал Сапожников.— Он оживленный.

И все было неточно. У них слов не хватало, но все понимали что к чему. Просто когда Блинов ушел, они остались в гостинице оплеванные его лаской, и за окном была ночь, которая должна продлиться еще полгода. Ну, это уж чересчур! Надо было как можно быстрее закончить свои дела и сматывать удочки. Но именно это и стояло под ударом.

— Если мы все так здорово понимаем,— сказал Виктор,— почему же мы тогда будем делать то, что он велит?

— Потому что Блинов прекрасно знает наше положение,— сказал Сапожников.— Мы все равно будем работать. Мы же не можем плюнуть и вернуться ни с чем. Стало быть, мы будем работать всю ночь.

Это был тот случай, когда все стало ясно с первого разговора, но ничего не могло изменить.

В нем, Блинове, было что-то детское. И голос его, слегка вибрирующий, казался почти сентиментальным. И все в нем было бы симпатичным, если бы от него не исходило тягостное ощущение бездарности. Ему надо было объяснять самые простые вещи, и он их выслушивал с восхищением. Но радости это восхищение не доставляло. Потому что все время видно было, как работают в нем какие-то быстрые механизмы, и стучат молоточки, и морзянка тук-тук отстукивает на ленте разговора — ну, хорошо... ты прав... и я восхищаюсь тобой... а что это мне даст?

И он даже не скрывал этого. Зачем? Все равно все работали как тумовые независимо от его качеств, потому что по самым разным причинам все были заинтересованы в этом проклятом конвейере больше, чем сам Блинов. Сам он был увлечен только великим стимулом той уходящей вдаль эпохи — материальным фактором. И необязательно деньгами. Как раз с деньгами он не спешил и мог подождать, пока упрочится его положение. А тогда уж деньги сами примагнитятся. И на быстрой его физиономии было написано: «Зачем тебя только мама родила, если ты ничего не можешь мне дать?»

Плохи были дела троих приезжих. Они поняли, что судьба столкнула их с законченной сознательной дрянью.

Блинов сделал простую вещь. Он выслушал их благодарность за телеграмму, а потом, глядя им руки и обнимая за плечи, заглядывая в глаза, снова внимательно наклоняясь вперед и записывая все их предложения в импортную книжечку на «молнии», дал им понять, чтобы они не слишком старались перед приездом приемочной комиссии и что вообще-то лучше бы им вообще не приезжать, но если уж так вышло, то давайте жить мирно, а для него этот разговор мучительный, и они еще не знают условий Севера. А потом он ушел, обещая непременно встретиться и посидеть за бутылкой вина, как люди, и поговорить по душам. Как люди.

Они ничего не поняли сначала, потому что в ушах у них стоял гул от их собственных речей, полных энтузиазма и клятв положить жизнь, если понадобится, за этот конвейер и за хорошего человека Блинова.

А потом, когда поняли, какими идиотами они выглядели в его глазах, стали плевать. Что это с ними? Не мальчики уже и всякое вида-

ли, а вот сели на голый крючок без приманки. Не поняли, что главное для Блинова было произвести в Москве впечатление руководителя, рвущегося в бой за новые технические высоты, главное было отчитаться в своем энтузиазме, чтобы в министерстве нужным людям и академику Филидорову было от этого приятно, и это ему, Блинову, многое могло дать.

Когда они приехали в эту гостиницу, к ним стали ходить гости, хорошие люди, инженеры, и техники, и рабочие мастера — все, кто делал этот конвейер и был заинтересован в приезде трех москвичей, мастеров-спасателей из главной аварийной электрической конторы, — душа отдыхала, глядя на них, и каждый вытаскивал из карманов полшубка по две бутылки, как будто гранаты.

Ну, познакомились, подняли тосты — с приездом, потом за знакомство, потом за конвейер, тьфу, тьфу, тьфу, пора бы ему уже и работать.

— Да... кстати... — сказал Сапожников. — Уладим одно дело.

И вытащил ящики — «Телевизор „Темп-3"» и прочее.

— Ну, мужики, говорят, вам витамины нужны. Генка подсказал. Вот вас десять человек. Здесь двадцать килограммов помидоров и двести штук яиц... — сказал Сапожников.

Веселье прекратилось.

Все стали деловитые и разочарованные.

Ну что ж. Жизнь есть жизнь.

— Помидоры сорок копеек килограмм. Яйца по рубль тридцать, диетические. За битые яйца и мятые помидоры не отвечаю. Все, — сказал Сапожников. — Цена магазинная.

Генка смотрел на него напряженно. Лица прояснились. А что особенного? Все боятся разочарования.

— А провоз? — сипло спросил механик Толстых.

— Ну-ну... Мы не нищие, — сказал Виктор. — Не обижай.

— Что касается сигарет, — сказал Сапожников, — это уже перед отъездом. Что останется — отдадим.

— Дай закурить, — сказал механик Толстых.

Потом еще посидели, договорились о деталях, потом открылась дверь и парень спросил:

— Есть здесь кто с Игарки?

А когда узнал, что нет, вошел и сказал:

— Ну все равно.

А потом все попрощались и разошлись.

— Ты что? — спросил Виктор у Генки. — Действительно хотел работать на помидорах и яйцах? Я только теперь понял.

— Не хотел я... — хмуро сказал Генка. — Все так делают. Здесь так принято.

— Твое счастье, что я не догадался об этом в Москве, — сказал Виктор. — Сапожников догадался.

— Я опытный, — сказал Сапожников.

На самом деле он догадался, только когда помидоры раздавал и увидел глаза Генки. А пора уже быть опытным.

После этого все разошлись по своим номерам готовиться в город. Потому что Блинов встретил их прекрасно, обо всем позаботился и добыл каждому по одиночному номеру.

Сапожников гостиниц не любил.

То есть он любил приезжать в гостиницу. Особенно если это было утром, а номер заказан и никаких хлопот. Тогда он поднимался по лестнице или в лифте, брал у дежурной ключ, разглядывал в коридоре неразборчивые подписи на картинах, изготовленных при помощи разноцветных масляных красок, входил в номер, вешал в шкаф одежду,

ставил чемодан, отдергивал занавеску, разглядывал уличку, еще незнакомую, и понимал, что лучше этого номера он в жизни не видел. Потому что в нем есть все для хорошей жизни — стол с ящиками, кровать, лампа на столе, кресло, иногда телефон. Запереться, положить на стол бумагу, подумать о жизни или купить журналов, улечься на кровать, пепельницу на пол — и так жить. Правда, надо еще и есть иногда и, говорят, работать тоже надо, и причем каждый день, — и Сапожников откладывал встречу с номером до вечера, но весь первый день его грела мысль об этом номере, который дожидается его веселый и прибранный.

Но потом он возвращался вечером в гостиницу, полную запахов еды, разговоров, коридорных прохожих и музыки из репродукторов, входил в номер и понимал, что его сюда заперли.

Как Сапожников лежал на кровати, отвернувшись к стене, разве может он это забыть?

— Идите вы все... — сказал Сапожников.

Все у него дрожало внутри.

Лампа освещала его затылок, и тень от носа на стене наискосок перерубала пятно масляной краски, так похожее на лицо Нефертити, опухшее от недоедания.

Все у него дрожало внутри, и уже через несколько секунд он не мог понять, воображает ли он себе кое-какие вещи или это ему снится. Лопнула перегородка между сном и воображением — и уже воображение плясало бесконтрольно, а сон подчинялся хотениям.

А еще из жизни шла чужая воля и ослики, и тогда действительность, воображение и сон толклись на одном пяточке, переплетаясь и пиная друг друга, возились в жуткой тесноте, и возникали руки, ноги, лица, детали толстых и худых предметов, и уже нельзя было определить, к какому ведомству они относятся — дню, сну или фантазии.

А где был он сам в этой пляске деталей? А ведь вся эта каша кипела и металась у него в мозгу, который все старался понять себя самого и вывести на простую дорогу его сопротивляющееся смерти тело.

Тут Сапожников открыл глаза и увидел, что на пачке с сигаретами, которые оставили гости, было написано «Прима». «Латынь, — подумал Сапожников. — Почему у сигарет латинское название?» Перевернул пачку, как рыбу, и на белом ее брюшке прочел название «Дукат». Послышался звон золотых монет и невнятные крики дуэлянтов. Фантастические сигареты. Он закурил фантастическую сигарету и не почувствовал дыма. Сигарета все время гасла.

Он погасил лампу и заснул. А потом проснулся и вышел в коридор.

## Глава 17. Тихие чудеса

Упала бомба. Взорвалась. Осколки вверх пошли. А когда взрывается мина, от нее осколки по земле стелются.

Бобров сказал:

— Поэтому когда ранение в ягодицу — это человек не спиной повернулся, это он голову успел зарыть, а тут ему бугор и срезало. Значит, человек был не трус, а, наоборот, смелый. Атаковал. Его в бою в чистом поле ранило.

Бобров Сапожникова к себе взял, потому что любил образованных, а Сапожников и на мотоциклете ездил, и на лошади катался, и мины вслепую собирал и разбирал, и бокс умел — его Маяковский боксу учил.

— Не Маяковский, Богаев. Он и Маяковского учил, — поправлял Сапожников. — Тренер Богаев.

— А ты помолчи,— говорил Бобров,— когда старшие по званию рассказывают. Маяковский — лучший поэт нашей эпохи, так?

— Так.

— Ну вот, а ты споришь. Не люблю я этого, не люблю.

И еще Сапожников читал книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль» и мог рассказывать. Бобров это любил. И еще Сапожников был неплохим сапером. Так всю войну и провел сапером в группе Боброва. «Рамона,— пела пластинка,— Я вижу блеск твоих очей...»

Ну конечно, у Сапожникова опять появились завиральные идеи, и он их не скрывал. А в палате лежал военный инженер второго ранга с челюстным ранением, и потому лица его Сапожников толком не видел, а от голоса только бульканье. Но тот, однако, сапожниковские байки слушал, особенно насчет надувного моста для тихих ночных переправ — его бы привозили свернутым в рулон, а потом он разворачивался бы на тот берег, как игрушка тещин язык. Инженера второго ранга быстро увезли, а потом, в конце месяца, когда Сапожникову выписываться, из Москвы бумага пришла, и Сапожников поехал.

Его в Москве расспросили и сказали:

— Малореально. Но попробуем. Хотите в конструкторское бюро?

— После войны хочу,— сказал Сапожников.

— А в отпуск хотите? — спросили у него. — Дней на пять?

— Очень,— сказал Сапожников.

Ему дали на десять.

В их квартире теперь никто не жил. Комендант с пустым рукавом дал ему ключи от комнаты. Сапожников посидел один в холодной полутьме, потом пригляделся и увидел записку, которая была прижата стаканом, как будто мама на минутку к соседям вышла, а не идет страшная война и города дыбом. Сапожников взял записку, а под ней чистый квадрат без пыли. Два года лежит записка, и никто ее с места не сдвигал. Маме всегда удавались такие тихие странные чудеса, теплые и мирные, не совпадающие с громкими обстоятельствами. Сапожников прочел квадратик без пыли:

«Мальчик мой, я знаю, что ты останешься жив. Мама. PS. Если вернешься раньше меня — у Нюры для тебя письмо».

Сапожников поцеловал записку, спрятал в карман на груди, запер комнату, а из соседней вышел комендант.

— Я из вашей комнаты клещи взял,— сказал он. — Мне позарез.

— Конечно,— сказал Сапожников.

— Мама твоя квартплату присылает. Комнату сохраним,— сказал комендант.

Сапожников покивал и пошел к Дунаевым.

Сапожников как уткнулся носом в теплое Нюрино плечо, так и стоял не двигаясь, а она держала его одной рукой за шею, а другой вытирала слезы со щек — у себя и у него.

— Это как же ты? — говорила она. — Как же ты, а?

— А ничего.— говорил Сапожников,— ничего...

И была ему Нюра теперь, как весь Калязин, а значит, и вся родина.

Потом чай пили с сахарином, и Сапожников показал Нюре записку от матери.

— Значит, будешь живой, мама знает,— сказала Нюра. — Сейчас принесу.

И принесла пакет, склеенный из газеты. И в том пакете толстая тетрадь и письмо от учителя к сапожниковской матери.

— Его в бомбежку убило,— сказала Нюра. — В октябре.

Учитель просил передать пакет Сапожникову, когда он вернется с войны. Все одно к одному. И этот верил, что Сапожников вернется, и в конструкторском бюро сказали: возвращайтесь к нам.

— Я Лиду видела, библиотекаршу,— сказала Нюра.— На торфе познакомились. Помнишь ее? Она тебя хвалила, что ты у нее все книжки прочел. И маму твою знает, они вместе петъ ходили к учительнице.

— А-а...— сказал Сапожников.— Трубы, мачты, за кормою пенится вода...

Он читал письмо и перелистывал толстую тетрадь, где учитель записал все свои разговоры с Сапожниковым о том о сем, о велосипедном насосе, о притяжении и отталкивании и что свет— это сотрясение материи, неизвестной пока материи времени.

«Передайте ему тетрадь, если останется жив,— писал учитель.— Я считаю, он не должен бросать думать обо всем этом. Никто не знает, кому дано сказать для жизни главное слово, но каждый должен пытаться его выговорить. Пусть пытается».

— Она говорила, что ты был хороший мальчик, но дефективный,— сказала Нюра.

— Кто говорил?

— Лида, библиотекарша. Она и сейчас в хоре поет. На фабрике. Ты уже с женщиной был?

— Как был?

— В постели был с женщиной?

— Сколько раз,— сказал Сапожников.— А что?

— Ну, значит, не был,— сказала Нюра.— Мне завтра в ночную. а ты приходи сюда. Я Лиде скажу, придет тебя покормит.

— Нюра... а Нюра?.. Обадела?— спросил Сапожников.

— Ну что?— сказала Нюра.— Мне-то что врать? Али я тебе не своя? А то убьют, не дай бог, и не узнаешь ничего!

Проста была Нюра.

Сапожников замечал: читаешь какую-нибудь книжку, будто интересно читаешь, увлечешься, про войну или про любовь, а потом вдруг дойдешь до одного места, думе и уже только про это, и думаешь, а про все остальное думать неинтересно. А писатель дразнит, заманивает— дескать, один раз про это рассказал, значит, жди другого раза. И каждый раз просчет у писателя, потому что сразу бежит глаз по строке, как обруч под горку, только слова камешками тархтят да кустарник страницами перехлестывает, и уже нет ни смысла, ни толку. Значит, самого писателя в этом месте понесла вода, и, наверно, думал Сапожников, бросил писатель в этом месте рукопись и побежал к любовнице или схватил за полу проходящую мимо жену, потому что зачем писать про то, без чего сию секунду не можешь? Секунда прошла— и нет ее, а в книжке надо только про то, что важно. А про это важно или нет? Заранее не скажешь. Смотря про что книжка написана. Маяковский поэму написал, так и назвал «Про это», а на самом деле не про это написал, а про любовь. А про это?

— Сапожников, а правда, балерины на мысках танцуют, а под мысками пробки от бутылок?— спросила Нюра.

— Почему ты его по имени не зовешь?— спросила Лида.

— А привыкла... Все Сапожников, Сапожников, и я— Сапожников... Я слыхала, дирижеры зарабатывают много,— сказала Нюра.— А сами музыку не играют, только палочкой махают. Сапожников, ты после войны в дирижеры ступай... Ну, я пошла. Будете уходить, ключ под коврик положите.

Сапожников вдруг открыл глаза, и она вдруг открыла глаза. И Сапожников увидал огромные черные зрачки от века до века. Так они смотрели друг другу в глаза, и вдруг она схватила его за плечи и стала вырываться.

— Не надо... Боюсь...— прохрипела она.

Но Сапожников вдруг стал как каменный.

Сапожников прождал ее напрасно еще неделю и уехал дальше воевать до следующего госпиталя.

Сапожников встретил ее еще раз перед концом войны. Снова приехал в Москву по военным делам. Он уже теперь был офицером, и его всего два раза задерживал комендантский патруль за какие-то не такие штаны. А какие штаны нужны для полного победного блеска, Сапожников уже забыл, а в Москве как раз перед победой вспоминать начали. Ателье работали круглые сутки и все такое по части галунов, нашивок, лампасов, «крабов» и «капусты» на фуражки и так далее.

Она пела в хоре соседней фабрики и по-прежнему работала в библиотеке. Сапожников сидел во втором ряду, и со сцены пахло пылью и потом после танцоров. Он приподнялся уходить, но женщина из хора вдруг поглядела на него одного, и Сапожников сразу сел и просидел до конца. Потом ушел не дождавшись.

А на завтра зашел в библиотеку.

— А-а... Сапожников,— равнодушно сказала она.

И, закутавшись в пальто, снова стала заполнять чью-то карточку.

Сапожников читал подшивку. Свет был неяркий. Уходили последние посетители. Стекла в книжных шкафах читальни сверкали.

— Я закрываю,— сказала она.

Она скинула платок с ситцевого платья и стала надевать пальто, как школьница, поднимая руки вверх и вытягиваясь, и увидела, что Сапожников на нее смотрит.

Они вышли из читального зала в темный тамбур, потом на холодную улицу, и она заперла дверь на ключ. Как будто они из чужого мира вошли в свой и заперлись на ключ. Сумерки. Сырость. Запах мокрых листьев под ногами.

— Смотри, живой,— сказала она.— Я думала, ты убит.

Они шли медленно.

— Твои живы?

— Да,— сказал Сапожников.— А твои?

— Убивать было некого.

Он взял ее за руку. Она отняла.

— Объясните мне,— сказал Сапожников.

— Не надо.

— Вы не помните?

— Не надо.

Она остановилась у подъезда и стала смотреть на носки своих туфель, потом на него исподлобья.

— Лида, я выяснил,— сказал Сапожников.— Д'Артаньян не армянин.

— Ну...— сказала она.— Иди...

Сапожников ушел.

Сидел в сквере на мокрой скамье, пока не промок.

Потом перешел улицу и вошел в подъезд. Хотел позвонить на втором этаже, не нашел звонка. Хотел постучать, но она открыла дверь сама, впустила его в переднюю, запахивая халат. В полутьме они прошли в ее комнату. На табуретке красным глазом сияла спираль электроплитки.

Она не раздеваясь легла под одеяло, высвободилась из халата и кинула его на стул.

— Скорей...— сказала она.

Когда они глядели в потолок и Сапожников курил, она сказала:

— И больше никогда не приходи.

— Приду.

— Ничего нельзя вспоминать.

— Почему?

— Не знаю.

— У меня никогда потом так не было, как тогда с тобой.

— И у меня,— сказала она.— Потому и не надо.

Никто не знает, почему мужчине и женщине надо быть вместе. Потому что хочется? А если перестало хотеться? Надо бороться с собой? А кому из них? Тому, кому первому перестало хотеться? А можно жить с тем, кто с собой борется?

— Неужели жизнь прошла?— спросила она.

А Сапожников, конечно, не догадывался, что ему или ей на роду написано. А если бы догадался, что ему на роду написано, то вцепился бы в эту дуру мертвой хваткой и не послушал бы ее горделивого приказа не приходить.

## Глава 18. Перегрузка

Сапожников всегда знал, когда будет авария, хотя не часто мог ее предотвратить. Понимающих его людей в этот момент не находилось. А потом уже все было поздно. Собирались вместе и вспоминали про Сапожникова. Он не отказывался. Зачем? В нем всегда жила надежда, что, может быть, в другой раз послушаются. Иногда бывало и так. Прислушивались, аварию проскакивали благополучно. Но в этом случае о Сапожникове уже не вспоминали. Разве композитор-профессионал захочет вспомнить, от какой уличной песенки он оттолкнулся, когда сочинял свой шлягер?

Сапожников всегда знал, когда будет авария. Тут не было никакой мистики. Старый охотник знает, когда в лесу зверь. Одни говорят, что это шестое чувство, другие — жизненный опыт, а третьи, что, мол, за битого двух небитых дают и то не берут, а Сапожников был жизнью бит многожды, но не очень верил, что только в этом дело.

Последние дни Сапожников толкался среди рабочих и понял, что авария на носу. Чересчур все было гладко для работы, которую собирались сдавать комиссии.

Да не потому, что люди, сооружавшие этот конвейер, халтурили или еще как-нибудь иначе проявляли свою самостоятельность. Просто это носилось в воздухе, в морозном ночном воздухе, пробитом светом прожекторов.

«Что же это получается? — думал Сапожников.— Все канатно-ленточное хозяйство работает как заводное, и автоматика срабатывает. Полуторакилометровый механизм при пробных пусках исправно тянет руду из шахты, не конвейер, а невеста, ну прямо под венец. И крыть нечем».

— Чего ты беспокоишься? — сказал Виктор.— Показания приборов отличные.

Сапожников только сопел.

Они стояли и слушали, как рокочет бесконечная лента, и смотрели, как масляно вращаются ведущие звездочки.

— Лифт,— сказал Гевка.

— Что?

— Не конвейер, а лифт,— сказал Генка, снял рукавицы и зажал пальцами уши.

Сапожников сделал то же самое.

Гул стал тихим, ровным и каким-то неустойчивым. Он оглянулся на Виктора. Тот что-то кричал. Сапожников опустил руки.

— ...во! — докричал что-то Виктор.

— Что?

— Я говорю, это ничего!

— Что ничего?

— Есть небольшие перегрузки, но это ничего!

— Виктор, это шахта,— сказал Сапожников.— Ты с этим не сталкивался. Маленькая перегрузка может мгновенно стать завалом. Все будет рваться и лететь к черту. Генка, давай еще прозванивай всю схему.

— Не учи меня,— сказал Виктор.

— Правильно,— сказал Блинов.

Он подошел к пульту веселый, в расстегнутом полушубке и сдвинутой на затылок пыжиковой шапке.

— Я думаю, можно подписывать акт, а послезавтра ту-ту — и вы уже в Москве. Я вам завидую. Поработали вы классно. Я специально сообщу об этом в вашу контору.

— Мы еще не начинали работать,— сказал Сапожников и протянул Блинову «Краснопресненские».

Они давно уже разыгрывали восхищение друг другом, и было ясно, что и эта авария тоже приближается.

— Мне кажется,— сказал Блинов, закуривая, — что вы меня все время хотите поддеть чем-то... Я говорю — я принимаю у вас работу... ваш участок работы. А всю работу будет принимать комиссия согласно договору.

— А я вам ее не сдаю...

— Аварийная автоматика работает отлично. В чем дело?

— У вас питатели работали плохо, плохо подавали руду. Образовались завалы... Совсем недавно...

— Это уж не ваша забота.

Блинов бросил сигарету на землю, топнул по ней, и ее тут же умело. Вверху под прожекторами летел колючий снег. За забором шахтного двора стояло бурое зарево. Небо было бурое от далеких коксовых батарей.

— Да вы не обижайтесь,— сказал Сапожников.— Датчики показывают перегрузку на сгибах. А ведь конвейер еще не гоняли как следует.

— Да-да... конечно,— сказал Блинов.— Вот сейчас и попробуем.

— В смысле прозвоним схему — тогда попробуем,— сказал Генка.

— Щекотеев! Костин! — крикнул Блинов.— Передайте там вниз! Сейчас погоним на повышенном режиме!

Потом он повернулся к ним с улыбкой. Но это была не улыбка. Просто он так щурился от ветра.

— Я моложе вас, товарищ Сапожников,— сказал он,— но хочу дать вам совет. Вы очень эмоциональный человек... Вы...

— Летом, летом... — сказал Сапожников.— Летом будете советовать. Сейчас чересчур холодно.

— Пошел! — крикнул Блинов вдаль и приблизился к пульту.— Позвольте.

Виктор отодвинулся, и Блинов кинул рубильник.

Медленно стал нарастать грохот. Тонкий ручеек подскакивающей на ленте руды плавно превратился в черный пласт.



Блинов убежал. Вдоль конвейера стояли люди и напряженно глядели на маслянистую цепь, которая текла по барабанам. Все шло гладко.

— Работает старушка,— нерешительно сказал Генка.— В смысле конвейер.

Сапожников не отвечая глядел на приборы. Все шло гладко. Сапожников отошел от приборов. У ленты его догнал Виктор.

— Что тебя беспокоит? — спросил он.

— То, что Блинов боится комиссии больше, чем аварии.

— Ты думаешь?

Сапожников не ответил.

— В конце концов, черт с ним... За электрическую схему я ручаюсь,— сказал Виктор.

— А за человеческую?

И тут их окликнул Генка:

— Ребята... живо!

Они подбежали.

Приборы показывали аварийную перегрузку.

Все переглянулись.

Стоял дикий грохот. Приборы показывали аварийную перегрузку, но автоматика почему-то не срабатывала, не отключала механизмы.

Тогда Виктор кинулся к ленте, от которой стали медленно отходить люди.

Сапожников подбежал к Виктору в тот момент, когда он обалдело смотрел на безмятежный аварийный выключатель, под который кто-то подsunул лом. Обычный лом, которым лед с тротуаров скалывают.

Сапожников кинулся к этому лому и дернул его. Лом не поддавался, его заклинило. Сапожников увидел руки Виктора, протянутые к выключателю, и свои руки, выдергивающие лом. Услышал треск и увидел, как лопнувшую цепь завело под барабан и стало наматывать на звездочку вместе с рукой Виктора, и стало пучить конвейер и поволокло Виктора, и Сапожников свободной рукой еще успел рвануть аварийный выключатель.

Грохот стал затихать. Только несколько секунд падали на землю возле Виктора какие-то вывернутые куски металла.

Виктор стоял, протянув руку, и тихо стонал.

Крик. Топот. Тяжелое дыхание людей.

— Витя... ничего... Только палец... Рука свободна...— сказал Сапожников, обжигая лицо спичками, пачкая лоб горелым маслом и вглядываясь во тьму, где дрожала черная рука Виктора.

Сапожников осторожно завел конец дома под цепь до упора где-то в глубине и, распрямляя согнутые ноги, стал поднимать цепь, прохрипев:

— Берите его...

Механик Толстых и рабочие осторожно, как неживую, вынули руку Виктора, и Сапожников опустил цепь.

Виктора держали за плечи. Зубы его лязгали.

— Витя, сейчас... потерпи,— сказал Сапожников и оглянулся.

По шахтному двору бежали люди.

Сапожников увидел Блинова, расталкивающего толпу.

— Я ни при чем...— проскрипел он сквозь сжатые зубы.— Я не виноват...

И это были первые его слова.

— Машину... Убью!.. — крикнул Сапожников и замахнулся.

Блинов отскочил, поскользнулся, но удержался на ногах и побежал прочь.

В воздухе стояла вонь от сгоревшего мотора.

Потом взревел вездеход и ослепил всех фарами.

Виктора посадили в кабину, и Сапожников сел рядом.

Только когда они выкатили за ворота, Сапожников разглядел, что за баранкой сидит Блинов.

Они молчали всю дорогу, и Виктора привезли к большому зданию, похожему на гибрид дворца рококо с Парфеноном. Это была травматологическая больница.

Когда Виктора вели по двору, они услышали, как густой приятный голос тянул песню в темной темноте ночи: «Па тундыря... па железыной даррогя... хде мчится поязыд... Ва-ар-кута—Леныхырад...» — и Виктор спросил:

— На каком языке поют?

Сапожников не стал объяснять, что поют на языке Блинова, только произношение другое.

### Глава 19. Письмо к себе

Немцы подкатили установку и орала всякие слова насчет того, чтобы не суетиться и сразу тихонько сдаваться в плен. Кричали, конечно, по-русски, но акцент выдавал. Так волк кричал семерым козлятам: «Ваша мама пришла, молока принесла».

— Началось,— сказал Цыган.

— Надо попробовать,— сказал Танкист.— Я знаю, где у их танков слабина. Переднюю машину подорву, проход узкий. Остальные сами станут.

Взрыв. Гул танковых моторов.

— Не вышло,— сказал Бобров.— Больше резервов нет... Рамона, разбей радию. Цыган, прикрой ее.

Рамона оттащила радию, рванула крышку и стала хрустеть лампами. Цыган прикрыл ее огнем. Началась ответная стрельба.

— Цыган,— сказала Рамона, торопясь,— когда прикажу — стреляй в меня, как стоворились. За Ваню я не боюсь...

— Рамона, Галочка, королева моя, чайка моя заморская...— сказал Цыган, ведя огонь.— Беги... Есть шанс для женщины!

Он ошибся. Шанса для женщины не было.

**Письмо к себе.** Я, Сапожников, сын Сапожникова, записываю в эту особую тетрадь сообщения о событиях важных и печальных, чтобы не изгладились они в моей памяти, так легко затемняемой страстями.

Я помню блевотину желтого дня и безумие темноты. Я помню смерть городов и трупы лошадей с окаменевшими ногами, торчащими вверх, и внутренности их, вывернутые наружу газами разложения.

Я помню, как везли на телеге пленных карателей, и люди деревни хотели их истребить. Но пожилой автоматчик, охранявший их по приказу, кричал: «Не подходи!» И как старая женщина разорвала на себе рубаху, и открыла иссохшие груди, и пошла на автоматчика, приговаривая: «Стреляй, сынок, стреляй...» И как возница ударил по лошадям, и телега помчалась, гремя ведром, и лошади понесли прямо под виселицу, которая стояла среди улицы и поперек дороги, и один каратель завизжал, увидев, куда летит телега, и когда он привстал, его ударила в лоб босая нога повешенного, и он упал навзничь, потеряв доступное ему сознание.

И я помню, как в госпитале в отдельной комнате лечили раненого нациста и мимо нас сестричка носила ему еду и бинты. А вчера она вывалилась из двери и на пороге комнаты остановилась с перере-

занным горлом, из которого била струя крови, и упала и умерла у нас на глазах. А сегодня мы узнали, что он спрятал суповую ложку, и точил ее под матрацем о железную раму кровати, и зарезал сестричку, которая его лечила, когда она меняла ему бинты.

И я помню последний бой, когда полегла вся группа Боброва — и Танкист, и Цыган, и Рамона, и сам Бобров. И я был убит взрывом и завален обломками. И когда меня нашли и откопали для второй жизни, они все стали приходить ко мне, и я опять нескончаемо слышу взрывы и их голоса.

Я помню, но не понимаю. Я хочу забыть и не могу. И меня, Сапожникова, сына Сапожниковых, привыкших гордиться силой работы, война научила убивать, а мы, Сапожниковы, веками презирали убийц.

И потому я, Сапожников, сын Сапожникова, потомок бесчисленных Сапожниковых, утверждаю, что все фашисты, всех видов и толков, которых я встречал, были параноиками, кататониками и шизофрениками. Очевидно, именно поэтому они провозглашали себя расой полубогов. Может быть, в смутное время переворотов они целеустремленно просачиваются вверх, потому что знают все слова и доктрины и безумие их некому и некогда разглядеть.

Я, Сапожников, двадцати одного года от роду, сын Сапожникова, если останусь жив, до тех пор обещаю не рассказывать про войну, не читать про нее книжки, не смотреть про нее кино, не слушать радио, не читать в газетах, не изучать ее, не анализировать, не стараться понять или обобщать опыт, пока не придумаю, как ее казнить. Потому что война, будь она проклята, должна быть убита.

И если, как нас учили, война есть продолжение политики, а политика — продолжение экономики, то, значит, без энергии нет экономики и в чьих руках энергия, у того и власть. И если раздать энергию всем, то она уйдет из рук шизофреников.

И потому я, Сапожников, сын Сапожникова, клянусь, что придумаю автономный двигатель, который любого человека сделает независимым от шизофреников, и война умрет.

Госпиталь. Карельский фронт. Ноябрь, 1944 год.

## Глава 20. Домой!

Сапожников вернулся в Москву из командировки холодным солнечным вечером и увидел, что все люди бегут и бегут по улицам и их очень много. «Куда же они бегут?» — подумал Сапожников и постеснялся спросить.

Тогда Сапожников пошел в магазин подарков на улице Горького, чтобы купить галстук, и тут он увидел, как перед огромным зеркалом десятки мужчин примеряют галстуки. Они стояли рядышком и сами на себе добровольно затягивали петли, сами себе вздергивали подбородки разноцветными узлами, а потом выходили на вечернюю улицу болтаться на галстуках. «Нет... какого черта? — подумал Сапожников. — Мы же сами подвешиваем себя, а потом стонем».

Он не стал покупать галстук и купил рубаху без воротника. Он переоделся в сторонке, и многие оборачивались. Потом, распахнув пальто, подошел к зеркалу и увидел, что шея из такой рубашки торчала голая и какая-то беззащитная и пиджак явно не годился для этой рубахи. Бездомьем несло от его наряда.

Сапожников выпшел на вечернюю улицу, где голые тротуары костенели от холода и синий снег на крышах. «Нет,— подумал Сапожни-

ков.— Все-таки я иду по улице и меня не задавило на улицах, где такое большое движение, и у меня есть комната с окном и зарплата, и я не купил галстук».

Он пришел домой и разделся в пустой комнате, подошел к зеркалу и понравился себе в новой беззащитной рубашке, надел куртку и почувствовал себя значительно лучше.

Ему мешала только пушистая шляпа, которая смотрела на него со шкафа. В ней было все дело. Под нее строились самые большие планы, прекрасные и совсем чужие.

Сапожников снял шляпу со шкафа, подошел к окну, распахнул фрамугу и запустил шляпу в небо.

Представляете себе?

Нет, вы только представьте себе это реально или попробуйте сделать это сами — выкиньте в окно новую шляпу. И вы увидите, что у вас ничего не получится. Чувство, близкое к суеверию, остановит вас. Как будто вы этим поступком расстаетесь с чем-то важным в самом себе. Вот что такое кинуть шляпу в окно, вот чем она отличается от других предметов.

Она планирует, вращаясь над крышами зимнего города, одинокая под вечерним солнцем, среди всех голубей детства и воздушных змеев, над синими тенями дворов и переулков.

Сапожников захлопнул фрамугу и спустился на улицу.

Прозрачные тени тянулись до площади, а там московские дома теплого цвета и розовое вечернее небо.

Розовый город раскинулся перед Сапожниковым. Город, который все перенес и все выдержал.

На лотке мужчина продавал журналы и книжки и топал ногами, ему было холодно. Синий берет прикрывал жирные вздыбленные волосы лоточника. И на этом лотке Сапожников увидел свою шляпу. Она прижимала газеты. Сапожников посмотрел на нее пристально. Продавец поймал его взгляд и сказал:

— Мальчишки принесли.. Не ваша?

И приподнял шляпу за продавленную макушку. Под шляпой на газете лежала жестянка с медяками.

— Не ваша?.. Могу продать,— сказал продавец.

— Носите сами,— грубо сказал Сапожников и ушел.

Он позвонил по телефону и сказал:

— Нюра, я приехал. Ты мне друг?

— Сапожников, Дунаев говорит — приезжай немедленно! — громко сказала Нюра.

— Случилось что-нибудь? — спросил Сапожников.

— Да! — сказала Нюра.— Мы соскучились.

И Сапожников повесил трубку.

И пошел куда-то в сторону. Он еще не готов был к тому, чтобы ходить по гостям.

Потом он поехал на чем-то. И чем дальше он ехал, тем светлее становились весны в его воспоминаниях, и резче пахли цветы, и чище помыслы его возлюбленных, а ведь, наверно, это было не так, потому что и в те времена его обижала жизнь, но он вспоминал это со смехом.

Он шел и ехал, ехал, пока не понял, что забрел совсем не на ту улицу.

Был счастлив, несчастлив, но не в этом дело.

Домой, домой, что-то кричит — домой!

Туда, где не надо притворяться. Домой — это туда, где можешь быть самим собой, а не тем, кем ты стал, будучи постоянно настороже.

А когда поедешь домой, сразу узнаешь тех, кто тоже туда устремился.

По дороге их становилось все больше, и наконец он понял, что все мчатся домой, все истосковались об одном, и поэтому давка, как во время эвакуации. Это только кажется, что бегут из дому, на самом деле бегство — это всегда бегство домой.

Тогда Сапожников повернул назад и пошел в гости.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГОНОЧНАЯ КОРОВА

Человечья родословная — это родословная тех, кто успел дать потомство. Родословная живых.

Поэтому история только внешне история войн, то есть смертей. А на самом деле это история мира, то есть жизни.

И так как до сих пор, несмотря на кровопускания истории, жизнь все же существует и есть надежда, что так будет и дальше, то давайте подумаем, как же это все-таки случилось, что родословное дерево каждый год в цвету.

...— Что ты ищешь на рынке, Сапожников? — спросил Глеб.

— Я ищу редиску моего детства. Чтобы она щипала язык. А я вижу только водянистую редиску, жалобную на вкус.

— Эх, Сапожников, — сказал Глеб. — Эту редиску, которую ты ищешь, можно отыскать только вместе с самим детством. Она там и осталась, Сапожников. Вместе с клубникой, от которой кружится голова. И черникой, которую покупали ведрами. В отличие от клюквы, которую покупали решетами.

— Ого! — сказал Сапожников. — Тебе знакома такая черника? И такая клюква?

— Да-да, ты угадал, — сказал Глеб, снова надевая очки. — Я из Калязина. Я думал, ты знаешь. Только я жил по другую сторону великой реки.

— Твоя сторона города уцелела, Глеб, — сказал Сапожников. — А моя ушла под воду. Мой город под водой, Глеб, а твой возвышается.

## Глава 21. Апрель

Поезд лупил к горизонту. Налетали голые рощи. Пахло пивом и гарью. Ветром отдувало занавеску, и девочка по откоосу гнала козу. О, дорога, дорога, всегда ведущая туда, где нас нет.

Всю дорогу они ссорились с Барбарисовым, потому что для этого не было причин.

Но Сапожников устал от чванства Барбарисова и пытался объяснить ему, что никогда Россия не жила только ради заработка. Ну а на лице Барбарисова было написано согласие с Сапожниковым, хотя оба знали, что никакого согласия быть не может. Потому что Барбарисов был умный и всегда знал, чем сегодня торгуют, и откликнулся. А для главного разговора ума было мало, даже если его палата. Но и палаты не было.

— Болгарский композитор Панчо Владигеров, — оживленно сказал репродуктор, — фрагменты из «Скандинавской сюиты». Исполняет оркестр венгерского радио.

— В Москве, — добавил Сапожников.

— Ты чего, ты чего? — привычно пробормотал Барбарисов, застегиваясь перед дверным зеркалом, в котором отражался он сам на фоне бескрайних полей.

— Подъезжаем, — сказал Барбарисов, отодвинул дверь в сторону и перестал отражаться.

Тра-та-та-та-та...— загремела пулеметная очередь.

По коридору промчался мальчик с автоматом, что-то изрыгавшим. Он схватился за грудь и сполз по стене. Потом опять побежал по коридору, стреляя из автомата, и опять упал, хватаясь за живот, и так много раз подряд. Пока его чемоданом не загнали в купе.

Потом поезд остановился, и оказалось, что Барбарисов уже одет и портфель в руках, а Сапожников даже еще галстук не повязывал. Вошла проводница, совсем девочка, и сказала мягко-мягко:

— Та вы здесь поселяетесь?

И Сапожников понял, что приехали.

Он приукрасился кое-как и вышел в пустой коридор, стесняясь, что несет портфель.

Это у него всегда были дурацкие мучения из-за предметов, которые его унижали и не позволяли ходить, чтобы руки болтались, как им самим хочется. С портфелем ему казалось, что он солидный, как шиш на именинах, а с авоськой ему казалось, что он нищий и все видит, что за ним присмотреть некому, а о зонтике, например, он даже помыслить не мог без ужаса: человек идет и несет крышу над головой. Стыдно, как в страшном детском сне, когда видишь себя в комнате, полной гостей, и вдруг оказывается, что ты без штанов. Этот сон по Фрейдю означал что-то сексуально нехорошее, но Сапожников уже забыл, что именно. Времена пошли такие, что и наяву люди без штанов стали ходить,— нудизм, акселерация, сексуальная революция, и римский папа борется с противозачаточными средствами, хотя, с другой стороны, демографический взрыв и перенаселение, а почему перенаселение? Потому что рождаемость понизилась, а к тому же в огороде бузина, а в Киеве дядька. Логичное настало время. Разум вступил в свои права и научно мыслит.

Никто их не встречал, и они вышли на ледяную площадь, где транспорт пытался приспособиться к внезапным морозам,— Барбарисов впереди стремительно, а Сапожников на полшага сзади. Сапожников ленился ходить быстро, и Барбарисова это устраивало, так как подчerkивало.

«Куда вы идете, люди? — думал Сапожников в отчаянии.— И я с вами. Куда вы идете, люди, и я с вами? Пропадаю, мальчики,— думал Сапожников, глядя на гордый полупрофиль Барбарисова,— не любит-ся, не работается и, стало быть, не живет-ся, потому что пропадаю. Призвание у каждого человека должно быть, призвание. Человек должен быть призван». Сапожников был призван любить и работать. Больше он ничего не умел. Когда трещало одно, немедленно обесмысливалось другое. Чудеса, да и только! Что делать, мальчики, пропадаю?! И они вошли в гостиницу.

Было очень холодно. Номер им не дали, и они напрасно толкались у прилавка администратора, где оттаявшие пальто командированных пахли кошками, как в обшарпанном подъезде.

Они отдали в ледяную раздевалку пальто и портфели и прошли в кафе. Там они съели по бледному куску колбасы, измазанному картофельным пюре, и две женщины-соседки в простодушных кудряшках были морально убиты барбарисовской элегантностью. В левой руке у него была вилка, а правая делала чудеса. Она отрезала кусок анемичной колбасы, накладывала ножом плевочек пюре, примазывала все это горчицей и придерживала все сооружение, пока оно не отправлялось в рот. И ледяная великовесность стала кругами замораживать кафе. Кудряшки быстро нарезали свою колбасу на мелкие кусочки и, не глядя друг на друга, начали быстро съедать их поштучно. И отставили тарелки, потому что не знали, как едят пюре там, в Монте-Карло или в Майами-Бич, ореол которых сиял над головой Барбарисова. Кудряш-

ки быстро высосали свои чашечки кофе, оставив на дне неразмешанные куски железнодорожного сахара, и ушли голодные и напуганные. А Сапожников все переключал нож из правой руки в левую и корнул эту колбасу, и ему хотелось выть. Ему хотелось есть колбасу руками, слизывать пюре с тарелки и макать пальцем в горчицу, ему хотелось запустить колбасой в плакат «У нас не курят» и размазать пюре по оконному стеклу, а горчицей что-нибудь написать на стенке, потому что все детство его учили держать вилку в правой руке и не подготавливали его к жизни, где важным считается все, что таковым не должно считаться.

— Васька! — крикнул Сапожников.

И к столу подошел Васька Бураков, археолог из московского института, и Сапожников встал и расцеловался с ним, и в несчастном, заледеневшем от светской жизни кафе переменялся климат.

— Васька, хочешь, я научу тебя жрать левой рукой? Это жутко неудобно, но так надо, поверь. Иначе мы с тобой не попадем в Пукипси.

— Я не хочу в Пукипси, — сказал Васька. — Я выпить хочу.

— Я тоже.

— После совещания, — сказал Барбарисов. — Он уже и так хорош. — И указал на Сапожникова салфеткой.

— Познакомься, это Барбарисов. Он умеет левой рукой есть, — сказал Сапожников. — Я не завидую! Я умею ушами шевелить вместе и по очереди.

— Что это с ним? — спросил Васька у Барбарисова.

— Всю дорогу меня изводит, — сказал Барбарисов. — Я совершенно одурел. Хорошо, что вы появились.

Сапожников полез в задний карман за трешками, но Барбарисов раздраженно опередил его, заплатил сам и пошел к выходу, задрвав подбородок. Барбарисов по старой памяти думал, что Сапожников с ним соперничает, и ошибался. Сапожников давно уже понял, что они в разных весовых категориях. Барбарисова сбивало с толку возвышение Сапожникова, случившееся внезапно.

Впрочем, не только Барбарисова это сбивало с толку. Еще пробовали с ним обращаться по-прежнему, но получалось неловко. И все злились. На Сапожникова, конечно. Кто же в XX веке злится на себя? Дураков нет. На Сапожникове давно все крест поставили, а он взял и учудил — придумал вечный двигатель. Ха-ха. Когда всем известно, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А почему, собственно? Движение вечно, вечно течет река энергии. Значит, если в поток сунуть вертушку, она будет вертеться вечно, пока ось не перетрется, но это уже неприципиально.

О господи, какой шум поднялся, какой смех! Вечный двигатель! Подумать только! Никто уже в суть не вдумывался, а Сапожников ходил по компаниям и на пальцах показывал, как это сделать, а потом оглядывался по сторонам, искал карандаш или авторучку, или потом стали фломастерами рисовать — годы проходили, пока до фломастера додумались, — но ему ничего этого не давали, а беззлобно смеясь, загибали его растопыренные пальцы, на которых он объяснял схему. Нет, рук, конечно, не выламывали, но так загибали пальцы, что получался кукиш. Очень все веселились.

Странное это было время, без счастливых событий. Холодно, очень холодно. Все призывали друг друга улучшаться, и каждый ждал, что первым это сделает сосед.

Вы видели когда-нибудь крыши? Зеленые, золотистые? А красно-ржавые? А увядающе-цинковые? А стены домов до горизонта, и на их фоне стволы деревьев цвета подсолнечного масла, и золотистый хаос

ветвей без листьев? Это апрель, апрель, и глаза захлебываются от цвета, и колени проходящих по тротуару женщин, чуть пухловатые после зимы.

Это было странное время, без счастливых событий.

Наконец Барбарисов дозвонился, и им сказали, что до совещания остается час.

Они сидели без пиджаков в номере у Васьки Буракова, куда все время кто-нибудь заглядывал из экспедиции, и Васька отдавал распоряжения.

— Уедем сегодня вечером. Билеты нам сделают. Так что номер нам не понадобится,— сказал Барбарисов.— А на совещание пройдемся пешочком. Иначе я засну.

— Обедать будем вместе,— предупредил Васька.— Часика в три.

— Меня тошнит,— сказал Сапожников.

— Начинается,— вздохнул Барбарисов, надевая пиджак.— Я тебя жду внизу.

И вышел. Васька спросил озабоченно:

— Что с тобой? Ты ведешь себя как укушенный...

— Меня тошнит от погони,— сказал Сапожников.— Что на нас накатывает? Почему все время дай-дай-дай?.. Уже все есть, что нужно человеку для существования, а все дай-дай-дай...

— А что нужно человеку для существования?

— Человеку нужны штаны, пельмени и чтоб крыша не протекала.

— Ты как Толстой,— сказал Васька.— Толстой считал, что человеку нужно всего полтора метра земли... Но на это Чехов ответил: полтора метра нужны не человеку, а трупу. Человеку нужен весь мир.

— Толстой не о том говорил. Полтора метра земли в собственность действительно нужны трупу. А человеку земля в собственность вовсе не нужна. Если Чехова тоже понять буквально, как он понял Толстого. Если человеку нужен в собственность весь мир, то где брать этих миров, чтобы по штуке на рыло? Меня тошнит.

— Хочешь воды?

— Меня сердцем тошнит,— сказал Сапожников.— Тут так. Либо все классики врал, когда писали о России, либо всякий искусственный динамизм — это не Россия.

— Россия тоже уже другая,— сказал Васька.— Россия — европейское государство.

— Что значит — европейское? Головастики, что ли, главное? В России талант главное. А талант — это дойная корова. Ему нужно, чтобы его доили. Недоеная корова болеет... Я дойная корова! Я болею, когда меня не доят... Корова любит ласку, и музыку, и зеленые поляны. Тогда она перевыполняет план по маслу и простокваше... Корову надо доить, чтоб она не болела... Но ее нельзя заставлять участвовать в скачках!.. Я не хочу быть гоночной коровой!..

Раздался телефонный звонок.

— Да иду я, иду...— сказал Сапожников.

— Он сейчас идет,— сказал Васька, послушав захлебывающуюся трубку и обернулся к Сапожникову: — Твой товарищ шумит... Он сейчас выходит, пиджак надевает.— И осторожно придавил никелированную пупочку на телефоне.

— Ну, помчались,— сказал Сапожников и вышел.

Он шел по мягкой коридорной дорожке, на него накатывали пылесосные вопли из полуоткрытых номеров, и Сапожников бормотал:

— Я иду по ковру... он идет пока врет... вы идете пока врете...

Потом он сбежал в вестибюль и распахнул стеклянную дверь на улицу.



— Не надо врать,— сказал Сапожников Барбарисову, который гневно шел по серому тротуару.— Не надо врать, Барбарисов... Тебе вовсе не хочется, чтобы наш проект сегодня прошел удачно.

Это было странное время, без счастливых событий. Холодно, очень холодно.

## Глава 22. Третья сигнальная

Это было утром в сорок седьмом году, в мае, когда Сапожников открыл с хрустом слежавшуюся обложку и записал в «Каламазоо», что, по его предположению, основная форма движения материи — шаровая пульсация. А из этого вида движения вытекают все остальные. Ему тогда было двадцать четыре года.

Сапожников сидел как-то с Дунаевым, который демобилизовался уже давно, в сорок четвертом году, а Сапожников только что, в сорок седьмом, и потому Дунаев уже адаптировался в мирной жизни, а Сапожников еще не адаптировался.

— А это что? — спросила Нюра.

— Что? — спросил Сапожников.

— Ну, это, адап... как это? — сказала Нюра.

— Адаптироваться,— сказал Сапожников.

Нюра помолодела за эти годы — прямо ужас что такое. Сапожников когда маленький еще был в Калязине — Нюра была старая, а теперь с того времени еще двенадцать лет прошло, и Нюра стала молодая, а все постарели.

Все думали — когда война первый перелом прошла, отступление, эвакуация, а потом стала очень трудной жизнью, голодом стала, тоской от потери близких, иногда грязью стала, потому что не все выдерживали такое, но все же осталась жизнью, тогда думали: уж теперь-то для Нюры все. Не иначе шлюхой будет. И ошиблись. Сколько жен не выдержало, сколько вернувшихся с войны нашли свой дом разрушенным не снаружи, а изнутри, а Нюра всех обманула.

Вернулся Дунаев, Нюра дверь открыла и улыбнулась медленно.

— Здравствуй,— сказала.— Соскучился?

Как будто он с рыбалки пришел.

— Ага,— сказал Дунаев.

И сел на вещмешок дух перевести.

Все соседи притихли, и правые и виноватые, и все старались услышать, что у Дунаевых будет, а ничего весь день не услышали.

На другое утро мать Сапожникова пришла. Она тогда еще ходила, потому что дождалась, чтобы Сапожников вернулся и застал ее на ногах. Только потом слегла.

Мама спросила Дунаева:

— Вы про Нюру знаете?

— Знаю,— сказал Дунаев.

— Она вам всю войну была верная.

— Да знаю, знаю,— сказал Дунаев.

Как же ему было не знать, когда в короткую майскую ночь, еще когда они в постели лежали, Нюра в голос голосила и просила прощения у Дунаева, а он все твердил: «Нюра, дай окно закрою, от людей стыдно». А соседи наутро пришли выпить и помолчать.

Потому что все слышали, как Нюра просила у Дунаева прощения не за военные верные годы, а за довоенные беспутные.

И оказалось тогда, что никакая Нюра не глупая, а просто росла медленно, как дерево самшит, и так же медленно выросла среди основательных скороспелок.

— Ну вот,— сказала мама.— Я же вам всегда говорила... не торопитесь.

— А я вам всегда верил,— сказал Дунаев.

— Ну а что такое адап...— спросила Нюра.

— ...тироваться,— сказал Сапожников.— Это значит привыкнуть... Это когда из темноты на свет выходишь, не видишь ничего... Глаз должен к свету привыкнуть.

«Каламазоо» — это была пузатенькая книжка небольшого формата, оставшаяся на память от отца. На переплете бордового цвета было напечатано выцветшим золотом: «Каламазоо рейлвей компании». Это был дореволюционный каталог компании «Каламазоо», выпускавшей инструменты и приспособления для железных дорог. Книжка состояла из коричневатых фотогравюр, изображавших разводные каючки, тиски, рельсы и дрезины. И между каждыми двумя картинками имелось несколько листков великолепной писчей бумаги в мелкую клеточку — для записей конкретных мыслей. Книжка была компактная и архаичная, и ее не брало ни время, ни неурядицы, и потому в нее хотелось записывать только начисто, только отстоявшееся, только необычное. Это Сапожников сразу ощутил, когда взял в руки тяжелый томик. И еще название «Каламазоо» будило фантазию. Оно разом напоминало индейское племя на Амазонке и кунсткамеру. То есть это было то, что нужно для ребенка, притаившегося в Сапожникове, которого не сумели убить ни война, ни возраст, ни истребительные набегии возлюбленных, уносивших кусочки сердца, но не умевших затронуть душу. Правда, кроме двух случаев, первый из которых закончился прахом, а второй все еще мчался в бешеном времявороте к чему-то непредсказуемому.

И тут Дунаев сказал непонятно про что:

— Как же мы с ними жить будем?

— С кем? — спросила Нюра.

И Сапожников тоже хотел спросить, но привык уже, что с Дунаевым не надо торопиться, Дунаев говорил — как бомбу разминировал, а это дело задумчивое.

— С кем... С немцами,— сказал Дунаев даже с некоторым напором.— С американцами, с японцами.

А сказал он это в ту пору, когда еще дымилась развалинами и ненавистью отошедшая горячая война и надвигалась холодная. И это впервые тогда услышал Сапожников спокойные слова о будущем, которое только вот теперь начинает стучаться в двери и называется разрядкой международной напряженности.

Конечно, Дунаев и Сапожников в войну были саперами, только служили в разных частях. Однако Дунаев и в мирной жизни продолжал обезвреживать невидимые мины, а Сапожников по своей нестойкой торопливости считал, что все взрыватели уже вывернуты, и очень огорчался, когда оказывалось, что это не так.

Тайна и предвкушение... тайна и предчувствие... Почему голова у Сапожникова кружилась от счастья, когда он думал о будущем? Многие тогда, после Хиросимы, думали, что все катится в кровавый тупик.

— Что делать? — по привычке спросил Сапожников у Дунаева.

— Жить,— ответил Дунаев.

— Так ведь могут и не дать...— сказала Нюра.

— Кто?

— Ну эти, которые с бомбой.

— Ну-у... — протянул Дунаев, — это все до первой бомбы, которую мы сделаем.

— Значит, все одно воевать?

— Необязательно, — сказал Дунаев. — Обыватель сразу умный станет и забастует... Никому ничего не скажет, может, еще больше орать начнет для порядку, а каждый сам по себе, поштучно, саботаж устроит... Жить он хочет, обыватель, негодяй этакий, а? — как бы спросил Дунаев.

— Обыватель всегда прогресс тормозил, — сказал Сапожников.

— Вот и сейчас пусть тормозит, ежели прогресс не туда заехал, — сказал Дунаев.

— Может, это тогда не обыватель вовсе?

— Дело не в слове...

— Интересно, — сказала Нюра. — Я тоже замечаю. На вывеске «Воды — соки», а зайдешь — одни ханыги...

— Кто о чем, а вшивый о бане, — сказал Дунаев. Он похлопал Нюру по мягкому плечу и сказал: — Вот тут этой бомбе и конец.

И тогда Сапожников решил жить и вернуться к своим конкретно-дефективным мыслям, и они, цепляясь одна за другую, стали громоздиться в какие-то постройки и частично оседать в «Каламазоо». Потому что в те времена к изобретателю относились почти что как к частному предпринимателю и была популярна идея — сейчас не время изобретателей-одиночек. И эта светлая идея наделала опустошений. И надо было ждать, когда идеи признают производительной силой, а ждать Сапожников не мог, его бы разорвало, и была такая полоса и такая жажда придумывать, что он каждый день высказывал идеи, которые потом назовут «пароход на подводных крыльях, конвертолет и видеозапись». И до сих пор еще в журналах «Техника — молодежи» и «Наука и жизнь» появляются давние, отгоревшие сапожниковские новинки, но уже и многие люди умерли, которым Сапожников мог показать журнал и сказать: «А помните?» — и в доказательство открыть нужную страницу «Каламазоо». А кунсткамеры тогда еще не было и теперь ее нет.

Все это кончилось разом, когда разрываемый на части этими конкретными мыслями Сапожников однажды опять услышал тихий взрыв и догадался, что всей этой изобретательской свистопляской должна заведовать в мозгу какая-то сигнальная система, не похожая на известные, которые открыл академик Павлов, — на первую, которая для ощущений, и на вторую, которая заведует речью человеческой. Потому что ведь откуда-то же приходило к Сапожникову неожиданное конкретное видение предметов, которых еще не было в природе или их еще не изобрели, и стало быть, это какая-то третья система. Третья сигнальная система — назвал ее для себя Сапожников и записал в «Каламазоо», что она заведует вдохновением.

И это теперь становится известно, что открытия совершаются на эвристическом уровне, а не логическим путем, и даже есть такая наука эвристика, от слова «эврика», которое крикнул Архимед, когда мокрый выскочил из ванны, где он догадался о своем великом законе насчет тела и вытесняемой им жидкости. А в те времена такой науки не было, и слово «вдохновение» отзывалось мистикой, и лучше было бы его не употреблять в разговоре.

И Сапожников понял, что его начинает заносить в биологию. Это было в сорок восьмом году, и Сапожников ошибочно поступил не в этот институт, а кибернетика считалась адским порождением, придуманным для соблазна честных членов ученого профсоюза.

— Торопливость и бешенство — это у тебя от отца, — сказала мама. — Раньше, до войны, ты был другим... ты был гармоничным. Торопись все. «Я понимаю, конечно, — жажда жить... Хочешь все наверстать побыстрей.

— Это понятно, — ответил Сапожников. — Кто-то сказал — если бы Адам вернулся с войны, он бы в рай сорвал все яблоки еще зелеными.

— Впрочем, бабушка рассказывала, что и отец твой до гражданской войны был другим... А при мне это был хотя и сентиментальный, но добрый человек, — сказала мама. — Это сочетание встречается редко, но все же встречается... Доброта предполагает терпение, а сентиментальность требует, чтоб сейчас, сразу же пришло добро, а зло было наказано. А это невозможно. И потому вы очень быстро разочаровываетесь и впадаете в священную ярость... Потому что доброта — это сила, а не слабость, и она самая трудная вещь на свете.

Вот как говорила мама. Сапожников только глаза тарачил. Все в точку.

— Машины должны работать быстро, чтоб человек мог жить медленно, — сказал Дунаев. — Тогда ему в голову такое придет, что он любую машину перекроет и отменит.

Опять в точку. Потому что Сапожников чувствовал — да, да, так, именно так. Сапожников рядом с ними ощущал себя полным идиотом. Мама в то время уже не вставала с постели, а Дунаев не вставал со стула возле ее постели, кроме тех случаев, когда его подменяли Нюра или Сапожников.

— Ма, а как отличить сентиментальность от доброты? — спросил Сапожников.

— Сентиментальность — это чувство, оно приходит и уходит... а доброта — это позиция, — ответила мама. — Пушкин такой был.

Да, это так. С матерью и Дунаевым Сапожникову неслыханно повезло.

— Мама, откуда ты все знаешь? — спросил Сапожников.

— Если бы я знала все, я бы не была одна, — ответила мама.

### Глава 23. Даром истраченное время

Сапожников приехал в Киев, потому что он придумал вечный двигатель.

Ну конечно же колесо! Диск с хитростью.

Если внутрь запустить пары аммиака и начать вращать диск, то от центробежной силы аммиак начнет сжиматься. И если края диска охладить, то аммиак станет жидким. То же и под давлением. И если теперь приоткрыть косую щель на краю диска, то аммиак выплещется реактивной струей. Потому что, становясь паром, начнет вращать диск. А если пар этот собрать и снова охладить, то можно снова запустить его в диск, и диск будет вращаться. И никакой вони, никаких газов выхлопных и никакой траты горючего, потому что ничего не горит. Замкнутый цикл. Собирать, охлаждать, сжимать центробегом, выпускать в камеру — и все сначала. Откуда берется энергия? От малой разницы температур между воздухом и водой или, для автономного двигателя, использовать холодильную трубку. Ну, это отдельная проблема, не Сапожников ее выдумал. Кому интересно, могут посмотреть в справочнике.

Это принцип. А конструкции могут быть разные. Сложность в многочисленности точек разогрева и охлаждения, которые никак не удавалось скоординировать в расчетах. Где греть? Где охлаждать?

Как отделить одно от другого? И это запутывало конструкцию и термодинамические расчеты.

Проще было изготовить и искать в материале, на модели. Но для этого нужны были база и деньги. И пугало, казалось чересчур просто и чересчур похоже на вечный двигатель. Хотя источник энергии был. Только не верили в его доступность и силу.

Вся новинка была в диске и вращении.

А Сапожников придумал это по аналогии с сердцем. Оно сжимается, выплескивает струю крови, которая энергетически обогащается в легких и снова возвращается в пульсирующее сердце.

Он вообще считал этот цикл универсальным, считал его аналогом и микро-, и макро-, и мегавселенной и всюду искал пульсацию: выплеснутый поток — обогащение — возврат к пульсирующему двигателю.

Сначала были компрессоры, которые жрали много энергии. Диск и беспротришное центробежное сжатие пришли потом.

Мы все объяснили на пальцах. Кому интересно, тот прочел. Кому неинтересно — пропустил.

Идем дальше. Дальше нормально — про войну и про любовь, характеры, конфликты, все как положено, все как у людей.

В ресторане гостиницы сидели люди и разглядывали тех, кто вновь приходил.

Еда шла вяло, музыки еще не было, и новенькие проходили под взглядами тех, кто пришел раньше, как члены президиума на сцене. Официант показывал им, куда сесть, и они тоже начинали глазеть на новичков, притворяясь старожилками.

— Все как на совещании, — сказал Сапожников. — Специалист от неспециалиста отличается тем, что раньше за столик сел.

У Сапожникова глаза слипались.

Барбарисов сказал, что пить не будет, но потом сказал, что будет пить. Сапожникову хотелось спать, и скатерть была как фанера и салфетка фанерная. Да еще галстук. Он опять начал носить галстук. Он думал: «Вот, может быть, музыканты придут, тогда я встряхнусь».

— Пошли с нами в гости, — сказал Сапожников официантке. — Мы куда-нибудь пойдем, и вы с нами.

— И еще «столичной» бутылку! — прокричал Барбарисов, потому что стало совсем шумно.

— Мало, пожалуй, — сказал Васька.

— Я пить не буду, — сказал Сапожников. — Я засну.

— Я по гостям не хожу, — сказала официантка. — Я дома сижу. Мне гости — вот они у меня где, гости. Сегодня КВН будут показывать. Наш город с соседним сражается. Капитаны, капитаны, мы противника берем улыбкой в плен... «Столичной» не будет, будет «российская». А вы веселые.

— Ну, как ты ко всему этому относишься? — спросил Сапожников у Барбарисова.

— Все прекрасно, не кисни, Сапожников. Все прекрасно. И минеральной парочку... Мы напишем манускрипт, и все будет прекрасно.

А потом они наперебой стали говорить официантке комплименты в развязной форме и выпендривались друг перед другом.

— У вас что, неудача какая-нибудь? — спросила она.

— Мы сами этого еще не знаем, — ответил Барбарисов.

Тогда она ушла. Ноги у нее были красивые, бедра у нее были красивые, и все посетители провожали ее отрицательными глазами.

— Знаем,— сказал Сапожников.— Скорее всего удача. Но противная. Мы доказали свое «я». Всех там расколошматили, и решено продолжать работу. Хотя и они и мы понимаем, что никто больше этим заниматься не станет и нас спустят на тормозах. Правильно я говорю? И самое главное — я рад, что все рухнуло. Только времени жаль и самолюбие страдает.

— Не только времени,— поправил Барбарисов.

И видно было, как он жалел, что связался с Сапожниковым и поставил не на того коня. Ему было стыдно, что он так опростоволосился, и поэтому он улыбался ласково. И еще его раздражало, что Сапожникову было наплевать на поражение. Получалось, что Сапожников не тонул, и Барбарисов не стоял на берегу, и сочувствовать было некому, и от этого Барбарисов был не в порядке. Получалось, что Сапожников всех облапошил — не страдает, и точка.

Конечно, совещание кончилось крахом всей барбарисово-сапожниковской затей.

— В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань,— сказал профессор Филидоров, и Сапожников понял так, что трепетная лань — это Барбарисов или в крайнем случае он, Сапожников, но оказалось, что Филидоров имел в виду себя. Он лань. Потому что Сапожников в ответ на простые вопросы мямлил и раздражающе нарушал тон демократической бодрости и деловитости — папиросы «Казбек», товарищи, откройте фрамугу, короче, будем придерживаться регламента, Василий Федорович хочет сказать, не хочет? Переходим к следующему вопросу. А на вопросы сложные, где сам черт ногу сломит, где в загадочной полутьме мерцал только профессор Филидоров, — на эти вопросы Сапожников отвечал с легкомысленной радостью и неприлично четко. И вот пожалуйста: Филидоров — трепетная лань.

— Товарищи! Товарищи! — сказал председатель, покосившись на Сапожникова.— Не будем переходить на личности.

И Сапожников понял, что его обозвали конем. «Эх, если бы так», — взгрустнул он и неожиданно приободрился и вдруг объяснил собранию то, что его мучило всю дорогу. Что он пас и что если идея сама себя не может защитить, то вся эта затея, в которую он влез с Барбарисовым и на которую он, Сапожников, возлагал столько надежд, гроша ломаного не стоит. Лично он пас. Все это было хорошо раньше, когда он надрывался до обмороков и гнал к сроку листы, листы, листы, чуть ли не молился по ночам, чтобы очередное влиятельное лицо обратило к ним свое влиятельное лицо, и сам, теряя надежду, старался пробудить таковую у Барбарисова, который, поскуливая от ужаса, учил его жить.

— Ты игрок,— говорил Барбарисов.— Ты игрок, а я инженер.

— Я человек,— говорил Сапожников,— а ты...

— Инженер,— быстро и упрямо говорил Барбарисов, чтобы не дать произнести Сапожникову какое-нибудь непоправимое слово.

Разве растение знает, зачем оно привлекает бабочку? Не то страшно, что человек произошел от обезьяны, страшно, если он ею останется.

Почему история человечества наполнена воплями изобретателей? Что это? Почему? Почему изобретению сопротивляются именно те, кому оно должно принести пользу? Почему любое изобретение, любое, ни выполнить в одном экземпляре и ни поставить в кунсткамеру, пусть оно работает вхолостую и будет всегда под рукой на случай промышленной нужды? Почему, черт возьми, губят веру патриота в то, что отечество любит его при жизни, а не после смерти?

— Если сильный человек знает, что он сильный,— это еще не сильный,— сказал Васька.— Вот если сильный не знает, что он сильный, тогда он сильный.

— Я бы с вами пошел,— сказал Барбарисов.— Мне даже очень хочется. Но надо позвонить домой. Я могу это сделать из вашего номера, Вася?

Освободился Сапожников, и теперь его в бутылку никакими заклипаниями не загонишь и не заманишь.

Заиграла музыка, и Сапожников очнулся от сообразительности.

За их столом уже давно сидел профессор Филидоров со своими. Толя — кандидат наук. И сочувственно-спокойный Глеб. Как будто и не они сегодня утопили абсолютный двигатель Сапожникова — Барбарисова, впрочем, теперь уже только Сапожникова.

— Вы же прекрасный электроник,— сказал Филидоров.— Мы с вами встречались в Северном, помните, несколько лет назад? Зачем вам понадобилось лезть в термодинамику?

— И в литературу,— сказал Глеб.— Вернее, в фантастику... Сапожников не электроник. Он народный умелец. Он книжку написал «Механический мышонок». Про машину времени. Не читали?

— Нет. Фантастика не литература,— сказал Филидоров.— Фантастика — логическая модель, разбитая на голоса. Для оживления.

— Восемь,— сказал Сапожников.

— Не понимаю.

— Восемь лет назад мы встречались. Я помню точно,— сказал Сапожников.— Я не электроник, я наладчик. Я обслуживаю весь белый свет.

— ..Все объемно,— сказал Толя, кандидат наук, когда уже охрипли от спора.— Только объем и есть.

— Строго говоря, объема тоже нет,— неожиданно сказал молчавший до этого Сапожников.

На него посмотрели озадаченно.

— Вихри,— сказал Сапожников.— Вихри есть... Система пульсирующих вихрей... возникающих в потоке праматерии... вытекающей из пульсирующего центра вселенной... А дальше еще не знаю.

— Да-а? — длинно спросил Толя.— И давно вы до этого додумались?

— Давно,— сказал Сапожников.— В сорок седьмом году додумался...

До этого момента разговор шел довольно мирно.

Барбарисов уехал в Москву, а Сапожников собирался ехать завтра с археологами.

Эпоха индустриализации кончалась, и Барбарисов никак не мог поверить, что научно-техническая революция относится к нему иронически. А впереди брезжила эпоха, которой еще имени никто не придумал, ей понадобятся несуразные люди вроде Сапожникова, если, конечно, они к тому времени не передохнут в райских садах квантовой механики и теории информации. Но есть серьезное предположение, что выживут.

А вот и немецкая певица. Она как бы шла навстречу Сапожникову, производя впечатление неустойчивости. Она состояла из туфель, длинных ног, длинных бус, длинной шеи, длинного лица, длинных серег, короткого платья и волос, и вся эта неустойчивая постройка покачивалась и пела под музыку немецкую песенку про Унтерден-Линден и голубей. А впереди нее пели девицы, такие хорошие

девчата, если смотреть на всех сразу. А по отдельности Сапожников смотреть не хотел. Как посмотришь по отдельности — проблемы.

Сапожников в балете больше всего любил кордебалет, ансамбли любил, толпу на улице. Когда он разглядывал вид, у него появлялась мечта о человеке, а когда сталкивался с индивидом, эта мечта помаленьку усыхала от реальных поправок. А в жизни, как и в поэзии, важна не ученость, а мудрость.

Мудрости не хватало Сапожникову. Вот в чем штука. А как мы с вами понимаем, на каждом уровне знания своя мудрость, важно, чтобы они совпадали по времени и по фазе. Иначе беда.

А теперь знаменитый эстрадный певец пел и разливался, и вслед Сапожникову летели слова «в синем просторе», «корабли», «космос», «жди», «очи любимых», «плещет волна», «клубится», «Экзюпери»... Сапожников подумал, что если бы певца звали Пупсин или Антилопов, он бы не был так популярен.

Так давайте же веселиться, по крайней мере. А веселье-то все скучней. «Улыбку дарит мне», — пел Пупсин. «С солнцем я и ты», — пел Антилопов. С чего бы это? Не с того ли, что перспектив у веселья не видно? Сапожников помнит — веселье было как перышко на ветру, передышка между боями, как ласточка той весны, которая придет после ледового побоища как обещание. А теперь веселись каждый день, войны-то нет. Так вот веселишься, веселишься, да и заплачешь. Ну, тут как тут лезут из щелей пьяные тарзаны и вопят у пивных: «Раньше лучше было!» Это когда же раньше? Когда война? Когда живых людей убивают?

Вот и выходит, что для хорошей жизни никто не готов. Потому что как ни определяй хорошую жизнь, а не уйдешь от того, что хорошая жизнь — это когда приятно. Еда есть, крыша над головой, одежда — что еще? Искусство? Ну конечно, это дело великое. Дело-то великое, да великого сделано пока мало. Как же выглядит все-таки хорошая жизнь? Позанимался физкультурой, конечно, бегом от инфаркта, стишки почитал — и все? Как же все-таки выглядит хорошая жизнь?

Нужно, чтобы ты мне нравился до смерти, а я тебе, а мы бы с тобой остальным, а остальные нам. Если мы друг другу не понравимся, как же мы хотим, чтобы нам жизнь понравилась? А ведь не нравимся мы друг другу. Вот правда. А если нравимся, то на минутку. Короткое дыхание у нашего дружелюбия. Вот правда.

— Ученые все думают, как с нами поступить, — сказал Сапожников, когда пригасил конфеты. — Но сегодняшняя мысль всего лишь рациональна. Ей проблемы не охватить.

— Что ж вы предлагаете? — спросил Филидоров. — Возврат к природе?

— Нет, — сказал Сапожников. — Нужен возврат к природе человека счастливого.

— Хомо сапиенс — это человек разумный... А человек счастливый по-латыни как будет? — спросил Толя.

— По-латыни я не умею, — сказал Сапожников.

— Хотя бы соврал что-нибудь красиво, — лениво сказал Глеб, — а мы бы поверили, что так. Может быть, и попробовали бы сделать. А то умничаешь, умничаешь. Сплошное «Горе от ума». Всякое горе — от ума. (И тогда Сапожников впервые на него внимательно посмотрел.) Чересчур вы все умные. Поэтому Софья и выбрала Молчалина, а не Чацкого.

— Это верно, — сказал Сапожников. — Софья выбрала Молчалина, а Нина Чавчавадзе — Грибоедова.

— Не надо, — поморщился Глеб. — Не надо.



«Почва вокруг меня была иссушена.— Сапожников на минуту перестал слышать разговор.— Но я протянул свои корни, и они нащупали свежую почву. И вот в этот момент мои корни встретились и сплелись с их корнями...»

— Меня всю жизнь грабили и спасибо не говорили. А когда я хотел давать, вот как сегодня, у меня не брали. Прощайте, — сказал Сапожников.

Сапожникову казалось, что все это происходит не с ним, а в какой-то книжке, которую тихонько читаешь на уроке и можешь отложить, когда станет страшно, и выйти на перемену, когда зазвонит звонок. Но звонок не звенит почему-то.

Когда садились в поезд, Сапожников был уже совсем хорош.

Мы ждем, когда на товаре будет написано «окончательно-замечательно», и толпимся у одного прилавка. А на соседнем стынут другие, которыми неизвестно как пользоваться.

Понимаете? Это рассказ о человеке, который изобрел, как надо изобретать, и считает, что это может делать каждый.

## Глава 24. Запальный шнур

Конечно, институт — это институт. Там мозги взбудоражены и заодно еще там и учатся.

Но в институт полагается поступать после школы, а не после войны.

Сидят рядом с тобой на лекции чуждые собой ребята, все умные, все попали в институт, все могут вычислить и тебя уважают. Весь первый курс уважают, а перед весенней сессией не очень уважают. Стыдно фронтовику шпаргалки в столе перелистывать. Почему стыдно — неизвестно. Но стыдно. А провалиться нельзя. Лишат стипендии. А лишат стипендии — будешь искать халтуру, иначе не выжить. А найдешь — ее придется делать на совесть, даром не платят. А учиться когда? Уже следующая весенняя сессия тишиной звенит. А тут еще гонор у вояк — наши не хуже ваших; вы можете, и мы можем. А что можем? Зубрить? Но ведь это же невозможно — зубрить? Зубрить невозможно! Нельзя сначала вызубрить жизнь, а потом жить! Уже есть справочники на все случаи жизни, а что понадобится, запомнится само! Помнить без доказательств надо только таблицу умножения, а все остальное надо понять.

— Нюра!

— Ая?

— Ты в колдовство веришь?

— Во что?

— Колдовство есть? — спросил Сапожников.

— А как же!.. — ответила Нюра. — Колесо вверх по дороге покатилося. Или бочка. А то еще свинья в овсах... Свояк верхом ехал вечером и на нее наехал. Он ее палкой, а она в подворотню. Просочилась... А у соседки утром синяк. Это еще в Калязине было... Колдовство свое колдун перед смертью через веник передает... А то еще соседская бабка четыре дня маялась, помереть не могла. Две доски в потолке выломали — через два часа отошла... Если нож в притолоку воткнуть, то колдунья из гостей выйти не может... Я еще девушкой была, случай был... она взмолилась — отпустите, девки. А девки не знают. А брат вернулся, нож вытащил. Она взяла сумку и вышла... У колдунов, как чирей, созревает зло. Чтобы избавиться — делают зло. Чирей лопаются. Если колдун со зла чего хочет — ничего не вы-

ходит, если ласково — зло получается. Алферов Иван ягненка в лесу подобрал, на лошадь положил, лошадь потеет. Смотрит — ноги у ягненка по земле волочатся, тонкие выросли. С лошади скинул, выстрелил — его нет... А у Печатновых было: сука при пахоте прыгает, лошадь за губы хватает. Печатнов встал, тпру! — а это его жена обернулась. Она могла. Ножи разложит, через них перекатится — пестрая собака...

— Да-а,— сказал Сапожников.— Ты специалист.

— Чего это ты? — обиделась Нюра.

— А что?

— Ругаешь меня... А за что?

— Разве я ругаю? Я сам на специалиста учусь.

— Зря ты это,— сказала Нюра.— У нас специалистами жуликов обзывали. Или, может, я не так сказала?

— Не знаю,— сказал Сапожников.— Еще не разобрался... Нюра, а сколько тебе лет?

— Точно не скажу. Надо в паспорте поглядеть,— сказала Нюра.— Считаешь, устарела?

— Да ты что?

— Вот и я говорю. Вроде бы не должна. Я как в баню пойду — на тело самая молодая. Представляешь?

— Нет,— сказал Сапожников.

— Почему же?

— Не хочу.

— Вообще-то правильно,— задумчиво сказала Нюра.— А то мечтать про меня станешь.

— Хватит, Нюра, хватит.

— А что такого? Про меня все мечтают. Только я теперь — все. Я теперь Дунаеву верная жена. Он воевал. Нельзя. Бог накажет.

— Зачем про это говорить?

— Про все надо говорить,— сказала Нюра.— До войны я была блудница, а теперь наоборот.

— Святая, что ли? — спросил Сапожников.

— Не... — сказала Нюра.— Святая — это вроде как из другой губернии... Тебе колдовство-то зачем?

— Да вот зубрить надоело. Может, колдовать начать? — сказал Сапожников и пошел на семинар.

— Да подожди ты!.. Говори, доктор Шура!

— Еще раз... Теория говорит — если две частицы тождественны, то различное положение в пространстве не может служить основанием для их различия. Их нельзя различить. Следовательно, они представляют собой одну частицу, одну и ту же частицу, но находящуюся одновременно в разных местах.

— Что «следовательно»? — спросил Сапожников и вдруг захотал.

— Уймись.

— Значит, если Глеб не может различить издали, кто из нас с тобой идет, по какой стороне улицы, значит, это я иду по обеим сторонам? Так? Или ты идешь по обеим?

— Лучше ты,— сказал Глеб.

— Сапожников,— еле сдерживаясь, сказал доктор Шура,— запомни. Твоя старая элементарная логика здесь не годится.

— Годится,— сказал Сапожников.— Очень даже годится... Не годится только ее идиотское применение... Если получился идиотский вывод, следовательно, надо изучить факты, из которых он получился.

— Да пойми ты! Саму логику ~~надо~~ ~~менять!~~ — закричал доктор Шура.— Старая логика отражает старый опыт. Да и то возникали неразрешимые парадоксы.

— Например?

— Пожалуйста. Парадокс Зенона. Легит стрела. Значит, в микроскопическую дозу времени она неподвижна. Как же из суммы неподвижностей получается движение? Вот тебе и логика.

— Почему же из суммы неподвижностей? Неподвижна она будет, если я рядом с ней лечу, а для всех остальных она в любой момент движется. Не бывает неподвижной летящей стрелы. И логика тут ни при чем.

— Ну хорошо, а буриданов осел?

— Что буриданов осел?

— Стоит между двумя одинаковыми стогами сена. Он может подохнуть с голоду, так как не сможет выбрать.

— Это теоретический осел не сможет. Живой осел возле сена голодный не ходит.

И так далее. Без конца. Весь институт. Все пять курсов и диплом. Сапожников ни в какие построения не верил, если их нельзя было представить себе наглядно. А это считалось устарелым способом мышления, и потому Сапожников от порога был устарелый.

Это было время, когда кибернетика считалась исчадием, а к генетике относились хуже, чем сейчас к сексологии и тем более к кожному зрению и Атлантиде, не говоря уж о неандертальской цивилизации, камнях Икки и летающей посуде.

Компания подобралась большая, из разных институтов, физтехи, университетские биологи, из ГИТИСа были, историки из педагогов, Якушев Костя из Суриковского.

Ну, ГИТИС — это поприще. Играют «внимание». К кому угодно. Хорошо пьют. Легенды из жизни Чехова (актера, конечно) и Комиссаржевской. Суеверное почтение к физикам. Бросает сигарету в раковину («Убей меня! Ведь ты умеешь это делать! Убийца! Убийца! Во мне нет больше жалости! Кх! Кх!»), стреляет из двух пистолетов—она мертвая падает в его объятия,— вполголоса проговаривает ремарку. Ну, и из системы Станиславского кое-что. Тут все понятно. Живых людей изображают. А как же! С суриковцами сложнее. Костя Якушев у физиков и биологов спрашивает:

— Ребята, что такое цвет?

Ему отвечают:

— Мы тебе потом скажем.

А сами не знают. То есть они-то думают, что знают, а на самом деле не знают. Они думают, что цвет — это свет, а свет — это и волна и частица. Эйнштейн с Бором договориться не могли, чего же от студентов требовать? Студенты как семинаристы — верю, ибо это абсурдно.

— А зачем тебе? — спросил его Сапожников.

— Не могу с фотографией разобраться,— сказал Якушев.— Цветное фото видел недавно. Лицо как живое. Зачем же мне руками делать то, что аппарат может?

— А ты не делай,— сказал Сапожников.

— А как портрет писать?

— А не пиши.

— Хочется.

— А почему хочется?.. Для художника натура — толчок. Запальный шнур. Художник-то картину сочиняет.

— Конечно,— сказал Якушев.— При удаче получается колдовство. Только редко получается. Как бы почаще?

— Кому не хочется,— сказал Сапожников.

Доктор Шура был биолог. Барбарисов — конструктор. Но главный, конечно, был Глеб.

Глеб был чемпионом во всем и курил трубку.

Глеб улыбался и хорошо жил. Он был высокий, и вокруг него всегда теснились. Он был немногословный, и несмотря на то, что казался умным, он и был умным.

Но ум у него был другой, чем у Сапожникова, и другой, чем у других. Он умел сделать так, что все старались ему понравиться. И раздражало, что Глеб разговаривал с Сапожниковым ласково. Уже тогда принято было хлопать Сапожникова по плечу. А Глеб не хлопал. Потому что Сапожников говорил при нем, как при всех. А с Глебом так не полагалось. Если кто-то пробовал, его остальные съедали. Еще бы! Этак каждый начнет! Но и под крыло Глебу Сапожников не шел. И несмотря на то, что на все вопросы Глеба отвечал откровенно, однако не волновался от этого. И получалось, что Сапожников кому хочешь будет отвечать так же, а это опять раздражало, и Глеб улыбался.

Мама вздохнула:

— Хочу тебе напоследок сказать...

— Перестань... почему напоследок? — сказал Сапожников.

Мама переждала, когда он утихнет.

— Тебе нужна женщина,— сказала мама,— которая бы о тебе заботилась... А ты влюбляешься в женщин, о которых ты сам желаешь заботиться. Это твоя постоянная ошибка... Трудно тебе будет.

— Ма, а разве нельзя, чтобы оба заботились друг о друге? — тихо спросил Сапожников.

— Это один случай на миллион,— сказала мама.— Тогда тебе будет еще трудней.

— Слушай, какая любовь? — сказала Сапожникову знакомая женщина.— Очнись! Обучили вас, дураков, на нашу голову.

— Кого обучили? — спросил Сапожников, тупо глядя на ботинок, который держал в руке.

— Скажи, а тебе самому врать не надоело? — спросила знакомая женщина.— Вот ты сейчас сидишь на кровати и ботинок держишь... Что ж, ты ко мне любовь испытываешь?

— Нет.

— Правильно... Дай закурить... Спасибо... Хорошо, что правду сказал... Я думала, не осмелишься... А по правде, ты сейчас думаешь одно — как бы слинять от меня так, чтобы я не разозлилась и опять в гости пустила.

— Так ее с самого начала у нас не было,— сказал Сапожников.

— Кого?

— Любви.

— А-а... — сказала она.— Понятно. Дурачок ты. А ее и нигде нет... А хочешь, я тебе любовь мигом организую?

— С кем?

— Со мной, с кем... Вот давай на спор? Не пущу тебя в гости, скажу — устала, работы много. Потом ты придешь, а у меня другой сидит, и мы оба смеемся. Ну?

— Что?

— Врешь, заревнуешь... Любовь — это когда кусок хлеба высоко висит, а ты допрыгнуть не можешь... А допрыгнул, голод прошел — ты

на хлеб и смотреть на станешь, скажешь, дайте севрюжки. Любовь, она либо с голоду, либо с жиру. А когда все в норме — никакой любви нет.

— Значит, нельзя любить человека, который рядом?

— Нельзя, — сказала она. — Баб ты не знаешь. Бабе одной страшно и перед другими бабами стыдно, бабе дом нужен — муж, дети, это ясно... А когда все есть и она еще в теле — ей одного мужика мало. Вот, к примеру, выйди Анна Каренина замуж за Вронского без помех — она бы ему первая рога наставила, а уж тогда бы он под поезд кидался.

Вот такой разговор был.

Холодно стало Сапожникову. Потому что на всеобщем свинстве, если его признать нормой, мир держаться не может. Если пропадет последняя вера, что человек рядом с тобой не подведет, а если подведет, то это случайность, трагическая авария, если поверить, что свинство — это норма, а все остальное иллюзия, то детей нужно будет разводить в колбах, никому лично не нужных детей, не нужных друг другу, детей энтропии и распада, детей хаоса.

Нет. Искать надо. Что-то тут не так, дамочки.

Правда, она, конечно, правда. Но правда еще не истина, а только ее малый обломок. Видно, и бабе не только постель нужна, когда она человеком становится.

А что ей нужно? Что человеку нужно?

— Так что же это за система, до которой ты додумался? — спросил Глеб.

— Третья сигнальная, — сказал Сапожников. — Я так назвал. А можно как-нибудь еще...

— А двух тебе мало? — спросил доктор Шура.

— Подожди, — сказал Глеб. — Первая заведует ощущениями, грубо говоря... Вторая — речью. А третья?

— Вдохновением, — сказал Сапожников.

— Оно случайно и ненадежно. Зачем тебе оно?

— Для нетривиальных решений.

Тут как раз телевизоры стали продавать. «КВН». Экран большой, величиной с открытку. Все видно. А ходили слухи, что когда-нибудь экран еще больше будет. Передача несколько раз в неделю. Хорошенькая девушка программу объявляет. И чуть улыбается. Сразу пошел слух, что ей выговор закатили за кокетство с экраном. Потому что вошла в каждый дом и улыбается. Влюбились, конечно, все. Кто такая? Тайна. Еще бы! Было как чудо. С экрана, живьем, одному тебе улыбается. Сапожников подумал: «Переворот полный... Душа эпохи меняется...»

Над ним смеются:

— Чудак. Так и насчет кино тоже думали — эпоха. А дело свелось к обычному развлечению. Чтобы было куда вечером пойти.

— Ребята, ребята, это все другое... Это станет как книгопечатание, а может, еще важнее.

— Чушь! Книги остаются, а эта — показали, и нет.

— На пленку можно снимать.

— Дорогое удовольствие. Никакой кинопленки не хватит, — сказал Барбарисов. — Да еще проявка, печатание, тираж...

— Сапожников, мы топчемся на месте, — вмешался Глеб. — Подкинь завиральную идею. Я так и не понял: ты за нормальную логику, с одной стороны, а с другой — за всякую эврику, озарения, вдохновения и прочее.

...он помы...

— Зря вы против вдохновения, — сказал Костя Якушев. — Оно есть. Это вам любой живописец скажет... Вдохновение — это когда пишется.

— И все?

— Когда не пишется — кистей десять перемажешь, и все мимо. А когда пишется — одна грязная кистенка из палитры торчит, патлатая, а на холсте — колорит...

— Вдохновения не должно быть, — сказал доктор Шура. — Если допустить вдохновение, наука не нужна.

— Почему? Наука — это знание, — сказал Сапожников. — А каким способом его добывать — дело десятое. Лишь бы все подтверждалось...

— Значит, ты теперь гений? — спросил доктор Шура.

— Ага, — сказал Сапожников. — И ты... И остальные... Только ты мешаешь своей третьей сигнальной системе действовать как ей положено.

— А ты?

— Стараюсь не мешать.

— А что ты для этого делаешь? Сдвигаешь брови? Собираешь волю в кулак? Напрягаешься, в общем, — так? Пыхтишь?

— Расслабляюсь.

— Ну, а дальше?

— Не скажу.

— Почему?

— Вы безжалостные, — сказал Сапожников. — У вас не получится.

— Ну ясно, — сказал Глеб. — Сошествие Сапожникова в Марьину Рощу.

Остальные улыбались.

И Сапожников впервые увидел, что у Глеба огромные зрачки, как будто он глядел в темноту.

— Ладно, не злись, — сказал Сапожников. — Вот Барбарисов сказал, что киноплёнки не хватит, если с телевизора снимать. А зачем она?

— То есть?

— Если свет превратить в электрические импульсы... ну как в фотозкспонометре...

— То что?

— То их можно записать на магнитофонную ленту и, значит, можно снова воспроизвести — будет изображение... А можно стереть ненужное... Представляете? Лекцию читают Ландау и Капица, а записывает кто хочет, а потом воспроизводит... Глеб, давай заявку подадим?

— Уволь.

— Почему?

— Это невозможно.

— Разве я не логично рассуждаю?

— Рассуждений для заявки мало. Это одно. А потом, если такая простая мысль пришла в голову тебе, будь уверен, пришла еще кому-нибудь... И если этой штуки нет, значит, почему-то не получается... Жизнь коротка, Сапожников. Логично? Жить надо. А не заниматься выдумками.

— Нет, — сказал Сапожников. — Не логично. Если не заниматься выдумками, жизни не будет. Мы сейчас все живем, потому что кто-то занимался выдумками. С тех пор как у человека мозг, жизнь и выдумки — это одно и то же, Глеб... Глеб, а хочешь, я еще чего-нибудь придумаю? Например, вечный двигатель? Нет, не пугайся. Не такой, ко-

торый энергию берет ниоткуда, а который откуда-нибудь... Ну, вроде ветряка, что ли? А, Глеб? Или придумую, как лечить рак?.. Или решу теорему Ферма?

— Братцы,— сказал Костя Якушев,— а за что вы Сапожникова ненавидите?

— За это,— сказал доктор Шура.

— Ну что ты, Костя,— сказал Глеб.— Нам просто горько смотреть, как у Сапожникова живот растет. А ведь был такой стройный.

— Нет... Раньше я живот втягивал, а теперь выпячиваю,— сказал Сапожников.— Чтобы штаны не падали... Штаны у меня без ремня, вот поглядите... Глеб, ты очень ладный и красивый. Ты похож знаешь на кого?

— На кого?

— На Николая Первого... Шучу, шучу... Николай к способным людям плохо относился, а ты сам еще не знаешь, как ты относишься, правда?

— Зато Пушкин еще при жизни устарел,— сказала Мухина, искусствовед из хорошей семьи. Она присматривала Глеба в мужья.

— Заткнись,— сказал Глеб.— А лучше — пошла вон.

Мухина не обиделась.

А Сапожников замолчал. Странная и нелогичная к разговору мысль вдруг пришла ему в голову. Ему почудилось, что Глеб должен умереть какой-то удивительной смертью. Так и получилось много лет спустя, но до этого еще была бездна времени, и в эту бездну много чего унеслось, и поэтому она мелькнула как один день. И когда они снова встретились с Глебом, оказалось, что ничего не изменилось между ними. Потому что оба как сразу поняли друг друга, так и дальше пошло. Они только себя не могли понять — тянет их друг к другу или отталкивает.

Ну, тут как раз институт кончился.

Шесть лет армии, да пять лет не тот институт, да восемь лет неудачного брака — это сколько будет? Девятнадцать лет из жизни долой. Из жизни в том смысле, что можно было их потратить на дела более продуктивные. А как об этом узнать заранее? Разминировать планету надо было или нет? Надо. Учиться систематически надо? Наверно, тоже. Профессия есть профессия. Жениться надо? Вот тут логика спотыкается. Черт его знает. Надо, наверное. Но только как-то не так. А как?

Каждая любовь — это исключение.

А что такое исключение? Исключение — это первый звонок завтрашнего правила. Или вчерашнего. Вот тут и догадайся, почему от исключения отмахиваются.

Идеи плясали, как искры над костром. Не заметил, как начал тлеть торф под ногами и уползал в сторону подземный пожар. И вдруг в стороне мелькнули языки пламени, и вот уже золотая сосна детства стоит в оранжевых лохмотьях и сажа летит черными ласточками. Эгей!! Где мое детство, золотые кони заката и рассвета? Почему зима на дворе и ничего нельзя изменить? Уходят милые, уносят клочки сердца, и догорает золотая сосна.

Перед смертью мама подозвала его, и он сел на стул возле кровати.

— Я умираю, сынок,— сказала она с трудом.— Больше не могу... Ничего не говори.

Сапожников ничего и не мог сказать, даже если бы старался.

— Тебе неинтересно знать, что я чувствую?

Сапожников пытался продохнуть лютый комок.

— Я хочу тебе рассказать... чтобы, когда ты будешь умирать, ты бы меньше испугался.

Сапожников много раз видел, как умирали — и мгновенно и медленно. И, может быть, еще больше читал об этом. Да нет, конечно, больше читал, чем видел. Потому что когда он видел смерть, он был занят смертью или собой, а когда читал — думал о том, что читал, то есть жил. Но он никогда не читал и не видел, чтобы умирали так, чтобы другие не испугались того, что им тоже предстоит.

— Это не страшно, сынок... Я знаю — что-то во мне скоро оборвется...

Пятно солнца ползало по мухам, по стене. Гудели дальние городские машины.

— Мне кажется, я знаю, почему мне не страшно... Я никогда не жила для себя.

Мухи готовились жить вечно, потому что у них не было сознания.

— Ма...

— Прогони их... — сказала мама.

Сапожников взял вафельное полотенце со спинки кровати и махнул по солнечному пятну. Мухи воскрылили к стеклянному абажуру и, покружив, вылетели в открытое окно. Сапожников сел на пол у кровати.

— Пришел в себя? — спросила мама.

Сапожников кивнул.

— Мы не мухи... — сказала мама. — Сынок, спустись вниз.. там у забора... нет... заборы давно сломали... Там в зеленой траве всегда росли желтые одуванчики... нарви... принеси мне...

— Да, мама... — сказал Сапожников.

И кинулся из комнаты, из квартиры вниз по лестнице, из дома.

Рвал жёлтые нежные цветы и скрипел зубами.

Обратно он шел медленно.

Пока его не было, она вдруг села на кровати и попросила свою театральную сумочку. Ей не отказали. Она вынула оттуда и раскинула на одеяле листочки с выцветшими песнями и романсами, которые уже давно никто не пел, и начала сперва тихонько, потом все громче петь. Эти песни. Одну за другой. Голос ее становился все громче и страшнее. И все вышли из комнаты. А потом что-то щелкнуло у нее в горле. Голос превратился в хрип. И она медленно повалилась обратно на подушку. Хрип был равномерным, как дыхание.

Сапожников вернулся.

— Мама, — сказал Сапожников, — это я...

Но она его не услышала. Кто-то отобрал у него одуванчики.

— Агония, — сказал врач.

Она длилась долго. Потом прекратилась. Отец услышал тишину и крикнул что-то. Потом замолчал. И все остальное время молчал. Разговорился в похоронном автобусе. И говорил все время в крематории. А потом ушел. И Сапожников увидел его не скоро.

Ночью скрипнула дверь. И дед вошел в квартиру. А в коридоре лампочка не горит.

— Доигрались, — зловеще сказал дед.

Вся квартира спала. Застучал и выключился холодильник. Потом дед прошлепал к себе в комнату. Опять загудел и выключился холодильник. И вдруг стало ясно, что он действительно дед. А раньше



тслько посторонние люди в троллейбусе иногда называли его дедом, а все близкие называли его отцом.

Утром его увезли в больницу. А Сапожников переехал к Дунаевым. Прошло полмесяца, и отец стал выздоравливать от инфаркта. И был любимцем всей палаты. Однажды ему принесли чаю. Он взял стакан, не прерывая рассказа о делах давних и блистательных. Потом сказал:

— Ах...

И уронил стакан.

— Не надо,— сказал Дунаев Сапожникову,— он легко отошел. Всем бы так.

— Жил как хотел,— сказала Нюра.— И умер как хотел. Никто ему не судья.

И больше о смерти не будем. Не надо об этом. Нюра включила радио.

Передача, в которой пародировали гениальную песню из «Шербурских зонтиков», называется «С добрым утром». Но это ничего, Сапожников разносторонний. Он был рад послушать эту песню даже в пародии. С Сапожниковым так было всю жизнь. Шекспира он впервые узнал от пародиста в концерте, и Евангелие тоже, «Веселое евангелие» называлось. И все самое великое ему приходилось выковыривать, как изюмину из сухаря.

## Глава 25. Чужая улица

Ну, значит, приехал Сапожников домой из триумфальной поездки с проектом двигателя, и стало ему непонятно, как быть.

Коты в этом году начали завывать гораздо раньше, чем обычно, хотя весна не торопилась и ветры дули такие, что выбивало слезу. Но это по ночам. А днем казалось, что весна уже вот-вот.

Что же касается голубей, то они изгадили все подоконники и уже не воспринимались символом мира, а тем более прогресса.

В пятницу утром позвонила Сапожникову жена Барбарисова:

— Короче, сегодня вечером идешь в гости.

— Куда это?

— К Людмиле Васильевне... Ты ее знаешь. Ты ее видел у нас в гостях. Очень милая женщина. Сорок один год, незамужняя, заведующая научно-технической библиотекой. Ты ее прекрасно знаешь. Ты ее видел у нас. Она удивительная хозяйка. Будет тебе хорошим товарищем.

— Так это свататься идти, что ли?

— При чем тут свататься? — крикнула жена Барбарисова.— Посидеть вечером, поболтать. Я ей сказала, что ты просишься к ней в гости. Хватит с нас выдумок. Для мужа моего это нехарактерно. А все твои несчастья из-за выдумок. Я рада, что вы провалились... Впрочем, я тебе добра желаю.

Ночь за окном.

Мокрый снег. Огоньки непогашенных окон. Сто дорог прошагал я по этой земле! Эти стихи. Или так: а снег все падает и падает, а снег на камушки садится, и ничего не видно впереди. Или так: хорошо бы лежать медведем и всю зиму лапу сосать. Или так: стучат дожди по черепу дороги, цыганский полк запомятовал путь.

— Вы романтик, Сапожников,— сказала Людмила Васильевна.

— Да,— подтвердил Сапожников.— Я люблю луну как явление

природы, Изабеллу Юрьеву и шпроты. Чем это так воняет у вас в коридоре?

— Это сосед жарит осьминогов,— сказала Людмила Васильевна.

Где-то играют скрипки, где-то пекут оладьи. Каждый живет как может, хочет прожить до ста. Только вот я, бродяга, жизнь не могу наладить! Господи ты мой боже, до чего я устал!

— Я тоже,— сказала Людмила Васильевна.

Но потом она его пожалела. Все ж таки он сидит в незнакомой квартире, неженатый мужчина, а у нее груди вздымаются, и себя ей жалко, потому что коридорная система, на входной двери звонков-пуговок как на баяне, семь почтовых ящиков для газет и общая кухня с кафельным полом. Правда, в комнате у нее мебель красного дерева, островочек культуры, а если с сапожниковской комнатой сменять вместе на двухкомнатную отдельную квартиру, то одежда у нее есть зимняя, демисезонная и летняя, а чулки можно будет подкупать, лучше сразу несколько пар, вдвое экономнее выйдет; чаю, правда, хорошего не достанешь из-за конфликта с Китаем.

По чердаку кто-то все время ходил, топал и скрипел песком. Может быть, это ловили весенних котлов, а может быть, это выживший из ума старый вор перепутал эпоху и по довоенной привычке хотел уворовать с чердака белье, хотя уже давно пропала интимная атмосфера чердака, где сушилось белье и валялись обломки сундуков и фисгармоний. Чердак стал сухим и официальным.

«Ну а дальше что?» — подумал Сапожников.

— Вы, наверно, думаете, что вы еще молодой? — сказала Людмила Васильевна.

— Сейчас посмотрю,— сказал Сапожников и встал из-за стола. Но подошел не к зеркалу, а к распахнутому окну посмотреть в черное стекло.

Серый пепел луны. Татарская гармонь за окном. У ворот псы болтают конечностями.

— Я не романтик,— сказал Сапожников.— Я социалистический сентименталист. Карамзинист. Ибо пейзажи тоже чувствовать умеют. Я бедная Лиза.

— Простудитесь,— сказала Людмила Васильевна.

В новой квартире нужен трехламповый торшер, а на стенку Хемингуэя. Белье дома не стирать. Ни в коем случае. Только прачечная.

— Людмила Васильевна, когда вы приходите на пляж в Серебряный бор и видите много молоденьких девчонок в бикини, вам никогда не хочется расстрелять их из пулемета? — сказал Сапожников.

— Из чего?

«Нет-нет,— подумал Сапожников.— Никаких художеств. Скука, конечно, не двигатель прогресса, ну а с другой стороны, зачем он, прогресс-то?»

Вот мы и прожили еще один год, дорогой Сапожников. Теперь вы катаетесь на каруселях и кушаете мороженое пломбир. Ах, почему вы не остались таким наивным и не верите, что все образуется? Мой век! Что происходит? Пришла пора говорить прямо.

— Вы, наверное, считаете меня обывателем? — сказала Людмила Васильевна.

— Нет,— сказал Сапожников.— Что вы!

— А я и есть обыватель,— сказала она.— Пока вы тут сидите и мааетесь, рассуждаете, как вам со мной от скуки не умереть, когда мы

поженимся, я прикидываю, чем мне вас кормить, чтобы вы с голоду не подошли и не растолстели до противности.

— Ну и ну,— сказал Сапожников.

— А вы как думаете? — сказала она.— Жена — это профессия. Я смотрю на вас и смеюсь, а вы думаете, что это вы надо мной смеетесь.

— Я над собой смеюсь.

— Вижу. Но это все равно надо мной... Думаете, вот я и стану таким, как она. Жизнь кончилась, женюсь-ка я на ней, и будем тлеть вместе... Мне в войну один мальчик стихи написал: «Эти звезды сгорят над городом, расцветет на годах седина. Будут жены таскать за бороду за излишнюю стопку вина. Будем жить разговорами, слухами, будем вместе качать внучат. Ты, красавица, станешь старухой, я с годами стану ворчать. А мечты о высоких материях, те, которыми жил и гадал, будут вместе с душой потеряны в невозвратных лихих годах...» Так вы считаете?

— Примерно так.

— Вы прогрессист! — торжествующе сказала она.

— А что плохого?

— Вот я сижу и думаю — образование у нас одинаковое, ума у меня не меньше вашего.

— Вижу,— сказал Сапожников.

— Вообще-то я из вежливости... — сказала она.— А на самом деле я умнее вас раз в десять... Вот я женщина, можно сказать, баба, я сижу и думаю: не знаю, какие были прогрессисты раньше, а теперь прогрессист — он какой? Он теперь не думает. То есть он-то уверен, что он думает, а на самом деле он свои интересы выдает за мысли.

— А кто не так? — спросил Сапожников.

— Все так. Только мы не притворяемся.

— Это кто вы?

— А вот которых вы обывателями называете. Мы и говорим — мы хотим обывать, то есть жить, а не докапываться до смысла, зачем живем. Будет жизнь — она сама докопается. Радоваться хотим. А для прогрессиста слеза — как горчичка к сосиске, а он изображает из себя печальника за человечество. Очень он любит горестные истории. Выслушает прогрессист горестную историю, крупная слеза выкатится у него из очей, скользнет по ланитам и упадет на эти, как их... на перси.

— А вы язва,— сказал Сапожников.

— Уж не взывайте... Всплакнет прогрессист после горестной истории и пойдет себе восвояси... А в этих своясах у него электричество, водопровод, газ, телефон и сидячая ванна... И после горестной истории все это ему дорого и мило, и горестная история ему как рюмка водки перед обедом. Разденется он, произнесет вечернюю молитву из Гёте — лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый час идет за них на бой,— накроется одеялкой, и прогрессивный сон до утра. А расскажи ему, как человек всю жизнь радовался, несмотря на бедствия, в глазах у него только словечко «та-а-ак»... и ты уже отлучен. Доказывай потом, что ты прогрессист... А ведь хочется. Неудобно как-то. Прогресс все-таки...

И Сапожникову стало неудобно, что он прогрессист, но потом он подумал, что может быть, он все-таки не прогрессист, и он сказал:

— Вот вы говорите — любовь и голод правят миром, ну, может, не говорите, это все равно. Думаете так. А я бы хотел вас спросить — а куда? А в какую сторону они правят корабликом, который мы называем мир? Вот сидел у костра пещерный дядя, и мы сейчас смотрим про него телефильмы... Но он уже запускает ракеты в космос. Неуже-

ли он этого достиг только с голодухи и оттого, что нашел партнершу по вкусу? Не чересчур ли простое объяснение, дорогая Людмила Васильевна?.. Жрать и сливаться в экстазе могут и мухи. Но у них есть эволюция, а у нас только история... Не пора ли внести в эту формулу насчет любви и голода еще третий элемент — тягу к необыденному? Что с вами?

Людмила Васильевна отвернулась, всхлипнула, приложила к глазам чайное полотенце, потом повесила его на спинку стула, вытянула нижнюю губу и подула снизу вверх, чтобы глаза просохли и краска не потекла, и сказала поглубевшим голосом: «Нас не понимают» — и у Сапожникова стиснулось и заныло сердце — он сразу вспомнил.

— А я знаю, жизнь важнее ее смысла,— сказала она.— А вы все анализируете, все разбираете, разъедаете... Все проклятый ваш анализ. Разбираете дом на кирпичи, а потом жалуетесь, что дует...

Да, дует. Все вспомнил Сапожников, когда сидел у Людмилы Васильевны, хорошей женщины. Ветер такой идет по миру, что выбивает слезу. И не в горестных историях тут было дело, а же самое и со смехом бывает. Смеется человек, а потом догадывается, что смеется по чужому заказу, потому что боится оглянуться на жизнь, которую прохотал не своим смехом. И впору заплакать или глотнуть пулю и хоть тем остановить свой смех, похожий на закатывающийся гогот человека, которого щекочат до смерти.

А он очень старался понять, честно, как голодный: искусство, техника, биология, история, отношения — во всем хотелось разобраться, подвергнуть анализу, объяснить.

Пока не затлел торф под ногами.

— Заходите как-нибудь еще,— сказала Людмила Васильевна.

— Ладно,— сказал Сапожников.— Я вам подарю портрет Эйнштейна или Шаляпина... а может быть, Жана Габена. Можно еще Есенина... На выбор, кого хотите.

— Я повешу его над сервантом,— сказала она.

Сапожников нахмурил брови, освоил космос, заплатил за квартиру, разбил фашизм, побрился, упустил жизнь и вышел на улицу.

На улице он понял, что, в сущности, еще не жил. А так как он много раз еще не жил, то он решил зайти к Барбарисову, потому что чувствовал нелюбовь от их семьи, которая накатывала волнами. Сапожников любил нарываться. Он знал причину их раздражения. Они считали, что для носителя истины он выглядел чересчур несерьезно. Чересчур много всего в нем было наворочено. Его никто всерьез не принимал.

У Сапожникова было много идей, но он их не скрывал, потому никто его и слушать не хотел. Серьезными идеями не бросаются, их приберегают для себя, а несерьезные — кому они нужны.

Так Сапожников и ходил по жизни с очередной своей идеей, болтающей изо рта, и был похож на повешенного.

У всех делались сонные глаза, когда он приближался. А уж жена Барбарисова — та человек и вовсе деловой. Что мужу полезно, то и хорошо. А Сапожников такого накрутил в своей жизни, что сам черт не разберет. Жена Барбарисова — человек четкий и запах ненадежности ей ни к чему. У них с мужем одна задача — вести свой парный конференс в жизни так, чтоб не освистали. А для носителя истины Сапожников выглядел до безобразия несерьезно.

Как она могла любить Сапожникова, если слышала, как он, вместо того чтобы поведать, как было у Людмилы Васильевны, сказал:

— Я бы хотел идти ночью по улице, а в домах горят окна. И чтобы я зашел в любой подъезд, поднялся по лестнице, и позвонил в лю-

бую дверь, и сказал хозяевам: «Здравствуйте. Я — Сапожников. Можно, я у вас в гостях посижу? Я обещаю любить вас весь вечер и постараюсь быть не скучным».

— Я бы тебя сразу выперла, — сказала она.

— Это потому, что ты не знаешь, что такое счастье.

— Я не знаю?! Ну ты, конечно, знаешь! Еще бы! Голодранец несчастный. Никак в себя не придешь, не угомонишься. Зачем опять все разрушил? Зачем от Людмилы отказался? Она бы тебя из дерьма вытащила. Ну? Отвечай, зачем?

— Зачем? — я ответить не могу. Могу ответить — почему.

— Ну?!

— Так надо.

— И все?

— И все.

Она хлопнула дверь. Закачались бомбошки на люстре. А Барбарисов спросил, понизив голос:

— Ты что же, действительно знаешь, что такое счастье? Ну, обрисуй, обрисуй.

И тогда Сапожников сказал:

— Туман шел клочьями через лес. Крикнула птица. Велосипедист приостановился и позвонил в колокольчик. Потом вытащил губную гармонику и протрубил сигнал «Солнечного зайчика»...

Барбарисов сказал: «Н-да...» — и хотел добавить в смысле «и все?», но жена крикнула из-за двери:

— Ты слушай его, слушай! Он тебя образует... дрянь неблагодарная! Барбарисов, сделай звук потише, я по телефону говорю!

Барбарисов погасил звук в телевизоре. К роялю подошел певец в манишке и разинул рот. Он все надувался внутри манишки и разевал рот.

— Включай! — крикнула жена. — Можешь включать!

Появился звук.

— Скорей на балкон! — закричал певец, взмахнул руками и попытался взлететь. Но не взлетел.

— Это он про Нисетту, — сказал Сапожников. — Чтоб на балкон шла. Про Альпухару и гитару. Слова и музыка не скоординированы с поведением артиста...

— Это тебе не балет, — сказал Барбарисов.

На экран выпорхнула балетная пара. Он был в трико, она в шароварах. Некоторое время балерина, разминаясь, ходила вокруг партнера и примеривалась. Потом разбежалась и вскочила на него. Но он не поддался и отшвырнул ее. Но она снова кинулась на него и вцепилась, как клещ. Тогда он стал бороться с ней, пытаясь ее стряхнуть, но она не уступила. Сколько он ни швырял ее, ни крутил по воздуху, ничего не получалось. Тогда ему ничего не оставалось как унести ее за кулисы и там прикончить под вой труб и фуканье барабана.

— А ты знаешь, жена права, — сказал Барбарисов. — Насчет Людмилы Васильевны.

— Да, права, — сказал Сапожников. — Но и я прав.

Сапожников вернулся домой. Он не раздеваясь заснул и плакал во сне.

... — Кто живой? — спросила Рамона. — Эй, кто живой?

Никто не откликнулся.

Тогда Сапожников подошел к ней, тихонько опустился в воронку и сказал ей на ухо:

— Рамона...

Галка оглянулась.

— А ведь мы с тобой вдвоем остались,— сказал Сапожников.

— Вдвоем,— согласилась Рамона.— Теперь у нас пойдет хорошая жизнь. Как на курорте... Детей мы эвакуировали, мужчины наши убиты, бояться нам нечего...

— А дальше что?

Галка пожала плечами.

— Будем пугать фрица, пока сможем,— сказала она,— а дальше помрем.

— Страшно? — сказал Сапожников.

— Я знаешь почему в разведку пошла? — спросила Рамона.— Потому что всю жизнь боялась.

— Ты?! — изумился Сапожников.

— Ага... — сказала Рамона.— Я всегда за кого-нибудь боялась. За детей, за чужих жен и мужей, за солдат, за командиров... Когда им что-нибудь угрожает, у меня в кишках холодно... А когда я одна — тут я становлюсь ловкая. Меня теплую не возьмешь. За себя чего бояться? Со мной ничего сделать нельзя. Убьют? Так ведь мне незаметно будет. А в плен захватят, станут пытать?.. Что ж, боль, она и есть боль. Потерплю сколько смогу, потом буду кричать. Громко... Главное, не боюсь ни хрена.— Тут она выматерилась и сказала: — Извини. Распустились мы на войне. У вас, наверно, девушки не матерятся...

— Еще как,— ответил Сапожников.— И женщины и дамы: матерятся накрашенными ротиками, простота нравов.

— Хуже страха нет ничего,— сказала Рамона.— А ты испугался.

— Нет! — сказал Сапожников.

— Факт, испугался. Слушай,— сказала Рамона нежным своим и глуховатым голосом,— мы выиграли войну... Не важно, что я не дожила, но мы выиграли войну, отвечай?

— Да.

— Да, мы выиграли войну,— сказала Рамона.— И я вижу знамя над рейхстагом и фашистские знамена в грязи на мостовой... Знаешь, почему мы выиграли войну, а они проиграли? Потому что нас спасли будущие, еще не рожденные дети... Если бы не они, нам бы не выдержать! Стреляй! — крикнула Рамона.— Стреляй, пока есть пули!

Началась стрельба, и рассвет стал лимонный и лихорадочно-прекрасный.

— Запомни! — крикнула Рамона.— Нам без них не выдержать, но и они без нас пропадут!..

Тут стрельба кончилась, и рассвет опять стал глядеть серым глазом, налитым слезой.

— Давай гляди,— сказала Рамона.— Сейчас снова пойдут... Что-то больно тихо.

Она приподнялась поглядеть, и в нее попала пуля.

— Ах,— удивилась она и повалилась на бруствер.

Подполз Сапожников.

— В воронку меня не клади,— сказала Рамона.— В ней воды на пол-лопатки. Дай здесь полежу. Меня отсюда не видно.

Язык у нее стал заплетаться.

— Рамона, когда ты умрешь, мне что тогда делать? — спросил Сапожников.

Она вдруг сказала совершенно отчетливо, с силой:

— Иди! Иди и скажи им... История складывается из наших биографий. Какие мы — такая история. Другого материала у нее нет!

И голова ее откинулась, Сапожников взял автомат и пошел по полю, ничего не боясь.

«Рамона,— думал Сапожников.— Ваня Бобров. Цыган. Танкист. Я не знаю, где вы похоронены! Поэтому я хожу сюда, к большой стене! Считается, что это могила неизвестного солдата. Нет! Это могила солдата, известного всему свету!..»

Сапожников открыл глаза и долго курил в темноте.

## Глава 26. Механический мышонок

В жизни Сапожникова готовился поворот.

Собралась как-то вся прежняя компания, которая собиралась в институтские еще времена, а потом естественным путем распалась. Много лет прошло, как они расстались. Кого вирус пришиб, кого жены, а кого лавина в горах. Поредела компания.

Доктор Ника погиб в снежной лавине. Это совершенно случайно узнал Сапожников от аспирантки-психолога и засуетился, затосковал, стал по телефонам звонить. Все загрустили и собрались. И Сапожников пришел, смотрит — он такой же облезлый, как все, а потом смотрит — да нет же, это ему показалось, никто не облезлый. Подняли тост за тех, кого нет с нами, выжили за тех, кто есть с нами, за плавающих и путешествующих.

— Как же это Ника? — жалобно спросил Сапожников.

— Судьба прибрала.

— А куда? — спросил Сапожников.

— Перестань.

— Нет, я бы хотел знать, куда уходят люди? — настаивал Сапожников.

Но ему деликатно не отвечали.

Только постепенно заводились.

— Ну и как твоя третья сигнальная? — спросил Барбарисов, чтобы разговор перевести.

И все вдруг замолчали. Каждый замолчал сам по себе и не думал, что замолчит сосед. А когда оказалось, что замолчали все, стало ясно, что это главный вопрос, который хотела выяснить старая компания. Ничего не забывшая и ничего не упустившая из прошлых дебатов и прошлых уколов самолюбия.

— А что вас интересует? — спросил Сапожников.

— Существует она или нет?

— Существует.

— А где плоды?

— А это кто? — Сапожников кивнул на даму.

— Это Мухина... Не узнал? Помнишь, она училась в ГИТИСе на актерском. Она теперь художественный критик.

— Обучает, значит?

— Ага... Якушев выставил картину, а она его разнесла.

Подошла Мухина и стала смотреть на Сапожникова.

— Он меня не помнит, — сказала она.

— А-а... кикимора, — сказал Сапожников.

— Почему кикимора? — испугался Барбарисов. — Не дурачься.

— Это я выступала о детском рисунке, — ухмыльнулась Мухина. — По телевизору... Сапожников, поговори с женщиной.

И села рядом.

— Ты не понимаешь, Сапожников. Я из хорошей семьи и муж из хорошей семьи... Но он меня не любит. И никогда не любил...

— Делов-то... — сказал Сапожников. — Ну а ты-то его любила?

— Это не важно.

- Тоже верно,— сказал Сапожников.— А что важно?  
 — Важно, что Якушев сказал, будто у меня ноги кривые. Якушев! Зря на меня обижаешься! У тебя своя профессия, у меня своя!  
 — Цыц,— сказал Якушев.— Тримальхион.  
 Сапожников смотрит — а у нее правда ноги кривые. А до слов Кости были прямые.  
 — Костя... Якушев,— сказал Сапожников.— Ты талант.  
 — А здесь все таланты,— сказал Якушев.— Кроме нас с тобой.

Глеб верил в актерские способности. Он верил, что, войдя в образ ученого, легче стать ученым, чем просто напрягаясь. Глеб был достаточно умен, чтобы не болтать о своем предположении, и так и жил. Но почему-то в его карьере наступил стоп. Вдруг он заметил, что на каком-то уровне с ним становятся только вежливы, а интерес вызывают совершенно другие люди, неспособные быть лидерами. Глеб был уверен, что талант, о котором все столько талдычат, это тоже облик, который можно сыграть, если понять, как его играть. Глеб мог бы простить Сапожникова, который догадался, как играть талантливого неудачника, и даже удачу ему бы простил. Но он не мог простить Сапожникова за то, что тот утверждал, будто знает, как сделать любого человека талантливым. Любого! Черт возьми! Наступит инфляция — кому нужны таланты, если они станут шлаться толпами? Кто будет им платить?

- Бесплатно будут работать,— утверждал Сапожников.  
 — Бесплатно работать — значит плодить паразитов.  
 — Придумают, как избежать паразитов. Глеб, а разве ты паразит?  
 — В чем-то да,— сказал Глеб.

— В чем-то и я паразит и все остальные. Но ты ошибаешься, мы с тобой не паразиты, мы с тобой симбионты. Симбионт кормится отходами своего партнера, а паразит самим партнером.

- Заткнись, Сапожников, ладно? — сказал Глеб.

Глеб потянул ноздрями, и ему вдруг почудился запах ладана. Как в детстве. На похоронах деда. Как будто весна, деревья голые еще. А на могилах первая трава. Только бумажные цветы, крик галок и запах ладана.

- Почему ты подумал о смерти? — спросил Сапожников.  
 — Помолчи,— сказал Глеб.  
 — Мне так показалось.  
 — Я тебя ударю,— сказал Глеб.  
 — А я тебя,— сказал Сапожников.— Почему ты все время думаешь о смерти?  
 — О чьей? — спросил Глеб.  
 — Я не знаю,— сказал Сапожников.

У человека сто сторон и миллион состояний. Каждым из своих ста тысяч боков он к чему-нибудь принадлежит. И не успеешь оглянуться, как ты уже систематизирован. Никак не хотят поверить всерьез, что человек — это штучный товар.

По Сапожникову выходило, что если не начинать с самого детства, то нельзя научить человека быть талантливым, чтобы он делал талантливые вещи, но можно научить его приходить в такое состояние, когда он делает талантливые вещи. Талант по-особому связан с миром. Значит, надо помочь ему эту связь не прерывать. Тогда мир вдохнет в него свое нетривиальное отражение.

Талант — редкость?

Кто это сказал? Кто утвердил? Кто доказал?



Практика доказала?

Какая практика? Какого народа? Каких времен? Времен унижения? Когда тысячи лет пережигали духовную энергию народа? Который не хотел трудиться на дядю Тримальхиона, потому что дядя Тримальхион считал его вторым сортом, развращал его идеалом своей судорожной и бездарной жизни, призывая сдать поштучно и подчиниться скопом. Кому? Ну, это слишком хорошо известно и это тоже — практика. Леонардо знал их лично, это было тримальхионово. Он их называл — проходы пищи, умножители дерьма, те, кто, кроме переполненных сортиров, не оставляет в мире ничего.

Мало того что тримальхионы сжигали физическую силу народа, они пережигали его духовную мощь, убеждая народ в его бездарности. Это, может быть, самое страшное преступление. Убедить народ в его бездарности — значит закрыть перспективу.

И сейчас еще осталось это проклятие: талант — редкость и сборище талантов — элита.

Когда же поймут, что талант — это не чемпион и вовсе не дело таланта гонка по шоссе, где у одного лопнула шина и мимо него проносится потная орда.

Все видели ворон на снегу. Но только у одного родилась из этого «Боярыня Морозова». Надо ли поэтому заставлять художников глядеть на ворон? Чтобы получилась «Боярыня»? Нет. Так как, во-первых, зачем делать вторую «Боярыню», а во-вторых, даже у самого Сурикова «Боярыня» родилась при взгляде на ворону только в тот единственный блистательный миг, а в другой раз он прошел бы мимо, как всю жизнь ходил.

У человека в мозгу, видимо, теснятся образы. У кого теснятся, у кого нет.

Если нет — значит, он их заболтал.

У ребенка, практически у каждого, теснятся. Не успел еще заболтать. Талант — это способность не спугнуть образы (если приходят или вызваны чем-то) и начать с ними работу. А потом и пустить в дело.

Фотоотпечаток на пленке — это еще не образ. Это память. Материал для образа. «На сейчас» или «про запас». Образ — это не отпечаток, а переработка бесчисленных отпечатков и сигналов, и потому образ — это всегда открытие. И от нас зависит не отшвырнуть образ, а догадаться, в чем его открытие. Талант в том и состоит.

Образы есть и у собаки. Но в дело пускает их только человек. Это невидимый труд, который потом становится видимым. Мудрец, когда описывал разницу между пчелой и архитектором, сказал, что позади труда обычного лежит «идеальное». Об этом почему-то предпочитают не помнить.

Труд действительно создал человека, но труд не по обработке камня, а сперва по обработке его образа. То есть физическому труду умственный труд предшествует. Потому что умственному труду предшествует сам материал труда — образ. Как физическому труду предшествует сам материал труда, подлежащий обработке, — камень, к примеру.

Человек зашевелил мозгами не тогда, когда применил камень — его применяли и животные, — а когда увидел образ камня в мозгу, на внутреннем экране, и понял, что может им манипулировать в воображении. Мозг живой и продолжает работать, когда ты спишь. А образ — это самодеятельность мозга. Мы еще и сейчас боимся снов и стараемся понять, какое отношение они имеют к дневной жизни.

Воля — это торможение, своих желаний или чужих. И человеческая речь возникла из повелительного наклонения. Спросите у лингвистов — глаголы в повелительной форме древнее всех слов. То есть речь мешает мозгу заниматься самодеятельностью. Ребенку не мешает почти.

Поэтому воля может только набрать материал, а образ приходит, когда воля спит... Хотя человек может бодрствовать.

Все люди видели ворон на снегу...

Гёте говорил: «Наше дело набрать хворосту. Приходит случай и зажигает костер». Суриковская ворона — это случай.

Вот к каким выводам пришел Сапожников.

— Ты чудак, — тихо и даже ласково убеждал Барбарисов. — Неужели ты до сих пор не понял, что дело не в том, прав ты или не прав, а в том, выгодна твоя правота или нет. Ты замахнулся на устоявшуюся шкалу оценок. Потому что если ты прав, то образование не нужно!

— Ты обалдел? Как это не нужно? — спросил Сапожников. — Информация не нужна?

— Придет талантливый вахлак и решит задачу, которая не по силам доктору наук. Кто тебе это простит? Вот возьми Мухину... Муж у нее из хорошей семьи, он не любит ее и никогда не любил, но она кое-что знает!

— Ни черта она не знает! — сказал Якушев.

— Не важно, считается, что знает, она думает, что она знает. Диплом есть диплом, звание есть звание.

— Она пьшет злобой, но показать ее боится, — сказал Якушев.

— Да, она боится, — сказал Сапожников.

— Кто тебя боится, дворняжка ты... — сказала Мухина.

— И потому, Сапожников, у нее один выход — уничтожить тебя высокомерием...

— Тримальхион ваша Мухина, — сказал Якушев. — Вот кто ваша Мухина...

Мухина ушла. Хлопнула входная дверь.

— Совсем девушку обидел...

— Пошла отравлять колоды, — сказал Якушев.

— Ты бы поостерегся, — предупредил Сапожников. — Пушкина убил не Дантес. Дантес — пешка. Пушкина убили бабы. Полетика, жена и прочие графини Хрюмины.

— Для этого ей надо признать меня гением, — сказал Якушев. — А это для Мухиной страшной войны.

— Кстати, кто такой Тримальхион? — спросил доктор Шура.

— Был такой один. В Риме... Лакей-вольнотпущенник, — сказал Якушев. — Спекулянт... Пиры задавал, чтобы его хвалили, — сволочь бездарная.

— Вернемся к третьей сигнальной, — сказал Глеб. — Вон сейчас сколько болтают об инопланетной сверхцивилизации... Предлагай нетривиальное решение, ну? Только сразу... Тогда поверю в твою третью сигнальную.

— Если сверх, — сказал Сапожников, — значит, могли до машины времени додуматься.

— Ну и что? — спросил Барбарисов.

— Тогда эти сверх могут быть нашими потомками... которые к нам навевываются иногда.

— Что? — сказал Глеб. — Забавно... Впрочем, чушь.

- Чушь! Чушь! Чушь! — сказал доктор Шура.
- Да дайте ему сказать! — крикнул Якушев. — Что за дела? Ни у него, ни у вас никаких фактов нет, но его предположение логичней.
- Логичней?
- Он исходит из будущих возможностей, а вы из сегодняшних! И опять стал молчать и сопеть над набросками.
- Значит, ты считаешь, что сверхцивилизация не будет к нам враждебна? — спросил Барбарисов.
- Наверно, не будет, — сказал Сапожников. — Если они нас угробят — их самих не будет. Ведь они наши потомки, а не мы их.
- Прилетать назад нельзя, — сказал Глеб. — Можно повлиять ненароком на свое прошлое и тем испортить будущее... У Бредбери есть рассказ.
- Почему ненароком? — спросил Сапожников. — А если специально прилетят, чтобы изменить свое прошлое? Тогда у них жизнь изменится в желаемом направлении... Мы устроим их жизнь, а они нашу... Может, поэтому мы до них дозвониться не можем... Мы им сигналим в пространство, а надо во время, — сказал Сапожников и сам удивился.
- Передвижение во времени принципиально невозможно, — поправил Барбарисов.
- А ты докажи! — сказал Сапожников. И усмехнулся. — Ладно, забудем. Это все фантастика.

И тут же он увидел Скурлатия Магому, человека будущего, только очень смешного. Он был по-ихнему молодой и писал сочинение. И Сапожников понял, что сам уже пишет.

Сочинение Скурлатия Магомы:

«Утверждают, будто Великий Сапожников, основоположник науки, искусства и мышления последних тысячелетий, никогда на самом деле не существовал, а является фигурой вымышленной. Это утверждают только на том основании, что все сведения о нем получены нами из отрывков его жизнеописания, явно состряпанного, как считают гиперкритики, не раньше чем двести — триста лет спустя после описанных там событий.

Про Сапожникова следует сказать, что, если бы его не было, его бы следовало выдумать, хе-хе, как говорили древние.

Скурлатий Магома, ученик 19 класса  
Высшей Начальной школы Московской области,  
3377 год нашей эры.

Постскриптум. Я, как и все ученики нашей конно-спортивной школы имени Сапожникова, готов смотаться в 1977 год, чтобы проверить события, изображенные в жизнеописании. И прошу специально-го разрешения для общения с Сапожниковым. Поскольку я один из отстающих учеников, нет никакой опасности передачи ему слишком ценных сведений из нашего времени, потому что я сам не знаю ни фига».

Вскоре после Тримальхионова пира Сапожникову позвонил Барбарисов:

- Здравствуй, старик. Куда ты пропал?
- Я не пропал, — сказал Сапожников. — У меня сердце бьется.
- Что так?
- Не знаю.

- А чем же ты занят? — спросил Барбарисов.
- Рассказ сочиняю... Финал не могу придумать, — сказал Сапожников.
- Рассказ?
- Ну да, байку, — сказал Сапожников. — Да ты помнишь... Про Скурлатия Магому. — Слушай, что будет, если кто-то докажет теорему Ферми?
- Теорему Ферма... Ферми — это другое.
- Я знаю, я оговорился. Потому что Ферми тоже считал, что идея не созрела, если ее нельзя объяснить на пальцах... Так что же будет?
- Старик, эту теорему уже доказали для многих чисел, — сказал Барбарисов. — Вот жена хочет поговорить с тобой.
- А если для всех чисел? — спросил Сапожников. — В общем виде?
- В общем виде ее доказать невозможно. Это доказано.
- Доказано?
- Почти.
- А-а... — сказал Сапожников. — Почти... Вот я про это и сочиняю. Про почти.

Зачем пишут книги, стихи, музыку или картину?

Почему? — более менее понятно. Тоже непонятно, но все же понятно. А вот зачем?

Затем, что в глубине души живет у поэта тайная святая надежда повлиять на мир.

Он, конечно, понимает, что ни одна книжка не перевоспитала сукина сына. Сукины сыны почему-то не перевоспитываются. Либо они не читают полезных для них книжек, а может быть, эти книжки их еще больше злят. Либо влияние книжки так незначительно, что оно затухает сразу по прочтении. И все же идет постоянная святая работа тех, кому хочется изменить мир, чтобы он стал как материнская ладонь. Так почему же неистребима эта работа?

Помимо общей работы, помимо времени, которое все фильтрует и промывает, еще есть индивидуальная надежда. Она вот в чем. Никто не может дать гарантии, что не его слово окажется решающим, когда исполнятся сроки и понадобится последнее прикосновение, последняя пушинка на весах, чтобы воспрянул род людской. Поэтому работа должна быть сделана и продолжена.

Глеб приехал, и Сапожникову передали его просьбу прийти на демонстрацию механического мышонка, который почти что мыслит. Но Сапожников на лекцию опоздал.

Сапожников гулко топал по цементному полу. Пол-то был паркетный, конечно, но казался цементным из-за своей вековой немывотности. Куриный помет втерся в щели и был отполирован ногами паломников. Такие полы Сапожников видел только в раздевалках поликлиник и в суде. Наконец Сапожников по речке спустился к морю, пересек его, увертываясь от колонн и сдвинутых стульев, и вышел к противоположному берегу. У стола с выдвинутой трибуной и экраном, на котором испокон веку показывали только результаты и никогда борьбу, которая кипела в зале, то есть всю губительную схватку страстей, затемнявшую познание истины, Сапожников увидел группу ученых забавников, которая во главе с Глебом возилась с механическим мышонком, который жужжал на полу и двигался по команде туда-сюда. Стояла полутьма и полусшепот.

Взбунтовался Сапожников.

Надоело ерничать и шутовать. Надоело высмеивать самого себя и тайно лебезить перед профессионалами.

Специалист — это не господь бог. Это всего лишь квалификация. Но сама систематичность его знаний относительна. Кто поумней, сам это понимает и признает, да и системы пересматриваются. На то они и системы. И хотя каждая наука исходит из нескольких главных оснований, сама логичность ее выводов относительна и не может быть замкнутой и навеки законченной, иначе придется ее признать истиной в последней инстанции. Не может быть логически замкнутой системы даже в математике — на то есть теорема Геделя, который это доказал. Имеет право дилетант думать, не имеет права думать — кто должен это решать, кто арбитр? Ученого делает не звание и даже не знания — знания меняются, — ученого делает ум. Иначе все не в пользу. Наука не закрытый распределитель. Ну и будьте ласковы.

Да, Сапожников додумался до идеи, которая, окажись она верной, ставит на голову, а может, и на ноги множество сложившихся представлений. Ну и что плохого? Если идея верная — слава богу, нет — она усохнет на корню. Время покажет. Но если она верна, из нее вытекает множество интереснейших последствий.

Как только Сапожников догадался, что нет притяжения тел, а есть их сталкивание из-за внешнего влияния, скручивание во времявращения, так ему сразу, хочешь не хочешь, пришлось ответить на основной вопрос философии — идеалист он, Сапожников, или материалист?

На основной вопрос философии Сапожников отвечал материалистически. Причина причин — бесконечная материя и ее развитие.

Но если материя бесконечна и она развивается, то никакого первого толчка, с которого все началось, быть не может, во-первых, потому, что и у первого толчка тоже должен быть толчок, то есть своя причина, а у нее своя и так и далее, а во-вторых, если материя развивается, то развиваются и сами причины. Причины не стоят на месте.

Но из этого вытекало множество интересных последствий и насчет неживой материи и насчет живой.

Неживая материя — чем дальше в нее внедряются, тем более странно себя ведет. Электрон, например, перескакивает с орбиты на орбиту. Непредсказуемо ведет себя электрон. Появилось даже скоропостижное мнение о «свободе воли» у электрона.

По Сапожникову же выходило, что он не исчезает и не объявляется, а просто распадается до полной (нынешней) невидимости, а потом снова собирается в очевидный электрон, но на другой орбите. Ну вроде как если с вертолета смотреть на толпу на улице. Люди разойдутся — и их не видать, а потом соберутся на другой улице на новый митинг.

А чтобы собраться на другой улице, у них на то были свои причины: либо у каждого свои — и тогда толпа на другой улице состоит из других участников, а первые разошлись по своим делам, либо это те же люди, но митинг перенесли на соседнюю улицу. Причины могут быть любые.

Причины любые, но они есть.

Или, к примеру, кучу песка подняло ветром. Песок не исчез. Он стал невидим. А потом снова упал в кучу в другом месте. Но для этого нужен ветер.

Казалось бы, все складно.

Но Сапожникову не нравилось сравнение людей с песком. Вот в чем штука. Не нравилось, и все тут.

Потому что между песком и людьми наблюдалось явное разли-

чие. И различие состояло в том, что песок был поднят ветром, а люди вроде бы сами разошлись. Сами — понимаете?

Если у механизма много степеней свободы, ну, скажем, палка на шарнире болтается во все стороны, то никакой воли у палки нет. Куда толкнут, туда и повернется. Она неживая.

А у живого, извините, кое-что не так. Конечно, ударь мышонка, он побежит в другое место. Внешние причины влияют. А как же! Но дело в том, что мышонок может побежать в другое место и не будучи ударен. Вы скажете, он побежит туда потому, что там приманка, то есть тоже причина внешняя? Это не ответ. Можно палку сделать железной и притянуть магнитом. Сходство явное. Сходство. Но не тождество. А разница в существе дела. У мышонка было желание, а у палки нет.

То есть позади воли у живого — желание, а у неживого — нет.

Что такое желание, Сапожников, конечно, не знал. И полагал, что ответить на этот вопрос значит ответить, что такое жизнь. Но догадка потому и догадка, что она часто идет впереди знания. А верная она или нет — узнается на практике. Об атомах догадались прежде, чем их открыли. Об Америке, говорят, тоже.

Но если догадка Сапожникова верна и желание — это особое явление, то выходило, что и материя, из которой состоит живое, тоже особая материя.

Что такое эта особая материя, Сапожников не знал, но выходило так, что ее все же надо искать.

Где? Во времени.

И тогда Сапожников подумал: а, собственно, что такое время?

Он подумал об этом еще мальчиком, а потом всю жизнь испытывал на прочность эту идею, сталкивая ее с любыми новинками научной мысли, и все больше убеждался, что без материи времени никуда, а с ней, похоже, есть куда двигаться.

Когда Сапожников подошел, большинство его не заметило. Шло восторженное обсуждение. И слышались слова:

— Вы замечаете? Противоположные команды сбивают его с толку...

— Он хочет налево.

— Он хочет развернуться.

— Обратные связи... Все как в жизни...

Сапожников поглядел-поглядел на этого несчастного механического мышонка и понял наконец, кого больше всего напоминает этот мышонок — блюдечко на спиритическом столике, а вовсе не живого мышонка.

— Веселый охмурей,— сказал Сапожников.

Все на секунду остановились, как на хоккее в видеозаписи, которую легкомысленно недооценил и высмеял Глеб, не догадываясь, что ей предстоит совершить переворот не меньше гутенберговского книгопечатания, а потом снова задвигались, разве что чуть более нервно.

— Веселый охмурей,— раздельно повторил Сапожников.

Глеб слез со стола, на котором сидел боком, по-ямщицки, управляя своей лихой научной тройкой.

— Ну ладно. На сегодня хватит.

И пошел мыть руки. Сапожников пошел вслед за Глебом. Никто больше не шел.

— Почему же охмурей? — не оглядываясь спросил Глеб.

— А потому что ваш мышонок так же похож на живого, как блюдце.

— Какое блюдце?

— Спиритическое... «Он хотел, он повернул, он не может выбрать»,— сказал Сапожников.— Ни черта он не хочет и не выбирает, потому что он машина, выполненная в виде мышонка, с чужой программой поведения. И никакой он не мышонок, вполне мог быть паровозиком или столиком на колесах, это без разницы.

— Короче.

— Не в командах дело, не в рефлексах и обратных связях.

— Тебе уже не только Павлов мешает, но и Винер.

— При чем тут Павлов и Винер? Они же не описывали жизнь в целом, они изучали отдельные ее проявления. Они ученые, а не иконы.

— Ладно, дальше.

— Пока не поймут, что такое желание, не поймут, что такое жизнь,— сказал Сапожников.

— Ишь ты! — сказал Глеб.— Не меньше?

— Не меньше,— сказал Сапожников.

— Тогда подробней.

Сапожников рассказал.

Пока не узнают, что такое желание, не узнают, что такое жизнь. И никакие механические и кибернетические модели не помогут. Вот сделали искусственного мышонка и пускают его в лабиринт, датчики всякие чувствительные при нем. Он попытается туда, попытается сюда, найдет дорогу. У него же запоминающие устройства, и потому эту дорогу он сразу находит. Внешне все как в жизни, а по существу — ничего общего. Это как в ковбойской пословице: никому еще не удавалось силком напоить лошадь. Поэтому машина штука дрессированная, а живое существо — самодеятельное. А как же!

— И больше мне не попадайся,— сказал Глеб без всякой логики.

— Это ясно,— сказал Сапожников.— Так вот запомни, когда сам приползешь...

— Я? — перебил Глеб.

И они расстались.

Впервые после ссоры Сапожников увидел Глеба на совещании, когда профессор Филидоров громил его и теперь уже барбарисовский двигатель. Глеб был ласковый и улыбался, как улыбаются у них в научном зазеркалье чеширские коты. Запонки его мерцали, и Сапожников вдруг понял, почему он, Сапожников, проектирует этот провальный двигатель именно с Барбарисовым. Это ведь Глеб велел Барбарисову связаться с Сапожниковым. Вот так. В порядке старой дружбы.

Глеб ничем не рисковал. Если вдруг Сапожников придумал толковый двигатель, то Глеб участник-вдохновитель. Если же нет — горит Барбарисов, ну и, конечно, Сапожников. Да, собственно, как горит Барбарисов? Ну, помог Сапожникову по совету Глеба разобраться. И все. Бредни, и все! Это блистательно доказал Филидоров.

Доказывал, доказывал, а потом вдруг устал, что ли, вытер лоб белейшим платком и сказал:

— Прошу сделать перерыв.

Филидорову дали воды, а Глеб смотрел на свои ногти.

Ну что ж, Сапожников, реванш так реванш. С видеозаписью Глеб ошибся, вышла промашечка, старая идея твоя оказалась триумфально верной. С мышонком Глеб тоже маленько перебрал, действительно жизнь оказалась сложнее и не состояла из рефлексов, по крайней мере очевидных, но вот с двигателем у Сапожникова полный абзац и кранты, выражаясь научно. Ну и, естественно, идиотская идея вдохновения — чистая фантастика.

Вот так-то.

Сапожников вспомнил, как, возвращаясь из Киева, увидел на перроне Глеба, который предложил Сапожникову подвезти его, куда ему надо. Доктор Шура поехал с ними.

Когда они шли к машине, доктор Шура озабоченно спросил:

— Ну что слышно насчет того?

— Насчет чего? — Сапожников думал, что это к нему.

— Пока ничего, — ответил Глеб и пояснил: — Затевадается кой-какая лаборатория.

И Сапожников понял, что он им неинтересен.

А потом в казенной машине Глеб обернулся с переднего сиденья и объяснил Сапожникову все, что он думает о нем, о его двигателе и о его маловразумительных гипотезах.

Мы, конечно, могли бы рассказать здесь, какими доводами и в каком тоне разнес малограмотного Сапожникова Глеб, свирепый оппонент. Но скажем только о тоне.

...Как велел он ему внимательней читать книжки, хотя бы вузовские учебники, если уж ему другого понять не дано и так далее... Как советовал ему повышать общую грамотность, а не дискредитировать науку дилетантским и нигилистическим к ней отношением, ну и прочее в том же знакомом духе.

В общем, высек Сапожникова как хотел. В науке это как делается? Секущий делает вид, что раздражение его — от зряшной траты времени на пустяки. А на деле копни поглубже — обнаружишь раздражение житейское. Но кто в этом признается? Никто. Дураков нет.

Но Сапожников высеченным себя не почувствовал и спросил себя: означает ли, что всякий, кто выскажет предположение, которое другим в голову не приходило, непременно Коперник? Нет, конечно. Однако каждое, заметьте, каждое нетривиальное предположение должно быть рассмотрено, чтоб не дай бог Коперника не пропустить. Иначе нечего болтать о научно-технической революции, а надо так и говорить — престиж.

Потому что наука — это не девица, которую никто не хочет, так она всем надоела воплями о своей невинности, наука — это в конечном счете фило-софия, то есть любовь к мудрости, если перевести это слово.

Это о тоне.

Что же насчет научных доводов, которые оппонент привел против доводов Сапожникова, то они изложены в отличных вузовских учебниках и желающие могут там с ними подробно ознакомиться. Однако ни в одном учебнике не сказано, что любой вопрос закрыт раз и навсегда. Нет там такого довода.

Все высказал Глеб, свирепый оппонент, и ему наконец полегчало. Сапожников сказал «ага» и попросил его высадить. А продолжение этого разговора Сапожников вспомнить не мог, потому что ничего об этом не знал.

— А зря ты его так, Глеб, — сказал доктор Шура, когда поехали дальше.

— Чтобы всякий дилетант не лез со своими идеями. Только дешевая суета. Обнаглели.

— А мне его жаль.

— А науку тебе не жаль? А меня тебе не жаль? Два дня на него убил, а ведь у меня давление и своих дел полно.

— Тебя мне не жаль, — сказал доктор Шура. — У тебя была задача растоптать профана, а он думал, что нам от его идеи будет хорошо.



— Погоди,— сказал оппонент.— Ты еще меня поймешь. Тебе еще самому с ним придется столкнуться.

— Свят, свят,— сказал доктор Шура.

Но оппонент и здесь оказался прав — доктора Шуру это не миновало. Но это не сейчас. Об этом будет рассказано далее.

А оппонент, расставшись с доктором Шурой, поехал к себе в институт, где он был почти главным, весь день занимался четкими делами, а потом, поздно ночью, вернулся в свой дом, расположенный напротив зоопарка, в свою квартиру. Зажег свет в комнате, хотел выпить чаю, но не выпил. Хотел зайти к жене, которая уже спала в соседней комнате, но не зашел. Хотел включить приемник, но не включил. Потом погасил свет и подошел к окну. А за окном была ночь и фонари и на асфальте — невидимые следы оппонента, ведущие к его собственному дому. На улице было очень хорошо, и оппоненту вдруг захотелось туда, в зоопарк, где моржи и где белые медведи печенье ловят. Но для этого нужно было дожидаться утра, а дожидаться было почти невозможно. Потому что где-то сейчас посреди Москвы брел Сапожников, который совершенно задаром хотел сделать, чтобы оппоненту было хорошо, и время бежало, и бежало, и было необратимо, и оппонент заплакал — да что толку?

— Ужасно это все... — сказал оппонент.— Ужасно... Ужасно, что я прав.

— Глеб,— позвала жена,— ты пришел?

— Нет еще,— сказал Глеб...

И на этом две параллельные истории из жизни Сапожникова — прошлая и нынешняя — сливаются в одну, и дальше, как говорят музыканты, оркестр играет гутти, то есть все разом.

*(Окончание слегует)*



---

ЛЮДМИЛА ОЛЗОЕВА

★

## СМОРОДИНОВЫЙ КУСТ

Смородиновый куст в строку возьму,  
смородиновый куст горчит на вкус.  
С мороза вытолкнувшийся в весну  
зеленый гусь — бултых! — и грузен, густ,

бежал, оставив лапчатый узор  
во влажном воздухе, всосавшем плоть  
прикосновений, взоров — всякий вздор.  
А сердце от него — в ребро колоть.

И, взрезав бок, явилось словно бог,  
на острие безмолвия держа  
и боль и миг — все почка копит впрок,  
от крови ржава, от лучей рыжа.

Смородиновый куст, мой дом, мой долг,  
цвет был не в счет, крупитчат, комковат.  
Как снег в горсти — не розов, не медов.  
Средь лета лед и среди ливня град.

Успею ли до первых холодов  
поспеть, не быть в защите, осмелеть,  
зеленое сменять в ответ на зов,  
став сажей (не коснулись чтоб!), созреть?

Сияют ягоды чернее звезд,  
холодные и круглые, в горсти.  
Смородиновый куст, ты дик и прост  
и ты меня, лукавую, прости.

Ты на снегу, как загнанный олень,  
в дыму и стружьях золотая шерсть.  
Я жду, ты приподымешься с колен  
и вмиг умчишься, унесешься весь.

Смородиновый куст в земле исчез.  
Сухих ветвей качается родник.  
Смородиновый куст, тебе и честь  
милей от милых, ближе от родных.

## ЗВЕЗДА

Когда звезда сквозь дерево блестит,  
в запутанных пустых ветвях качаясь,—  
«Моей душою не утерян стыд, —  
я говорю, — за это я ручаюсь».

Как тяжела, густа была листва,  
она собою небо заслоняла.  
Зеленый глянец тусклого листа  
стал золотым — но золото слиняло.

Когда сухие ветви на просвет,  
дрожа, впитали голубую малость,  
все ж дерево пусть не зеленым, нет, —  
себе листочком неба показалось.

Когда ветвей простую белизну  
тьма стала круто выпрямлять в суставах, —  
«Я подарю тебе звезду, одну», —  
сказало небо честное устало.

Когда звезда сквозь дерево блестит,  
пусть многое прошло, отшелестело,  
скажу и я: во мне звезда летит,  
моя душа имеет облик тела.

«Благодарю, — шепну я небесам, —  
за выучку суровую, скупую.  
И никогда листве я не отдам  
открытую ветрам, себя такую...»

\*.\*.\*

Если слова соответствуют истине,  
это не крыша, не твой потолок.  
Если руками моими был выстиран  
неба шершавый и синий платок,

темный с изнанки, с протертыми звездами,  
в клеточках ниток горох облаков,—  
верю, что небо однажды вдруг создали  
люди для всех и во веки веков.



---

---

ГЕРМАН КАНТ

★

## ОСТАНОВКА В ПУТИ

*Роман*

Так формируется человек —  
Когда говорит «да», когда говорит «нет»,  
Когда он бьет, когда бьют его,  
Когда он присоединяется к тем,  
Когда он присоединяется к этим,  
Так формируется человек, так он изменяет себя,  
Так является нам его образ,  
Когда он с нами схож и когда он не схож\*.

*Бертольт Брехт.*

### I

**М**ать не пошла со мной на вокзал. Она не сказала, почему, а я не спрашивал. Был седьмой час утра, за две недели до рождества, и даже в поезде было темно.

Я ехал в Кольберг, все шло у меня вкривь и вкось, ни одно мое предположение не сбылось, кроме главного: меня призовут.

Я надеялся, что мать пойдет со мной на вокзал: она же ходила, когда уезжал отец. Я надеялся, что в день моего отъезда увижу созревшую кукурузу, потому, видимо, что кукуруза созрела, когда призвали брата, и рассчитывал я попасть в Зеннелагер в Вестфалии.

А еду в Кольберг, да еще зимой. Морозный восток — вот куда меня отправляют, недаром железнодорожник, когда прочел мой призывной билет, скорчил такую кислую мину. В его фонаре было светомаскировочное синее стекло; я и раньше это видел, но только сейчас понял, как безобразит такой свет. Все вокруг было безобразным. Все вообще было безобразным, когда я уезжал, я предчувствовал, что это не к добру.

Невелика была хитрость, я же знал, куда еду. Я ехал на войну, и я уже знал, что это такое. Моя мать тоже это знала: она проводила на вокзал и мужа и старшего сына.

Думаю, она потому и не хотела больше идти к поезду; ко всему еще, на этот раз она возвращалась бы одна. Так уж лучше ей было остаться одной в нашей кухне.

А я в пути сразу же затосковал о ней. Совсе я не был маменькиным сынком; я был обыкновенным парнем восемнадцати лет, уже сам зарабатывал, и семья нужна мне была, чтоб сытно есть и вовремя менять белье. Но в поезде я затосковал. А на мосту через канал с тяжелым сердцем послал последнее прости родному краю. Минута для того показалась мне подходящей и место удачным. Мост через канал такой длинный, что успеешь уйму мыслей передумать.

---

\* Перевод Е. Витковского.

Мне этот мост издавна представлялся воротами в чужие страны или, когда я переходил его с востока на запад, воротами на родину. От канала в сторону моря начинается Дитмаршен, вот здесь и видна граница между прибрежным взгорьем и маршами, за маршами начинается прибрежная полоса с плотинами, а за ней уже море. Железная дорога из Итцехо и Вильстера проходит через мост, идет дальше от Санкт-Михаэлисдонна через Марне в Фридрихскоог. Я редко ездил туда поездом, там все мало чем отличалось от Марне, а если уж ездил, так на велосипеде. Ветер чаще всего здесь свежий, а расстояния невелики, десять километров от Марне до шлюза, восемь — до устья Эльбы и около двадцати до Хохдонна, где с отвесных склонов берега открывается весь мир, вся земля, вся страна. Но кто по мосту переезжает канал на восток, попадает в чужие страны, там не счесть лесов и озер, сухих степей, и шоссейных дорог с крутыми поворотами, и больших городов.

В Дитмаршене больших городов нет; Хейде насчитывает всего десять тысяч жителей, а Мельдорф, что от нас на юг, всего-навсего около пяти, в Марне же и того нет, пожалуй, чуть больше трех с половиной, и думается, что в ту пору, когда я уезжал, все они были мне знакомы.

Кое-кто даже сидел со мной в поезде, и, конечно же, они знали, куда я еду. Они узнали это в тот самый день, когда я получил призывной билет; почтальон рассказал о нем всем и каждому. Давно уже ничего особенного не было в том, что человека берут в солдаты, но в таком малом городке, как Марне, каждый отдельный случай особенный.

Я был третьим из Нибуров, а двое уже погибли на фронте — вот особенность моего случая; я ехал в Кольберг, на восток, и в этом тоже была его особенность; я был Марк Нибур, единственный печатник в Марне, не разменявший еще восьмой десяток, и оттого мой отъезд был особенно огорчительным.

Было это в Марне неделю назад, и в поезде нам нечего было рассказать друг другу, не говоря уж о том, что в Дитмаршене и вообще-то не любят болтать, а тем более в седьмом часу зимнего утра во время войны.

Но те, кто выходил в Вильстере и Эльмскорне, те говорили мне:

— Будь здоров, парены!

А так — все в тот день было безобразным и грустным.

Я трижды пересаживался — в Гамбурге, Берлине и Штеттине, и каждый, кого бы я ни спросил, где стоит мой поезд, объяснял мне, но таким тоном, словно участвовал в чем-то запретном.

В казарму в Кольберге я попал совсем поздно.

Наш капитан говорил:

— Кольберг прославился благодаря Гнейзенау, Неттельбеку и Леймхуту. Леймхут — это я. Гнейзенау и Неттельбек защищали Кольберг во имя отчизны. Я защищаю Кольберг во имя Леймхута. Здесь мне задницу не прострелят, здесь я хочу остаться. Говорю это вам, чтобы вы, остервенев от моей муштры, остались справедливыми. У Леймхута, придется вам признать, есть свои причины быть извергом. Еще кое-что об особенностях Кольберга. Кольберг — красивый город. Я сообщаю вам об этом, ибо у вас не хватит сил любоваться его красотой. Видеть красоту может человек отдохнувший; но вам отдых пусть и не снится. Жемчужина Кольберга — Кольбергермюнде, морской курорт. Но поскольку рождество уже у порога, пляж в нашем распоряжении. Там вам дозволяется строить крепости, плескаться в воде и сигать вниз головой с дюн, как сигал Отто Линиенталь с Риноверских холмов. Ох, ребята, и порезвемся же мы! А когда песок, что набился вам в нос, сшибется с песком, что проник вам в уши, и когда вам покажется, что вы не потом обливаетесь, а нашатырем, и когда вам на ваших волдырях захочется сплясать победный танец, как, может, плясали наши предки после Лейтена<sup>1</sup>, и когда вода Балтийского моря вам на вкус покажется водой Мертвого моря, а ил Персанте — мармеладом, тогда не дайте сомнениям одолеть вас, а

<sup>1</sup> Лейтен — деревня под Вроцлавом, где в 1757 году Фридрих II одержал победу над австрийскими войсками. (Здесь и далее примечания переводчиков.)

твердо веруйте: Кольберг красивый город, а Леймхут хороший человек. И главное, Леймхут, выдам вам так и быть секрет, а вы, приняв его во внимание, не будите во мне зверя, капитан Леймхут хлопочет о кой-каком порядке: горизонтальная наводка радует сердце старого геодезиста, казарма, чистая как руки гинеколога, волосы в носу аккуратно расчесаны на пробор — вот у старика Леймхута, сына Леймхута, душа и взыграет. Но все это дела материальные, а переходя к духовным, преподам вам ваш символ веры: пусть у Леймхута душа всегда играет! И еще одно скажу я вам, ребята, в придачу — это не я лихо, это времена лихие.

Я недолго оставался в Кольберге, всего десять дней, но с тех пор терпеть его не могу. Позже у меня появилась еще причина не терпеть Кольберг, но когда меня перевели в Гнезен, я был по горло сыт Кольбергом уже оттого, что это был Кольберг Леймхута.

И Балтику я с той поры тоже не выношу. Не способен даже в мыслях отделить изгаженный за войну и зиму пляж от ее берегов.

Другие тренировались в беглом шаге на песке Северного моря, и они слышать не хотят о Северном море; знаю, но я был на Балтике, грязной декабрьской порой, и ревел на берегу Балтики. Гнезен показался мне не лучше, но, прибыв туда, я уже десять дней как служил в солдатах, а гнезенский капитан, как я теперь полагаю, был педик. Но, может, всего-навсего добряк, а может, и то и другое. Наверняка же он был учителем средней школы в Померании; правда, я что-то не знаю, чтобы среди них было много педиков, но наш был этаким озабоченный зануда, и ему всегда хотелось знать, хорошо ли сидят на нас подштанники.

Гнезен был для меня самой отдаленной точкой европейских земель; представить себе пеший переход из Кольберга назад в Марне можно, но уж из Гнезена — никак. Офицер сказал нам, что Гнезен — немецкий город, и хоть мне было все едино, я не поверил. Кроме казарм, с которыми я освоился, я ни с чем больше в городе не освоился. Как-то раз тот же офицер сказал, что Гнезен прежде назывался Гнезно и здесь короновали польских королей, я подумал: ну а нам-то что?

Какая человеку разница, что собор, мимо которого он шагает на учения, — резиденция архиепископа, а в годы, когда трон пустовал, служил резиденцией и польскому регенту; ему и дела нет до истории, когда он шагает на учения. Деятельнейшая собор для него всего-навсего мета отдаленности. Так же, как и лес, с его точки зрения, ни славянским, ни прусским, ни великогерманским быть не может, лес для него просто-напросто мерзость.

А канун рождества, сочельник, для немецкого рядового мотопехоты, проходящего боевую подготовку в году тысяча девятьсот сорок четвертом, это своего рода передышка, когда ему подносят полную кружку тминной водки. Кому дорога честь, тот глотает водку и блюет только в сортире, а не тут же в учебном помещении, где унтер-офицеры распевают «В лесу родилась елочка».

Позднее, лежа в постели, я пытался вспомнить Марне и рождественские стихи Шторма, моего земляка, но это мне никак не удавалось. В первый же день праздника, еще затемно, занудливый капитан объявил, что дальнейшая наша подготовка предусматривает тренировку на выносливость и закалку, для чего нас переводят еще дальше на восток. Он поправил подбородный ремешок и сержантски выкрикнул:

— Ста-но-вись!

Когда рождественские праздники кончились, мы уже лежали в окопах на окраине городка, что звался теперь Тоннинген, а прежде назывался Клодавой.

Человек, понял я во время тренировок на выносливость и закалку, может и так жить: два часа стоять на посту, два часа жать на рычаг блиндажного насоса, два часа спать. Но, говорю я себе, человек так жить не должен. Не знаю, до какой степени закалки нас собирались тренировать, и на какой степени наши тренировки кончились, но они кончились, и по тону команд я уловил перемены. Явился фельдфебель и скомандовал:

— За мной, засранцы!

Мы шагали за ним по городу гуськом; строем тут было не пройти, всю улицу запрудили тяжелые машины; они шли нам навстречу, с востока.

Тот же фельдфебель объявил:

— Отройте здесь знакомые уже вам окопы, а будут готовы, займете их. За вами, значит, окажется родина, а перед вами — море льда. Создать ему препятствие, не дать ему затопить нашу прекрасную родину — ваша задача. А чтоб знать, когда начинать, наблюдайте за шоссе. Как только личности в машинах станут смахивать на простых солдат, прихорашивайтесь к приему гостей. Тут, глядишь, еще два-три наших танка прокатят, затем наступит пауза, и уже после этого зайвится Иван Грозный. Комендант считает, что Клодаву можно удержать; он, видимо, вас имел в виду, говоря это. Тогда самое позднее завтра вечером вы станете творцами истории и осуществите чудо Клодавы. Только не спрашивайте меня, как это делается, чудеса ведь непостижимы. Судя по тому, что я узнал, вся контора зашевелилась; мне уже не раз приходилось бывать в таких переделках, и видите — живой. Так что не реветь, переживем. Наполеон драпает, мне это по душе! И снегу нам тоже вволю достанется.

Снег нам достался, и окопы мы рыли, но воевать мне в них не пришлось. Меня откомандировали на почту. Там никто не знал, чем меня занять. Я читал письма, которые меня вовсе не касались, и какую-то книгу, которой скоро был сыт по горло. Телефонист у коммутатора отмечал каждый оборванный разговор изречением:

— Провод рвется — черт припрется.

Что черт прет, мы уже давно слышали, но только когда увидели, что среди орудий стали мелькать автоматы пехоты, я отдал себе отчет в том, что попал на фронт.

Испытанный мною страх я давным-давно изжил в воспоминаниях; если же я попытаюсь вновь вызвать его, то мне удастся оживить только чувство удивления. Я был удивлен, это я хорошо помню. Тысячу раз я воображал себе войну и себя на войне, но я тысячу раз воображал себя индейцем или изобретателем анилина. Вот в Клодаве я и разглядывал озадаченно то свою красную кожу, то перепачканные синие пальцы. В конце концов телефонист объявил, что у нас есть все основания убраться с почты, объявил, однако, слишком поздно; когда мы хотели выскочить со двора почты на улицу, по другой ее стороне уже катил танк, который остановился у кладбищенской стены. Воняло от него как от коптящей керосиновой лампы.

— Вдарь-ка по нему! — подсказал мне телефонист, что я и сделал.

Танк затрясся, охваченный белым пламенем, из башни выскочили люди и перемахнули через кладбищенскую стену. Один бросил на ходу ручную гранату, и что-то впилося мне в ногу, что-то раскаленное, как гильза фаустпатрона, которым я сию секунду пальнул. Но бежать мне это не помешало. Я бежал из города, и примерно в том месте, где мы качали насосом воду, меня пустили на танк.

Однако чуть позже он въехал в окоп, в котором следовало застрять не нам, а тем, другим.

Пришлось нам смываться по окопу куда-то в сторону; снег на дне окопа был утопан, многие уже до нас делали этот крюк, свернув с шоссе. Но потом мы повернули и двинулись параллельно шоссе, кто-то назвал цель похода — крепость Позен.

После двух таких ночей мы от этих ночей осатанели. Фронт уже так далеко ушел от нас, что даже не освещал горизонта.

Сделав привал, мы проспали до полудня, и я видел во сне крепость Позен — она очень смахивала на замок из сказок Гауффа. Затем пошли при свете дня дальше и, петляя по заснеженному пастбищу, увидели над собой зеленый самолет. Я не глядел вверх, я опять, как когда-то в детстве, решил, что раз я их не

вижу, значит, и они меня не видят, но те, в самолете, не придерживались правил детских игр; они наслали на нас грузовик с солдатами, и не успели мы добраться до конца пастбища и до начала леса, как нам пришлось отстреливаться.

Четверым нашим удалось укрыться в лесу, мне в том числе, но трое избрали другое направление, и я остался один.

Я всегда охотно оставался один. Всегда значит — раньше. Так бывало прежде. Дома я охотно оставался один. Оставался один поздно вечером в типографии, когда братец и сестрица Брунсы, дважды по восьмидесяти лет от роду, уже давно лежали в постелях; наборная машина оказывалась тогда в моем распоряжении, я воображал, что на мне зеленый защитный козырек, что я владелец «Техас геральд» и что, напечатав страстное воззвание, я включился в борьбу фермеров против ранчеро. Я охотно катался один на велосипеде по маршам осенью, когда на голубоватых капустных полях лежал туман. Я охотно сидел один у Дикзандеровской плотины, сидел там, на самом краю земли, меня обдувал ветер, оглушал птичий гай, и я следил глазами за волнами, бегущими к шотландским фиордам. И охотно оставался один у себя дома.

Но в лесу, за которым предполагалась крепость Позен, в лесу, за заснеженным пастбищем, на котором полегли мои товарищи, там я совсем неохотно остался один.

Мне хотелось в крепость Марне, назад, в безопасное место, укрепленное фирмами по продаже семян и зерна, фабричками по квашению капусты и переработке крабов, пивоварней и конным рынком. Мне хотелось перебраться по мосту через канал и захлопнуть ворота, что отделили меня от Кольберга, и Гнезена, и Клодавы, и холодного леса перед крепостью Позен. Мне хотелось назад, под защиту стен материнской кухни.

Я зашагал в сторону Марне.

Я лежал под кроватью, да, именно там я лежал. Помнится, под кроватью было пыльно. У меня в уголках рта пыль смешалась с жиром. Я только что ел сало, жареное сало. И пил чай, но вкус сала держался дольше, а теперь к нему добавился вкус пыли. Теперь я лежал под кроватью.

Я не успел застегнуть ремень; пряжка давила мне в пах с правой стороны. С левой стороны подворотничок обвисал и стелился по полу, я прижался к нему скулой. Я лежал тихохонько, но не отдыхал. Вернее, отдыхал как заяц, завидевший охотника. Я слышал охотников, и вот я уже лежал под кроватью.

Словно бы прошло сто лет, как я сидел за столом. Сытый, утоливший жажду, угретый, укрытый и сонный. Мы уже говорили о том, куда мне лечь. Если бы я успел подняться, еще бы только разок подняться и никуда не отходя повалиться, тогда бы они нашли меня на кровати. А так они найдут меня под кроватью. И они меня нашли.

Я лежал под кроватью чуть южнее шоссе от Кутно на Конино, где-то рядом с Коло. Чуть южнее и где-то рядом; ведь у меня ни компаса не было, ни карты. Случилось это двадцатого января — считаю я; ведь у меня там ни календаря не было, ни часов. Последние часы я видел тринадцатого января, а который час, мне последний раз сказали, когда у нас было ориентировочно шестнадцатое января.

Да, трудно ориентироваться, если все правила нарушены, кроме одного: всене непременно наступит день, а за ним последует ночь. Если нарушены правила, когда утром полагается вставать, а вечером ложиться спать, когда утром дают есть, и в обед дают, и еще раз вечером; когда ты стоишь на посту от двух до четырех, или от четырнадцати до шестнадцати, когда поверка в семь утра, а Лале Андерсен<sup>2</sup> поет в полночь, — если нарушены все эти правила, трудно ориентироваться во времени. И если случилось так, что воскресным утром, вме-

<sup>2</sup> Андерсен Лале — певица, особенно известная исполнением песни «Лили Марлен».



сто того чтобы сидеть в церкви и петь «о господе боге, взрастившем оружие»<sup>3</sup>, ты убил кашевара, и если еще знать, что ясным зимним утром ты, нарушая все правила и благие намерения, жрал снег, и если поверить, что можно жить месяцами без печей и тепла, так не важно, какого числа ты оказался под польской кроватью, оттого что в дверь забарабанили.

Важно одно: в дверь забарабанили. И очень важно было мгновенно скатиться с табурета в укрытие. В раковину колотят — живо назад, в последний ее виток, назад, в теснейшую щелку наиглубочайшей пещеры, назад, в рыхлую землю борозды, в пыль, ах, скорее, в спасительно укрывавшую пыль.

Да, все было против правил, все. Против правил из учебного пособия и против правил из героического эпоса. Кто же садится во вражеской стране за вражеский стол, жрет и думает только о жратве! Кто же думает о сне, не подумав прежде о собственной безопасности! А крестьянину и его жене надо ткнуть в нос дуло, если ты один, и запереть их в чулан; а еще лучше, прежде всего заткнуть им рты; вот тогда можно и поест, лицом к двери, дулом к двери, в одной руке автомат и в другой — сало.

Так живут по книжкам, а иначе долго не живут. Никто не кидается под кровать, когда барабанят в дверь. Твой первый долг — наблюдать, а не кидаться в укрытие. Как ты будешь наблюдать, лежа под кроватью? Там тебе остаются только ощущения; там никакой войны нет.

А если в дверь забарабанят, ты в такой ситуации нахлобучивай каску, вскидывай автомат и рявкай, как бравый клейстовский воин: «Входи, коль ты не дьявол!» И если там не дьявол, если там солдат, так начинай платить сталью и свинцом, и если там много солдат, то и ты, соответственно, выпали много свинца и стали и рявкай, как шиллевский<sup>4</sup> гусар: «Меня вам не сцапать, собаки подлые!» И еще считай выстрелы, думая при этом: «Последняя пуля — мне, ахтыдевчоночкамаячернобровая».

Но уж никак не кидайся под кровать. А я вот кинулся.

Мне бы понятно, их, врагов этих, еще прежде изловить, а не здесь, у кровати, чуть южнее Коло, и отбросить бы мне их еще прежде, от Клодавы отбросить и для начала за Урал. Но к тому времени, когда я бросился под кровать, я уже давно не следовал книжным правилам.

Мне бы врага отбросить, а я удрал, ведь враг стрелял в меня. Мне бы охватить всю картину в целом, а я воспринимал все с собственной точки зрения. Я заботился о своей шкуре, я прислушивался к своему желудку, разглядывал свои ноги только потому, что они заоченели. А убил я кашевара только потому, что иначе он убил бы меня. Я, своей, свои, меня. Я слишком хлопотал о себе и за хлопотами позабыл, что врагу место за Уралом, а мне не место под польской кроватью.

Однако я лежал там, вытянув вперед руки, прижав ладони к полу, слегка раздвинув ноги, рантами сапог касаясь пола. Глаза я не закрывал и помню, что в притушенном свете керосиновой лампы видел висящую надо мной пружину матраца; я помню пружину, и сало, и пыль в уголках рта, и пряжку, впившуюся в пах. И еще я помню, что очень хорошо все слышал. Хотя ухо, которое слышало лучше, левое, лежало на подворотничке, но я и другим очень, очень хорошо теперь слышал. Крестьянка кричала, она кричала без передышки, без передышки и все по-польски; а когда я еще сидел за столом, то думал, что она немая. Крестьянин кричал в сторону двери, он кричал по-польски, а потом он что-то кричал мне под кровать, это он уже кричал по-немецки. Чтобы я вылезал, кричал он мне, ужасно, видимо, торопясь, а в дверь он кричал, думается

<sup>3</sup> Строка из стихотворения Э. М. Арндта (1769—1860), направленного против наполеоновского владычества.

<sup>4</sup> Шилль Фердинанд фон (1776—1809), командир гусарского полка, попытался поднять Пруссию на освободительную войну против Наполеона. Начал восстание без согласия прусского короля, переоценив готовность народа к борьбе за национальное освобождение. Погиб в бою.

мне, что я уже вылезая, чтоб они чуточку подождали стрелять, он точно видит, что я уже вылез из-под кровати, и это он тоже кричал ужасно торопясь.

Не стану утверждать, что я различал радостные нотки в его крике, а ведь причина для того была: я вот-вот уйду. Мужчина без всякого удовольствия видит мужчину у себя под кроватью. Мужчина без всякого удовольствия видит мужчину с автоматом у себя на пороге. Он меня впустил без всякой радости, но убежденный в необходимости.

Я, надо думать, выглядел убедительно: за плечами ночь, детская бородавка — в дерьме, а в руках — немецкий автомат. Предназначен немецкий автомат для того, чтобы немецкий солдат автоматически палил по врагу. Очень легкий, он прост в обращении и надежен. Надежный солдат быстро начинает из него палить. А надежный солдат, у которого все правила вылетели из головы оттого, что ему не давали жрать не только вовремя, но и вообще очень долго, такой солдат еще быстрее палит из немецкого автомата, и кто видит его на своем пороге, в полночь, да еще в войну, тот знает: впускай его, и поскорей!

Крестьянин, поскорее впустивший меня в дом, теперь, надо думать, кричал в дверь, что он как можно скорее меня выпустит, а мне под кровать он кричал: за дверьми-де стоит толпа, у них тьма винтовок и нужен им не он и не его сало, а я, я, который к тому же лежит под его кроватью.

Он говорил, сдается мне, что они будут стрелять; это они, сдается ему, говорят, что будут стрелять.

Я охотно ему верил. Все мы тогда то и знай говорили, что будем стрелять. Все мы тогда редко довольствовались разговорами. И потеряло силу правило: прежде чем выстрелить, крикни:

— Стой, стрелять буду!

Мы стреляли; это сокращало процедуру — и тот, другой, хочешь не хочешь, останавливался.

Только целиться нужно было хорошо. Кашевар, которого я убил, плохо целился. Он вылез из окопа, увидел меня, выхватил откуда-то из-за спины автомат, направил его на меня, левая рука — на стволе, правая — на шейке приклада, и открыл огонь.

А стрелял он в меня, который стоял в дыму его же, но совсем другого огня и жадно вдыхал запахи, волнами катившие ко мне по ослепительно сверкающему снегу: бобы, ах, лук, сало и чеснок почуял я, чертовски голодный и холодный, ночи голодавший напролет и дни напролет, десятки километров голодавший, голодавший всю долгую дорогу бегства. Погибая от снегом приправленного голода, я наткнулся на клубы чесночного и бобового аромата, размечтался о горе бобов с луковой башней на вершине, стены которой лоснились от сала. Но тут откуда ни возьмись в спецовке белой кашевар, злой кашевар, в меня он целится, и что ж, моей мечте цена уж грош.

Тогда я прицелился в его белую спецовку и прострелил ее. И было мне семнадцать лет от роду.

Теперь я пустился бежать сквозь зимний лес, я знал: великое множество кашеваров охраняют солдатскую кашу, великое множество кашеваров отомстят за смерть кашевара, великое множество кашеваров побросают черпаки и возьмутся за винтовки, если у их плиты завязалась перестрелка.

Так я бежал сквозь зимний лес, но ни олененочка не видел среди елей, ни единорога, не слышал уханья филина, не внимал пенью эльфов.

Я бежал. Как долго — не помню. Куда — не знаю. И как, не знаю. Как бежит человек на седьмой день семи дней бега? Как бежит человек на седьмой день голодовки? Как бежит человек, у которого пальцы ног под черной грязью черны от мороза?

Если есть у него причины, он бежит. А убитый кашевар за спиной — это не одна, а множество причин. Убитый кашевар подгоняет, и даже очень. Я бежал.

Удавалось ли мне делать передышку? Да, я делал передышку, как положено по правилам: в книгах об этом пишут так: у него подгибались колени. У ме-

ня подогнулись колени, и я передохнул в каком-то окопе, где рядом со мной лежало что-то под снегом: надорванный мешок цемента, куча застывшего цемента. Ох, как же мы сюда попали? И еще я передохнул в каком-то курятнике на колесах; по его углам громоздилась солома, ну да, две горстки соломы в курином помете, я забился в одну из них, пусть уж кашевары удовольствуются курами, я был в безопасности. Далее я передохнул, наткнувшись на какую-то проволоку, самую верхнюю в заборе, накрученном из проволоки, но без колючек. Да я и на колючках бы передохнул; у меня больше не было сил. Я бежал по лесу до глубокой ночи. Колени у меня подгибались в глубоком снегу. Я делал передышки, чтобы перевести дух. Но дух переводят недолго. Да долго я и не продержался бы.

Тут я и наткнулся на чью-то хибару: дом, замок, крепость? Наткнулся на крепость, ворвался в крепость, сел к столу, склонился над тарелкой. Кинулся под кровать. И вот я лежу под кроватью, а только-только еще сидел за столом. На табуретке-троне. И вилку держал словно скипетр. Рыгал точно король. Позабыл о своей армии, которая и меня совсем позабыла. Позабыл об армии врага, которая меня вовсе не позабыла. Давал ответы в нарушение королевских и солдатских правил:

— Немец?

— Да.

— Один?

— Да.

— Давно?

— Кажется, да.

— Почему?

— Пришли они, и мы дунули от них; поначалу нас было много, потом меньше, потом опять много, а потом все меньше и меньше, под конец я остался один.

— А где остальные?

— Остались в снегу, навсегда остались в снегу: одному прострелили живот, другому — селезенку, третьему — ухо, они стреляли и стреляли.

— А вы разве не стреляли во врага, когда он стрелял в вас?

— Как же, стреляли, по всем правилам. Поначалу всюду стреляли, а потом все меньше. Однажды, много позже, мы даже так стреляли, что пробитые себе дорогу, не все, понятно, но кое-кто.

— Дорогу?

— Да, мы пробитые себе дорогу, когда они на опушке поспрыгивали с грузовика; тут мы прорвались, а потом я остался один.

— И много раз ты пробивал себе дорогу?

— Случалось, — ответил я и поставил тарелку на ложе моего автомата, в тарелке еще оставалось сало, и еще оставался хлеб, и я ни словечка не сказал хозяину о кашеваре.

Но тут кто-то пришел, чтобы сказать ему о том.

В дверь застучали. Словно конь копытом заколотил. Словно по ней ударили тараном. Словно три сотни кашеваров колотили в дверь скалками. Три сотни монгольских коней били копытами в бревенчатые стены. Три сотни лошадиных сил двинулись против ворот хозяина и против моих ворот. Первый Белорусский фронт барабанил коллективным кулаком в нашу дверь.

Тут я схватил — позже мне о том рассказали — пустую тарелку и полным-полный автомат, бросил тарелку и автомат под хозяйскую кровать, и сам бросился туда же.

Маневр этот был против многих правил: против правил обращения с тарелками, против правил обращения с автоматом, против правил обращения с врагом и против правил обращения со мной.

Ничего удивительного, что лежал я недвижно, сало и пыль смешались у меня во рту, железная пряжка давила в пах, скула прижалась к подворотничку, я

лежал сытый, ничего не слыша, под крестьянской кроватью чуть южнее шоссе от Конина на Кутно однажды зимней ночью в войну.

Ничего удивительного, что я вылез из-под кровати, когда хозяин крикнул, чтоб я вылезал.

## II

Что-то с моей памятью не в порядке, что-то не в порядке с моими воспоминаниями, я легче вспоминаю то, о чем размышлял когда-то, чем то, что случилось в действительности.

Конечно, я помню, что случилось: меня взяли в плен, и я жутко перепугался, и о своем перепуге уведомлял высоко поднятыми вверх руками. Но я помню и другое: как удивился я, что так много народу сбежалось, чтобы забрать меня. Я вспоминаю, какое невыразимое облегчение ощутил, когда попал в гущу орущих людей, а не в руки одного или двух хладнокровных и немых солдат, или одного-единственного, который был бы так же перепуган, как я.

Никогда прежде не был я в центре внимания такой огромной толпы; однажды я чуть не утонул, тогда вокруг меня хлопотало много народу, в другой раз я нашел в лавке золотую брошь и тут же о том объявил, тогда я привлек к себе внимание, а в третий раз я остановил на бегу лошадь; за это меня благодарило много народа, хотя поступок сам по себе был большой глупостью, лошадь до усталости набегалась бы в маршах, а телега, которую она волокла за собой, была пустая.

Думается, для людей, взявших меня в плен, все происходящее было так же вновь, как и для меня. Они стояли полукругом передо мной и хибарой, настойчиво убеждали в чем-то друг друга и меня. Никто не подошел ко мне поближе, а обращаясь ко мне, они кричали так, словно расстояние, которое нас разделяло, было хоть и большим, но вряд ли защитило бы их.

Я их не понимал и не говорил им ни слова: я же не знал, что говорят в таких случаях.

За моей спиной сквозь прикрытую дверь хозяин крикнул мне: они, мол, хотят знать, есть ли еще солдаты в его доме.

— Нет,— закричал я,— никого больше там нет; спросите же самого хозяина!

Они выслушали меня, затем выслушали крестьянина, переводившего из-за двери. После чего опять все закричали, перебивая друг друга, и я с трудом разобрал, что крестьянину кричат: пусть-ка он сам спросит, где мое оружие.

— Под его кроватью,— крикнул я, опасаясь, как бы они не подумали, будто я смеюсь над ними.

За моей спиной из-за двери донесся до меня перевод.

Наконец они объяснились напрямик, без моего участия, один из толпы пробрался вдоль стены к нам, и хозяин вынес ему мой автомат из дома. Поляк ткнул в меня сзади этим автоматом, проехав по правому плечу и попав дулом в ямку между ухом и челюстью.

Я вспомнил о пробоеине в барабанной перепонке, которая у меня уже имела, и услышал свое частое дыхание. Поляк, державший автомат, знал свое дело; он подпустил ко мне только одного человека, и тот меня основательно обшарил. Он нашел даже золотое перо, которое я вывернул из вечной ручки и спрятал в карман для часов. Вечную ручку мне подарил дядя на конфирмацию; другие дарили мне просто деньги, и мать сказала о своем брате:

— Да, Йонни всегда что-нибудь выдумает!

Наконец крестьянин сам вышел из-за двери. Он сказал:

— А теперь иди!

И я пошел, а передо мной и за мной, и слева и справа от меня шло множество народу. Это были не русские солдаты; это были польские крестьяне, а также их жены и дети.

Они, видимо, привели меня в помещение сельской управы. Хозяин переводил допрос, заметив попутно, чтоб я возблагодарил деву Марию, он-де сказал своим, что я ему не угрожал.

Мне не много нужно было, чтобы быть благодарным. Ведь на меня здесь все смотрели как на убийцу.

Они составили, надо думать, протокол, записали все, что я сказал и что сказал мой хозяин, и перечислили все, что отобрали у меня. Ручка лежала на солдатской книжке и на бумажнике с фотографиями.

Мой хозяин должен был подписаться, и еще два человека подписались. Хозяин указал мне на угол комнаты, на пол, и сказал, чтоб я сел туда и сидел тихохонько. После чего ушел, попрощавшись. Присутствующие ответили ему не слишком дружелюбно, а меня он в виду не имел.

Я устал как после тяжелой, слишком затянувшейся работы, которая требовала и умственных усилий; мне нужно бы поспать, но я не мог уснуть и вообще считал, что спать сейчас неуместно.

Обдумывая все, что со мной случилось, я понял, что я вовсе не подготовлен к подобному обороту дела. Меня обучили, и довольно основательно, несмотря на спешку, обращаться с оружием, не раз и не два разъясняли мне, как надлежит поступать солдату после посещения борделя. Смысл присяги был мне известен, и с блиндажным насосом я умел обращаться. Но ни один человек не говорил мне, что следует делать, если я попаду в плен.

Никто, кажется, не говорит человеку, что ему надлежит делать, если он попадет на небо или в ад. С добрыми советами так далеко не заходят, а плен, видимо, мыслился чем-то совсем, совсем далеким.

В книгах кое-что говорилось о плене, но связан он был всегда с отчаянной борьбой и потерей сознания, а приходил в себя герой уже в плену. Обращались герои друг с другом либо по-рыцарски, либо весьма круто, а разговаривали по-английски или по-французски.

Но я ведь не граф Лукнер<sup>5</sup> и здесь не Новая Зеландия; меня вытащили из-под польской кровати, я — печатник из Зюдердитмаршена, где вполне обходятся нижненемецким диалектом.

Теперь я только в одно поверил — меня не прикончат. И это весьма странно, потому как мне всегда твердили, что меня прикончат. И я всегда в это верил.

Как веришь в истории, о которых тебе известно, что они вообще-то случаются, но о них не думаешь как о чем-то реальном, как об историях, которые с тобой приключатся.

В этом смысле я верил и не верил, что прострелю фаустпатроном танк и автоматом застрелю человека. И о смерти я так и так думал, а вот о плене — никак не думал.

Мне бы радоваться тому, как я попал в плен, но я не радовался. Знаю это, а постичь не могу. Всякому, в том числе и мне, трудно постичь, что я, едва позабыв холодный тычок за ухо, нашел повод для недовольства своим положением. Роптать на судьбу за то, что схвачен и сижу среди чужих мне людей, наверняка моих врагов, было бы в порядке вещей, а я в этих вопросах придерживался порядка, но я брюзжал, иначе этого не назовешь, на обстоятельства, считая, что они нарушают порядок.

Роняют мое достоинство? Нет, подобного выражения я бы не употребил, мне в мои годы оно не пристало, но — нарушают порядок, это вполне возможно, или так: что-то в этих обстоятельствах не в порядке. Валяться на полу в сельской управе, чтобы вся община глазела на меня точно на изловленного наконец-то курокрада, было крайне тягостно — хотя я и понимал, что подобное чувство в данных обстоятельствах не добавляет.

Произойти должно было что-то такое, чему я противостоял бы с достоинством, как мужчина и солдат, а тут мне оставалось одно — обдумать, как я стану когда-нибудь рассказывать об этой дурацкой передрыге.

<sup>5</sup> Лукнер — английский офицер, во время первой мировой войны командовал военным кораблем, интернирован в Новой Зеландии.

Вся деревня в эту ночь была, видимо, на ногах; меня попеременно то допрашивали мужчины, то разглядывали женщины, и мне казалось, что они так же мало довольны своим уловом, как я своими ловцами.

В каком только направлении не работает голова человека, едва она осталась у него на плечах. Работа моей головы направлена была на то, чтобы угадать отношение ко мне женщин, их мнение обо мне и том событии, из-за которого они в столь поздний час вылезли из теплых постелей; я видел, что они недоуменно покачивают головами, а вовсе не грозят мне кулаками, скорее веселятся, чем кипятятся, и хотя я мог вздохнуть с облегчением, но чувствовал себя не в своей тарелке.

Разумеется, я криком кричал бы, прося пощады, будь в опасности моя жизнь, но лишь только я понял, что мне ее оставят, как забеспокоился о том, как я выгляжу.

Неужто таков человек? Неужто таковы мужчины? Неужто таковы молодые мужчины? Был я таким по молодости? Неужто я таков?

Надеюсь, я был просто слишком молод, чтобы ощущать настоящий страх.

Женщины, несмотря на уговоры единственного мужчины, по всей видимости старосты, накинулись на мой бумажник и нашли там открытки с автографами. Открыток было три — с автографом Марики Рёкк, Ильзы Вернер и Зары Леандер. Понятно, подписи стояли штампованные, но я был к этим дамам равнодушен и положил их карточки вместе с семейными фотографиями, когда в Марне собирал свой узелок. Мне представлялось непозволительным, недопустимым, что женщины копаются в моих вещах. Они же посторонние гражданские лица, враги, поляки, а я как-никак солдат, разве что по мне этого сразу теперь не заметишь. Я чувствовал себя бесконечно униженным, и мне как-то вдруг внушил расположение староста, ругавший женщин. Но они не слушали его, настойчиво его в чем-то убеждали, показывали на меня и на открытки, потом подошли ко мне, сунули Марику Рёкк и Зару Леандер мне в нос, но я понял только одно-единственное слово из всего, что они говорили. Они без конца повторяли *artysta*, *artysta*, размахивали передо мной открытками, подталкивали меня и вопросительно галдели:

— *Artysta*, *artysta*?<sup>6</sup>

Я, бог меня простит, согласился с тем, что Зара Леандер — цирковая артистка, и кивнул, вынужденный к тому своим бедственным положением, но тут же решил, что женщины вокруг внезапно спятили. Они, будто и не видели моего утвердительного кивка, стали взволнованно сообщать друг другу результаты своих расспросов и кричать о том старосте, который поднялся от стола и глянул на меня с каким-то неприязненным удивлением. У них вышла, как мне показалось, ссора, а я и слово *artysta* играли в ней не последнюю роль. В конце концов староста махнул рукой, как и у нас дома мужчины машут, когда бабы разорутся, и вот случилось нечто невообразимое: мне принесли чай, еще теплый, и кусок хлеба с салом; две женщины притащили солому и одеяла и принялись стаскивать с меня сапоги.

Это было не так-то просто, я всего один раз снимал их с тех пор, как вышел из Клодавы, но они справились, и у меня еще хватило сил устыдиться, когда вонь от моих портянок, носков и ног расползлась по комнате.

Я и глянуть-то на ноги боялся, а глянул только поняв, что они моют мне ноги. Они мыли мне ноги! Они прощупали липкий след вверх по ноге и нашли гноящуюся дыру в икре. Очистив рану, они перевязали ее. Смазали мои ноги все в шишках и вмятинах, наложили толстый слой свиного сала. Они дотрагивались до меня заботливо, и вздыхали заботливо, и заботливо уложили меня на солому.

Заснул я вконец озадаченный, но спал чудесно.

Они отвезли меня на телеге, которую волокла тощая коровенка, в небольшой городок, называвшийся Коло.

<sup>6</sup> *Artysta* (польск.) — артист. *Artist* (нем.) — артист цирка, циркач.

Там меня передали двум полякам с красно-белыми повязками на руках. Староста долго и взволнованно о чем-то докладывал, но на этих людей, видимо, особого впечатления не произвел.

Один спросил меня:

— Верно это?

— Я же ничего не понял, — ответил я.

— Ну, ладно, вы, стало быть, актер? — переспросил он.

— Нет, я печатник.

— Ну, ладно, — сказал он. — Я не стану это переводить.

Люди, взявшие меня в плен, сели на свою телегу и уехали. Мне кажется, они искали, в какой бы форме со мной распрощаться, но ничего подходящего не нашли.

— Ну, ладно, — сказал мой новый страж, — у нас уже набралось порядочно этих молодыхчиков, мы вас сейчас отправим в Конин. Вы идти-то можете?

— Да уж дотопаю, — сказал я, и верно, дотопал.

Мне выдали огромные деревянные башмаки, и я впихнул в них обмотанные и перемотанные ноги, а в руки вместо костыля сунули метлу. Но костыль мне, собственно говоря, не понадобился.

Другие молодчики стояли на улице у дверей; оба стража с польскими красно-белыми повязками повесили себе на шеи автоматы, английский и немецкий, и главный сказал:

— Ну, ладно, пошли потихоньку!

От Коло до Конина всего двадцать восемь километров, как я теперь знаю, но нам потребовался на то долгий-долгий день. В пути мне пришло в голову, что ведь крепость Позен лежит в том же направлении. Когда мы дошли до Конина, нас набралось уже человек пятьдесят, для тюрьмы, куда нас привели, явно слишком много. Ночью мне никто не смазывал ног, даже во сне, а утром за нами приехали русские солдаты и сразу же стали нас торопить. Их начальник, офицер очень маленького роста, всегда носил при себе очень большую и толстую палку.

Невероятно, чего только не проделывал он этой своей палкой! Опираясь на нее, перепрыгивал огромные грязные лужи на шоссе, выравнивал ею строй нашей колонны, дал нам понять с ее помощью, что собирается делать, если кто-то из нас попробует дать ходу, и огрел ею своего соотечественника за то, что он прохаживался по адресу моего соотечественника.

Шоссе было мне уже знакомо; шоссе из Конина назад в Коло. В Коло нас накормили картошкой в мундире, и я не видел, чтоб кто-нибудь ел ее без кожурой. Я задумался над этим и решил, что привычки держатся не так уж стойко, как говорят. Они утрачиваются вместе с условиями, при которых возникают. Но появляются условия — появляются опять и привычки, возможно, именно это имеют в виду, когда говорят об их живучести. Я осознал, что ем картофель с кожурой, когда наполовину уже насытился, а о картофеле домашнем я только тогда вспомнил, когда снова проголодался.

У нас дома чаще всего ели отварной картофель, отец терпеть не мог кovyряться с кожурой, но к малосольной селедке полагается картофель в мундире, а малосольную мы все очень любили; малосольную селедку с салом и луком.

Добрые воспоминания, но, выйдя из Коло, я постарался избавиться от них в какой-то мере вынужденно, так как разбитое шоссе и бронированный встречный поток требовали полного моего внимания, а в какой-то мере умышленно, заметив, что стоит мне добром помянуть Марне, как слезы наворачиваются мне на глаза.

Сколько времени нам потребовалось, чтобы добраться до Лодзи, я не знаю; но, видимо, очень много, хотя пройти нужно было всего сто двадцать километров, потому что я помню четыре ночевки — в церкви, в конюшне, в помещицьем доме и в здании окружной управы. Там было гостеприимнее всего, мы нашли там кипы продуктовых карточек, на которых и улеглись спать. В церкви мне было жутко, один из моих спутников обнаружил внезапно великую набожность и стал громко молиться, что я считал зазорным, другие сложили костер из скамей; но это я считал тоже неправильным, а жутко мне было оттого, что я видел —

люди не способны найти верную манеру поведения. В помещицьем доме мы устроились сносно; я забрался в ларь из-под зерна, и все же кто-то догадался разбудить меня, когда нам пришлось убираться по причине пожара. А вот в конюшне я стал всеобщим посмешищем и на следующий день прославился, но слава эта мне не пришлась по вкусу. Конюшня была достаточно велика, чтобы в ней разместилась вся наша колонна. Нас было уже почти пять сотен, но солома на полу пропиталась навозной жижей, а я опоздал, не нашел себе сухого местечка. Мне бы из истории с ларем извлечь урок, да вот опять отыскал себе экстраместечко. Залез в ясли и, сунув шапку между щекой и ледяной стеной, счел себя вроде бы даже хорошо устроенным. Правда, я скоро заметил, что меня засасывает в щель между стеной и бортом яслей, но прежде чем я успел что-либо предпринять, я уже спал. Пробуждение было ужасным. Началось все еще во сне, мне снилось, что я лежу в гробу, задвинутом в гору гравия. Обычно, вскочив с испуга от такого сна, чувствуешь облегчение, но я никакого облегчения не почувствовал, ведь вскочить я не мог и едва-едва дышал. Если тебе повезет, так даже в самом страшном сне капелюшечка сознания все же подсказывает, что ты всего-навсего видишь сон, а сделав небольшое усилие, всегда можно выпутаться из беды, но тут я из воображаемой беды попал в настоящую, а спасительное в другое время пробуждение уже свершилось. Нет, я не взял себя в руки, дабы спокойно осмыслить свое положение; для его осмысления не понадобилось особой смекалки, ибо оно было более чем определенным и стабильным. Я едва дышал и не в состоянии был шелохнуться. Во время первого сна, расслабляющего мускулы, мое тело приспособилось к щели между ледяным камнем и твердокаменным деревом, вдоль тела же я вытянул руки, теперь они были защемлены и так же мало, как и ноги, подчинялись приказам, которые я пытался им отдавать. А шапка, которой я надеялся защититься от холода, холодным кляпом залепила мне рот и нос, и когда я закричал, то понял, что кричу сквозь заледенелую ткань в заледенелую стену и что мне недостает воздуха, чтобы кричать громко и долго. Я знаю, как соблазнительно изображать подобную отчаянную ситуацию с кое-какими преувеличениями, но истинная правда — у меня шевельнулась мысль, нельзя ли, попав в такую беду, хоть чуть воздуха вобрать ушами.

И все-таки нашелся человек, услышавший меня, он лежал без сна на навозном островке посреди навозной жижи и уловил мой стон в общем стоне спящих людей, нашелся человек, еще готовый подняться ради кого-то другого и позаботиться о нем. Ему одному, понятно, не под силу было вытащить меня из яслей, и уж чего-чего только ему не пришлось послушаться, да и я прекрасно слышал, как все глумились надо мной и обзывали младенцем Иисусом.

Но насмешками нас осыпали недолго, для насмешек тоже нужны общность или общение, а у нас только и было общего что цепь конвойных, взявших нас в кольцо.

Мне много приходилось бывать в одиночестве, до того и после того, но в таком одиночестве, как на этих дорогах в конце января, я бывал редко. Я всегда обладал способностью создавать себе собственный мир, если мне не доставало окружающего мира или он был не таким, каким я желал бы его видеть, но в той действительности — согбенных спин, шаркающих шагов, просительных взглядов и горестных вздохов — не оставалось места для полета фантазии.

Понимать я кое-что понимал, да не так уж это было много и радости никакой не доставляло.

Подобие духовной жизни, пожалуй, возродилось во мне, когда я увидел на окраине города трамвайные рельсы. Они показались мне нитями, связующими меня с миром, который представлялся мне уже окончательно погибшим. Теперь я верил, что ни он не погиб, ни я. Другой зацепки, кроме этой, у меня не было, да и это была по сути никакая, но я цеплялся за нее, точно за собственную косу, и потому мне удалось продержаться. Но не долго.

Кто вырос в Марне, тот только среди степных крестьян может сойти за горожанина; он не горожанин, и сам себя таковым не считает, но жители Лодзи,



казалось, чем-то напоминали меня и словно бы взяли меня под свою защиту после долгого похода по заснеженно-мокрому и пустынному краю.

Впечатление такое создавалось против всякой очевидности, непохоже было, чтобы хоть кто-нибудь хотел взять нас под защиту; наоборот, нас всячески и весьма недружелюбно обзывали, а когда мы стояли у тюремной стены, то швыряли в нас заледенелым шлаком.

Беда невелика, от обломков можно уклониться, и то, что стояли мы у тюремной стены, тоже не очень меня трогало, это же чистый случай, и я счел пустой болтовней, когда кто-то сказал, что это наша конечная цель.

Зачем же мне в тюрьму: между тюрьмой и мной ничего общего не было, я не преступник, а ночь, проведенная в камере в Коло, это же вынужденная мера, куда им было нас деть?

Начальник нашего конвоя, стоя перед железными воротами, что-то обсуждал с какими-то гражданскими. Он то и дело взмахивал своей палкой — переговоры, видимо, протекали далеко не в добром согласии. Но в конце концов они открыли ворота, и мы партиями стали заходить внутрь. Прошло время, прежде чем я понял, что происходит. Нас перестроили в колонну по одному, и мы бегом пересекли, соблюдая дистанцию в два-три метра, тюремный двор. Большую часть окон в немногих еще сохранившихся стенах окаймляли черные подпалины пожара и свежие следы автоматных очередей. Поначалу я подумал, что здесь шли бои, но потом увидел груды мертвецов, и хотя их покрывал размоченный дождем и вновь смерзшийся снег, я увидел, что погибли они не в бою: большинство лежали босонogie, кое на ком были полосатые куртки, я увидел две пары ручных кандалов. Я все очень хорошо разглядел, потому что мне пришлось перелезть через эти груды. Кто-то пытался все трупы сжечь. Кто-то? Кто же? И что это за мертвецы? И как я очутился возле них? И что я должен здесь делать?

Нелегко признаться, но вопросы мои обращались в один ответ, и звучал он весьма для меня грозно. У меня не было времени подумать о жертвах, и не было времени подумать об убийцах, время подгоняло меня, я бежал под почерневшими от дыма стенами тюрьмы мимо трупов; что-то меня подгоняло и что-то меня ждало, и одно я знал твердо — ничего хорошего меня не ждет.

Бегущий впереди исчез за баракком, я помчался, чтобы уменьшить разрыв между нами, и тут-то на меня посыпались удары. Получи я их где-нибудь в другом месте и из-за чего-нибудь другого, они, пожалуй, показались бы мне жестокими, что вовсе не значит, будто мне не было больно, но страх устанавливает иные масштабы; по этим масштабам полученные побои были пустяком, ведь они не лишали меня жизни.

Какой-то старик — мне стоило плечом двинуть, и он бы свалился, — от которого остро несло табаком, рванул меня за воротник и заорал:

— Ты все хорошо разглядел?

Не помню, ответил я ему или нет; я видел, что он плачет, и он едва не задушил меня. Но все-таки отпустил; в два-три прыжка я достиг ворот и тут услышал, как он еще раз крикнул:

— Ты все хорошо разглядел?

В городе лейтенант опять помахивал палкой и никого уже больше не подпускал к нам. А позже сдал нас в лагерь.

О лагере этом многого не расскажешь. Он был набит до отказа и загажен, о еде и вспоминать не хочется. Целую неделю вместо хлеба мы получали твердо-каменные галеты фирмы «Шпрат». У моего соседа по нарам была вставная челюсть; он утверждал, что никакой он не солдат и даже не фолькштурмист, он гражданский служащий заводов Сименс, инженер доктор Галзекель, как акустик он принимал участие в создании первого звукового фильма УФА<sup>1</sup>. Он настаивал, чтобы к нему обращались на «вы», и обращался на «вы» ко мне. Я растирал ему собачьи галеты камнями, и он из крошева намешивал себе размазню. Мне было

<sup>1</sup> «Универсам-Фильм-Акциенгезельшафт», крупнейшая немецкая кинокомпания; основана в 1917 году.

с ним трудновато, он опустился, а заботу о себе предоставил мне. Зато он умел говорить, и его речи были далеко не пустыми, подобно всеобщей пустоте вокруг.

— Проследите, Нибур, чтобы мне опять не зачерпнули супа сверху, где одна вода. Вы равнодушны к сей проблеме, считаете, что суп равномерно жидкий, но равномерность встречается крайне редко и надежна она только в математике. Если вы мне скажете, что теперь к чану рядом с раздатчиком поставили еще и мешальщика, которому надлежит равномерно размешивать суп, так советую вам вот о чем подумать: умелый мешальщик может управлять материей с различной плотностью содержимого по своему усмотрению. Вы мне ответите, что со вчерашнего дня раздатчик и мешальщик стоят спиной к едокам, так что не знают, для кого перемешивают и черпают. Уверяю вас, Нибур, соблюдая определенную систему, они все-таки пронюхают что к чему. Этому противостоять может только другая система. Нужно бы, к примеру, постоянно менять раздатчика и мешальщика, и всегда неожиданно, вдобавок придать им контролера, ну а его, разумеется, тоже постоянно менять. Можно относительно обеспечить относительно справедливое распределение, изменив построение ожидающих: традиционная очередь легко обозрима. Надобно, чтобы люди шагали по кругу, а на раздачу вызывать их внезапно. Это внесло бы некоторую непредусмотренность в процесс раздачи. Проследите за моей мыслью, Нибур: у котла описанная система — мешальщик, раздатчик и контролер, спиной к ожидающим и постоянно сменяемые, добавьте к ним марширующих по кругу едоков, которые поют, и на каком-то определенном слове текста — оно, разумеется, постоянно меняется, — тот, кто подошел к заранее намеченному месту, когда условленное слово пропето, получает еду.

Мое возражение, что бывают песни, в которых попадают куда какие длинные слова, к примеру: распрекрапрекрапрекрасная девица — и что их хватит, чтоб мимо условного места прошло много людей, он, как человек ученый, принял без гнева; эту проблему решить просто, сказал он, и сочинил одну за другой песни из очень коротких слов.

Инженер Ганзекель изобрел также аппарат для резки хлеба с очень малым отсевом крошек, и разработал, как он назвал это, — режим распределения хлеба, основанный на принципе игры в фанты. Может показаться, что я хвастаюсь, но так уж оно было: я порой поглядывал на нас как бы со стороны и в полной растерянности. Тридцать человек — столько насчитывала группа, размещенная в одном отсеке нар, — сидят вокруг стола, на столе лежит нарезанный хлеб; дежурный указчик указывает щепкой на ломоть; дежурный спросчик хлопает дежурного водящего, у которого завязаны глаза, по плечу и спрашивает:

— Тюх-тюх-тюха, кому краюха?

Водящий называет имя, и полагалось, чтобы названный разразился проклятьями, когда забирал свою порцию, показывая тем самым, что ему, конечно же, в этой лотерее опять достался самый малый кус. С именами у нас тоже возникли трудности, мы же едва знали друг друга по именам. Все изменилось, когда мы зажили чуть получше, но на первых порах каждый думал только о себе, а свое имя всякий знает. И только, когда один из нас умер, а никто не мог сказать, как его звали, мы составили список.

При раздаче хлеба мы пользовались описательным методом, и тут, как почуял меня инженер Ганзекель, открывалась возможность разорвать цепи антипатии к тому или иному сотоварищу. Можно было удовлетвориться четким описанием человека, например: колченогий горбун, можно было взять кого-нибудь на прицел и выкрикнуть: воючий кельнец, а можно было поставить ловушку: тот, кто спер у меня гребенку.

Меня вот тотчас окрестили: инженерский метрдатель; ведь инженер Ганзекель не сползал со своих нар, и я ему все туда подавал; так я довольно долго оставался метрдателем.

Если переключку устраивали в обед, значит, было воскресенье — для меня и для инженера трудный день. Ему приходилось тоже становиться в строй —

а во время утренних переключек он оставался на нарах, — вот уж когда я с ним мучился. Иной раз стоять приходилось долго, и чего я только не придумывал, чтобы ему помочь. Но он хоть и был очень слаб, а говорил как заведенный и каждое воскресенье одно и то же: о воскресных днях в его доме на озере Ваннзе в Берлине. Он, надо думать, глядел попеременно то на остров Шваненвердер, то на картину английского художника Гейнсборо и теперь, расписывая нам воскресенье у себя дома, только о них и твердил.

Тут уж и я не мог удержаться, рассказывал, что бывало в Марне по воскресеньям, хотя воспоминания эти нагоняли на меня жуткую тоску. Я приспособил для себя правило, действующее в горах: не смотри вниз! Я делал все, чтобы дивные картины домашней жизни заслонить видами окружающей меня действительности, мне нужно было одолеть тоску, но мне бы с этим не справиться, если бы я хныкал и тосковал по дому, однако когда инженер начинал свои рассказы о Ваннзе и о картине у него в гостиной, мне приходилось противопоставлять им наше кино в Марне и кафе-мороженое у рынка, а главное, тот факт, что у нас по воскресеньям готовили гуляш, лучше которого не бывает на свете.

С макаронами, ахмолчи, через которые можно потягивать соус, ахмолчи, и с помидорами, кожура которых сворачивалась трубочкой, ахмолчи, и с салом таким прозрачно прозрачным, ахмолчи, и огуречными кубиками, ахмолчимолчимолчи.

— Не приставайте ко мне, Нибур, с вашим гуляшом, когда я рассказываю вам о Гейнсборо, и, послушайте-ка, что-то мне очень холодно!

За это мне бы опустить инженера, пусть бы грохнулся, ведь и я не вспотел, или мне бы съехидничать и сказать ему, что он же великий умник, все вопросы враз решает, но я уговорил соседей поддержать его минуточку и растер его тощие ноги.

На этот раз командовал переключкой капитан, и он пожелал знать, что там с «этот старик».

Пришлось мне тащить «этот старик» в лазарет, а там «этот старик» выпросил у меня мой шерстяной джемпер, зеленый с вышитыми едельвейсами, — последнее, что оставалось у меня из дому, а ведь мне тоже было холодно.

В приемном отделении сидели и ждали человек пять-шесть, и кое-кто развернул свои ноги. Они очень походили на мои, и потому я тоже раскрутил тряпки с моих пальцев. Пришла врачиха с санитаром, одним из наших; тот напустил на себя важность. Он записывал наши фамилии и резко оборвал меня, когда я сказал, что всего-навсего сопровождающий. Он осмотрел нас и приказал мне «с этакой чепуховиной» убираться назад в лагерь. А инженера обложил такими словами, которые я и в толк-то взять не посмел: этого дистрофика, сказал он, надо, пожалуй, даже в списках похерить; я счел его слова изрядной наглостью, тем более в присутствии женщины. И заявил ему, чтоб он не смел так выражаться, но инженер Ганзекель цыкнул на меня:

— Не болтайте чепухи, Нибур!

Что только он терпит, подумал я, и начал снова заворачивать свои ноги, но тут врачиха спросила:

— А вы не в родстве ли с Бартольдом Нибуrom?

Нет, я не в родстве с Бартольдом Нибуrom, но я его земляк и мне, понятно, очень хорошо о нем все известно, ведь в хрониках моего родного края не так много людей, которые были бы финансовыми советниками барона фом Штейна<sup>8</sup> и прусскими послами и вдобавок еще профессорами римской истории. Были еще Нибуры из Мельдорфа, отчаянные забияки, — в школе мы от них покоя не знали. Но в родстве я и с ними не состоял, а в моем классе сидели еще три Нибура.

Врачихе я не сказал, какое она явила мне чудо — Бартольд Нибур, да еще от русской; она же осмотрела мои пальцы на ногах и отправила в лазарет.

Я попал в отделение обмороженных, инженер — в отделение для дистрофиков, а то похабное слово означало просто, что его надо вычеркнуть из списка; я

<sup>8</sup> Ш т е й н Генрих Фридрих Карл фом унд цум (1757—1831)—выдающийся государственный деятель, противник абсолютизма.

и тут заботился об инженере Ганзекеле, а он тут даже подтянулся. Но все-таки свой личный вопрос ему решить не удалось.

Зеленый джемпер я увидел позднее на том грубияне санитаре. Вышитые эдельвейсы он спорол.

### III

Из тех, кто умер нынешней весной, я знал по именам только троих, один из них — президент Америки.

Как только стало известно, что его больше нет в живых, сразу начали говорить, наступят, мол, большие перемены, и показалось вдруг даже, что всю эту кашу заварил Рузвельт.

Если бы моим соседом не оказался парикмахер из Брица, который испытывал истинную радость оттого, что здесь никому не должен поддакивать, то и я бы долго еще верил этим слухам: парикмахер умел наглядно обрисовать мне карту мира, и он же мог выказывать мне оскорбительное сострадание.

Президент умер от давнишней болезни, среди весны, когда уже совсем близко замаячил мир, а парикмахер в это же время погиб от оконного стекла, но причина его смерти была столь неразумной, что с ним никак не вязалась.

Когда я, еще новичок в палате, после перевязки с удивлением сообщил соседям, что мой большой палец какой-то квадратный, парикмахер сказал мне:

— Познакомься-ка лучше с кое-какими обычаями. Если на твоем пальце фиалки расцветут, можешь сообщить о том: это в новинку. А на что похожи пальцы ног, всем известно, чем благоухает замороженное мясо—тоже и что оно здорово болит — тоже. Нары жесткие, еды мало; тебе хотелось бы знать, когда мы будем дома; в жизни бы ты не подумал, что окажешься в таком положении — обо всем этом слов не теряй, все всем давно известно. И еще кое-что скажу тебе весьма важное: чрезвычайное сообщение, что я, мол, помираю, можешь, конечно, сделать; но после этого либо умирай, либо никогда больше не давай подобных обещаний. Ну, честно скажи, ты все запомнишь?

Я обещал.

Понятно, никто бы мне не запретил с утра до вечера ворчать, или делать сообщения о состоянии моих рук-ног, или о том, каково у меня на сердце, но мне и без того хватало напастей, злость соседей была мне ни к чему. Я вовсе не домогался их дружбы, но хотел все-таки сохранять с ними сносные отношения.

Для дружбы здесь было не место, жили мы слишком скученно и слишком воняли.

Я и пытаюсь не стану описывать нашу вонь; замороженному мясу, чтоб отделиться от костей, надобно сгнить, этим все сказано.

И неправда, будто способность человека ко всему привыкать, едва ли не бесконечна. Я, во всяком случае, при каждом вдохе замечал, что воздух, который сохраняет мне жизнь, отдает запахом гангренозной кожи и сгнивших конечностей.

Весна сорок пятого въелась в меня на все последующие годы, что мне еще осталось прожить.

А любовь к кино и к хорошим устным рассказам у меня тоже сохранилась с тех пор.

Некий саксонец по имени Эрих внушил мне эту склонность. Дома он держал извозничий двор, хотя позднее я понял, что в душе он был пиратом, но среди вонючей зимы благодаря ему я стал догадываться, почему не мешает разбираться в искусстве.

Каждый вечер между ломтем хлеба и клочком сна он рассказывал нам какой-нибудь фильм, и только благодаря ему в эти жуткие часы я не захлебнулся от отчаяния и тоски. Саксонский диалект наверняка способен даже слабым остроумцам придать силу, а извозовладелец был из Пирны, города, название которого передается немецкими звуками весьма приблизительно, однако Эрих справлялся с диалектом, когда рассказывал нам фильмы. Не думаю, чтоб он менял присущий ему говор, просто мы переставали его замечать, увлеченные картинками, нарисованными Эрихом.

Не знаю, как вышло, но я не видел ни одного фильма с Гретой Гарбо и все же уверен, что имею подробнейшее представление и об «Анне Карениной», и о «Даме с камелиями», и о «Королеве Христине»; Гарбо я боготворю и вовсе не думаю, что она родом из Саксонии, откуда-то из-под Дрездена; Эрих сумел так ее изобразить, что мне и сегодня еще кажется, словно она некогда была моей далекой возлюбленной.

Но «Доктора Криппена на борту» я видел и «Бунт на Баунти» тоже и утверждаю: у Эриха получалось лучше.

Мое место на нарах было в первом отсеке, под самым потолком, и я мог догронуться до него рукой, дышалось там тяжело, словно сквозь бинты; я лежал на своей куртке, а та лежала на досках — вот уж настоящий принц на горошине; в свете фонарей ограждения я видел рядом на нарах эсэсовца, во сне он выглядел настоящим африканцем; я слышал, как кавалер Рыцарского креста из Фогтланда стонал во сне, вспоминая супы своей родины, и как мастер Эдвин, специалист по фарфору, предсказывал ему за это злую смерть; в четырех шагах от меня, знал я, спит венгерский музыкант, к которому смерть подобралась уже совсем близко; я хорошо знал, что бесконечно далека та жизнь, которая, как я только теперь понял, была прекрасна; мой день начинался с разочарования, какое испытываешь после сновидений, примиряющих с действительностью, и я уже с утра страстно мечтал об очаровании совсем иных видений.

Не знаю, известно ли было Эриху из Пирны об этих мечтах, владевших не только мной, но каждый вечер он воссоздавал перед нами дивные видения. Он не выдумывал фильмы, он не изменял их; он обладал способностью, которой я, когда разобрался в происходящем, от души восхитился. Тому, кто знал историю, рассказанную Эрихом, он давал случай получить удовольствие, подбавляя к ней собственные воспоминания, но кто впервые слышал ее, с той поры носил ее в памяти как историю Эриха.

В лазарете было, надо сказать, совсем не плохо.

Венгр умер еще там, а вскоре после этого нас погрузили в поезд и увезли. Видимо, это было в марте, но стояли еще чертовские холода. Приехали мы в Пулавы, что в верхнем течении Вислы. Мастер Эдвин объявил: это, мол, было еврейское местечко, а парикмахер ответил, значит, для нас теперь освобонилось достаточно места.

Мастер Эдвин терпеть не мог евреев. Он называл их не иначе, как «кривонogie сыны Сиона», но парикмахер сказал ему:

— Эй, старый пердун, сам подумай, кривые ведь лучше, чем отмороженные.

Не знаю, откуда у них брались силы, но они люто ненавидели друг друга, ненависть их явно проистекала от их взглядов на жизнь и на людей. «Такие, как ты», — говорили они друг другу, и звучало это так, словно говорят они о гнуснейших субъектах, и мне всегда представлялось, будто каждый винит другого в своей судьбе.

У меня сложились с ними странные отношения. Мастер Эдвин уж скорее был из тех людей, на которых и я хотел бы походить; он бесспорно был ловким и бесстрашным, и, конечно же, с ним ты мог быть спокоен там, где пахло пороком, но в свинушнике, где выдержать тебе помогает только сдержанность, трудно придумать худшего соседа. Возможно, он был стоящий мастер по фарфору, но, кроме своего ремесла, не знал, можно сказать, ничего и считал это в порядке вещей, к образованию он относился с полным презрением. Он был из тех, кто астроному толкует о звездах, да притом громкогласно и всегда со ссылкой на свой здравый смысл.

И я сам удивляюсь, почему, когда мастер Эдвин препирался с парикмахером, меня всегда тянуло стать на сторону брадобрея, хотя я не очень-то люблю парикмахеров. Наверняка из-за предрассудков; но вообще-то меня можно по-настоящему понять, только зная мои предрассудки.

Образ парикмахера, который я себе создал, связан был с Гологоловым в Марне, что вечно пел во время стрижки, и еще этот образ связан был с тем,

что я чуть не попал к нему в ученье; деду мыслилось удобным иметь в семье парикмахера.

Брадобрей, стало быть, авторитетом у меня не пользовался, и от его взглядов мне становилось не по себе, я чувствовал, что присоединись я к его взглядам, это будет иметь последствия, и все-таки я замечал, что меня тянет к берлинскому цирюльнику и даже к его баламутным суждениям.

Может, другие испытывали те же чувства, но я, во всяком случае, ничего такого не замечал; думаю, они потому не принимали его логики, что она изрядно мешала жить.

А жилось нам трудно, и самосострадание служит тут своего рода укрытием, за которым можно затаиться, но парикмахер выгонял нас оттуда и терзал нас в наши скверные минуты своими удручающе здоровыми утверждениями, а это не лучший способ завоевывать себе друзей.

Однажды он так взвинул мастера Эдвина, что тот заорал, таких, мол, как он, нужно за решеткой держать, к счастью, у меня хватило мозгов понять, что замечание это начисто идиотское.

А началась их перебранка с того, что мастер Эдвин объявил: он-де с минуты на минуту ожидает некоего посланца с обратным билетом, парикмахер же сказал, он, мол, полагает, что нам еще билет сюда следует оплатить.

Логика этой мысли сомнению не подлежала, но позволительна ли подобная мысль, я не знал, и не приди мастер Эдвин в такую ярость, я был бы, пожалуй, ее решительным противником.

За парикмахера я, конечно же, стоял не потому, что мне по душе были его высказывания, может, я потому тянулся к нему, что видел — против него самое дурачье и наглцы. И все землячества. Землячества у нас, по сути, были просто кликами, обосновавшимися в самых разных сферах, где только можно было чем-либо пожить. Берлинцы обчищали людей в прожарке, лейпцигцы — в пекарне, гамбургцы — на кухне, а венцы — везде и всюду. Солдат, о котором я твердо знал, что он из Лингена в Восточной Фрисландии, пристроился к венцам как венец, поистине был гений. А чтобы я молчал, он стерег мои вещи, когда я ходил мыться.

Но парикмахера они едва не уколошили и не очень-то грустили, когда его прикончил кто-то другой.

Немало ходит историй о сицилианской мафии, но я скажу одно: чтоб увидеть ее искусство, мне не нужно ехать в Италию.

У венцев было особое чутье на смерть; чья очередь подходила, того они отволакивали в отгороженный угол и вставляли на «траурный караул»; оттуда мертвецов выносили уже очоченевших, голышом.

В «траурный караул» ставили тех, кто служил землячеству наводчиком, и зачем мне Сицилия, если я знаю, как много находилось людей на эту должность.

Потом меня часто спрашивали, неужели, мол, нельзя было что-то предпринять против них, так я скажу: в то время мне было не до того. Я был начеку, чтоб они меня не зацапали, и это было все, но не так уж мало, ведь я еще был начеку, чтобы не стать соучастником.

Правда, однажды я поднял крик, когда венцы хотели оттащить в угол венгра, но тот все равно умер, а мне операция далась без всякого напряжения. Как вспомню, какой я учинял тарарам в других случаях, так мои жалкие вопли по этому поводу просто чепуха. Я, к примеру, два дня ковылял по всему лазарету, чтобы разыскать недостающую половину моей суповой миски. Эти миски изготавливались из американских консервных банок, и на них оставалась часть выбитого штампа, в котором указывалось содержимое и дата изготовления. Но только часть, а я спал и видел целое; так уж я отношусь ко всему написанному.

Я два дня возился с мисками; дело оказалось занятным, ведь люди очень по-разному отзываются, когда к ним подходит кто-то и просит, нельзя ли взглянуть на штамп на их суповой миске.

Немного, вообще-то говоря, нашлось таких, кто поверил, что я интересуюсь просто надписью; подозрение окружающих следовало за мной по пятам, и в конце концов все решили, что моя страсть к кастрюльным надписям просто еще одна форма фронтального психоза. Что они считали меня психом, я понял, когда староста палаты попытался два раза подряд послать меня выносить парашу.

Я заставил его отказаться от этого намерения и убедил в своих умственных способностях угрозой, что перейду в партию «баварского пива». Полагаю, он принадлежал еще недавно к генлейновцам, но теперь обратился в убежденного чеха и, будучи в хорошем настроении, начинал дискуссию о лучшем в мире пиве, причем, конечно же, пел дифирамбы пльзенскому первоисточнику и дико взвинчивался, если кто-либо осмеливался хвалить напитки из Дортмунда, Копенгагена или того хуже — Мюнхена.

И подобный тип хотел навесить мне психоз оттого только, что я заглядывал людям в пустые миски, а кто-то счел меня до того чокнутым, что потребовал ложку сахара, прежде чем разрешил изучить его проштампованную жестянку.

Не знаю, правда, зачем мне это может когда-нибудь понадобиться, но после лазарета мне известно, что в американских военных консервах почти всегда содержалось чуть-чуть соевой муки, и я хорошо знаю, что можно сказать за и против пива разных немецких земель, а увидев русские деревянные ложки, вспоминаю кружным путем — через проштампованные американские жестянки — обмороженные ноги.

Эти расписные ложки нам выдали вместо ножей и вилок; ножами и вилками мы же могли покончить с собой. Задумано верно, но до конца идею довели бы лишь в том случае, если бы нам выделили и деревянные корыта, а так, конечно же, какой-то бедолага жестью своей миски достаточно глубоко надрезал себе руку, чтобы на другой день его вынесли без кровинки в теле мимо смертного угла венцев, который мы давно уже прозвали «кафе Захера»<sup>9</sup>.

К счастью, под рукой был парикмахер, с которым я все мог обсудить. С ним разговор получался; он не страдал горячностью, с какой кое-кто бросается в лобой спор, и апатией, как большинство, кто ко всему происходящему поворачивался отлежалой задницей, а главное, мне с ним не нужно было держать ухо востро, бояться, что он станет плакаться мне в жилетку, и думать со страхом, что он хочет всего-навсего заполучить мою более теплую куртку.

— Почему, — спросил я его, — тот парень так поступил? А ты покончил бы с собой из-за ополовиненной ноги?

— В данную минуту, — ответил парикмахер, — я тебе ничего не отвечу, ведь у меня целая нога, а не половинка.

— Но представить себе ты это можешь?

— Да, представить себе, что я собственных рук-ног решил, я бы мог, но ведь мы ведем речь о ноге того бедняги, зачем-то, полагал он, она ему еще могла понадобиться.

— Не вижу такой уж важной причины.

— Нет, не видишь причины? Ну так задумайся над возникшей проблемой. Ладно уж, я сам назову тебе две причины, ведь ты еще юнец и вдобавок с Северного моря. Первая: он любит жену, а жена любит его не очень, она вышла за него потому только, что она страстная любительница танцевальных конкурсов, а он европейский чемпион в румбе. А вот вторая: он страдал от уязвленного чувства чести — обстрелянную врагом голову можно держать высоко, отмороженную ногу — невозможно. И не говори, что такого не бывает, или у вас никто рук на себя не наложил, не желая угодить в плен?

— Бывало, так ведь то от страха.

— Ага, от страха. Все тогда от страха дрожали, а нынче никто вроде и не знает, в чем же мы собственно говоря провинились.

— Один наш фельдфебель, — сказал я, — прямо у меня на глазах сделал

<sup>9</sup> Знаменитое венское кафе.

это. Я даже сначала не понял, он приложил лимонку к уху совсем как мой дед, когда заводил часы. Но в фельдфебеле не честь заговорила и не страх, он не хотел быть нам в тягость, ему прострелили колено.

— Э, не строй из него героя, — ответил парикмахер, — я верю в господу нашего всемогущего владыку, но в таких героев — нет. А от компашки, в которой терпят, что кто-то прикрывается громкими словами, меня рвать тянет. В тягость! Как далеко пришлось бы вам его тащить, до луны?

— Мы везли его на санках, — сказал я, — а когда немоготу стало, хотели пристроить у крестьянина, но парня, видимо, страх перед поляками одолел.

— Ага, значит, страх! А мысль остаться с ним одному или даже двум из вас у того крестьянина, если уж вы ему не доверяли, вам в голову не пришла? Ты хоть раз задумался, почему же эта мысль для вас исключалась?

— Чего я в тебе терпеть не могу, — сказал я, — так это твои вечные «вы», да «вам», сам-то прежде даже чаевые брал.

Он сердито глянул на меня и за всю оставшуюся ему жизнь обратился ко мне один, от силы два раза. Но в ту минуту я еще этого не знал, и вообще мне хотелось читать.

Дело было в конце марта; погода на дворе стояла мерзко-неустойчивая, часовые еще ходили в зимней форме, было утро, и я был счастлив.

Я был счастлив оттого, что держал в руках книгу. Если бы мне пришлось объяснить, в чем заключалось мое счастье, я был бы в затруднении, как и всякий другой. Но я знал бы с чего начать: я завел бы речь о книгах. При этом, правда, выползли бы на свет божий знакомые истории о чердаке, и о выкраденной лампе, когда все легли спать, и о руготне, что глаза порчу, но все это была бы речь о счастье.

И если б мне вдобавок пришлось объяснять, что особенно точило меня, пока я ждал, чтобы у меня вновь отросло мясо на пальцах, то я сказал бы о книгах, которых мне так не хватало. Хотя кое-какие книги все же имелись, и даже в лазарете в Пулавах, но кто не входил в одну из разбойничьих шаек или не желал платить непомерную плату — пайку сахара за день чтения или полпайки хлеба, — тому, как и мне, оставалось только мысленно перечитывать все книги прошлых лет.

Однако в тот день, который я считаю мартовским и о котором твердо помню, что ранним утром я еще был счастлив, у меня все-таки оказалась книга. Эрих, примкнувший к лейпцигской шайке супокрадов, в порыве мягкосердечия дал мне Шторма, дал просто так, как память о давних временах в лодзинском лазарете.

Понятно, Шторм не пользовался таким спросом, как Йон Книттель<sup>10</sup>; дома, на моей родине, Шторм стоял где-то далеко позади Густава Френсена<sup>11</sup>, и не только потому, что жил в далеком Хузуме, а Френсен — в близком Мельдорфе. Шторм был для нас чем-то вроде братьев Гримм, а Френсен чем-то вроде Йона Книттеля. В школе мы учили «Октябрьскую песнь» и «По степи»<sup>12</sup>, и еще до того мы слышали о «Маленьком проказнике» и о «Фее дождя»<sup>13</sup>, но «Йорна Уля» считали куда интереснее, и еще мы знали, что книги Френсена переведены на сорок языков и что их не меньше трех миллионов штук.

Я жутко злился, когда какой-нибудь мой соотечественник, уроженец Южной или Северной Германии, догадавшись о моем происхождении из Шлезвига, едва слезу не пускал и бормотал: «О, дымкой затянутый город у моря...»<sup>14</sup>.

— Но это же о Хузуме, — говорил я.

— Ясное дело! — говорил он, твердо уверенный, что Марне — пригород Хузума, а Теодор Шторм мой ближайший сосед.

<sup>10</sup> К н и т т е л ь Йон (1891—1970) — швейцарский писатель 30-х годов, поставивший публичное развлекательную литературу.

<sup>11</sup> Ф р е н с е н Густав (1863—1945) — немецкий писатель, один из популярных представителей так называемой областнической литературы.

<sup>12</sup> Стихотворения Теодора Шторма.

<sup>13</sup> Сказки Теодора Шторма.

<sup>14</sup> Стихотворение Теодора Шторма «Город».



Вся моя тоска позабылась, когда Эрих дал мне книгу: наконец-то у меня книга, а Шторм, что ни говори, все-таки мой земляк.

Как шлезвигцам это удавалось, не берусь сказать, но они, видимо, ловко увиливали от плена; в лагерях их было так мало, что о землячестве и мыслить нечего было, не говоря уж о том, чтобы составить фризскую команду, о которой я временами мечтал, прежде всего для борьбы с разбойными кельнцами, лейпцигцами и венцами.

Я добровольно вызвался очищать параша и с тачкой, уставленной ведрами, прошел по всем отделениям, пока врачиха не застучала меня и не погнала назад, на нары, чтобы я не навредил пальцам, но я ведь только затем бегал, чтобы прислушаться к разговорам и по северному тягучему говору распознать земляка.

Мне не повезло; я нашел всего-навсего одного маклерского помощника из Тондерна, да и тот намалевал у себя на шапке «данеброг»<sup>15</sup> и держался как непризнанное перемещенное лицо.

Зато у других случались поразительные встречи; у дистрофиков один торговец сигарами из Дессау лежал рядом со своим бывшим продавцом, оба хоть едва ворочали языками, а рьяно обсуждали проблему недоброкачественной окраски оберточных листов. Позднее, уже в лагере, я знал отца с сыном, они вечно цапались, и там же член суда из Вестфалии разгуливал под руку с парнем, которого он некогда засудил за бродяжничество.

И все-таки мне повезло, я встретил Шторма; я говорил себе, прислушиваясь к нему: это же лучше, чем, скажем, мясник из Рендсбурга или, чего доброго, директор школы из Марне. Да, рассказы Шторма я не столько читал, сколько слушал. из-за того, конечно же, что я напрасно искал собеседника и что в лазарете царил какая-то дурацкая атмосфера; в этом было что-то новое, обычно я принимал рассказ как нечто завершенное, а теперь я присутствовал при его создании. Дело было, понятно, еще и в том, что я все эти рассказы уже читал и знал, чем они кончаются. Я знал, что ничего не получится у Рейнгарда с Элизабет, а читая историю Ганса и Гейнца Кирхов, я огорчался уже тогда, когда все еще было у них в полном порядке.

Я как раз целиком погрузился в давнишние приключения художника Йоганна, когда парикмахер сказал мне:

— Ну-ка оторвись от своей книженции, там какой-то Hannibal ante portas<sup>16</sup>.

Стрельба, видимо, была давно в разгаре; просто, я не обращал на нее внимания, ведь ничего нет особенного в том, что, где есть солдаты, там время от времени палят, а у меня в руках была книга. Но тут и в нашей палате поднялось какое-то волнение, а на дворе стало слишком уж шумно. Наши эксперты громко спорили, из каких это стреляют автоматов — из немецких или английских, но наверняка все сошлись на том, что там стоит парочка-другая пулеметов сорок второго калибра и два миномета. Кто держался на ногах, облепили окна и передавали тяжелобольным военные сводки.

Нам с парикмахером проще простого было выглядывать на улицу: как ювеньки мы получили места на самом сквозняке, в конце нар. С ближней к нам вышки часовой вел огонь по дому на другой стороне улицы, а внизу у ограды солдаты занимали позицию.

Австрийцу, высказавшему свою догадку, тут-де начинается новое Арденнское чудо, парикмахер сказал:

— Уж это точно, а во главе этого чуда-юда стоят император Франц Иосиф и принц Евгений, благородный рыцарь!

Но, надо сказать, он тоже растерялся. Наорал на меня, чтоб я наконец отложил свой фолиант и подвинулся к стенке, у него нет никакого желания вдобавок к обморожениям получить еще и ожоги. Тревожился он не зря, в конце зала пули уже отбивали штукатурку с потолка.

Появилась врачиха с вооруженным солдатом и всем приказала лечь по своим местам. Объяснение она давать отказалась, сказала только:

<sup>15</sup> Датский национальный флаг.

<sup>16</sup> «Ганнибал у ворот!» — сигнал тревоги в Древнем Риме.

— Бандиты.

В руже она держала пистолет. Наш кавалер Рыцарского креста повернулся вокруг собственной оси, но, видимо, это усилие и собственное ворчанье переутомили его; с нар бессильно свесились его голова и рука.

— Спуститесь,— приказала врачиха,— уложите его как надо.

Мы с парикмахером приподнялись.

Слышать я ничего не слышал; но как-то вдруг, вконец перепуганный, оказался на полу. Сидя посреди осколков оконного стекла, я видел над собой ноги парикмахера и там же видел сапоги врачихи, она забралась на мои нары. Но когда я хотел взобраться наверх, сказала:

— Уйди, немец.

Все-таки я увидел, что парикмахер из берлинского района Бриц лежит с перерезанным горлом.

— Окно,— сказала врачиха.

Его звали Альфред Урбан, но все называли его не иначе, как парикмахер, похоронили его неподалеку, за оградой лагеря. У палатного старосты был его адрес, и я решил, что напишу его жене, когда опять заработает почта. Вскрытия не делали, как мне обещала врачиха. Он же умер не от заразы и не по неизвестной причине. Кусок стекла величиной с ладонь вырвал его из жизни быстро и аккуратно. Что, однако, вырвало режущие осколки из окна и где, стало быть, скрыты истинные причины смерти парикмахера, долго оставалось мне неизвестным. Врачиха хранила молчание; она больше не беседовала со мной о профессоре, специалисте по Древнему Риму, Нибуре из Мельдорфа, а я не смел ее ни о чем спрашивать. Я целиком и полностью погрузился в моего Теодора Шторма. Но ощущение счастья больше не возвращалось.

#### IV

С какой стати мне возражать, если кто-то предается мечтам о лете? Я бы только одно сказал: бывает лето и лето! Что не помешало бы тому кому-то мечтать о своем лете.

А мое лето — это мои заботы; мой опыт жизни — это мои заботы. И когда я погружаюсь в размышления о временах года, этот опыт, подобно засвеченной пленке, накладывается на зелень пастбищ, желтизну нив и голубизну небес. К счастью, мне приходится главным образом размышлять над другими проблемами, и долго размышлять мне вообще не приходится. Но «Воспрянь, о сердце, выйди в путь»<sup>17</sup> не моя песнь.

Моя летняя песнь начинается словами: «Эх, три матроса в брюках клеши», а это премеерское горлодерство; мне же пришлось, думаю, слышать ее не меньше сотни летних месяцев — рояль и шесть любителей искусства, утверждавших, что они балетная труппа. Но это были обер-ефрейторы, и ноги у них были ефрейторские.

Лагерь начался с рева фельдфебеля, вообразившего, что мы обязаны его приветствовать. На полном серьезе. Но я слишком явно замотал головой и получил здоровенный пинок. А в ответ влепил ему оплеуху. Тоже на полном серьезе.

Не очень-то сильно, да и откуда быть силе, не с весенних же супов и пробежки от нар до бани. Но фельдфебель прикинулся, что настал его последний час, и мне объявил, что настал мой последний час. Дежурные по лагерю удержали его, но меня перевели в барак к дебоширам.

Спроси они мою мать, они знали бы, что мне там не место. Матери всегда казалось, что я тихоня и слишком многое терпеливо сношу. Ее отец был чахоточный сапожник, но он, когда ему что-то было не по нутру, швырялся сапогами. Бабушка однажды швырнула в ответ керосиновую лампу и угодила в его увели-

<sup>17</sup> Начало стихотворения «Летняя песнь» Пауля Герхардта (1607—1676). Перевод Л. Гинзбурга.

чительную линзу; ну и лупили же они друг друга, а умерли оба очень рано. Моего отца строго предупредили за то, что он сунул Блейке Таммса в мешок и вздернул воротом под самую крышу склада — они спорили, нарушается у селедок равновесие или нет.

На моего брата тоже никто не смел нападать, он бил обидчика сразу обеими ладонями по ушам; а это, считал он, весьма вредно для здоровья, что ж, его и вправду один тип так избил однажды, что он надолго потерял здоровье.

С такими родственниками матери надо бы радоваться, что я человек деликатный, но я был на ее взгляд тихоней. Узнай она, что я в бараке дебоширов, ее бы это так же ошеломило, как ошеломило меня самого. Я диву давался на себя и на ход событий, который привел меня в этот барак, и я диву давался на моих новых товарищей. Они были усердными, как никто другой в лагере. У них водились платяные щетки, и они пускали их в ход. Их санбригада клопоморов успешно и без лишних слов выполняла свою работу. У них была бригада водоносов и тазы<sup>41</sup>, у которых никто не толкался, они играли в шахматы, и кто забывал, что споры запрещены, тот в укромном уголке получал основательное напоминание. Причину моего появления у них они признали уважительной, что избавило меня, как я узнал, от вступительной взбучки в «уголке успокоения».

У большинства обитателей барака за плечами были месяцы штрафных рот и военной тюрьмы. Чего они терпеть не могли, так это полевую жандармерию. Чего они как огня боялись, так это Сибири.

Кто держится тише воды, говорили они, тот быстро выберется отсюда. А кто выберется отсюда, тот попадет в рядовой барак. А кто в рядовом бараке, тот не стоит первым в списке на отправку. Наш барак стоит первым в списке. Здесь нам оставаться нельзя. Кто, стало быть, здесь начнет мутить воду, того песенка, считай, спета.

Если б не перспектива попасть в морозный край, я охотно остался бы в этом бараке. Никаких споров из-за жратвы, у поваров мысли не возникало жиреть за наш счет.

И работу нам тоже давали. Может, задумано это было в наказание, но тот, кто так считал, не догадывался, что такое плен, И о работе у него тоже никакого представления не было.

Только там я понял воркотню стариков в Марне и ожесточение, с каким они вспоминали трудные времена. Тогда, слушая их, я ничего не понимал, я-то охотно посидел бы без работы хоть денек, но вот ее у меня не оказалось, и я понял, чем вызвано было их ожесточение.

Я видел фильм: мужчины околачивались без дела на ярмарочной площади и не знали, куда себя деть. Но качели-лодочки и карусели-коняги, а главное, музыка оркестрионов довели их до белого каления — они ударились в грабежи. Этого мне было не понять, пока я не попал в барак дебоширов и пока обер-ефрейторы не прожужжали мне уши своими «матросскими клешами». Они репетировали для лагерного концерта; большей мерзости мне в жизни видеть не довелось. Был там этот номер с матросами, потом какой-то ефрейтор подражал Гансу Альберсу, но с тем же успехом это могла быть Адель Зандрок, а другой выпалил наизусть всю серию похабных студенческих острот. Но, кроме него самого, ни один человек не смеялся. А какого-то зенитчика сделали эстрадной девицей, так он, дубина стое-росовая, и вправду повел себя точно девица, уже из-за одного этого сцену следовало поджечь.

А так же из-за песни, которую бравый тапер расколотил на немыслимые части. Лагерь был не так велик, чтобы где-то укрыться от этого тупого ора; даже их неуклюжую топотно слышно было в самом дальнем уголке, а от рояля не спасали ни окна, ни двери.

В грабежи тут не удариться, но я подумывал, не удариться ли в бега, и представлял себе, как меня изловят и я им расскажу, отчего я сбежал.

Когда наш барак впервые повезли на работу, никто бы, глядя на нас, не сказал, что мы шайка дебоширов. Разбудили нас до общего подъема, и это показалось нам весьма подозрительным и что пошли мы к вокзалу — тоже. Но везли нас

на запад километров примерно тридцать. Нас разместили на подножках, на тендере и на локомотиве. Я сидел на кожухе локомотива и во все глаза смотрел на летнее утро. Мне всегда хотелось много ездить, и моя мать говорила: у тебя все впереди!

Присказки матери отличались известной широтой и годились на разные случаи жизни.

Когда-то я хотел служить на железной дороге, но я страдал дальтонизмом, и железнодорожный врач расписал мне катастрофы, которые он предотвратил, не допустив меня к работе.

Сейчас, сидя на локомотиве, я прекрасно различал все цвета. Небо сверкало июньской синевой, зелень полей отличалась от зелени сосняка, и тем более от зелени травы на откосах вдоль пути; коричневыми от травления, непогоды и обломков шлака были шпалы впереди и серым — гравий между ними. Цвета Польши — белый и красный — на будках стрелочников еще поблескивали свежестью, а цвета красный, синий и зеленый на русских транспарантах уже поблекли от дождей.

Меня так и подмывало разинуть во всю ширь пасть и запеть, и чтоб песню мою ветром несло в дальнюю даль, я даже сам себя спрашивал с удивлением, с чего это я так расхрабрился, но тут я заметил, что обманулся. Мы едем всего-навсего в том направлении, где осталась Марне, а рельсы подо мной — это же всего-навсего часть тех рельсов, вдоль которых пестрела теперь точно такая же болотная зелень и песчаная желтизна, как в моем родном краю. Я заметил, что обманулся, но не пал духом, не так уж велико оказалось мое заблуждение. Я, правда, ехал не на родину, но впервые за долгое время ощутил, что она есть, что она существует вместе с синевой неба и серебром рельсов.

От работы я с ног не валился, хотя тяжеленный лапчатый лом, которым я вытаскивал из шпал гайки, выворачивал мне руки из плеч. Присматривали за нами два железнодорожника и два-три солдата, и они нас не торопили: может, им тоже хорошо было здесь, в полях.

Рельсы во время наступления укладывали в спешке, кое-как закрепляя гайками, да еще для широкой колеи; теперь нужно было опять уложить нормальную колею и все надежно укрепить.

Мы уложили порядочный участок пути, и повсюду над нами вились жаворонки.

Возвращались мы всегда пассажирским поездом Радом — Люблин. Не знаю, ходил ли он когда-нибудь раньше точно по расписанию; мы, случалось, ждали его до сумерек, но нас это ничуть не огорчало, нас ведь ждал всего-навсего лагерь, и клопы, и отвратные «матросские клещи». Железнодорожники заканчивали рабочий день минута в минуту, курильщики получали щепотку табака, а мы сидели возле наших рельсов и вели неспешный разговор, как повелось у людей, отдыхающих после трудового дня. Финал войны явственно сказывался и на нашем участке: истерзанные солдаты сюда, свежие солдаты туда, вагоны с красным крестом сюда и туда, транспорты с подбитыми танками и целехонькими токарными станками с запада на восток, вагоны с пленными тоже с запада на восток и тоже с запада на восток вагоны с освобожденными пленными.

Хорошо было сидеть вот так, возле свежеложенных засыпанных гравием рельсов, поджидая вечерний поезд из Радомы на Люблин. Мне было хорошо. Лучше уж ехать на подножке в Пулавы, чем на санитарной койке к Одеру. Слишком долго наблюдал я будни калек. Поначалу флаги и пустые рукава развевались в едином героическом порыве, но уже очень скоро рукава пристегивались булавками, а герои не годились даже в школьные сторожа: там ведь приходится огромные тяжелые флаги поднимать двумя руками. Вдобавок я знал Онно Менка; лучший конькобежец Марне, он теперь сидел в тележке у катка, и не могли же мы вечно помнить о том, как замечательно бежал на коньках Онно Менк.

Лучше уж мне со сторожами сидеть возле рельсов, чем с оружием ехать по рельсам. Быть солдатом, значит взвалить на себя сплошные обязательства. Знаю,

то, что скажу сейчас, вызовет спор, но я говорю: я не желал менять несвободу солдат, на мою свободу.

Радиус действия моей свободы измерялся дальностью действия винтовки часового. Кажется, это махонький кружок, но чего только я не выделывал внутри этого круга и чего-чего только был вправе не делать! Мне не надо было при побудке вскакивать с койки точно по команде «человек за бортом!». Мне не надо было бегать на зарядку по мокрому лесу. Мне не надо было никого приветствовать, и уж тем более предписанным образом. Мне не надо было трястись от страха, что какой-нибудь чужой дядя станет распекать меня за косо сидящую пилотку. Мне не надо было в ответ на любое замечание этого чужого дяди орать: «Так точно!» — мне не надо было во все горло орать песни, звучащие издевкой над моим истинным мнением, к примеру: «Чудесно-расчудесно быть солдатом!» Мне не надо было держать «локтевую связь», протирать скамеечки для чистки сапог, носить подворотнички, смеяться фельдфебельским островам, различать трупы отравляющих газов, строем ходить на богослужения и убивать людей.

Я свободен был от тысячи бессмысленных или противных всякому смыслу принудительных действий. Я не свободен был в выборе места моего пребывания, моих соседей, моей деятельности или моих удовольствий, но уж в подборе удовольствий я был свободен. Я мог хоть до самого пупа расстегивать пуговицы. Я мог повторять сколько влезет, что лучше мне быть дома, чем в Польше, и это не почиталось предательством. Я мог любому своему соотечественнику объявить, что плевал на его остроты. Я мог моим иноязычным стражам, приходившим в изумление от моих мешкотных движений, пространно объяснять, что уже с давних пор страдаю балийской подагрой. Я мог назваться хоть неизвестным именем Хейдебрехт Финкенцеллер или известным — Сигизмунд Рюстиг<sup>18</sup>; я мог разыгрывать шута или провозгласить себя королем; и поскольку все это делать мог каждый, то никого это не раздражало, но именно поэтому я мог всего этого не делать! Я мог чихать на целую кучу всяких правил, и это казалось мне почти неограниченной свободой.

Но я мог, конечно же, сделать и так: встать после трудового дня на подножку вечернего поезда из Радома на Люблин, уцепиться покрепче за поручни у входа для платных пассажиров, рукавом протереть окно от сажи, прижаться носом к стеклу и разглядывать содержимое купе. Однако смеркается, и потому я довольно долго никак не разберу, кто с кем едет из Радома в Люблин, но я ведь прилип снаружи к стеклу и своей особой вношу разнообразие в мелькающий пейзаж — поля, перелески и телеграфные столбы, — а поэтому все пассажиры поворачивают ко мне лица и, видимо, что-то обо мне говорят. Две пожилые женщины, кажется, испугались меня, и тогда солдат, один из двух едущих в купе, исполняет свой долг, долг воина и долг мужчины: он подходит к двери, что рядом со мной, и, опустив стекло, разглядывает меня, затем высовывается из окна и видит, что весь поезд увешан такими, как я; уяснив себе положение дел, он что-то кричит, обернувшись, в купе и, уже ухватив ремень окна, спрашивает меня:

— Ты куда?

А я, ведь я же здесь человек свободный, отвечаю:

— В Америку!

— Счастливого пути! — говорит он и поднимает стекло.

Усевшись на место, он обо всем докладывает. Я представляю себе его рассказ: нет никаких причин для беспокойства, уважаемые дамы, это пленный, они висят на всех подножках, надо думать, работают в этих местах, им полезно, все еще нахальные; этот малыш за окном говорит, он, мол, хочет в Америку, ладно, я ему сказал — счастливого пути! Настолько-то я по-немецки знаю, что ж, в морду надо бы ему дать за грубость, так это не в моих привычках, хотя причины у меня есть, но у кого их нет. Война кончилась, уважаемые дамы, а этот, за окном, совсем еще молокосос.

Теперь они разглядывают меня и рассказывают друг другу, сколько при-

<sup>18</sup> Герой одноименного романа английского писателя Ф. Марриета (1792—1849).

шлось им натерпеться от таких, как мы, и за разговором привыкают к моему присутствию за окном.

А я привык к полутьме по другую сторону стекла; и различаю, кроме пожилых женщин и тех двоих солдат, еще спящего мужчину и двух спящих детей, и очень близко, стоит руку протянуть, близко, да, но руку туда не очень-то протянешь, я вижу кое-что, явно не принадлежащее солдату и вообще мужчине не принадлежащее, я вижу это только теперь, оттого что оно совсем близко от меня, только два-три миллиметра стекла отделяют от меня грудь девушки, а выше, на голову выше моей головы, я вижу девичье лицо, да, передо мной два женских профиля, и мне приходится изо всех сил сжимать поручни, ибо в такой близости к девичьим лицам и девичьей груди я уже давно не бывал. Где же это она пропала, подумал я, где это она пряталась до сих пор, спала, забывшись в уголок, и проснулась от ветра, подувшего в открытое окно? Подножка прибита слишком низко; поэтому мне прекрасно видна ее прекрасная грудь, но мне почти не видно ее лица, а мне не может внушить симпатию грудь, если лицо, ее дополняющее, не внушает мне симпатии.

Я еще никогда в жизни и мне можно верить, я еще никогда не висел на подножке движущегося поезда, чтобы польский ветер свистел у меня в ушах, а глаза не отрывались от близкой девичьей груди. И потому могу лишь предположить, никакой уверенности у меня нет, и все-таки не без убежденности считаю: если бы не это новое ощущение свободы, свободы, что родилась благодаря бесследному исчезновению тысяч традиционных установлений, я никогда не совершил бы того, что совершил на качающейся подножке вечернего поезда из Радома на Люблин.

Я оторвал правую руку от поручня и постучал в окно. Что оставалось делать девушке, как не выглянуть и посмотреть, кто стучит, выглянуть и глянуть вниз, на меня? Ей ничего другого не оставалось, и я увидел, хотя угол зрения снизу вверх был и теперь не слишком удачный, что ее лицо хорошо дополняет грудь. Я увидел это, хотя девушка не дала мне времени произвести сравнение отдельных своих частей, ведь она же не была такой свободной, как я, и потому одно из тысяч установлений, действительных для путешествующих поездом девиц, заставило ее отодвинуться в дальний уголок, почти исчезнуть из поля моего зрения.

Она, видимо, была еще очень юной и потому, хоть и находилась в укрытии, но, потеряв из виду столь диковинного субъекта, каким был я, а диковинным, в этом я уверен, я был — ведь я же висел где-то там, за стеной вагона, прикинув к окну, — не выдержала характера.

Она чуть наклонилась вперед, и я ей кивнул. Она еще раз спряталась, но это, надо думать, показалось ей слишком явным признаком сочувствия, и она уселась очень прямо, сложила руки на прекрасной груди и не отрываясь смотрела на спящих детей. Тут я заговорил, прижимаясь к окну и не обращая внимания на сильный ветер, который подхватывал мои слова и швырял их через крышу вагона куда-то в польские поля, тут я заговорил:

— Знаю, сухопутный путь до Америки вряд ли кто изберет, но я делаю охотно то, чего другие не делают. К примеру, съедаю мою собачью галету неизмельченной. Или говорю себе: если уж отправляться сухопутным путем в Америку, так проделаю-ка я этот трюк на подножке вагона. Не хочу давать вам указаний, но не называйте мои действия необыкновенными. Да, если бы мы избрали морской путь, вы и я, или даже воздушный, и вы, путешествуя по морю на шхуне, обнаружили бы меня за бортом, у окна вашей каюты, вот это было бы чем-то необыкновенным. Или я кивнул бы вам на значительной высоте над Азорами через иллюминатор цеппелина — вот это достаточно примечательный повод для примечательного слова, — подобное происшествие вы могли бы, пожалуй, назвать чрезвычайным.

Эх, мы, матросы, да в брюках клеш! Моя мать говорит, что матросы — народ нахальный. Полагаю, вам эта точка зрения известна, но теперь вам требуется повод, дабы разделить эту точку зрения. Прекрасно, постараемся осуществить эту задачу. Я устремляю взгляд на вашу грудь и говорю: ну и красотища! Силь-

но сказано, а? Уж такая у меня фризская манера. Род Видукинда — храбрый род; лучше головы решусь, чем крещусь! И манной каши мы тоже не едим!

Я всегда говорил об «Йорне Уле»: никто не изобразил суровой и здоровой самобытности нашего рода лучше, чем пастор Густав Френсен. Ох, ну и заболтался я! Фрейлейн, ты куда едешь? Мы могли бы отправиться в степь, к могильным курганам; заглянули бы к тетушке Вреде, она наварит нам крабов. И очистит их нам. Никому не съест краба с такой быстротой, с какой тетушка Вреде его очистит, говорит моя мать. А тетушка Вреде говорит: никому с такой быстротой не начистить крабов, с какой их лопает Марк Нибур.

Дочка тетушки Вреде на вас, фрейлейн, вроде бы походит, только вот ноги у нее вроде бы кривые. Бог мой, этакая легкая кривая мне по душе, но уж там только, где она к месту, не так ли? Вы решили съездить посетить новые места? Я как-то съездил в Лабое. Обелиск в честь военных моряков смахивает на ножку моей машины, а в подвале развешаны старые знамена.

Машинисту локомотива я уже дал указание — проскакивать все места, где есть обелиски, подвалы со знаменами и священные дубравы. Мне самый вид их противен, и запаха их я не терплю. Знаешь, как должен бы пахнуть мир? Как свежеочищенный огурец. На худой конец, как поле люпина. Я не требую розовых садов. Это, считаю я, замашки персидских принцев, но как воздух в березовой роще, когда только-только прошел дождь, или как ветер, обдувающий копильни в феврале, — вот какой должен быть вкус у жизни! Жизнь, правильно устроенная, должна быть на ощупь, как жеребья морда или песок вечером, после жаркого июльского дня, или как уголок твоего глаза, фрейлейн, там, где он убегает к виску.

Все еще впереди, говорит моя мать, а кто собирается тому помешать, говорю я, тому мы линзы нашими сапогами забросаем, пляж в Кольберге заставим отмыывать и снег в Колс жрать, всех чертей на него нашлем и в карманы ему нас..., в жены он кривоногую Вреде получит, и каждый унтер его будет жучить, ефрейтор паршивый ему ночью приснится, вот уж придется ему полатиться!

Вот каковы, милая фрейлейн с далекими грудками, взгляды Марка Нибура, шпильмана из «Нибелунгов», которому пора уже вскинуть на плечо свою скрипку. Наши пути-дороженьки сейчас разойдутся, мне еще придется побыть здесь, на пути в Америку. Но ты не забывай меня, девица за стеклом, сейчас у нас июнь, лето, и оно всегда, все снова и снова, обязательно будет наступать!

После этой поездки я еще долго хрипел, но теперь и я не обделен был любовной историей, о которой знал только я один.

Я один, ибо она была, как я думаю, историей бурной вспышки и могла бы возбудить подозрение, что я не в своем уме. О бабах толковали в сально-смачных выражениях, каждый оказывался великим искусником по части раздевания дам, и от Нарвика до Эль-Аламейна развязал все до единой тесемки. Каждый славился неутомимой ненасытностью и мозолями, набитыми на ребрах, а название штуковины, что скрыта фиговым листом, знали все на всех языках мира. Войну, как теперь выяснилось, нам бы в жизнь не выиграть: ведь вместо того, чтобы на ратном коне скакать на врага и на обе лопатки укладывать дюжих сержантов, ефрейтор Донйоан и унтер-офицер Казановски — о чем мы узнавали от унтер-офицера Донйоана и ефрейтора Казановски — рыскали в поисках нежной половины вражеского войска и неизменно, о бог мой, неизменно такую находили.

Поначалу я слушал разинув рот и голова у меня кружилась от перспектив, но вскоре эти сально-смачные истории постигла та же участь, что не так давно, когда нас мучил Господин Великий Голод, постигла совсем другие сально-смачные истории, к примеру историю о сыне гамбургского мясника!

Поначалу это была одна из многих повестей о навеки ушедшем благоденствии, рассказанная на пустой желудок, и лишь подтверждала положение, что идеи выручают нас там, где не имеется материи. Сын мясника рассказал, что он и его отец придерживались обычая съедать от каждой забитой свиньи толстенный шматок сала на пробу, а потом еще закатывали мясничихе — жене и матери —

чудовищный скандал, ежели она не подавала им по три великанских отбивных на мясниковый нос. Одно удовольствие было слушать эту историю под урчание голодных животов, и даже тогда, когда оба колбасника с каждым ее повторением забивали явно все больше и больше свиней и, стало быть, явно все чаще и чаще лакомились салом — хотя мимоходом умятые куски сала тем временем уже были величиной с ладонь, — даже тогда история эта нас все еще развлекала, и рассказчик был уверен в успехе, расписывая нам негодование — свое и папашино — из-за того, что мясничиха осмеливалась двум этим изголодавшимся костоломам подать меньше, чем дважды по пять гигантских ломтей жареной свинины.

В конце концов, однако, память нашего рассказчика вознесла их с отцом до владельцев скотобойни, свиньи мерли у них конвейерной смертью, а отец и сын хватали прямо с конвейера еще теплое сало, и все хватали, и хватали, и хватали; вот тут уже нас тянуло рвать, и было ясно, что рассказчику нужен врач, хоть и он бессилен против голодного психоза.

Сам не знаю как, но я сумел отмежевать сказки о девчонках моей юности, некогда бывшие правдой, от похабного острожного бахвальства; а все эти самохвальные спецсообщения, рассказы молодчиков о домохозяйках в тесных халатах, бордельные истории с мадам, которой приходилось включаться, ибо у гостя в некотором смысле наблюдалась предрасположенность к сверхдлине, — все это ничего общего не имело с моим сладостным пребыванием подле теплой и нежной кожи, от которого я впадал в блаженнейшее состояние. А пребывание за колючей проволокой не позволяло мне раскисать и с тоскою оглядываться на прошлое: легко можно было свихнуться, засматриваясь на далекие цветистые облака. А потому я считал за лучшее разглядывать железнодорожный путь между Радомом и Люблином, упражняя на нем свое мастерство, точно собирался всю жизнь выдирать гвозди из шпал и ломом, точно рычагом, выворачивать рельсы, таскал, напрягая мускулы, все, что в силах был удержать, загружал голову расчетами, как сподручнее пустить в ход клещи и точнее замахнутья подбойкой, мчался верхом на тендере и локомотиве, на крыше вагона и подножке сквозь переменчивое лето, входил в лагерьные ворота и выходил из этих ворот, за которыми все еще драли глотку матросы, и только во сне, свернувшись на своей куртке, я все еще не был по-настоящему взрослым.

## V

Этим же летом нам пришлось в Люблине перегружать швейные машинки из одного товарняка в другой, с нормальной колеи на широкую.

Поначалу — я ведь не очень-то разбираюсь в железнодорожных терминах — я говорил о широкой колее и узкой, однако мне весьма жестко, даже, кажется, не в меру жестко, разъяснили, что по узкой колее наши крестьяне подвозят капусту, а колея, что по ширине будет между «капустной» и русской, называется нормальной колеей.

— Все верно, — ответил я, — но когда говоришь о колее, то парой к широкой будет узкая, а широкая и нормальная что-то плохо ладятся.

— Вот сквозь дырки вместо зубов заговоришь, у тебя и вовсе ничего не заладится! — гаркнул бывший каптенармус, которого наш конвой произвел в старшего по колонне, и хоть я его не совсем понял, но язык придержал: зубы во рту мне хотелось сохранить.

Существовали сферы человеческой чувствительности, границы которых были мне неизвестны, и только по ярости людей я замечал, что вступил в запретную зону, а с тех пор, как увидел, что возбуждение лишь возрастало, когда спросишь о причинах, перестал и спрашивать.

Между составами порожняком, что на широкой колее, и груженым — на нормальной, проходили еще четыре колеи; расстояние было немалое. Швейные машинки из дверей вагона взваливали нам на плечи, и тут рельсы точно начинали расти; восьмой рельс, последний перед порожняком на широких осях, был уже стальным барьером, едва преодолимый, а у открытой двери мы едва держались на ногах и с облегчением вздыхали, освобождая плечи от гнета.



Брюнохрис, сектант из Галле, объявил по этому случаю, что торговал дома пуговицами и нитками, а также служил развозным агентом фирмы «Пфафф». Подобные сведения нас не очень-то интересовали, слишком уж часто к описанию бывшего благоденствия пристегивались надоедливые сетования и разительные причитания. Но кое-кто прислушивался к речам коммерсанта, когда он с важностью толковал о преимуществах пфаффовских машинок перед зингеровскими; быть может, речи Брюнохриса напоминали людям о доме и о жене, или же им, как и мне, приходила в голову мысль, что мы, мужчины, ничего ровным счетом не смыслим в этих бабских механизмах.

Мой дед в своей сапсжной мастерской даже к машинке для строчки не прикасался, если бабушка болела — а болела она часто, — эта работа лежала без движения.

Мне понадобилось время, чтобы припомнить, где у нас дома стояла машинка; ею никогда не пользовались, но она, видимо, была атрибутом семьи, так же как обручальные кольца были атрибутами брака.

Если нам нужно было что-то сшить, мы обращались к тете Анне или тете Риттер. Тетя Анна была нам двоюродной бабушкой, сестрой деда-сапожника, а тетя Риттер была всего-навсего подругой моей матери. Обе тяжело вздыхали, когда им приносили работу, и одна ни во что не ставила мастерство другой.

Тетя Риттер курила так много, как никто из моих знакомых, и она единственная, сколько я помню, давала нам, если сбегаете ей за сигаретами «Юнона круглая», грош. Стоило посидеть у нее четверть часика, поглядеть, как она курит и шьет, и на весь остаток дня провоняешь круглой «Юноной», зато обогатишься какой-нибудь этакой мудростью: негр действует неосознанно! Или: петрушка, по сути дела, в любое блюдо годна! Или: Гинденбург, вот это был человек!

У теток, той и другой, стояли зингеровские машинки, и большая часть машинок, которыми я обдирав себе плечи на товарной станции в Люблине, были продукцией этой фирмы. Я не очень-то любил Брюнохриса — он всякий раз бился об заклад, а проигрывая, препирался, — вот и сказал ему, что изделия Пфаффа, видимо, не так уж хороши: я уже столько «зингеров» перетаскал, сколько «пфаффов», и «миле», и «фихтель и заксе» и «гриумфов», вместе взятых; немецкая домохозяйка, похоже, высказалась в пользу Зингера.

— В пользу Айзе-е-ека Зингера! — протянул коммерсант Брюнохрис, словно это был ответ, и, увидев, что мне его слова ничего не говорят, добавил: — Айзе-ек, пишется Иса-ак, смекаешь?

Тема пришлось мне не по душе, ибо кто затронет ее, обязан был издеваться и негодовать, и я попросил, чтоб Брюнохрис разговаривал со мной как представитель фирмы, а не как офицер штаба.

Однако в ответ я услышал, что у представителя фирмы имеются еще обязанности представителя нации, равно как и у каждой домохозяйки, а со швейными машинками происходит то же самое, что с пророками: немецкая швейная машинка прославилась на весь мир, недаром в мирное время доля экспорта в пятнадцать раз превышала долю импорта — но, что правда, то правда, внутри страны продукция Зингера пользовалась возмутительно большим спросом.

Тут Брюнохрис совершил ошибку, пустившись в подробнейшее сравнение отечественных и иностранных машинок; он ухитрился даже кое-что рассказать нам о никелированном зубчатом транспортере и о бешеной скорости при строчке двойным стежком, пока мы с трудом тащились по гальке и шагали через рельсы с машинкой на горбу, которая — отечественного, иностранного ли происхождения — весила не меньше молотилки.

И когда я с ним встретился на таком переходе — он налегке, я нагруженный, — то в ответ на его вопли о спросе на «миле» и «пфаффе» пробормотал, вернее прокряхтел:

— Осточертел ты со своим «миле», не пустить ли тебя на мыло! — И на сей раз вышел победителем.

Мы, привыкшие к фельдфебельским островам, были не избалованы, и потому присловье «пустить его на мыло», которое позже стало звучать «а не пора ли

его на мыло!», продержалось довольно долго и всегда всех веселило.

Но не Брюнохриса: до самого обеда он едва словечко проронил, а в обеденный перерыв обнаружилось, что он все это время обдумывал, как восстановить свой авторитет.

— А что вы думаете, откуда эти швейные машинки? — спросил он нас, и тут же сам ответил: — Они сюда не с завода поступили и не из магазина, они поступили прямехонько из наших квартир. Их сперли, их сперли у наших женщин. Ну, кого теперь пустить на мыло, а, засранец? Может, в вагон, что покатит к донским казакам, ты загрузил машинку собственной мамочки. Они, правда, подумают, не орган ли это, и очень удивятся, когда не услышат музыки, машин капут, но твоя мамочка осталась с носом, и кто знает, чего она еще недосчитается.

Не очень-то умно я поступил, сказав, что в наших краях стоят англичане; тут же нашлись такие, в чьих краях стояли русские, и не прошло минуты, как кто-то объявил: действительно, мол, утром одна машинка в футляре красного дерева показалась ему знакомой, а он живет в Фюрстенберге-на-Хафеле. Нетрудно догадаться, что в воцарившейся тишине каждый задумался над вопросом, не попала ли ему знакомая машинка и не сидит ли кто-то из его родных и знакомых теперь без швейной машинки.

Пуговичник обладал особым чутьем, знал, когда вставить словечко; точка в точку на стыке угрюмого молчания и угрюмой ругани он заявил:

— А все-таки, скажу я вам, довольно стыдно, что мы грузим наши собственные машинки, но это еще так-сяк, это же принудиловка. Одно я вам скажу: попадется мне в руки «миле», на которой жена сшила крестинное платье для нашей малышки и костюм для сына к конфирмации, или, скажем, найду машинку, которую сам продал, может, вдове Портновски в кредит, она кормила восьмерых ребятшек с ее помощью, а может, сыну нашего соседа Карлхену Шлефу, он подарил матери кабинетную машинку, когда сдал экзамен на ассессора, — так в этом случае я считаю себя вправе сохранить на память от нее челнок.

Долго ему ждать не пришлось, вот уже один из двух силезских забойщиков спросил, где же найти этот челнок.

Брюнохрис показал нам где, показал, как этот челнок высвободить из лоя, и показал, что шлаковый отвал — самое верное место, чтобы упрятать эти детали надолго.

— Да, — сказал он, — не думаю, чтоб в необъятной России так быстро нашлись подходящие запасные челноки, вот когда вся необъятная Россия запоет: тетя Христа, тетя Христа, а машинка барахлиста! Нет, не так, у русских дам нет имени Христа, а так: тетя Настя, тетя Настя, где же у машинки части?

Успех он имел колоссальный, хотя наш хохот и навел конвоиров на мысль, что обеденный перерыв слишком затянулся.

Понятно, я без всякой охоты вспоминаю, что почти столько же челноков побросал в шлак, сколько перетаскал швейных машинок, но когда меня просили сделать одижение, я не смел думать о себе. Помню, однажды у меня мелькнула мысль — машинки-то вряд ли предназначены лично маршалу Сталину, но я быстро пресек подобные размышления и, сделав незначительное усилие, представил себе, как все было, когда чужеземные солдаты вошли в дом, чтобы отобрать у хозяйки ее швейную машинку.

А тетю Анну, подумал я, или тетю Риттер они тоже могли прихватить с собой, мне представлялось, что эти женщины неотделимы от механизмов Айзе-е-ека Зингера.

От злости я выбился из черепашьего темпа, в котором мы двигались на разгрузке-погрузке, и догнал Гесснера, едва бредущего по гравию, хотя ему давали самые легкие модели. Он назвался директором банка, и если другие служащие его фирмы обладали такой же комплекцией, так они, верно, задвигали двери сейфа не меньше чем шестером.

Я, правда, не очень-то верил в «директора», тут, кто его знает почему, едва ли не каждый бухгалтер повышался в должности до прокуриса фирмы, мне с тру-

дом верилось, что директор банка — и вдруг пехтура, но Гесснер был прелюбопытным типом и мне по душе.

Вежливый и сдержанный, как того требовало его сложение, он все же попал в барак дебоширов, и справедливо: тяжелой шайкой он сломал соседу в бане ребро, когда тот, хоть и нагишом, как сам Гесснер, стал теснить его, мешая мыться. Гесснер прилагал видимое старание, пытаясь усвоить грубый лагерный язык; но получалось это у него смешно, он даже такое обыденное слово, как «дерьмо», произносил с трудом.

Я пошел с ним, испугавшись, как бы он не грохнулся под тяжестью своей машинки, и, когда дело едва до этого не дошло, помог ему опустить ее наземь.

— Ну и чертовски же тяжелое это дерьмо,— простонал он и не переводя духа продолжал: — А операция с челноками вот уж жидкое дерьмо, влезешь — не отмоешься. Застукают тебя на саботаже, парень, и башка долой.

— Не застукают,— ответил я,— и ведь Брюнохрис прав, их же сперли.

— А мы каждую тетеньку на Украине осчастливили швейной машинкой,— буркнул он.

— Этого я не говорю, хоть сам при том не был, но знаю, что от нас ни курицы, ни валенок было не укрыть. И еще я знаю, что отец, приезжая в отпуск из Франции, вез багаж с вокзала на тележке.

— Так умножь твоего отца на весь вермахт, в производстве получится уже море дерьма.

— Так ведь это же война,— запротестовал я.

— Ах вот как, а теперь у нас что, мир? Сейчас мертвые из земли восстанут, у калек отрастут ноги, дома позабудут, что польхали, окопы и блиндажи заполнятся землей и зазеленеют, поля чудом заколосятся, лес вырастет по мановению волшебной палочки — ведь у нас мир. И ты веришь в эту дерьмовину?

— Но от наших машинок поля тоже не заколосятся,— возразил я,— кто-то же должен кончить.

— Парень, так ведь это же не мы по доброй воле пожелали кончить, уясни себе это. Они нам прежде такого пинка в задницу дали, что мы в собственном дерьме захлебнулись, только тогда мы пожелали, чтобы они, ох, наконец-то кончили. А ты разве кончаешь, когда швыряешь челнок в шлак? Чего ты хочешь? Чтобы все кончилось? Так кончай и сам. Ах, в каком же мы дерьме!

— Вот я тебе сейчас машинку на горб взвалю,— обозлился я,— и челнок оставляю, чтоб твою совесть не мучить. Но желаю тебе, чтоб русские вошли и в Гессен, ты же из Гессена?

— Эх,— сказал он,— в моем случае это большого значения не имеет, мой дом сгорел и швейная машинка тоже. Одним словом — дерьмо!

Однажды ярким июньским утром меня охватила такая тоска по дому, что я с трудом сдержался, чтобы не разреветься. Не знаю, как подобные чувства возникают, что их пробуждает и что развевает; знаю только, они напоминают сердечную тоску от совсем-совсем юной любви.

С годами от нее — речь я веду о любви — испытываешь немало боли, но то уже совсем иная боль; ведь с годами узнаешь, что она проходит и уж наверняка никого не убивает; боль эту считают тем непозволительней, чем старше человек, ее притупляют, сражая иронией, на нее спускают свирепые мысли, чтоб они ее зарызли, а поскольку в эти годы уже волей-неволей веришь, что смерть реальна, то твердо знаешь, что и этой боли неминуемо приходит конец.

Но в начале жизни все бывает иначе. В начале жизни тобой правит мгновение. Все останется до скончания века так, как оно есть сейчас. В ранние годы ты еще не расчленен. Ты еще человек цельный: ты либо целиком и полностью несчастен, либо целиком и полностью счастлив. Две души в человеке формируются только с годами, только с годами ты всегда держишь противоядие при себе, как бы в себе; только с годами ты точно бы удаиваешься и обретаешь достаточно

мужества противостоять как непомерному страданию, так и непомерному счастью.

Вначале мы не в силах бываем решительно сопротивляться, да, пожалуй, это и не нужно. Нам нужно постепенно привыкать к мысли, что мы можем парить в вышине, но можем ухнуть вниз и разбиться насмерть.

Вот вспоминаю, какой была она, первая любовь: просыпаешься словно со стеснением в груди и с мыслью о ее вчерашнем взгляде, волчий аппетит разыгрывается, как одно из проявлений чрезмерности во всем; расстояния для тебя не существуют; зато время существует, до безумия много времени проходит между данным мгновением и новой встречей; решения принимаешь, какие Аяксу, Александру, Зигфриду и не снились. Песни распевашь; неужели ты поешь не стыдись, хотя кругом столько народу? Открытие за открытием: веснушки бывают к лицу; шепоток создает близость; а я остряк, сказала она, я остряк; я, стало быть, существую, ведь я же остряк; она знает Верти Коха, прикончим Берти Коха, оказывается, я страшен в гневе; у девиц бедра какие-то другие; ходить медленно и короткими шагами не так-то просто, не та-ак-то просто, зато доставляет величайшее удовольствие; а у девчонок совсем другая температура; я ей нравлюсь, сказала она, я сказал, что и она мне нравится, ох, уму непостижимо; все, все сюда, слушайте, слушайте: я ей нравлюсь, я — ей!

Но вот они, совсем другие открытия; ей нравятся и другие, она как-то вдруг перестает понимать, о чем речь, и фильм не такой уж хороший, и времени у нее ни минуты нет, и вообще какая-то она неуловимая, да, я ее теряю. Все, все оставайтесь по домам, не слушайте, нет, и глаз не поднимайте: Марк Нибур приготовился умирать.

Сердечная тоска и сердечные муки, о них говорят, кривя губы, но они все-таки существуют, и как может быть иначе, если душа твоя — еще, еще раз скривим губы,— если душа твоя истекает кровью.

Тоска по дому точно такое же чувство, и это неудивительно, в нее тоже замешана любовь и утрата. В тоске по дому, как и в любовных муках, заключена двойственность, наслаждение примешано к боли, жестокое несчастье, которое тебя постигло, делает тебя неповторимым; исключено, чтобы кто-то еще так страдал, и оттого исключено, чтобы кто-то еще был таким, как ты.

Я точно помню, каким значительным казался себе, когда меня впервые охватила великая тоска по дому и когда я придумал ей наименование. Дело было неподалеку от Эккернферде, на берегу Кильской бухты. В мире не найти такой загаженной воды, как в этом уголке Балтийского моря. Такой холодной и такой соленой. И в эту-то кошмарную жижу они гоняли нас каждое утро в шесть, тотчас после другого кошмара, который они называли бег по лесистой местности. В эти помои мы должны были нырять, а кто хотел стать истинным германцем и мужчиной, чистил ими зубы, без зубного порошка, ибо с порошком — это же недостойно истинного германца и мужчины. Кофе к завтраку нам варили не иначе как из тех же самых ополосков, а день наш был заполнен скверным мармеладом, мировоззрением и физической закалкой.

Ни мужества, ни истинно германских черт я там не приобрел; наоборот, я даже подумывал, не сбежать ли мне, не дезертировать ли; а другой мальчонка не только подумывал, он и вправду сбежал. Пешком хотел добраться от Эккернферде до Хузума, где был его дом. Хотел домой, к матери, ему же еще не было одиннадцати лет, и он не понимал, что благодаря мармеладу и физической закалке человек все более и более приближается к идеалу истинного германца. Может, он и не хотел к нему приближаться, ведь он дал тягу; но наши фюреры сели на свои мотоциклы и отправились его искать.

И нашли его. И привели назад. Они шеренгой въехали в лагерь, пять молодых на тяжелых мотоциклах «цундапп», а перед шеренгой едва брел, спотыкаясь, мальчишка; он понимал, что я и сегодня еще понимаю: они бы его задавили, упади он на землю, они бы задавили его на наших глазах. Они же на наших глазах и для наших глаз вот что сделали: взвалили мальчонку на спину — ему всего десять было, как и нам всем, — ранец, насыпав туда сырого песку с пляжа, а ляжки

заменив обрывками телефонного провода, и приказали мальчишке, который был не старше меня, шагать за забором вокруг лагеря и петь при этом:

Реет знамя, строится отряд,  
В будущее ты идешь, солдат.  
Наше знамя в вечность нас ведет,  
Наше знамя нам превыше смерти!

Во все это я с тех пор не очень-то верил, и мне безразлично, верят мне или нет. Я сам это знаю. И еще по сей день ощущаю телефонные провода на моих ключицах, хорошо помню, как скрипел и каков был на вкус песок на зубах мальчишки, когда песок в ранце снова и снова швырял его на песок лагеря.

Они хватили через край. Хотели показать нам свою власть, хотели показать, что нам грозит, если мы попытаемся уйти из-под их власти. Все это они нам показали. Мальчонка с ранцем, набитым песком, — чего уж тут не понять. Никто больше не сбежал. И все-таки они, надо думать, потеряли не меня одного. Они хватили через край, они внушили нам не только страх перед наказанием, но и страх перед ними. Они показали мне и наверняка многим другим, что мы с ними не братья. Они пробудили во мне страх перед будущим с ними.

Нет, той науки не хватило, чтобы сделать меня их врагом, мы просто стали стнные чужими.

Вечером того дня — мальчишку они куда-то увезли, я так и не узнал куда, а меня поставили к воротам лагеря, была моя очередь их охранять, — вечером того дня я едва не захлебнулся тоской по родине.

Хоть я и понимал, что Марне лежит не за Андами, а всего на расстоянии двух дневных переходов к юго-западу или двух часов в поезде на другом конце Кильского канала, это ничуть не помогало; наоборот, все понимая, я тосковал еще сильнее. Мне казалось, что хоть Марне и лежит за соседней изгородью, за оградой выгона, тут же за кустами лещины, в двух шагах слева от облака в батрянце заката, но мне в жизни ее не увидеть. И календарь ничуть не помогал: всего две недели осталось. Две недели — да это же вечность, а вечность — это смерть, а смерть ведь превыше знамени, но я хотел только домой.

Теперь я думаю, что к тоске моей подмешивалось кое-что другое: я хоть и страдал, но выполнял все свои обязанности, сердце у меня надрывалось, но я щелкал каблуками, у меня слезы на глазах выступали, так сильно стремился я прочь из лагеря, но все-таки охранял его ворота — все это непостижимым образом подмешивало к моей муке какое-то ощущение, которое я лишь оттого не смел называть восторгом, что мне представилось бы чудовищным говорить о восторге, раз я был так глубоко несчастлив.

Я очень давно не перечитывал «Песнь о нибелунгах» и потому не помню, действительно ли могучий Фолькер-шпильман таков, каким он был для меня в юности и даже еще в детстве: богатырь, умеющий тонко чувствовать, поэт, искусно действующий мечом, верный друг, сохранивший верность, зная, что из-за нее погибнет, человек, способный при подобных взглядах на жизнь слагать песни.

Если бы мы играли когда-нибудь в нибелунгов (странно, мы не играли в нибелунгов, хотя вечно играли какие-то роли — индейцев, жандармов, трапперов, разбойников, контрабандистов, рихтгофенов<sup>19</sup> и мельдерсов<sup>20</sup>, клоунов и роль гитлерюнге Квекса<sup>21</sup>), — если бы мы когда-нибудь играли в нибелунгов и разыгрывали гибель героев в замке Этцеля, я бы хотел быть только Фолькером из Альдая, скрипачом.

Некогда разгорелся спор, допустима ли «Песнь о нибелунгах» как учебное чтение в мирные времена и для мирных времен; я в этих вопросах не специалист, но кто из героев показался бы мне сомнительным, так это Фолькер, столь близкий мне по духу в годы юности.

<sup>19</sup> Рихтгофен — генерал, командовал легионом «Кондор» в годы гражданской войны в Испании; во время нападения Гитлера на Советский Союз командовал 4-м воздушным флотом.

<sup>20</sup> Мельдерс — полковник, теоретик германских ВВС.

<sup>21</sup> «Гитлерюнге Квекс» — нацистский пропагандистский фильм.

Верность вовсе не означает, что нужно по-дурацки рисковать собственной головой, пусть ты некогда и давал обязательства; верность нужно соблюдать по Фолькеру: зная о близкой гибели, страдай от этого, но найди в себе силы сопротивляться гибели игрой на скрипке. Хорошего в его выборе мало — либо он прикончит Хильдебранда, либо Хильдебранд прикончит его; от подобной неотвратимости сжималось сердце, но что поделаешь, смерть одного или смерть другого неизбежна. Так прежде он еще сыграет на скрипке, столь сладостно и столь печально, и хоть все, что было раньше, и все, что будет позже, обернулось дерьмом, но такой вечер накануне бойни, такая песнь, спетая скрипкой во дворе замка Этцеля, такой час, когда друг и враг, внимая Фолькеру-шпильману, одинаково ощутили глубокое волнение, такой конец жизненного пути оправдывал всю жизнь.

Стоя у ворот лагеря на берегу Эккернфердерской бухты вечером того самого паскудно-пыточного дня и глубоко страдая оттого, что обнаружил жестокость, где предполагал мужественную суровость, и подлость, где предполагал и одобрил бы опять же мужественную суровость, мучительно тоскуя по любящим родным, я пытался подражать шпильману, я содрогался от ужаса за свою судьбу, страх сжимал мне горло, и тем не менее я оставался верным стражем глубокого сна своих верных, но чуть менее ранимых спутников в замке Этцеля на загаженном берегу Балтийского моря.

Я стал на восемь лет старше, и когда одним прекрасным июньским утром в Польше, прижавшись к железнодорожному откосу, глядел, как вжимает на мгновение рельсы и шпалы в гравий катящий мимо многотонный груз, слышал, как стук колес по стали и дереву гудом отзывается в камне балласта, распознал в звуках и движении старый мотив, милый мне еще со времен моей любимой степи и копченой колбасы, со времен вечеров с крабами и жареной камбалой, со времен ранних утренних часов, пронизанных криком чаек и подернутых туманом, то впервые, кажется, за эти полгода совсем другой жизни меня одолело сострадание к самому себе и хватило только смекалки вскарабкаться по откосу наверх, а рыдания отложить, пока не улягутся возле рельсов, бегущих из Радома в Люблин, да тот город и другой в Польше.

С Фолькером-шпильманом ничего общего. Или все-таки? Думаю, в той мере, в какой я порицал свои действия, в той мере, в какой я поражался своей способности так рыдать. Но тут на разъезде остановился поезд: это вернуло меня во внешний мир.

Все было как всегда в подобных случаях: двери вагонов раздвинули, мужчины прыгнули на землю, потянулись, помогли вылезти женщинам, а те, как обычно, взвизгивали, и все бросились в кусты, там и сям раздавались проклятья, кто-то, видимо, залез в эти кусты уже раньше. Потом они принесли воды, собрали хворост, развели костры, и оттуда потянулись запахи — о силы неба! о силы ада!

Конвоиры строго следили, чтобы мы не приближались к вагонам, с тех пор как возвращающиеся на родину угнанные рабочие отдубасили нашего старшего. Но уж очень мерзкая у того была манера орать: живо! живо! Все-таки мы всякий раз пытались подобраться к вагонам; для нас это было каким-то развлечением, надо думать, мы все друг другу порядком приелись.

— Марек, — сказал мне железнодорожник, не упускавший случая показать свое знание немецкого, — берешь лопата, заступ, кирка, идешь с эти люди.

«Эти люди» были двое молодых еще мужчин, не слишком-то дружелюбно, видимо, настроенных, но железнодорожника, который распоряжался инструментом, они расположили к себе, угостив сигаретой.

Они вскарабкались по откосу наверх, и железнодорожник дурацким поклоном дал мне понять, чтобы я следовал за ними. Поклон этот он, видимо, украл из какого-то фильма; я уже давно ломал себе голову — из какого.

Я привык, что мне без всяких там объяснений приказывали делать то или другое, но в случае с этими двумя все обстояло иначе: за сигарету они получили инструменты, но ведь не меня.

Я тут же прикинулся дурачком; стоит только потренироваться, и дело пойдет: ты плохо слышишь, долго не смекаешь что к чему, а двигаешься, точно сейчас из лазарета, операция, видите ли, желудка, одна треть всего осталась.

Ну, ладно, после долгих препирательств я наконец понял, что должен выкопать яму, но до первого удара заступом разыграл перед «эти люди» весь набор рабочих приемов. Разве ж так просто начинают копать, сначала нужно все обдумать: выдержит ли инструмент соприкосновение с землей; кажется тебе или ручка лопаты, если на нее покрепче нажать, и правда так страшно скрипит, достаточно ли остра лопата, справится ли она с гранитом, который может оказаться тут в земле; действительно ли способна выдержать ручка лопаты те колоссальные нагрузки, которым, хочешь не хочешь, придется сейчас ее подвергнуть...

А проверил инструмент — обследуй почву; не исключено, что неосторожным движением ты наткнешься на неразорвавшуюся бомбу или на мины, вскрыешь нефтяной фонтан или горячий гейзер.

Но во втором отделении мне не пришлось долго балаганить, один из них сказал:

— Да, у тебя получается неплохо, но у нас, к сожалению, времени нет посмотреть весь номер. Когда-то я знал человека, так тот лопату выстукивал, проверял, может ли служить камертоном. Жаль, и времени нет и поезд не ждет. Давай инструмент, садись посиди, мы выкопаем могилу.

Они работали, как работают люди только для себя: споро и дружно, без лишних слов, движениями четкими, как один человек. Первый наметил прямоугольник и заступом равномерно надсек травяной покров, второй поднимал лопатой куски дерна и аккуратно складывал их низенькой стенкой. Первый быстрыми и сильными ударами кирки разбивал глинистую почву, второй заступом и лопатой вгрызался в землю; по длинным сторонам ямы быстро росли холмики; молодые мужчины повесили свои рубахи на ветки сосен, а я никак не мог понять, что же все это значило.

Наверняка, однако же, считал я, копают они не могилу. Правда, сам я еще могил не копал, я хочу сказать таких, в которые положили бы одного человека, но видел порядочно вырытых могил, чтобы знать, каких они размеров.

Сейчас, когда я об этом рассказываю, то помню, что не был уже к тому времени таким обмороченным, чтобы хоть на минуту допустить, что это место, над которым трудились те люди, может стать местом моего упокоения, хотя если предположить, что оно для меня, то их ямы вполне бы хватило, чтобы без гроба закопать в нее взрослого человека.

Нет, об этом я не думал, но потому именно, что понимаю — еще полгода назад я бы этого опасался, мне и приходится говорить о себе как о человеке, теперь уже не таком обмороченном, у которого морок уже понемногу стал рассеиваться.

Да, на первых порах я в каждом движении руки к кобуре видел умысел прикончить меня. На первых порах, уж это как пить дать, приказ выкопать яму во вражеской земле, на которой меня схватили как врага, я воспринял бы в полной уверенности, что незамедлительно отбуду в мир иной, и не оценил бы шноровку, с какой те двое копали могилу, ибо на первых порах она без всякого сомнения, а стало быть, и без всякой для меня надежды была бы моей могилой.

Правда, еще гораздо, гораздо раньше, в дни моего детства, достаточно было произнести такие слова, как «могила» или «кладбище», чтобы вызвать у меня какое-то странное состояние, я переставал повиноваться, упрямо отказывался выполнять какие-то просьбы и превращался в невероятного грубияна, не стеснялся реветь как зверь и кататься по полу.

Мне, кажется, минуло шестнадцать, когда я впервые попал на кладбище, у меня там, должно быть, перехватило дыхание, я старался не смотреть вокруг, поэтому воспоминания у меня об этом событии остались весьма смутные, какие-то обрывки, которые друг с другом не ладятся.

Я не считаю, что требуется искать особые основания, если человек знает ни-

чего не желает о смерти и мертвецах, вот ежели наоборот, тогда следует заинтересоваться причинами.

Стало быть, там, у польского разъезда, я сидел и наблюдал за двумя молодыми мужчинами, копавшими яму, и совсем успокоился, когда стало ясно, что размеры ямы не отвечают размерам гроба.

Как бывает после сильного душевного перенапряжения — а стенания от тоски по родине меня вконец измотали, — я сидел какой-то всем довольный, какой-то невесомый, ни с чем и ни с кем вокруг не связанный, и ничуть не интересовался, зачем же все-таки они копают эту яму.

— Эй, держи инструменты, жди, посиди в сторонке, они нам еще понадобятся, — сказал старший, и они стали спускаться по откосу к путям, но не там, где мы карабкались наверх, а по более отлогому склону.

Хорошо, думал я, если бы день так и кончился: небо сегодня высокое, точно голубой в белых метинах шатер, натянутый за дальним горизонтом; если очень захотеть, можно ощутить аромат раннего картофеля, первого скошенного сена и сосновой смолы, нагретой солнцем; и я, хоть и сел в сторонку, как мне приказали, ощущал запах свежееоткопанного песка у покинутой ямы.

То было мгновение, когда хотелось остаться таким как есть на веки вечные; слиться, не смея шелохнуться, со своим окружением; стать кустом, надежно укоренившимся в почву, не отягощенным никакими думами.

Такие чувства возвышали душу после безмерного унижения, пережитого часом раньше, и это ощущение породило мысль: если меня не стерли в порошок до сих пор, так этого уже не случится, и значит, у меня есть надежда.

Да, Нибур, конечно же, не исключается, вполне мыслимо и очень даже может быть, что и ты в один прекрасный день, как те там, внизу, будешь сидеть в дверях вагона и щуриться на солнце, зная, что едешь к нему, приближаешься к нему, а вернее говоря — к дому. И никто не пошлет вдогонку тебе танк или здоровенных молодцов на «цундаппах», чтобы заставить тебя по-пластунски ползать вокруг собора, или стрелять в кашевара, или таскать набитый песком ранец, или ломом двигать рельсы, или копать могилу. Но подобные размышления запрещены, это я хорошо понимал. Не едят снег, не мечтают о возвращении домой, еще не сжившись с мыслью о плене. Думать о возвращении домой — значит дать тоске овладеть тобой, а тосковать — значит терять силы, что негоже в суровых местах, к которым ты нынче прикован.

Ладно, не будем раздумывать о предметах исключительных, надрывающих душу; установим-ка вергикальную переборку над бровями, отделим-ка глаза ото лба; прервем связь между видением и мыслью, между восприятием и мыслью; проконтролируем дотошно, если уж невозможно парализовать его полностью, со-общение между верхними отделами головы и всем лежащим ниже аппаратом осязания, обоняния, вкуса, зрения и слуха, оставим ход лишь снизу вверх, чтобы только в верхних отделах совершался процесс отбора и решения того, что для нашей жизни в эту минуту и для этой минуты в нашей жизни неизбежно и безотлагательно. Все это может удасться, если очень сильно хотеть; и с каждым разом будет удаваться все лучше и лучше, и опасность заключается в том, что одними добрыми намерениями не создать условий для обратного хода.

При этом все произойдет так, как с рукой, если она долго остается в бездействии: она быстро хиреет и к новой жизни возрождается лишь при упорных упражнениях. Да и то не всегда полностью.

Надо мной нависла опасность, но в определенных пределах. Я был слишком пооболыпным, а раз так, значит, мне не обойтись без размышлений.

Да, именно такой я был, к тому же рад-радехонек, что цель работы тех моих меня ничуть не касается, и сидел спокойно с инструментами неподалеку от ямы, от которой пахло сырой землей, и все еще сидел, когда по насыпи стала подниматься похоронная процессия.

Я хоть не видел гроба и даже мертвого тела, но какого рода церемония здесь происходила, мне было более чем ясно. У могилы царила тишина, которую слышишь, когда ее нарушают всхлипывания, — тишина, которая внушает трепет; ведь



ты видишь перед собой уйму народу и ждешь жуть какого шума. Здесь все двигалось в замедленном темпе, словно желая еще хоть ненадолго удержать покойного на земле. Здесь чувствовалось то особенное достоинство, какое отличает человека хоть с опущенным взором, хоть с высоко поднятой головой, то упрямое достоинство, которое говорит об утратах, но оно же говорит и о решимости к борьбе.

И здесь я увидел мертвое тело, труп ребенка, обернутый в пестрое одеяло, а может быть, скатерть, а под ней угадывалось еще толстое одеяло, и этот сверток нес один из тех, что копали яму, тот, кто не говорил или не хотел говорить по-немецки.

Теперь я понял, почему они искали более пологий спуск к рельсам: процессия поднималась теперь по этой пологой тропке, но все равно человеку с мертвым ребенком на руках идти было трудно, друг поддерживал его, едва ли не тащил его наверх по откосу, и вновь ясно обозначилось, что эти двое давно знают друг друга.

Я сразу же вскочил, не рассиживаются же, когда кого-то хоронят, и отступил чуть дальше под сосны, прекрасно понимая, что тут я наверняка лишний.

Пожилой человек взял на себя обязанности священника; я понял это по его интонации и по песне, которую они пели после его речи, и друг тоже сказал речь, но совсем с другой интонацией, и песня, которую они потом пели, звучала тоже иначе. Отец младенца спустился в яму, друг подал ему сверток, а совсем молодую женщину им пришлось насильно увести от могилы, и она очень плакала.

После чего все бросили в могилу по три горсти земли, но не так, как бросают обычно; друг подал пример, остальные повторили его движения: он взял немного слипшегося песка и опустил на колени, ясно было, что он не молится, нет, но он не осмеливался бросать песок с такой высоты на ребенка — у того же не было гроба.

Кое-кто хотел еще постоять у могилы, но отец ребенка резкими словами прогнал всех назад к поезду, остались только он и его друг, чтобы зарыть могилу.

Друг подошел ко мне взять лопату и заступ, а когда я спросил, можно ли мне им помочь, он сказал, что нет.

## VI

Расстался я с польской железной дорогой самым нелепым образом: из проезжающего мимо поезда белорусы или украинцы, они возвращались на родину, швырнули мне что-то, угодив в голову, — оказалось, как я узнал впоследствии, круглый и закаменелый хлеб.

Вот что получается, если у человека возникают добрые намерения и он, к примеру, решает: эти бедолаги на путях наверняка жрать хотят, а у нас осталась черствая буханка! И если он при этом не припомнит физические законы, к примеру, что полуторакилограммовый хлеб, вышвырнутый из движущегося поезда в направлении движения, получает на мгновение скорость названного поезда и, попадая в неподвижный предмет, производит действие значительно более сильное, чем можно ожидать от каких-то несчастных полутора килограммов.

Меня, вот уж точно, будто обухом по голове хватили, да еще как назло я был наголо обрит; тут сразу все увидели, где у меня лопнула кожа, и все увидели также, что мне при этом повезло: снаряд попал в лоб не под прямым углом, угол был тупой, и это смягчило удар.

Но силы удара хватило, чтобы надорвать мне скальп и чтобы я на какое-то время потерял ориентацию, ее хватило на глубокую рану и сотрясение мозга, но, главное, всего вместе хватило, чтобы отправить меня обратно в проклятый лазарет.

Кто-то из наших ремонтников, оказавшись порядочным человеком, отломил и для меня ломоть того хлеба и сунул мне его за пазуху; ну, всех полутора килограммов тот ломоть не весил, он был, если помраченная память мне не изменяет, примерно с кулак величиной, однако дежурный санитар, которому я его отдал —

меня самого сил нет как тошнило, — ничуть не церемонясь, взял его, а меня положил на удобное место.

Думаю, маленькая врачиха и правда обрадовалась, снова встретив Нибура из Дитмаршена; а как она сшивала мою голову, я даже не почувствовал, и запомнился мне из всей той передраги только сон, который точно по кругу крутился: Эрих из Пирны прочел мне курс истории кино и не только пересказал множество сцен, в которых встречались поклоны, но и разыграл их передо мной, а я пытался доискаться, из какой же сцены собезьянничал свой дурацкий лакейский поклон тот железнодорожник.

Знаю, сны многое преувеличивают, но никуда не денешься — почти в каждом фильме встречаются поклоны. Я все их видел.

Поклон придворно-церемонный; более чем сдержанный кивок двух враждующих помещиков; благоравный поклон на уроке танцев перед безмозглой гусыней; холопский после щедрого подарка на крестины; приветственные поклоны палача и осужденного на эшафоте; изъявление благодарности со звездой на щеке; расшаркиванье служки; торопливо-смирненный поклон служителя муз; можно еще пасть на колено — из благоговения, из страха, из всепоглощающей любви, перед могилой и пред алтарем, а также перед дуэлью; выражать поклон может как преданность, так и коварное лукавство.

Я видел, как склоняются маршалы перед монархами, матроны перед малолетними наследниками престола, матросы перед в дымину пьяными собутыльниками, поэты перед в дым пьяными аристократами, поэты перед шляпницами, поэты перед талантливым стихотворением.

Я видел, как расшаркиваются представители всех классов, всех возрастов, всех сословий и слоев общества, самых разных должностей и профессий, и всех этих людей — вот что в конце-то концов было истинной напастью, — всех изображал владелец извозничьего двора из Саксонии по имени Эрих.

Правда, в кадрах моих киновидений роли словно бы исполняли настоящие актеры: Ганс Мозер, обманутый скромный музыкант, покоряется, но замысливает недоброе; Гэри Купер приглашает дочь полковника на танец, думая о притаившихся неподалеку индейцах; Лилиан Харвей приседает в глубоком реверансе перед великой княгиней, косясь на обтягивающие рейтузы ротмистра Вилли Фрича; у Толстяка тоже обтягивающие штаны, и когда он учит Тонкого<sup>22</sup>, как кланяются при дворе, то штаны не выдерживают, но Ганс Мозер оказывается вовсе не Гансом Мозером, а Ганс Альберс не Гансом Альберсом и Зара Леандер не Зарой Леандер, а Пат так же не был Патом, как Паташон — Паташоном, и тетя Риттер, и профессор Бартольд Нибур, и даже моя мать, которая играла во многих этих фильмах, оказывались не тем, чем они представлялись; они играли какую-нибудь роль, но их самих тоже играли; их играл всегда Эрих из Пирны, что на Эльбе.

Врачиха успокоила меня, когда я пожаловался ей на жуткую путаницу в моем мозгу, объявив, что мое сумасшествие вполне нормальное, а так как она считала меня внучатым тезкой ученого-историка, то говорила со мной о моем сотрясении мозга только как о commotio<sup>23</sup>.

До того как она исчезла из моей жизни, нам случилось с ней пережить одно весьма странное мгновенье; произошло все поздним летним вечером.

Я, разумеется, был не единственным, с кем она во время обхода разговаривала не только о ранах, выздоровлении и о болезнях, но со мной она разговаривала чаще, и это я вовсе не внушил себе, я знал это благодаря колокостям моих соседей, среди которых особенно выделялся мой старый знакомый, мастер Эдвин из Коло.

И африканистый эсэсовец все еще лежал здесь и чулочник с Рыцарским крестом, но они не очень-то вякали, а два-три французских ругательства и фогтландские рецепты супов можно было перетерпеть.

<sup>22</sup> Известные англо-американские комические актеры — Оливер Харди и Стэнли Лаурел.

<sup>23</sup> Сотрясение мозга (лат.).

Но Эдвина терпеть было трудно. Дела его были плохи, можно сказать, дерьмовые были его дела, но как-то получилось, что все, о чем он говорил и думал, он тоже обмазывал дерьмом.

Врачиху он называл не иначе как жидовка, а узнав, что у нас с маленькой чернявой женщиной возникла взаимная приязнь, стал допекать меня бабскими историями и расистско-гигиеническими сведениями.

Понятно, когда врачиха оказывалась поблизости, он держал язык за зубами, но начинал вдруг дергаться, точно в беспокойном сне, его лоб и желтый нос покрывались мелкими капельками пота и поблескивали, точно обтянутые влажной пленкой, и сразу видно было, что он чувствует себя до глубины души оскорбленным. А иной раз он и вправду спал, хотя я так и не научился распознавать, когда же сон был настоящий.

Врачиха, верно, думала, что доставит мне удовольствие, поместив меня снова к обмороженным, но на первых порах я все равно не воспринимал свое окружение, а потом я бы в любом отделении чувствовал себя неуютно.

В тот июльский вечер, о котором я собирался рассказать, врач-капитан еще раз зашла к нам и села, как обычно в подобных случаях, на табурет санитаря, подвинув его к моей койке.

— Ну как, вы опять видели во сне поклоны? — спросила она, и я ответил, что на этот раз все разыгрывалось особенно жутко. Я видел во сне нашего Эриха из Пирны в обличе Луиса Тренкера<sup>24</sup>, и он, известный своими выкрутасами, повис на глетчере в четырех тысячах метрах над уровнем моря, где и встретил восходящее солнце благочестивым и рискованным поклоном.

— Нет, конечно, — сказал я, — я точно знаю, подобной выходки Тренкер не позволил бы себе в своих фильмах. Но, правда, подмигнуть бы он солнцу подмигнул или прищелкнул бы языком, как истый тиролоец, но поклон в висе на канате, нет, это, пожалуй, более чем поэтическая вольность.

— Интересно, — сказала врачиха, — что вы знаете о поэзии и о вольности?

— Ничего я о них не знаю, — ответил я.

— Ну нет, — сказала она, — поклоны на все случаи жизни — очень и очень полезный сон. Надеюсь, вы его не забудете.

— А почему бы мне его не забыть?

— Может случиться, что вы повиснете на канате, а тут явится его величество солнце. Так вы теперь знаете, что положено склониться в поклоне. При появлении любого величества положено склониться в поклоне, виси вы хоть на канате, хоть на веревке. Можно так сказать: на веревке?

— Вы прекрасно знаете, что так сказать можно, и вы прекрасно знаете, почему вы так сказали.

Она опять вывела меня на ту грань, на которую уже не раз выводила во время наших разговоров, на грань ситуации, точно сотканной из страха и почтения, покорности и беспомощности, ситуации, когда ты ощущаешь себя нищим и рабом, ситуации, вынужденно складывающейся там, где тесно переплелись плен и болезнь, но вспоминать мне о ней тем не менее очень и очень тягостно.

Врачиха умела двумя-тремя словесными выпадами вывести меня на грань этого состояния, подвести к точке, откуда с помощью небольшого мыслительного усилия можно выбраться на волю или по меньшей мере в сферу раскованности, естественности.

На моих путях-перепутьях я не раз встречал людей, которые получали удовольствие, доводя меня до остервенения, заставляя терять контроль над собой — это не очень и трудно, но я не это имею в виду, когда говорю о маленькой врачихе-капитане, и она не это имела в виду. Разговаривать со мной ей хотелось, думается мне, чтобы понять таких людей, как я, а от человека, которому слепая покорность сковала язык, ей толку было б мало.

Ей удалось быстро разговорить меня, причина тут, надо думать, в том, что она была женщиной. Возможно, даже красивой женщиной, но об этом я судить

<sup>24</sup> Тренкер Луис — киноактер и режиссер, был известен как альпинист и горнолыжник.

не берусь, она была лет по крайней мере на десять старше меня и вообще относилась к совсем иной породе людей.

Она ходила в сапогах, и летом тоже, а под белым халатом на ней была длинная и широкая синяя юбка. Конечно, она часто сидела и в другой позе, но мысленным взором я и сейчас вижу, как она сидит, покачиваясь на табурете, далеко вытянув скрещенные, обутые в сапоги ноги; юбка доходит до голенищ; бедра узкие, она вообще вся тонкая и сидит на табурете так, как сажают иногда художники свою модель, на одной точке, и ей бы этого не выдержать, но она оперлась головой с темным узлом волос на спинку койки, что придает ей устойчивость, а ее взгляду направление; ее взгляд направлен на меня снизу вверх; она крепко обхватила себя руками, перекрестив их на груди, и поеживается, точно мерзнет, и потому мне кажется, что хоть она ополчилась на меня, но нуждается в моей защите, и мне хотелось бы ей помочь, хотя следует ее опасаться. Нет, в защите она не нуждалась и уж в последнюю очередь — в моей, да и откуда взять мне решимости, чтобы ее защищать.

— Мне, наверное, не нужно было рассказывать вам о моих снах? — сказал я. — Одно только скажу — я никогда не задумывался над проблемой поклонов, так что смеяться нечего.

— Но кто же смеется? Вы относитесь к трем категориям людей, над которыми не смеются: вы пациент, вы пленный и вы, главное, немец.

— Вы это слово так произнесли, что не захочешь быть немцем.

— А какую интонацию предлагаете вы? А ну, Марк Нибур, скажите, произнесите слово «немец» так, как нужно его произносить! Мы можем поупражняться, как вы во сне упражняетесь в поклонах.

— Не думаю, чтобы вы сумели угадать верную интонацию, — буркнул я.

И тотчас понял, что позволил себе слишком много, она на мгновение застыла и похожа была на статуэтку. При этом вся напряглась и словно окаменела, и если бы она теперь встала, вышла из палаты и вернулась с пистолетом, который лежит в ее шкафу с инструментами, я бы не удивился. В моей прежней жизни я всегда в разгар любого спора ждал насилия как чего-то вполне обычного.

Но врачиха повела себя иначе. Она конечно же намеренно сделала усилие, чтобы расколоть свое окаменение, и какими-то едва уловимыми приемами освободила свои мускулы и сухожилия от перенапряжения.

Можно сказать, она сама себя выпустила на свободу; да, в самом деле, она разжала скрещенные руки, отпустила себя, сцепила пальцы обеих рук на узле волос и слегка склонила голову к плечу.

Она смотрела теперь куда-то мимо меня, куда-то поверх моей головы, и я увидел, что у нее намечается второй подбородок, женщинам, он, видимо, нужен затем, чтобы они не казались угловатыми и костлявыми, и я — надо же, как раз в ту минуту — заметил, что грудь ее вполне заслуживает доброго слова. Она шевелила губами, а глаза при этом прикрыла, и потому казалось, будто она испытывает какое-то слово, прислушиваясь к его звучанию.

Слово — а я тотчас понял какое — было одним и тем же, но выражение ее лица менялось при каждом повторе.

Так я хоть и не слышал, но очень четко видел, на сколько разных ладов можно произнести слово *deutscher* — немец.

Я уже говорил, что это был, хотя я того еще не знал, час моего прощания с маленькой врачихой, капитаном, еврейкой, отличным знатоком римской истории и книг, которые мой земляк Бартольд Нибур написал о Древнем Риме. Поэтому все, что я прочел по губам этой женщины и что было написано на ее лице, когда она пыталась произнести слово *deutscher* — немец — с верной интонацией, остается чистой догадкой, дополненной задним числом различными предположениями и игрой ума.

*Deutscher* — немец — обычное слово из девяти букв. Осмысленная мешанина из зубных и латеральных, дифтонга и аффрикаты. Обычное слово, как индеец или негр. Странно приглушающееся, шипяще-скребущее, размято-раздавленное слово, при быстром повторении теряющее вдобавок свой и без того весь-

ма приблизительно известный смысл. Происходит оно — да откуда бы еще — от древневерхнемецкого *diutisk* и означает, врачиха конечно же знала это, а я позже прочел — как язык, так и юридические действия, каковыми франкские правители доказывали свои права властителю Баварии; а смысл этих действий был в том, чтобы показать: где в спорах и распрах говорят на языке *diutisk*, или, как его называют по-латыни — *theodisce*, там объясняются не только на языке *diutisk*, но там властвует и меч *theodisce*, а кто не верит, тот пусть сам сунется.

Немец — понятие столь же прозрачное и надежно отвечающее правилам, как, скажем, немецкий язык.

Немец. Этот человек — немец. Он немец, как Лютер. Он немец, как Гёте. Он немэц, как Гейне. Как Гейне? Немец?.. А что скажут на это немцы?..

Ах, вечно они со своим Гейне! Я имею в виду: эта русская врачиха вечно с нашим Гейне. Я имею в виду: она обращается с Гейне, как владелец извоза из Пирны ну, скажем, с Фридрихом Великим. Он изобразил нам, как ранее изобразил Отто Гебюр<sup>25</sup>, каким был *Fridericus Rex*. Но владелец извоза далеко не Старый Фриц, и даже не Отто Гебюр, и в настоящее время даже не владелец извоза в Саксонии; в настоящее время он военнопленный с обморожениями второй и третьей степени и лежит в Пулавах на Висле и хоть бы уж наконец заткнулся.

Ну, хоть бы уж она замолчала, не болтала бы больше о своем Гейне, и своем Бартольде Нибуре, и своем Гегеле, и своем бароне фом Штейне, и своем...

— Скажите, Марк Нибур, скажите, вот вы, как немец...

Она замолчала, она и впрямь замолчала, только едва заметно шевелит губами, нет, скорее уж это едва уловимая дрожь, и означает она только одно слово, неслышно и все-таки с разной громкостью произнесенное слово, и это слово — «немец», она подвергает его проверке, точно наносит на него разные краски: немец — это немецкий язык и Лютер.

Немец — это немецкий язык и язык Гитлера.

Немец — это немецкая история, барон фом Штейн и Сталинград.

Немец — это немецкая литература, это Вальтер фон дер Фогельвейде, это еще: «В бой за земли от Нордкапа до Черного моря, в бой, весь народ!»<sup>26</sup>.

Немец — это книгопечатанье и Нюрнбергский закон, Генрих Птицелов и Генрих Гиммлер, Ульмский собор и разбомбленные церкви Роттердама, Роберт Кох и эвтаназия, сочельник и воскресенье 22 июня 1941 года.

Ее губы шевелились точно вода под легким дуновеньем ветерка, но, думаю, я сумел бы нарисовать сеть ее лицевых мускулов, следя за этой немой проверкой слова, или же, но, разумеется, это утверждение весьма зыбкое, мне удалось бы сказать, в каком пункте немецкой истории она в тот или иной миг пребывает, когда глаза ее обращались в две черные дыры, сквозь которые, если крепко-накрепко не держаться, можно и вывалиться из этого мира.

Я бы мог это сделать, потому что обращенная ко мне речь была ее первой немой речью, но далеко не ее первой речью. Хотя и последней, и, быть может, именно поэтому она так запала мне в душу. Или так случилось потому, что эта безмолвная речь была обобщением ее речей, которыми она пичкала меня с того зимнего воскресенья, когда переключка была в обед и я попал к ней, оттого что ее земляк посадил мне на шею моего земляка и мне пришлось отвести его к врачу?

Меня с тех пор напичкали целой кучей всяких знаний, и теперь я сам не всегда знаю: знаю я то, что знаю, от того, от кого думаю, что знаю? Но в одном я уверен: большую часть решающих сведений, которые я, получив их однажды, всегда и на все случаи жизни держу наготове, впервые, в первый раз высказала мне маленькая врач-капитан, которая сидела на табурете у моей койки в какой-то

<sup>25</sup> Гебюр Отто — известный немецкий киноактер; здесь имеется в виду фильм «Концерт для флейты в Сан-Суси», в котором О. Гебюр сыграл роль Фридриха Великого.

<sup>26</sup> Строка из нацистской строевой песни.

парящей позе, словно была невесомой, — каблуками своих сапог упираясь в пол, головой опираясь о стойку кровати, а узкими бедрами — на одну-единственную точку деревянного табурета.

Но хотя мне казалось, что она словно бы невесомо парит в воздухе, ее замечания, ее мнения и определения, ее жалобы и обвинения, ее утверждения и предсказания, ее поучения и — тем более — вопросы всегда были весомыми.

Теперь я это прекрасно понимаю, хотя в те времена понимал не всегда. Иной раз я считал, что связь между ее взглядами и действительностью весьма зыбкая.

Пока я наконец не додумался — с трудом, с большим трудом, — что моя точка зрения на мир — это точка зрения, которую мне внушили и преподали, и что — с трудом, с большим трудом додумался я до этого — существуют еще и другие точки зрения, и что вполне даже может быть — с трудом, очень осторожно, с оглядкой подходил я к этой мысли, — что моя точка зрения на вещи и обстоятельства не всегда верна. И что — о головокружительный взлет мужества! — возможно, все-таки верна точка зрения других людей.

Порой, в виде исключения, случайно, там и сям, волею судеб, возможно, при известных условиях — но все-таки, великий боже, но все-таки...

Помню, как меня покорило и показалось вовсе не идущим к делу, что эта женщина, которая знала, кто такой Бартольд Нибур, говорила обо мне как о фашисте. Сколько дурацких усилий я приложил, чтобы не показать себя обиженным: но ведь правда, члены партии в Италии, муссолиниевская шатня, — вот кто фашисты, а я и не итальянец и не член партии.

Понадобилось много времени, пока я наконец осмыслил слово «фашист» как политический термин, термин этот существовал сам по себе, независимо от того, понимаю я его или нет, в мире он существовал с совсем иным содержанием, чем то, которое я в нем полагал, и не врачиха употребляла его ошибочно, а я.

Как раз мне следовало быть осторожнее в споре, когда речь шла о значении слов и наименований, ведь именно я был из тех, кого коробило, когда немцы, живущие в южной части Германии и живущие в северной или в западной и восточной, разыгрывали жестокие баталии и подымали друг друга на смех, если один называл земляным яблоком то, что именовалось картофелем, а другой называл картофелем то, что уж без всякого сомнения было земляным яблоком. Или без всякого сомнения — картосами, ведь одна часть наименования «земляное яблоко» — именно «яблоко» — уже отдана тому, что в иных местах называлось «кислица». А как называется этот желтоватый овощ — брюква, или голань (голань же белый, бестолочь! — Сам белый, тоже мне голань, обалдуй!), или дикуша, или как еще в других местах — грыжа? А ведь грыжа — это же и болезнь. И ее, эту болезнь, иначе называют кила.

А с каким воодушевлением велся бой, в котором речь шла о том, чем мы больше вредим своему здоровью — сигаретами или сигарами, трубочным табаком, жевательным или нюхательным, или о том, когда человек лучше сохраняет образ человеческий: когда сжигает в губах набитую высушенными листьями бумагу или в табак обернутый табак, или табак в трубке из глины, дерева, шифера или камня. Или, того лучше, когда разгуливает по белу свету с желтыми от жевательного табака зубами и коричневыми губами. Или когда разыгрывает комедию наморка: глаза зажмуривает, табак вдыхает, словно это последний глоточек кислорода, и вот — о благодать! — чихает, да так, что кажется — и в этом ощущении все блаженство, — с каждым чихом из него уходит частица-другая его жизни.

Разумеется, школ курения табака оказалось столько, сколько было способов потребления табака, но все они, поскольку табак начисто отсутствовал — как нюхательный или жевательный, так и курительный, могли утвердить себя только силой слова и силой убеждения, а потому долгое время выше всего ценился кальян — некий шваб, силезский книгоноша, без усталости работая языком, ловко его разрекламировал.

Общность в лагере курильщиков, однако же, наступала, как только кто-нибудь начинал проклинать свое бестабачное существование и заверял, что готов не

раздумывая сожрать ком изжеванного табака, и даже — если ему поставят такое условие — действуя ножом и вилкой.

Никто не ставил ему такого условия, никто не высказывал подобного пожелания, а едва ли не все цепенели и закатывали глаза, и если когда-нибудь на распутье дорог, ведущих в рай или ад, мне позволят перечислить мои добрые дела, то я уже знаю начало списка: я бы, уверенный, что это дает мне надежду попасть в более прохладный район, попросил записать в протокол тот факт, что во времена, когда спятившие курильщики выдыхали клубы словес или осатаневшие мясиники грезили о сырых окороках, а шальные дамские угодники, вспоминая совсем другие окорока, чмокали от удовольствия, что в те времена я относился к тем немногим, кто взывал к разуму и воздержанию или же, и это, в частности, было моей личной специальностью, доводил спор до крайности, чтобы все либо переругались, либо расхохотались, однако и в хохоте их тоже звучали лихорадочные нотки.

Так вот, у меня, прекрасно знавшего сомнительную силу всяких наименований, признаков и ценностей, могла бы хоть возникнуть мысль, что врачиха права, называя таких, как я, фашистами. Но странно, я не задумываясь признавал, что она знает в сто раз больше меня, — одно то, что она врач, делало ее в моих глазах крупным ученым, но не придавал никакого значения ее оценкам, если они, касаясь меня, были политического толка. В конце-то концов речь ведь шла о ком? Да, да, совершенно верно, о русско-еврейской большевичке, и разве я допустил бы, чтобы этакая особа навешивала на меня ярлыки?

Я, как это бывает с теми, кто много читает, конечно, уже кое-что слышал о раздвоении личности — истории Стивенсона<sup>27</sup> достаточно, чтобы считать возможными дьявольские сочетания в одной голове и одном теле, — но не помню случая, чтобы с человеком творилось такое, что творилось со мной из-за этой женщины, советского капитана.

Мне приходилось мобилизовывать все силы своего мыслительного аппарата, если я хотел собрать воедино в своем представлении все элементы и все грани, принадлежащие без сомнения одной личности, а именно — врачихе.

Молодая женщина, она была все-таки старше меня, а потому не совсем уж такая молодая. Изящная и темноволосая, она, видимо, была красивой, но другие необычные для меня особенности ее личности были настолько яркими, что я очень редко замечал, как она красива. Она стала первой женщиной-солдатом, с которой я в своей жизни говорил, и, насколько я знаю, я больше ни с одним солдатом не говорил о профессоре Бартольде Нибуре. Родилась она в Баку, но именно она объяснила мне, какая же продувная и энергичная бестия был этот Бисмарк. Она, с одной стороны, умела, снимая гнойные повязки, мягким голосом успокоить, развеять страдания, с другой же стороны, у она с пистолетом в руке стояла бесстрашная укротительница дикого зверья, готовая в случае надобности стрелять, и это была все та же, та же самая женщина, которая назвала меня фашистом, а от кое-каких взглядов она освободила меня уже самим своим отношением — словно это были застарелые бинты на ранах. Видимо, это ее я должен благодарить за исправность своих рук-ног, а чего-чего только не наслушался я в своей жизни о евреях. Из всего того, чем мне протрубили уши, выходило, что она просто коммунистическая солдатская шлюха. Теперь, когда я иной раз вижу человека без ног, то вспоминаю коммунистическую солдатскую шлюху и ощущаю две мои наличные ноги.

Впоследствии, произведя смотр содержимого моей головы в те времена, когда женщина из Баку заботилась о том, чтобы я вновь обрел здоровые ноги и прочный скальп, я задался вопросом: вспоминал бы я темноволосую врачиху с той же сердечностью, будь она, ну, к примеру, рыжеволосым великаном из Риги?

Выразил я свою мысль не слишком толково, сам вижу, так попытаюсь сказать понятнее: остался бы при равном врачебном успехе мужчина-врач, врач муж-

<sup>27</sup> Роман Р. Стивенсона «Удивительная история доктора Дженила и мистера Хайда».

ского рода, с той же неизбежностью в моих воспоминаниях, врезался бы он так же глубоко в мою память, как навечно осталась в ней эта женщина?

Я достиг уже того возраста, когда человек склонен подзолачивать прошлое и уж тем более окрашивать каждую встречу с женщиной затаенной сердечностью. Вот уж кое-кто крайне удивился бы, узнав, что думает о нем кое-кто! Но я твердо убежден, что ни одна встреча мужчины и женщины не обходится без примеси эротики, она даже в том проявляется, что один думает о другом: о боже, нет, нет! Говоря без меандрических длиннот: между мужчиной и женщиной, если они достаточно молоды, всегда пробегает какая-то искра, и потому, видимо, между врачом и мной тоже пробежала какая-то искра, или, по крайней мере, от меня к врачу.

Не знаю, почему это мне сейчас так важно; для моей жизни те отношения больше уже ничего не значат, и тем более они ничего не значат для той женщины из Баку, но, быть может, мне они важны как элемент тех безрассудно упущенных возможностей, которые составляют сущность нашего бытия.

Конечно, я понимаю, что, рассказывая об этих отношениях, попадаю в сферы, в которых преувеличенная сентиментальность оттесняет истинное потрясение, но ошибкой было бы из страха перед такой ситуацией подавить в себе желание рассказать о них.

Я считаю себя вправе рассказывать о наших отношениях так, как я рассказываю, потому что они были именно такими. Других подтверждений законности моего права у меня нет, но мне в них и нужды нет.

Словно надо приносить извинения, вспомнив, что ты влюбился когда-то в женщину или хоть чуть увлекся женщиной, которая тебе помогла, которую приятно было слушать и на которую, кстати, не менее приятно было смотреть.

Словно грешно предположить, что врачиха, если она с одним из тысяч больших беседовала особенно охотно, могла к этому одному испытывать особенное расположение.

Словно это куда как грешно и может послужить поводом для торжественных заверений и оправданий.

Но беспокоиться мне вроде бы нечего — если все было так, как я теперь позволяю себе предполагать, то это и впрямь в тех условиях было грешно и недопустимо; вот оно — то, что можно вменить в вину войне и человеческим схваткам: большая часть человеческих отношений представляется в эти времена недозволенной.

И то, о чем я рассказываю, это вовсе не украдкой пожатая рука и смоченное слезами объяснение в любви, и любовь как общую и неприкосновенную третью сферу я не противопоставляю дважды омерзительному окружению и враждебной морали; я утверждаю лишь, но утверждаю решительно: мы бы не разговаривали так друг с другом, не смогли бы так разговаривать, будь мы только врач и пациент, пленный и офицер, немец и русская. Мы разговаривали как молодой мужчина и молодая женщина, ведь мы были молодым мужчиной и молодой женщиной, и чепуха, если кто подумает: ах, какой прекрасной была бы любовь без войны; без войны мы бы, похоже на то, в жизни не встретились, а если бы встретились, так были бы в любом случае чужими друг другу.

Вот что могло бы быть: она с ее интересом к Бартольду Нибуру и римской истории приезжает в Дитмаршен, ну а я как раз еду на велосипеде в Мельдорф. Она ищет дом Бартольда Нибура, а я — местный житель, которого спрашивают, как пройти туда-то и туда-то, объясняю, показываю дорогу и провожаю ее. Что я еще делаю? Втягиваю ее в глубокомысленный разговор о Нибуре? Слушаю ее лекцию о красотах Баку? Может, интересуюсь, останется ли у нее от времени, занятого Нибуром-старшим, еще время для Нибура-младшего, Нибура куда более молодого?

Ох ты, боже мой!

Таким бойким я в те времена, когда жил в окрестностях Мельдорфа, не был. Таких бойких вообще ни в Мельдорфе, ни в Марне не было. Таким не был и я. Никогда бы я так не разговаривал с чужой дамой. Ведь чтоб угостить ее кофе с



пирожным, а потом сводить в кино и городской парк, у меня было столько же оснований, сколько сводить туда прабабку Бартольда Нибура. А значит — никаких. Даже представить себе невозможно: печатник Марк Нибур с дамой из Баку; бред какой-то. А все-таки: печатник Марк Нибур с дамой из Баку? Да, допустим, но все случилось иначе: война, плен, лазарет, бедствия, вонь, стоны и ни тебе Марне, ни тебе Баку.

И врачиха моя, кто знает, кого потеряла, и ей давно опостытели стонущие попрошайки и ноющие разбойники, что так недавно еще рвались в Баку, к нефти, о, тогда они вовсе не ныли, и ничего не клянчили, и уж тем более ни о чем не молили, а теперь из чистого подобострастия сюсюкали на ломаном немецком и наконец-то, наконец-то, когда дело коснулось их самих, открыли, что существует сострадание и права человека.

Вот она и рада, что отыскался кто-то, кто зовется так, как зовется часть ушедшего прекрасного мира, он еще достаточно молод и в такой мере невиновен, что осмеливается приходить в ярость и ярость свою не скрывать, и еще не отупел настолько, чтобы, в упор не видя умершего соседа, считать минуты до ужина, у него почти всегда в руках книга, из чего — ведь он же многострадальный бедолага — можно сделать вывод, что он парень сообразительный и стойкий, и она уже дважды видела, как он смеется.

Неужели ей, к примеру, во время обхода в палате обмороженных, в который уже раз выслушивать, что талдычит тот парень с Рыцарским крестом о мировом значении фогтлендских бобовых супов, или выслушивать враждебное нытье лихорадящего фольксдойче или смехотворный русский язык экспортера из Брестля?

Почему бы ей, если уж она с этими типами разговаривает, не поговорить с внучатым тезкой Бартольда Нибура, почему бы ей, хотя это, конечно же, никакого смысла не имеет, не покритиковать его и не разъяснить ему, что она думает о нем и ему подобных, о нем и о его немцах, а слово это можно произносить на тысячи ладов, с тысячью всевозможных оттенков, хотя надо сказать, что после известного воскресенья в июне, четыре года назад, говоря о немцах, приветливыми, мягкими тонами более не пользуются.

Но когда в тот последний вечер, сидя у моей койки в искусно естественной парящей позе, она называла меня, то и дело изменяя, хотя и беззвучно, интонацию, так, как называют мой народ, то придавала этому слову особую выразительность, и, должен признать, на меня это оказывало благотворное действие.

Видимо, страх на других нагоняешь не без последствий для себя самого; тебя должны все страшиться; ты знаешь, что тебя все страшатся, и считаешь, что тебя должны все страшиться, ты бряцаешь своим именем, как броней, и таскаешь его за собой, как таскаешь на себе броню; и постепенно забываешь, что по натуре ты человек дружелюбный и если приходит кто-нибудь, кто напоминает тебе об этом, значит, тебе очень повезло.

Но я замечаю, что впал в риторику, чего у других не выношу, думаю, впрочем, что к риторике человек склоняется от неуверенности.

Ведь откуда мне знать, на самом ли деле было все это с врачихой и с тональностью, в которой она беззвучно произносила слово «немец» — воображение всегда играло значительную роль в моей жизни, особенно в то время, когда моя жизнь во многих ее значительных частях не слишком-то ясно просматривалась. Плен — это жизнь, у которой отняли свободу, что звучит наивно, звучит тавтологично, но так оно и есть. Так-то так, да не только так. Плен — это жизнь, из которой изъяли одни свободы, дав ей другие свободы. И не только одни свободы заменяются иными свободами, но и принуждение одно заменили принуждением другим; бессмысленное принуждение отмирает, целесообразное утверждается.

Мне, однако, нужно быть начеку, чтобы не сочли за похвалу то, что сказано мною о пребывании в плену. Плен — это грубая примитивность, а я предпочитаю усложненность, замысловатость. Это строгое ограничение, а я предпочитаю изобилие и непринужденность. В плену тебя вернут к первооснове — корням, стволу и ветке-другой; тут у тебя, если повезло, остаются голова, две руки и две

ноги, желудок и кишки. Но все эти части тела, вместе взятые, считаю я, представляют собой, по сути дела, лишь канву будущего человека: тут, в плену, человека возвращают к его исходной точке.

Кому придется по вкусу подобное состояние? Да никому: ведь те, кто делает вид, будто это так, просто не уловили, что с ними произошло.

И не надо говорить мне, что порой нельзя не сажать людей под замок; и пусть мне не говорят, будто это не одно из проявлений беспомощности, а что-то другое.

Так неужели мне могли бы прийтись по вкусу подобные обстоятельства? Нет, я себя лучше знаю.

Я хочу лишь, чтобы люди поняли: плен — это совсем иной мир, совсем иная сфера. Чего не сделать с историей человечества, то делается здесь с историей отдельного человека: связь между прошедшим и грядущим обрубается; настоящее ничем не обязано прошлому; кем человек был — имеет значение лишь до ворот лагеря.

У тебя ничего нет, стало быть, ты ничем не можешь стать, используя то, что у тебя есть. На тебе рубаха и штаны, больше ничего. Ни паспорта нет, ни денег, ни ордена, ни свидетельства, ни аттестата, ни семьи. Из всех приборов, машин, инструментов и орудий, которыми ты, возможно, владел когда-то или с помощью которых пробивал себе дорогу в жизни, у тебя осталась только ложка. Если и ее у тебя не оставалось, ты получал ложку деревянную, с нее ты в первые же дни вместе с горсткой пшенной каши объедал лак и цветочки, н-да, совсем недурно на вкус.

В плену с этого начинаешь и так продолжаешь довольно долго.

Разумеется, кое у кого в памяти еще держатся образы прежнего мира; вот ты что-то где-то стянул, и это может довести до отчаяния; или ты заважничал, точно персона какая, и тут же тебя дважды окунут в дерьмо; но кто попытается всем угождать, на том скоро все станут ездить.

А кое-кто еще как личность не оформился, не обременен грузом прошлого и заботами настоящего, он принимает новый распорядок не раздумывая и свыкается со своим положением, ибо другого у него на выбор нет; его прошлое и его будущее — днем запретные зоны; и только вечером, засыпая, он позволяет себе мысль о прежней жизни, о прекрасной прежней жизни, и если природа наделила его защитными инстинктами, то с мечтами о завтрашнем дне он обращается весьма бережливо.

Меня природа, видимо, именно так и устроила; оказалось, что я способен в два счета уразуметь, какие нужны качества, чтобы оставаться в середине, чтоб меня не выпирало на обочину, к шутам, отшельникам и попрошайкам.

Не очень уж много нужно было усвоить: не суйся вперед, но не таись, не напирай сам, но не позволяй себя пихать, ничему не верь, никому не доверяй, не смотри из чужих рук, не отрывайся от массы, двигаясь, подбирай наимыгоднейшее число оборотов, поспешай, если и впрямь светит выгода, решимость выказывай, если назревает угроза порабощения.

Все это я быстро усвоил, распорядок оказался примитивнейшим, а сверх того раздумывать нужды не было: ни тебе правил поведения за столом, ни тебе правил личного движения, никаких пределов твоему бюджету, никаких пунктов договора, никаких карьерных соображений; я свободен был едва ли не от всего на свете и несвободен едва ли не во всем.

Последствия тогдашней ситуации дают себя знать в моей жизни по сей день. Обстоятельные воспоминания обо всем, что имело там место, одно из этих последствий. А имело там место очень немногое, ведь там почти ничего и не случилось. Рискую показаться многословным, хочу все-таки пояснить: на некий определенный отрезок времени приходилось, по сравнению с прежней или последующей жизнью, куда меньше событий, происшествий, случаев. Ни газет, ни радио, ни нового костюма, ни необыкновенного мармелада, ни новой девушки, ни лопнувшей карьеры, ни потерянного кошелька, ни передряг с начальством, ни радости от сы-

на, ни собаки, ни кошки, ни курицы, ни яйца. Те будни, которые ты считал некогда невыносимо пустопорожними, оказываются, по сравнению с буднями за оградой, весьма сложно переплетенной системой всевозможных событий и обязанностей.

Понятно поэтому, что появление и речи врачихи представляли собой не только для меня чрезвычайные происшествия в смраде серой повседневности; они для всех нас были событиями, которые подтверждали нам, что мир еще существует.

Но врачиха не только вносила разнообразие в мою жизнь в пору, казалось бы, столь однообразную: она мою жизнь изменила.

Да, я уверен, изменила. Слово бы с той поры во мне что-то постоянно лежит наготове, иной раз оно хоть и ворчит, но в нужную минуту не подведет, пробудится и заставит меня вернуться к суждению, которое я уже изложил, заставит пересмотреть его, подвергнуть испытанию, и глядь, довольны-таки часто я обнаруживаю, что в случаях, когда все, казалось бы, обдумал, возможны и иные точки зрения и, стало быть, мое суждение нуждается в поправках.

Я позволю себе невинную иллюзию, представлю себе, что мои отношения с предельно чуждой мне женщиной можно назвать любовью, иначе ведь нельзя объяснить, почему допустил я, чтобы какая-то заезжая особа, личность во всех отношениях для меня темная, так решительно вмешалась в мою жизнь. Я не помирюсь — и тут я настоящий мужчина — с мыслью: она же была права, что мне оставалось делать? Объясняется все — ибо я настоящий мужчина — следующим: только потому, что возник личный контакт, я оказался подготовленным к вопреки обществу общественно значимых проблем.

Главное, однако, заключается в том, что благодаря общению с врачихой, не все ли равно, было это вызвано теми или совсем иными обстоятельствами, я набрался разума, и, надо сказать, изрядно, так что намерен в жизни больше не терять его. А проявляется мое намерение так: если меня кто-нибудь доводит до белого каления и я готов уже отшатнуться от него, как от негодя и мерзавца, то — и это мое правило — я прежде еще раз гляну со стороны на, казалось бы, надежную совокупность впечатлений, я должен, я обязан перед собственной совестью еще раз рассмотреть данные, оспаривающие мое мнение.

Иначе говоря, благодаря врачихе, которая, войдя в мою жизнь, изменила в моих глазах картину мира, я научился предоставлять тем, кого я либо обвиняю, либо превозношу, последнее слово; я сплошь и рядом сопротивляюсь этому, предпринимаю всевозможные маневры, но тщетно, это обыкновение присуще мне со времен врача-капитана из Пулава.

И если что-то представляется мне навеки неизблемым, я безмолвно называю это явление и раз и два, меняя интонацию, словно рассматриваю данный факт в разном свете, и порой, думается мне, нахожу истину.

Вот почему я называю любовью те отношения, какие некогда имели место в Пулавах.

## VII

Когда тетушка Риттер не шила и при этом не курила «Юнону» и не изрекала премудрых сентенций, тогда она курила и решала кроссворды, а я восхищался ею.

Она знала все. Ей ведомы были египетские божества и правильные многогранники, мекленбургские родниковые озера и турецкие молочные блюда, и уж безусловно все-все имена римских пап и императоров.

Но если она все-таки чего-то не знала, так этого не смел знать никто другой. Однажды я подбросил ей из моих книжных познаний имя рыцаря Кннпроде, она же очень сокрушалась из-за пробела в кроссворде, но она так рассердилась, что даже не пожаловала мне гроша за принесенные сигареты. Вот сию только секунду она всю пушила за наглость тех, кто поставил перекрестными кодовыми словами к искомому рыцарю женское и мужское имена, что вело лишь к бесконечным подстановкам, и вдруг я оказался выскочкой и всезнайкой, испортившим всю игру, и не получил своего гроша за сигареты. Что и наматал себе на ус.

Урок пошел мне на пользу не только в дальнейшем общении с тетушкой Риттер; я раз и навсегда усвоил, что иная забава не мыслится без мук и что порой поступить правильно, не бросившись тотчас на помощь, услышав чьи-то стоны.

Муж тетушки Риттер тоже знал этот секрет, но сделал из него совсем другой вывод: разругавшись вдрызг с женой, он украдкой вписывал ей в нерешенный кроссворд одно-два ключевых слова.

Глядя на иной брак, трудно понять, отчего он не длится вечно, а глядя на брак Риттеров, удивляешься, как это он держится так долго. Жена прячет от мужа газеты с кроссвордами, как другие убирают подальше письма первого жениха. А мужу удается перехватывать почтальона и вырезать из еженедельника «Коралле» магический квадрат, которому всегда так рада жена.

В связи с вышеупомянутым инцидентом я начал догадываться, что моя названная тетушка вовсе не такой гений кроссвордов, и гораздо, гораздо позже эта догадка перешла в уверенность, но случилось это позднее, в лагерном бараке, где скука мучила меня едва ли не сильнее, чем голод.

Там я припомнил некую науку, освоить которую мне удалось благодаря тому, что господин Риттер однажды уж очень зверски изуродовал и искромсал «Коралле».

Я стал составлять в бараке кроссворды, и удавалось мне это потому лишь, что я прошел суровую школу у портнихи-курильщицы.

Я боялся, что после нападения супруга госпожи Риттер на еженедельник в жизни больше не получу от нее грош; всю первую неделю она так злилась на мужа, что даже испортила платье, — мне следовало что-то предпринять.

И я предпринял реконструкцию изуродованного кроссворда. Занятие, правда, хлопотливое, но не слишком, как кажется на первый взгляд, трудное. Дело в том, что дядя, человек, видимо, недалекий, вырезал лишь квадрат кроссворда, но не столбик вопросов. Мне пришлось поработать не один день, проявить немало изобретательности, пришлось наводить справки в атласе и популярном энциклопедическом словаре, выпрашивать других любителей головоломок, но в конце концов я внес все разгаданные слова в тетрадь по арифметике; затем зачернил все пустые квадратики и полученную схему кроссворда, но уже без слов-разгадок, перенес на другой лист тетради; этот лист я вклеил в брешь, образовавшую разбойным налетом дяди на «Коралле», и с тех пор никто не смел в присутствии тетушки Риттер обидеть меня хоть единым словом.

Сия, относительно, правда, сложная процедура подсказала мне решение куда более простой проблемы, а именно — как поступить с уже заполненными кроссвордами в журналах, которые приносил нам книгоноша.

Мы стояли последними в цепочке абонентов, что было, с одной стороны, преимуществом — льготная цена, вдобавок журналы оставались у нас, но с другой стороны, имело серьезные недостатки — новости были примерно годичной давности, а над решением всякого рода задач трудились уже не менее пятидесяти человек. Как раз кроссворды носили на себе следы всевозможных упражнений; там, где их заполняли карандашом, мы пускали в ход ластик, но в других местах кто-то чернилами вписывал неизглядимые ответы на вопросы о южноафриканских самоцветах и геральдических зверях из трех букв.

Среди абонентов книгоноши был, видимо, учитель, по крайней мере по характеру и пристрастиям; стоило кому-нибудь неверно заполнить квадратик или написать слово с ошибкой — а это случалось чаще всего в загадках, в которых слоги группировались в пословицы и поговорки и решение не зависело от каждой отдельной буквы, — как на полях тут же появлялись исправления, четко выведенные красным карандашом.

Другого читателя интересовали больше всего детективы в «Гамбургер иллюстрирте»; он каждый раз подчеркивал имя определенного персонажа и утверждал на полях, что это и есть преступник; разумеется, ему многие возражали, а потому иные продолжения едва можно было читать из-за сплошных комментариев.

А какая-то особа вечно мудрила над кулинарными рецептами в «Гартенлаубе»; она принципиально вычеркивала тмин и увеличивала рекомендуемое коли-

чество яиц, начисто отвергала употребление в пищу вина, а рецепты приготовления баранины жирно перечеркивала и надписывала сверху: «Свинство».

И тем не менее четверг, день прихода книгоноши, был радостным днем в моей жизни, и меня ничуть не трогало, что сообщения о свадьбах титулованных особ, равно как и о катастрофах на море, когда «Грюне пост» или «Вохе» доносили их до меня, потеряли за давностью всякую ценность. Большая часть событий, о которых шла расцвеченная картинками речь, и впрямь впервые доходила до моих ушей и предстала перед моими глазами, ибо ежедневной газеты в нашем доме давно не получали, а радио включали разве что в субботу вечером, и чаще всего приемник бывал испорчен.

Не могу не сказать, что я куда меньше интересовался новостями, так сказать, актуальными, чем такими, которые позволяли мне как-то иначе или глубже понять либо человека, либо событие, или обстоятельства какого-нибудь дела, а подобная тренировка моего сознания имела мало общего с календарем.

Впрочем, в кроссвордах не очень-то ощущались перемены, происходящие в мире, пока я подрастал.

Правда, я уверен, что изучи я сегодня заново тексты тех дней, то нашел бы отголоски текущих событий в вопросах к кроссворду, усиление националистической мании величия и исчезновение еврейских имен, но в те годы, когда я возвращал квадратам кроссвордов в наших старых еженедельниках их первоначально вопрошающую невинность и наклеивал на обезображенные страницы иллюстрированных журналов чистые страницы из моих тетрадей по арифметике, в те годы я не очень-то разбирался в том, что делалось вокруг меня; знаю, это стыд и срам, но тем не менее непреложный факт.

Зато я превосходно понимал сущность кроссвордов; при этом я имею в виду не только и не столько уменьье, с каким я заполнял пустые клеточки словами, которые сами по себе что-то значили, да еще из начальных букв которых, прочитанных по вертикали, составлялось то или иное изречение. Я с полным правом утверждаю, что был мастером своего дела, ибо способен был по степени трудности, по манере композиции и повторению или отсутствию тех или иных вопросов распознать почерк автора; я, правда, не знал фамилий составителей кроссвордов, но я подбирал журналы, в которых подвизались одни и те же авторы.

Кто сейчас задается вопросом, какого черта я в самый разгар рассказа о плене начал столь подробный разговор о детских забавах, тот будет во всех отношениях прав. Не стану говорить, что это результат моей неопытности; нет, полагаю, дело тут совсем в другом: проблема, которую я анализирую в своем рассказе, есть всего лишь результат, а точнее говоря: прежде всего результат; кто сосредоточится на ее внешних приметах и не поинтересуется ее мотивами, ее причинами, ее зарождением, тот многим сослужит плохую службу.

И еще я опасаясь, как бы читатель не счел меня бахвалом, к примеру, в той части, где я неожиданно начинаю рассказывать, как я — простой печатник из Марне в Зюдердитмаршене — сочинял кроссворды для клиентуры, состоящей из ученых профессоров и некогда высокопоставленных офицеров. Полагаю, однако, что достаточно четко объяснил, откуда взялось у меня столь своеобразное уменьье, и уж вовсе не выхваляю свои необыкновенные способности, когда признаюсь, что был изготовителем продукции, каковую кое-кто считает доказательством высокого культурного уровня, и когда ко всему еще напоминаю, что мне в ту пору было всего восемнадцать, восемнадцать с половиной.

Но как раз этот возраст многое объясняет: в среднем все кроссворды — продукция стандартная; отличают их высокое число повторов и вполне определенная механика построения — в юности же и память хорошая и есть склонность, используя известные правила, забавляться хитроумной на первый взгляд игрой.

Спрашивается, если все оборачивается такой банальностью, зачем я об этом рассказываю? Да, если уж в повествовании подобного рода я упоминаю какой-то свой особый дар и даже подчеркиваю его, значит, это какой-то исключительный случай, иначе в моем рассказе проявилось бы пустое зазнайство, но это начи-

сто исключается в работе, которую я осуществил с надеждой, что даже мои глубоко личные воззрения вызовут общественный интерес.

Так зачем же столь пространное и многоречивое повествование о том, что я неплохо справлялся с изготовлением кроссвордов?

Думаю, что могу его обосновать, ибо с этим занятием связано мое вступление в совершенно новые отношения с людьми и, возможно, даже с человечеством. Ну и что? Не более того?

Нет, не более, но и не менее, а для меня это не пустяк.

Жизнь в лазарете принимает то какие-то расплывчатые, то какие-то путаные формы, что, видимо, часто и случается в больнице: появляешься там с шумом, исчезаешь втихомолку; ты просто однажды исчезаешь из виду и объявляешься где-то совсем в другом месте, опять где-то там на белом свете.

Одно лишь известие наделало шуму — когда мы узнали, когда я узнал, что врачиха, моя врачиха, больше не появится, никогда больше не придет, что ушла она из моей жизни как истинный воин — безвозвратно.

Хорошего в этом для меня было мало, а потому мне даже лучше, что парикмахера из Брица уже не было в живых: ему я бы выплакался, а ведь в нашей палате и у стен были уши.

И еще хорошо, что на свете существуют книги, а также Эрих из Пирны, который мне их поставлял. Кажется, я именно тогда прочел «Туннель» Келлермана и «Волк среди волков» Фаллады, и, может быть, этим объясняется, что я отношусь к числу немногих людей, кто не захлебывается от восторга, когда речь заходит о «Туннеле» Келлермана.

Возвращение в лагерь я тоже помню весьма смутно. Помню, я задним числом злился, что не огрел опять какого-нибудь фельдфебеля и не попал в барак к дебоширам; я очутился среди самой обычной братии, что лишь усилило душевную маету, каковой не избежать, если даже от лазарета у тебя остались расплывчатые и обрывочные воспоминания.

Из моих новых соседей я знал лишь одного — эсэсовца с африканистым лицом, которого выпустили из лазарета раньше меня, позже к нам присоединился и мастер по фарфору, теперь еще и физически изувеченный. Но от этого он страдал недолго — о чем я еще расскажу.

Когда ты впервые попадаешь в барак, то на краткий срок чувствуешь себя как Чарльз Линдберг по возвращении в Нью-Йорк. Все хотят тебя видеть — может статься, ты человек знакомый. Все хотят с тобой поговорить — может статься, ты несешь благую весть. Все сбегаются к тебе — может статься, у тебя в кармане найдется какой-никакой харч.

Но постепенно все унимаются, навязчивыми остаются только клопы. С ними у тебя хлопот полно, как, впрочем, и с другими напастями; и недосуг терзаться муками переходного периода, и нельзя допускать, чтобы утвердилось повсеместно заблуждение — оно может дорого тебе стоить, — будто ты этакий бедолага, с которым все дозволено.

Но кое-кто все же на это надеется, а людей определенного сорта требуется взашей согнать с нар, иначе они не поверят, что ты, уж если на то пошло, лучше с девчонкой порезвишься.

От известного рода попрошаек тоже иначе не отделаться. Эта братия знает, что ты в лагере не меньше сидишь, чем они; они видят, что ты похож на высохшего Иисуса, оставить тебя рядом хоть с единой хлебной крошкой, своей, конечно, они поостерегутся, такие у тебя голодные глаза, и все-таки они делают попытки. Обращаются к тебе «дружище» — за «намрада» они уже не раз получали по зубам, — и совершенно серьезно спрашивают, не найдется ли у тебя чего-нибудь пожрать.

Для них, разумеется, ведь подумать только, им хочется есть.

Если кто-нибудь испытывает нехватку в примерах оптимизма, — пожалуй-ста, дарю ему вышеприведенные.

А если кто-нибудь хочет знать, умею ли я огрызаться, пожалуйста: дважды ко мне не подъезжали ни попрошайки, ни педики.

Есть поступки, которые нам дано совершить лишь раз, а совершив, не идти на попятную; огромное значение в закрытых заведениях имеют твои первые шаги, твой первый выход, твоя премьера. В таких заведениях почти невозможно ниспровергнуть установленный порядок, как ты начал, так ты и кончишь, заработанная репутация здесь держится особенно прочно.

Стало быть, позаботься о репутации, которую хочешь иметь.

Откуда у меня эта заскорузлая мудрость, откуда была она у меня в те годы? Да вот, помогла служба метрдателем у инженера Ганзекеля, семинар у дебоширов, лекции на железнодорожных путях между Радомом и Люблином, курс наук, который я прошел у парикмахера из Брица и извозовладельца из Пирны, самые разные уроки, которые я извлекал из наблюдений за изрешеченными, обмороженными, оголодавшими солдатами как при жизни, так и в час смерти, я всегда все с полуслова понимал, когда в сумятице, которую голод и страх вносят в людское сообщество, проклевывались первые робкие признаки порядка.

Мать считала меня тихоней, вот ведь жалость, что ее не было сейчас со мной. Она считала, что я слишком многое терпеливо сношу, но в этом бараке обо мне так не думали.

Добавлю, и не потому вовсе, что опасаясь за свое нынешнее доброе имя: с годами мой пыл поулегся, со временем я снова стал обходительней, но ничуть не жалею, что не был таковым в те годы.

Хорошо помню, как я перепугался, когда впервые нокаутировал противника. Он же, решил я, не стерпит, что я разбил ему губы в кровь, а потому я всячески старался подавить свои инстинкты и готов был принять его ответ как вполне заслуженный, но он и не думал отвечать, и мне даже стало как-то совестно, что я так унизил человека.

Однако я тут же заметил, что вырос в глазах окружающих и что единым махом можно семерых пришлепнуть, если, конечно, долбанешь как следует, а как следует — значит, во всю мочь, чтоб долго помнил, чтоб остались зримые результаты.

Отец тоже повинен в том, что я был скор на руку, он весьма пренебрежительно относился к корректности.

Ее изобрели, говаривал он, чтобы в спорте не слишком быстро кончалось удовольствие и чтобы продлить его сколь возможно, раз ты на него потратился, а помимо спорта корректность просто смешна. Никогда не начинай дела, если не в твоей власти предопределить его конец, говаривал он, и еще: хочешь, чтобы человек оставил тебя в покое, так хоть разок покажи ему, что это и в его интересах.

И еще: если назревает потасовка, не путай слова и дела. Двинешь противника чуток и только на словах посулишь добавить, так он тебе не поверит. Предостережения хороши после того, как противник поднялся. Он и поверит куда легче.

Вот правила, которые проповедовал отец, и думаю, он огорчался, что я живу, не придерживаясь их. Когда я о них вспомнил, так находился от него за тридевять земель, а главное, его не было в живых.

Но костоломное обращение с себе подобными вообще-то чуждо моей натуре; прежде было чуждо, и впоследствии, и в те времена, когда я особенно рьяно практиковал его. Примеры, на которые мы равняемся, мы находим довольно рано, и очень редко они теряют свою силу впоследствии. Их можно на какое-то время признать недействительными, если обстоятельства этого требуют, но ломка, коренная, снизу доверху и на веки вечные, редко бывает признаком здоровья. У каждого человека своя формула жизни; он к ней не прикован, но все же, видимо, крепко с ней связан.

Моя формула позволяла мне представлять таким юным забиякой, но я потом отказался от этой роли, когда исчезли соответствующие пьесы, а когда соот-

ветствующие пьесы еще шли, я все-таки старался, чтобы мое исполнение не выглядело слишком топорным и скованным.

В этом мне помогло искусство составлять кроссворды.

Француз-эсэсовец попытался, правда, склонить меня на игру в шахматы — осколком стекла он вырезал великолепные фигуры, и уж ради этих резных деревяшек я бы охотно с ним играл, но он делал вид, что не говорит по-немецки, а мне беседа, которая ограничивалась словами «шах» и «мат» или «ничья» и «пат», представлялась все-таки скучноватой, к тому же, считал я, зачем это мне, пленному, связываться с эсэсовцем, перед которым прежде, пожалуй, я испытывал бы только страх. Тем не менее к французу меня тянуло, в тех, правда, случаях, когда кое-кто пытался возить на нем воду и конечно же не потому, что он эсэсовец, а потому, что среди его предков совершенно очевидно был негр.

Видимо, в этом крылась причина, почему француз вечно вырезал шахматы, ведь при этом он почти никогда не выпускал из рук осколка.

В шахматы я с ним играл недолго — я предпочел безобидные кроссворды.

Они возникли как поветрие, да здесь почти все так возникало; то мы вышивали свои имена на околыше, то каждому бараку требовались собственные солнечные часы, то все обменивались рецептами тортов, то у всех на языке были кроссворды, как у инженера Ганзекеля его Гейнсборо.

Но тут я был на высоте, и когда вошло в моду спрашивать друг у друга, что это за судейские мантии из четырех букв и какие американские реки оканчиваются на «ни», я попал в общество самых образованных умов, потому что вопросы столь элементарные я никогда не задавал.

Если память мне не изменяет, никому в голову не пришло проверить, понимаю ли я суть тех слов, которые загадывал.

И слава богу, ведь почти всегда я владел лишь оболочкой слова, я знал, что молибден — это твердый тугоплавкий металл, из восьми букв, а более ничего о молибдене не знал. Но поскольку большинство окружающих понятия не имело даже о существовании этого элемента, я со своим понятием был уже герцем.

Однако детская забава мне скоро надоела, и я принял меры, чтобы перейти к более серьезным играм. Я раздобыл пустой бумажный мешок на кухне и одолжил у старосты барака карандаш — предприятие, о котором рассказываешь в двух словах, но оно потребовало столько энергии, что в мирное время я спокойно прожил бы на нее месяц, — и сочинил первый большой лагерный кроссворд.

Разумеется, это было грандиозное творение; я построил кроссворд, перекрестив Гейнсборо по горизонтали с триаксидодекаэдром по вертикали, и шестнадцатibuквенный тридцатигранник был не единственным экзотом среди неизменно используемых как мостики и затычки попугаев ара, тиар, тог и фатумов.

Вот и хорошо, что я с самого начала не допускал никаких фамильярностей, допусти я их, так не смог бы сосредоточиться на том, чем сейчас занимался.

В условиях плена человек ни на минуту не остается один; даже в сортире доска, на которую ты усаживаешься, еще теплая, а среди соседей по правую и по левую руку наверняка сидит чудак, который начнет выяснять, не ел ли кто из сидящих в нужнике вишен, здесь, мол, вдруг запахло вишнями.

Так можно ли надеяться, что в подобной ситуации ты сможешь уединиться и тебя не станут донимать вопросами, видя, как ты целыми днями сидишь у забора, уставившись в одну точку, с обрывком бумаги на коленях, на который время от времени наносишь таинственные знаки. Нет, тут уж, будь ты хоть техасцем с двадцатью шестью насечками на рукоятке револьвера, все равно к тебе станут приставать. Но в моем случае это были только вопросы или попытки сосрывать, и раз уж я собирался предложить свое сочинение обществу, меня вполне устраивало, что общественность заранее заинтересовалась моими действиями.

Никаких пояснений я не давал, ибо сам еще не знал, сойдется ли моя композиция, а если сойдется, так мне хотелось ошеломить всех окружающих.

Композиция удалась, и ошеломить мне их тоже удалось.



После несказанных мучений я изобразил на бумажном обрывке раскидистую крестовину загадок, но когда я наконец-то сообразил, как в сложное переплетение вопросов все-таки ввести еще отменное слово «кенгуру», наступил вечер и подошло время отправляться спать: я сунул рукопись моего первого собственного кроссворда в шапку, служившую мне также подушкой, и погрузился в сон, которому пришлось делить с моими ожиданиями наступившую ночь.

Новый день начался так, как начинались уже многие и многие дни: с хрипловатой перебранки у корыта, с бессмысленного пения на перекличке, с чересчур маленькой пайки хлеба, день этот уже собрался было катиться по привычной колее, когда я резко изменил его ход.

Мне пришлось уговорить двух-трех человек, чтобы они освободили уголок аппельплаца и не занимали его, мне даже вспомнить тошно, сколько сил я положил на это; кое-кто вдруг решил, что во всем лагере только и единственно в этом месте легко дышится, и, судя по их негодованию, они ждали, что именно в этом месте вот-вот развернется земля и откроется доступ к сокровищам Сезама или, того лучше, к сносной кладовке.

А я говорил примерно следующее: послушай, сосед, если здесь найдут нефть — она твоя. Меня в расчет не бери, я тут же уберусь. Со мной делиться не нужно, я и капли того керосина не хочу, весь себе оставь, но сейчас освободика место. Уговор остается в силе и на случай золотых или алмазных россыпей. Найдешь золото или алмазы — мне о том ни слова, а пока что освободи место, папаша. Отойдешь на два-три шага, я на весь мир растрюблю, что ты ушел добровольно, а не отойдешь, так весь мир скоро узнает, из-за кого я опять попал к дебоширам. Да-да, я уже там был. И, знаешь, за зверские драки. Ну, будь человеком, освободи место. Потом и тебя примем в игру.

Среди нашего монотонного бытия подобная речь обещала многое, а на неуступчивых «землевладельцев» набросились такие, кто умел говорить с ними на понятном им языке, и я получил требуемое место.

Я прошелся по нему доской, пригладил как мог и стал переносить на песок чертеж кроссворда, клетки по горизонтали, клетки по вертикали, а также вписывать цифры в клетки, начинающие слово.

— Это что ж... Ты никак считать учишься?

— Он нам сейчас карту мира изобразит и кратчайший путь, которым японцы придут нас освобождать.

— Э, язви ты... тоже еще изобретатель нашелся!

— Эй, вы что, не видите, он же чертит кроссворд!

Но вот я кончил и стал громко читать по своему обрывку вопросы:

— Первое по горизонтали: племя.

— Да их же тыщ десять найдется!

— Но не из восьми букв; племя из восьми букв можно угадать.

— А что там первое по вертикали?

— Первое по вертикали — изделие из муки, пять букв, ни за что не догадается.

Секунды через три по меньшей мере трое хором выкрикнули:

— Булка!

— Булка подходит, да-да, впиши-ка: булка. Значит, племя начинается на «б», восемь букв и первая «б»; неужели не найдется среди нас ученого человека?

Ученый человек нашелся; он был не то этнографом, не то отгадчиком кроссвордов, во всяком случае он знал о ботокудах, и я вдарял их в лагерьный песок.

Но чтобы ответить на все вопросы, требовалось немало времени, требовался целый день, включая обед — получить суп, выхлебать, — ибо и в очереди к солдатскому котлу не прекращались поиски островов, валютных единиц и сортов фруктов.

И, понятно, вспыхивали там и сям споры, к примеру, вправе ли я сокращать название яблок с «лондонского пепина» до просто «пепин».

Возникли и технические трудности: чем больше разгадывался кроссворд,

тем сложнее было записывать найденные слова. Все же площадка для нашей головомки была не меньше маленького садового участка, ведь только крупные буквы можно прочесть в песке, и как бы аккуратно мы ни вносили новые слова, старые при этом вытаптывались, ох и рев же поднимался!

Но в подобной ситуации всегда сыщется находчивый человек. Старосту какого-то барака уговорили одолжить нам деревянную раму его индивидуальной кровати; с этой переносной площадки можно было вписывать в квадраты новые сведения так, чтобы старые не слишком страдали.

А когда мне пришло в голову, что сие творение, над которым десяток людей постарше и пообразованней меня ломают голову, измыслил я единолично. так я сам себе удивился, но тут же сказал себе, что цифры еще не аргументы. Я конечно же не равен десятерым только оттого, что десять человек пыхтят над моей выдумкой, а десятеро, в свою очередь, не всегда больше одного. Сколько требуется человек, чтобы протянуть нитку сквозь игольное ушко?

И все же о том, чтоб мной не овладело безразличие, позаботились окружающие. Со мной стали говорить совсем новым тоном: скажи, ты нам завтра придумаешь кроссворд? Или: ох, приятель, я считал, мы в жизнь не справимся! Или: однако, ты нам твердый орешек подкинул!

Мы и ты — весьма своеобразное разделение, и я не знал, можно ли мне по этому поводу радоваться и нужно ли мне вообще радоваться. Ибо до сих пор было не очень-то выгодно выделяться из общей массы.

Ну что ж, я стал кроссвордистом. Вначале прославился в своем бараке, затем в блоке, а далее и по всему лагерю — мастер-кроссвордист.

Я стал человеком с именем, как тенор из Кенигсберга, что иной раз так прекрасно пел по вечерам. Как пианист из ансамбля с матросским номером. Как майор с «дубовыми листьями и мечами». Как прорицатель из Люксембурга, который был когда-то самым удачливым прорицателем Люксембурга. Как штабс-ефрейтор, который падал в обморок, когда кто-нибудь возьмет да крикнет ему в ухо: «Работа!»

Но было в моем звании и кое-что положительное. Повара — без их пакетов от суповых концентратов мне не обойтись — снабжали меня не только пакетами! Вообще-то они сильно обижались, если человек уклонялся от их благодарений. но я умел с ними ладить и тогда, когда наотрез отказался стать кроссвордистом только для кухни.

— Парень, это же единственный шанс в жизни, — сказал мне шеф-повар, — получай стол и стул и ни черта, кроме кроссвордов, не делай. Жрать захочешь, мне словечко скажи, и чего хочешь, тоже скажи. Пойми, парень, твои кроссворды — это ж как «сила через радость». Я о своих ребятах хлопочу, у них никаких развлечений при этакой-то жратве, а люди их оговаривают, точно они виноваты, что попали на кухню. Это ж все мои земляки-рейны, мы за веселый нрав прославились. А что они вовсе делать разучились, это шевелить мозгами, жрать-то они умеют. Согласишься, я сей же час выкину кого-нибудь из мойщиков, и ты с завтрава начнешь входить в тело.

Против этого возразить было нечего, кожа на моем заду, сплюснутая костями и досками койки, превратилась в сплошной синяк.

Но хоть живот у меня от голода подвело, я не в силах был преодолеть отращивание к кухонному чаду и помоям, вдобавок я понимал: как прославленный загадочник я человек вольный, каковым ни за что не останусь, если стану штатным развлекателем кухонной братии.

И еще я слишком хорошо знал, что до сих пор ничье царство на кухне не продержалось дольше месяца; за этот примерно срок алчность сжирает любые гарантии: вся шайка-лейка садилась в карцер и приходили новые люди. Такие ясноглазые в первый день и такие голодные.

Поэтому я заключил с шеф-поваром сделку, нам обоим выгодную: я каждый раз давал ему копию нового кроссворда до того, как чертил его на песке для общества, а он давал мне поесть.

Такой обмен я продолжил и с преемниками этих поваров — помнится, следующими заправляли на кухне выходцы из Бреславля, — однако у нас внезапно стряслась такая беда, что весь лагерь в одночасье отвернулся от кроссвордов.

Но пока что конъюнктура была на взлете, и я уже давно собирался использовать хотя бы отдельные из тех многочисленных предложений, которые мне предлагали, где бы ни встречали меня.

— Эй, у нас деревня Кикиндемарк называется, не согдится тебе, деревня в Мекленбурге из одиннадцати букв?

— А вот послушай: наша часть стояла в Северной Франции, в Кьеврешэне-на-Онелле, они сдохнут, а не отгадают, Кьеврешэн-на-Онелле...

— А я вот что подумал, приятель, вставь-ка дважды «бюст», и оба раза как часть женского тела, допустим, первый бюст люди отгадают, так им в голову не придет, что и второй раз отгадка — бюст. Ох, любопытно, какие нам словечки предложат...

Один чудак что ни день со мной заговаривал и все спрашивал, да с большой обидой, почему это я до сих пор еще не использовал такое прекрасное слово, как «гемералопия», что значит «куриная слепота», а другой обещал составить для меня кроссворд, в котором будут одни только односложные слова и стенографические сокращения.

— Великолепная выйдет штукавина, приятель!

Подобных ассистентов я отсылал к конкурирующим фирмам, конечно, только таких, что поставляли никуда негодные, безумные идеи, или просто напросто навязывали мне свои бзики, но дельные предложения с благодарностью принимал: запасы моих познаний из абонеента книгоноши таяли с каждым днем и моя избалованная команда реагировала на любое повторение мгновенно и весьма бурно. Конкуренция же появилась, и очень скоро, и как я теперь вспоминаю, у нас появилось все, что обычно появляется там, где царят азарт и конкуренция.

Как только за каждым бараком стали возникать собственные кроссворды, составленные собственным кроссвордистом, так в лагере тотчас утвердилось новое звание, а именно — кроссвордист. И появился новый клан, и новое чванство, и новые страхи, и новая зависть. И появились болельщики, ничуть не хуже, чем у популярного футбольного клуба, и критики, точно такие, о каких мы не раз слышали. Появились подражатели и шпионы, одержимые и букмекеры, почитатели, что захлебывались от восторга, и отрицатели, что испытывали ко всему отвращение. Много случилось забавного, но в конце концов случилось убийство.

Однако прежде еще, до убийства, меня как-то отвели в сторону два типа — я их не знал, они были из отдаленного барака — и сказали, им-де со мной нужно серьезно поговорить.

К разговорам, которые следовали обычно за подобным вступлением, я большой охоты не имел и потому молча ждал, пока младший не объявил:

— Мы собрались наладить в лагере агитработу, но тут всем некогда из-за ваших кроссвордов.

— А что такое агитработа? — спросил я.

— Мы собирались обсудить разные проблемы, — ответил старший, — важные для нашего будущего.

— Вы что, от биржи труда?

— Политические проблемы, — закончил старший, — чтобы каждый уяснил себе положение вещей.

— А вы что, знаете, каково положение вещей?

— Мы кое-что знаем, но здесь никто ничего не знает.

— Эй, послушай-ка, — взорвался я, искренне возмущенный. — и это ты говоришь мне?

Тут снова включился младший и не без яда заметил:

— Думаешь, нам не известно, что ты знаменитый спец-кроссвордист? Поэтому мы и пришли к тебе. Мы, ясное дело, восхищены, но не пора ли с этой музой...

Тут вмешался его сотоварищ, как я, собственно говоря, и ждал, ведь я прочел много книг, в которых действовали подобные герои, один был всегда злым, бешеным, от которого, к сожалению, в любую минуту можно ждать всяких неожиданностей, а второму приходилось разыгрывать посредника, и только ему можно доверять — если ты дурак и не читал тех книг, что читал я.

Оттого-то я даже с удовольствием услышал, что старший говорит:

— Ну зачем нам ругаться, слушай: я тоже люблю разгадывать кроссворды и рад, если кому везет, но когда это превращается в эпидемию... Я хочу сказать, надо же между вопросами о попугаях и мертвых поэтах выкроить время на решение серьезных вопросов.

— А это еще что за вопросы?

Тут молодой как рявкнет на меня:

— Что с Германней будет и с тобой, бестолочь!

Ну, это они не отретировали, старший явно напугался и разозлился, но, прежде чем он подобрал умиротворяющие слова, я им обоим заявил:

— Если вы из «Свободной Германии» или собираетесь тут открыть филиал своей фирмы, так я с вами дела иметь не желаю. Германия может обо мне не заботиться, отныне я сам о себе забочусь. Кажется, я ответил на все ваши великие вопросы, а вот вам и чаевые: если кто охотнее станет выслушивать ваши великие вопросы, чем мои малые — я с ним связываться не буду, о вкусах не спорят, а здесь свободный лагерь, вам это известно?

Ух и обрадовался же я, что так красиво им ответил, и по сей день еще удивляюсь, как это я вообще-то дослушал, что сказал старший, горько скривив губы:

— Чего болтаешь, парень, да ты разглядел, что вокруг тебя делается?

Чем-то вопрос этот показался мне знакомым, но я не пожелал разбираться в своих ощущениях, мне предстояло еще отработать кроссворд к предстоящему матчу.

Отработать кроссворд к великому матчу, который решит, в каком из барakov сидят самые светлые головы. Состязание длилось уже довольно долго, в бой друг против друга выходили всегда два барака, по кубковой системе — проигравший выбывает, победитель участвует в следующем туре.

Один и тот же кроссворд чертился на увлажненном песке для той и другой команды, которые содержались раздельно и были надежно ограждены от проникновения курьеров и шпионов, все решалось очень просто — кто первый кончит, тот и выиграл.

Думается, древние римляне без пользы разбазарили кучу средств со своим принципом «хлеба и зрелищ!». Я понял, что с девизом «хлеба или зрелищ!» дело тоже идет. Конечно, если жратвы вовсе не давать, так и на зрелища охотников не найдешь, но наши сражения мы вели почти с той же жадностью, с какой мы набрасывались на еду. Тут уже и впрямь не оставалось времени ни на что другое, и я понимал, как злились те двое из «Свободной Германии».

Но кого завидки берут, тот ни с чем остается, говорила всегда моя мама, вот я и выбросил тех двух чудачков из головы, голова нужна была мне и даже очень для наших матчей.

Мой барак не так уж плохо проходил дистанцию — хотя я как автор, разумеется, не имел права участвовать, — он уже выбил два других барака из игры, а попытка барака ремесленников склонить нашего сильнейшего участника, пожилого солдата с полевой почты, на переход к противнику была своевременно пресечена. Мы тотчас ввели в наш регламент пункт, запрещающий после начала матча менять барак.

Нет, дела в лагере обстояли неплохо, и мне даже пришло в голову, что я мог бы спросить у тех агитатчиков, когда это в нашем лагере царил такой порядок и когда у нас кончилась наконец-то мерзкая грызня, потому особенно жалкая, что все участники изрядно ослабели.

А теперь атмосфера, хоть и напряженная и настроение у всех боевое, но

вряд ли бывали более безобидные бои и вряд ли бывало большее единство среди сотни самых разных людей, которых случай запер в лагерный барак.

И только калека Эдвин, мастер по фарфору, оставался злостным скандалистом и шумел, пожалуй, все больше и больше. Ясно, перевести его в барак к дебоширам у нас духу не хватало, таким он казался немощным на своих костылях, но поток брани, которую он изрыгал чуть ли не беспрестанно, был очень даже мощный, а, главное, брань эта имела отвратную политическую окраску.

Мы бы ничуть не возражали, если бы кто хаял русских или большевиков, но Эдвин замкнулся на евреех, он с маниакальным постоянством изощрялся в непотребствах на эту тему, а ведь нужно было проявить недюжинную изобретательность, чтобы даже нам показаться непотребным. Эдвин и проявил, он называл суп жидовской мочой, клопов — детьми Сиона, а в сортире, считал он, воняет, как в синагоге. Но как-то раз ему пришла в голову мысль, что кроссворды — это жидовское изобретение, первые такие квадраты, объявил он, были на-малеваны раввинским дерьмом на стенах гетто. Не знаю, заметил он или нет, что с той поры атмосфера вокруг него сгустилась; нет, он, кажется, заметил только, что стал раздражать всех и каждого, а этого он и добивался.

Как я теперь понимаю, Эдвин мешал нам в двух планах: во-первых, он мешал нашей игре, он взял себе за привычку на вопрос, скажем, о мужском имени, до тех пор выкрикивать «Абрам, Исав, Исидор, Исаак» и так далее, пока его кто-нибудь не хватал за шиворот, во-вторых, он полным голосом напоминал нам о том, что мы с всеобщего молчаливого согласия пытались выбросить из головы.

Проще говоря, мы вовсю делали вид, что за оградой лагеря перенеслись непосредственно из мирной и благопристойной жизни. Судя по тем, хоть и нечастым, разговорам, которые мы поначалу вели о делах военных и политических, получалось, что мы — это группа людей, живших где-то в стороне и от всемирной истории и от истории собственной страны, и теперь, глубоко обиженные, мы страдаем от жестокой несправедливости.

Я не хочу этим сказать, что мы умышленно примысливали себе иную жизнь, не ту, которую прожили: но мы, вспоминая нашу жизнь, много опускали — известные знамена, известные цвета, известные знаки, известные изречения, известные обычаи, известную манеру думать о себе и о других; известные обстоятельства нашего времени — во всяком случае многие — мы как-то позабывали, когда речь у нас заходила об этом времени. Быть может, это было необходимо, быть может, нам требовалось почувствовать себя оскорбленной невинностью, чтобы выдержать пребывание в лагере, быть может, даже капля осознания собственной вины сломила бы нам хребет, не знаю.

Знаю одно: мы обладали неким защитным механизмом, который отодвигал куда-то на задний план то, что перегрузило бы нашу совесть, знаю, в лагерях начального периода этот механизм работал с полной нагрузкой.

Вот так и получилось, что Эдвин оказался злостным нарушителем нашего покоя: своими воплями он мог бог знает что навлечь на наши головы, да еще в его воплях слышалась интонация куда как хорошо нам знакомая, ибо та же интонация когда-то была присуща нам самим. А мы вовсе не хотели, чтобы нам о том напоминали.

Но это ничуть не трогаю Эдвина, напротив, ему доставляло удовольствие нас, если можно так сказать, предавать.

А тут он еще стал портить нам игру. «Лалсердак!» — орал он, когда требовалось назвать часть мужской одежды. «Цимес!» — когда требовалось какое-то блюдо; звезду Давида он вспоминал, когда речь шла о клейменинн скота, а резным изделием, на его взгляд, был бесспорно раввинский уд.

Да, при иных обстоятельствах эта идея имела бы кой-какой успех и, может, вызвала бы бурное веселье, но он выдал нам свою остроту в тот момент, когда, по сообщению судей, у нас был равный счет с соседями, да еще в сражении, от результатов которого зависел выход в полуфинал.

— А теперь придержи-на язык, Эдвин!

— Повторяю, резьба по дереву — шесть букв, кто знает?

— Может, «икона»?

— Чушь, пять букв, да иконы пишут!

— А если «статуетка»?

— Слишком длинное, вы что, считать не умеете?

Эдвин снова внес свое предложение и объяснил, что раввинская-то штука ковина как раз короткая...

— Заткнись, вшивый прихлебатель, у тех уже на три слова больше, у нас крайняя...

— Крайняя плоть, я же говорю, — выкрикнул Эдвин и проверещал свою любимую шутку. — Ах, рабби, вас там и не чувствуешь, чего это у вас не хватает?

Но старосте барака было сейчас не до шуток, да еще с длиннющей бородой; он весь кипел от бешенства и, заранее зная, как больно оскорбит Эдвина, рявкнул:

— Если ты, онемеченный полячишка, сей секунд не заткнешь свое польское хайло...

Тут Эдвин, фольксдойче из Коло, что в Польше, совершил нечто уму непостижимое: он раскачался на своих костылях и прыгнул на расчерченную площадку кроссворда и, изрыгая проклятия, пошел черкать и перечеркивать уже вписанные решения, так что раньше, чем ему успели помешать, уничтожил большую часть такого важного для нас кроссворда.

Я никогда, наверное, не пойму, откуда взялось столько ненависти, из каких бездн выплеснулась вся та ярость, что обрушилась на визжащего калеку крики которого, что он не онемеченный поляк, а такой же чистокровный немец, как и все здесь, я слышу еще и сегодня; и сегодня еще хорошо помню — когда десяток разгадчиков навалились на Эдвина, он кричал недолго; и хорошо помню, какая наступила тишина, когда Эдвин замолк, а слышали мы только тяжело-дыхание его убийц.

На смерть Эдвина особого внимания не обратили, а потому никакого дознания по этому делу не последовало и вообще ничего равным счетом не последовало, только долгая затяжная тишина.

И еще долго, много дней и даже месяцев мы цепенели, когда к нашему бараку приближался кто-нибудь в форме, и долго, очень долго мы бережно обращались друг с другом, и очень вежливо, как, верно, принято среди убийц, знающих друг о друге всю подноготную.

Мы выбыли из кроссвордного чемпионата, ввиду, как было объявлено, смерти одного из участников, и, удивительное дело, вскоре после гибели Эдвина из лагерной жизни исчезла и мода на кроссворды, в зените которой он погиб.

## VIII

В поляках мы поначалу как-то не умели разбираться, и это удивительно, если вспомнить, что страна, в которой мы находились, была их страной. Не то чтобы мне их не доставало: они изловили меня под польской кроватью, мне этого было довольно, им, видимо, тоже.

Я даже думаю, что поляки, встречавшиеся мне на дорогах вокруг лагеря или в поездах, представлялись мне тогда существами иной породы, пребывающими где-то за пределами нашей сферы, сферы плена, внутри которой для нас только и существовал истинный мир. Это были чужаки, случайно проходящие по периферии круга, что стал мне чуть ли не домом.

Если судить второпях, можно считать такой взгляд нелепым рефлексом моего оккупационного мышления, что ж, точки соприкосновения здесь, пожалуй, есть, но по разным причинам я с этим все-таки не согласен.

Во-первых, не бог весть каким я был оккупантом; Польша с самого начала представлялась мне малосимпатичной чужбиной, которую я с великой охотой променял бы на любой уголок родного края, а для того чтобы у меня вырабо-

талось верное понимание, как следует относиться к оккупированной стране, мне нужно было бы задержаться в ней несколько дольше.

Во-вторых, с этой точки зрения нельзя объяснить, почему русских, которые стали теперь моими стражами, как я был прежде стражем поляков, почему же русских я причислял к своему миру, а не к миру поляков.

В плену, думается мне, происходит новое примитивно жестокое деление бытия на лагерное и внелагерное.

С принадлежностью к какому-либо государству, к какой-либо стране или нации это никак не связано, скорее уж это связано с потребностью человека в защищенности и с тягой человека к такой системе, которую можно окинуть взглядом. Лагерь — это система, которую легко окинуть взглядом, и для человека, у которого нет ничего, кроме самого себя, лагерь, пожалуй, самое надежное место.

Да что я все говорю и говорю, лучше приведу два-три примера.

Еще в самом начале, в период между тем, как меня взяли в плен крестьяне и как я попал к советскому лейтенанту, с которым ехал потом в эшелоне, я побывал под стражей у тех поляков, что носили бело-красные повязки; случилось это в Коло, мы сидели где-то, возможно в комендатуре, и среди любопытных, желавших меня видеть, был русский старшина.

В руках он держал огромный пистолет, самый большой из виденных мной когда-либо — очень может быть, однако, что это был обман зрения, ибо мало с какими пистолетами я входил в столь близкое соприкосновение. Владелец пистолета сунул мне его дуло под нос, чтобы я заглянул в ствол. У старшины, видимо, имелись на то свои причины; вполне допускаю, после всего того, что довелось мне с тех пор узнать, и говорю это вполне искренне, но столь же искренне говорю и другое: он мне не понравился.

Между поляками и русским старшиной разгорелась жаркая перепалка; слов я не понимал и все же на удивление хорошо понимал их разговор, ведь речь шла о моей жизни.

Впрочем, позже один из поляков сказал:

— Да, парень хотел вас чуть-чуть пристрелить!

Но этого разъяснения мне и не требовалось, я ведь хорошо слышал их разговор, а дикую ярость, возмущение и ужас на лицах распознаешь, даже глядя одним глазом, оттого что в другой уперлось дуло пистолета.

Согласен, подобная ситуация — ситуация экстремальная, но именно потому особенно понятно, что я хочу сказать: хоть я был пленным поляка и хоть наши отношения являли собой полную противоположность дружеским, но лучшего, чем оп. защитника мне было тогда не найти, ибо я был его пленным.

Разумеется, можно сказать: что уж такое плен по сравнению с угрозой смерти, и ведь мой поляк, наверное, не был другом Советов, но все это не подчеркивает моей уверенности — просто советскому старшине не позволили соваться в систему, в которую ему нечего было совать нос. Иначе говоря: я со всей решительностью заявляю, со всей решительностью, ибо понимаю — тут возможны сомнения, что я, когда проезжий старшина ткнул мне в глаз ледяное дуло, несмотря на всепоглощающий страх, еще способен был с негодованием подумать: что этому человеку от нас надо?

Я вовлек поляка в акцию, жертвой которой мог стать я сам, но он этого не допустил, ибо здесь если уж кто и выстрелит, так только он, а не какое-нибудь, боже упаси, третье лицо.

Впоследствии у тюрьмы в Лодзи третьим лицом были поляки против нас — пленных и охраняющих нас красноармейцев.

Тут любой скажет: я перекидываюсь на ту или другую сторону в зависимости от того, с какой в меня стреляют. Что ж, верно, но я одно хотел показать: кто держал меня под стражей, тот охранял меня, поэтому я скорее объединялся с ними, чем с кем-то там третьим. Плен представлял собой единение пленных и их охраны против остального мира, вот именно это я хотел объяснить,

когда сказал, что поляки за оградой лагеря в Пулавах представлялись мне существами иной породы, чуждыми как мне, так и моим конвоирам.

Как ни странно, но в связи с затронутой темой я припоминаю еще одно происшествие, которое как будто подкрепляет мои взгляды, и все-таки я не спешу ставить его в ряд моих примеров.

Думается мне, в этой истории было замешано еще кое-что другое; общность, которая связала меня с моим стражем, была совсем иного рода, чем та, о которой я говорил до сих пор. А может, и нет, я еще сам не во всем разобрался.

В тот день нас охранял особенно угрюмый конвоир, на все и вся рыкающий, всем и вся недовольный, из людей, какие везде и при любых обстоятельствах встречаются, защитник, какого лучше поостеречься.

Другие конвоиры с трудом убедили его, что и пленным нужен перерыв в работе, и теперь на маленькой железнодорожной станции он сидел, как свирепый сторожевой пес, готовый по первому же подозрению вцепиться в ноги охраняемых тварей.

Нам было более чем ясно; он все вообще не одобряет: он не одобряет нас, он не одобряет польских железнодорожников, он не одобряет своих безвольных товарищей, и проезжающих в поездах соотечественников он тоже не одобряет.

Если ты все и вся не одобряешь, тебе, надо думать, не очень-то уютно жить на свете, пока ты не поделишься с кем-нибудь, не выскажешь кому-нибудь свою точку зрения. Так этот солдат высказал однажды свою точку зрения мне, и поскольку я ее выслушал и разделил, то и этот конвоир стал причастен нашей общности.

Мимо нас прошел тогда пожилой поляк, при взгляде на него бросалось в глаза, что в теплое время года он был в пальто с меховым воротником.

Я лениво и без всякого интереса подумал: может, у него ничего больше нет, а ему нужно в город, не пойдет же он туда в подтяжках! Но у конвоира, не одобрявшего и этого поляка, нашлось иное объяснение. Он чуть приподнял и вывернул в сторону колено, на котором лежал его автомат, так что ствол проследовал за проходящим, и сказал:

— Буржуй.

Конвоир, конечно же, никак не рассчитывал на бурное одобрение окружающих, ведь ясно же, что на его дружелюбие мы бы ответили весьма относительным дружелюбием, ясно также, что новое деление мира, о котором я только что говорил, еще не каждый осознал, а поэтому понятна и наша сдержанность, когда русские говорили что-либо малоприятное о поляках или наоборот. Более того, нужно обладать запасом вполне определенных знаний, чтобы вообще понять слово «буржуй», а у нас были кое-какие причины не выставлять эти знания напоказ.

Чтобы не затягивать слишком своих объяснений, я просто расскажу, что произошло дальше. А произошло вот что: советский конвоир высказал что-то, видимо, неблагоприятное о проходящем мимо поляке, лице гражданском, а вся бригада подбивальщиков, все они — военнопленные немцы, сделала вид, будто ничего не слышала. Возможно, большинство и впрямь ничего не поняло, но из тех, кто слышал и понял, только один показал, что понял, и это был я.

Кто захочет меня похвалить, тот скажет, что я еще не окончательно отупел, а кто захочет меня уязвить, скажет: ну и пройдоха.

Ну, ладно, видимо, не такой уж я все-таки пройдоха. В слове, которого я никогда не слышал, я распознал русское слово, которое уже не раз читал, и прежде чем я вспомнил, где его читал, я вспомнил значение этого слова, заимствованного из французского языка: буржуй — это то же, что буржуа, то же, что паразит-фабрикант, и так далее и тому подобное.

Предполагаю, что столько-то помнил и кое-кто из моих сотоварищей — укладчиков рельсов, но, вспомнив это слово, они не в пример мне тут же застопорили свои воспоминания и поглядывали вокруг себя с таким видом, словно бы понятия не имели, о чем там говорит конвоир. И уж вовсе не совершили они



того, что совершил я. Я, едва до моего сознания дошло, что замечание солдата было сделано в духе классовой борьбы, заулыбался понимающе и даже одобрительно, и только тогда мне пришло в голову, откуда я почерпнул свои знания.

Не помню уж очередности событий, то ли я сначала удивился своей готовности к приятельству с конвоиром, и, конечно, разозлился при этом, ведь подлаживаясь, ты же вроде бы чего-то кланчишь, то ли я сначала перепугался, ясно вспомнив происхождение моих знаний.

Во всяком случае, слово «буржуй» я знал единственно из писаний некоего Двингера<sup>28</sup>, творениями которого я зачитывался в юности и который, однако, как я, несмотря на это обстоятельство, справедливо подозревал, был ультрауль-транащи.

Все это дела давнишние — и как я перепугался, что читал такие книги, и само чтение этих книг, — а с тех пор я в руки не брал господина Двингера. Не знаю, как это получалось, но я хоть и понимал, что Двингер принадлежит к тому гнусному сорту людей, к которому я бы принадлежать не хотел, я все же готов был с жадностью поглощать и действительно поглощал сочиненные им истории. Знаю одно, это получалось, и я стал отличным знатоком военного и послевоенного положения в Сибири, знал все о благородстве немецких и прибалтийских воинов добровольческого корпуса, знал, почему граф может стирать вражескую кровь со своей уланской пики и почему, если ефрейторы из парабеллумов палили в офицеров, во вражеских, разумеется, но все-таки офицеров, это очень даже дурно. Все это я знал благодаря писателю Двингеру, и благодаря ему я знал также, что значит слово «буржуй».

Вот почему у меня было достаточно оснований лучше не понимать слова «буржуй» и уж тем более не улыбаться одобрительно: меня могли опознать либо как читателя Двингера, либо как знатока коммунистической лексики, а это в моем положении было вдвойне скверно.

Скверно было и другое — я своей улыбкой объединился с конвоиром, а конвоир в порыве благодарности, от радости, что здесь, на дальнем Западе, обрел единомышленника, человека, который понимал его без лишних слов, человека, который понял его с единого слова, конвоир, стало быть, от радости, что встретил где-то на польской железнодорожной станции пролетарского родича, протянул мне свою дымящуюся самокрутку, и это тоже было скверно.

Я был некурящий дохляк, а многие мои товарищи отдали бы часть скудного пайка за одну затяжку от этой жуткой сигареты, но мой конвоир зорко следил, чтобы только его единомышленник, с которым они вместе презирали буржуа, насладился махоркой, меня же сразу начало тошнить, и никакой пользы я не извлек из того, что обрел одного друга-русского, ибо вместе с тем я обрел и двух-трех врагов-немцев.

Удивительное дело, но, на мое счастье, конвоир, простодушно радуясь, немного помягчел к нам. Успех со мной, а также взаимопонимание по поводу поляка в пальто с меховым воротником воодушевили его, и он теперь все чаще разоблачал буржуазный характер проезжающих поляков, и даже самые темные из моих сотоварищей вскоре уразумели, что тот, кто должным образом сумеет позабавиться словом «буржуа», тотчас получит дымящуюся самокрутку.

Рассказал я эту историю только потому, что она еще раз подтверждает мою мысль — плен делит мир на непривычные партии. Русский ли ты, поляк или немец — не это имеет первостепенное значение. Все решает вопрос, свободен человек или в том или ином качестве имеет отношение к плену.

Поляки были людьми свободными, а русские были моей охраной, вот и получилось так, что я до конца первого лета не разбирался в поляках в Польше.

Но в конце августа все изменилось. Однажды во время обычной душевнматывающей переключки нам скомандовали, чтобы все инженеры и техники вы-

<sup>28</sup> Двингер Эдвин Эрих (род. в 1898 г.) — западногерманский писатель, сражался в белой гвардии против Советской республики. Известен как писатель-милитарист антисоветского, фашистского толка.

шли вперед, конечно же я тоже вышел, а поскольку я уже заметил, что профессия печатника не отпечатывается в сознании начальства, то назвал себя полиграфистом. Ничего удивительного, что в нашем лагере внезапно обнаружилось такое количество разных специалистов. Виды на работу с повышенной ответственностью связаны были с видами на повышенный паек; удивительно другое — отбор и переписка дали результаты уже на следующий день.

Человек, примерно, триста были на переключке названы поименно, и они, выйдя из рядов направо, построились в отдельную колонну. Я обратил внимание, что в колонне я один из самых молодых, но и все прочие были еще не старыми; лишь кое-кому перевалило, видимо, за сорок, Гесснеру, франкфуртскому банкиру, в частности; я слышал, как он вчера сказал, что он инженер-монетчик.

И надо же, именно тот фельдфебель, из-за которого я попал к дебоширам, командовал теперь нами, и его узколобость вновь дала себя знать с первыми же его приказаниями:

— Вы — отряд специалистов, значит, вы спецы, ясно? Официальное ваше название — спецы. Ясно? Ясно! Спецы, слушай мою команду! На-пра-во, взять багаж, не в ногу к воротам, шагом марш!

Живет человек и считает, что ничто его не удивит, и вдруг этакий дуралей командует: взять багаж! Самый большой багаж был у меня, и состоял мой багаж из миски и деревянной ложки. Миска, как я уже говорил, представляла собой половину американской консервной банки, я носил ее под своей изношенной гимнастеркой, там, где обычно носят бумажник, а ложка, как всегда и как у всех, торчала в петле левого нагрудного кармана.

Правда, у фельдфебеля багаж был, и, может, он без команды не посмел бы его прихватить.

Мы еще и шага к воротам не сделали, как по рядам уже побежали первые найдостоввернейшие сообщения: нам поручат организовать в Пулавах показательные мастерские. Нам поручат создать в Люблине профессиональное училище для польских сирот, но, может, и в Радоме. Нам в составе рейдовых бригад поручат создать по всей стране сеть ремонтных мастерских, и, конечно, спецснабжение и отпуска тоже предусмотрены.

Я уже позабыл большинство задач, с нетерпением ждавших нашего вмешательства, ясно было одно — все расчеты Европы и все ее надежды связаны с нами, с теми, кто шагал сейчас не в ногу к воротам, прихватив жестяные миски и деревянные ложки в качестве багажа и опять, в который раз, вынашивая в голове грандиознейшие планы.

Не доходя до ворот, мы остановились и увидели то, что нас ожидало, да, о чем-либо более прекрасном мы и мечтать не смели: у ворот лагеря стояли солдаты и офицеры в малознакомой форме. безукоризненно одетые господа в плотно облегающих мундирах, в заливчатских кепи и с серебряными аксельбантами на плечах.

Французы, неужто это возможно, нас вывозят французы, это французы нас вывозят, нас отсюда вывозят французы! Ну конечно же, французы — люди расторопные, люди большого ума — решили: *la guerre fini*<sup>29</sup>, наступил мир и нужно работать. Но работа всегда хороша, когда ее делают другие, а никто не станет ее делать лучше, чем немец. Стало быть, они откуда только можно вывозят к себе немцев, но — известные хитрюги — они подбирают лишь специалистов, эх, хитрые же бестии эти французы. Ну и что? Лучше сидеть у хитрых французов рядом с булкой и вином, чем у русских и поляков, у них у самих животов подвело. На запад? Да, ребята, конечно же на запад, только там, конечно же, наше место! Ох уж эти французы, кто бы подумал, ну и хитрые же бестии эти французы, *vive la France*<sup>30</sup>, да, как бы уже сегодня на обед не подали улиток.

Ну, тут бахвалы разыграли из себя шеф-поваров, а спецы обернулись гурманами и гастрономами, которые специализировались на норманнских кроликах,

<sup>29</sup> Война кончилась (искаж. франц.).

<sup>30</sup> Да здравствует Франция (франц.).

и бретонских морских языках, и паштете из каштанов, и зубчиках чеснока в желе, и, конечно, они из всех сыров отдавали предпочтение сыру из Пон-д'Эвека, а кто называл шампанское, так имел в виду только тетанжэ и не унижился бы до пошла нуворишей, а лучший кальвадос на свете пили во Франции в обители Баван.

Послышались даже истинно немецкие остроты, а какой-то радиотехник громко взмолился, чтобы целью нашего путешествия не оказался Казнь в Нормандии, там ему придется платить жуть какие алименты, жуть как он там потрудился, при этом он качнул обнаженной до локтя рукой, и жест его показался особенно похабным оттого, что не рука качнулась, а кость, обтянутая кожей.

Увы, очень скоро выяснилось, что французы приехали не из-за нас, что они приехали за своими соотечественниками, а они имелись в лагере всяких и разных сортов: эльзасцы, считавшие себя такими французами, что нас они звали только бошами; пленные французы, отбившиеся от своих частей и в сумятице последних дней угодившие от одних стражей к другим; и, наконец, legionеры, пришедшие на восток вместе с нами, но по каким причинам — было мне неизвестно.

Уже по тому, как им приказано было строиться и как оцепили этот строй их вооруженные соотечественники, было ясно, что они вытянули не самый счастливый билет, покидая нас, чтоб ехать на родину. И тут как-то сама собой улеглась винно-гастрономическая вакханалия великих знатоков Франции и утвердилось мнение, что француз так и так бы не знал, куда ему нас, великих спецов, приспособить: истинно немецкой искусной работы он и не понимает, этот французишка.

Одного из французишек я знал, шахматиста с африканистым лицом. Когда так жутко закончился наш кроссвордный период, он все-таки уговорил меня потрудиться на него, стать его партнером — партнером, правда, жалким и неполноценным, которому лишь дважды суждено было почетно продержаться с равным числом фигур до эндшпиля.

Играя в шахматы, француз-эсэсовец тоже не открывал рта: он не произносил ни словечка, а только вздергивал вверх брови, когда я вот-вот уже должен бы попасть под шах; а чтобы объявить мне мат, просто поднимался с корточек; если он хотел сыграть со мной, то протягивал мне черную и белую пешки, но уж если я собирался сделать особенно глупый ход, он поднимал палец и очень тихо говорил:

— Non.

Француза-эсэсовца я увидел за оградой среди нарядных солдат его прежней армии и, к великому удивлению, увидел, что он напористо в чем-то убеждает своих новых стражей, но я увидел и их глубочайшее презрение. Для этого вовсе не надо видеть лиц: достаточно видеть крепкие спины, которые обтягивает мундир, когда мускулистые руки скрещиваются на груди.

Но — презрение не исключает этой возможности — африканистый эсэсовец добился своего: в сопровождении двух солдат он вошел обратно в ворота и, подойдя к нашей колонне, бросил мне узелок, в который завязал свои шахматы.

— Как же так? — пробормотал я. — Спасибо! — И хотел добавить: спасибо тебе!

Но слова замерли у меня на губах, я увидел его жест — ребром ладони он полоснул себя по горлу. Его соотечественники вернули его к другим его соотечественникам, а потом все они влезли в грузовики и уехали.

Вот и у меня все-таки оказался багаж.

Но далеко нести мне тот узелок не пришлось. Наш путь из советского лагеря лежал в сторону города, он был длиною в километр и привел нас на другую сторону шоссе. Там стояли два больших дома с бывшими конюшнями, а когда мы к концу длинного дня поставили вокруг всей территории двойное ограждение, наш новый лагерь был готов.

Это был польский лагерь: комендантом был поляк, штатский, часовые были вооруженные поляки, тоже штатские, и мы были теперь в плену у поляков.

Я допустил ошибку, сказав, что я второй раз в плену у поляков, и еще одну, сказав, что не так уж это удивительно, ведь мы в конце-то концов в Польше.

Чему только люди не придают значение! Так, мои соседи настаивали на том, что они немецкие солдаты, в честном бою попали в плен к советским солдатам, и потому их не имеют права вот так, за здорово живешь, запродавать сегодня полякам, а завтра, глядишь, геттентотам.

— Или даже французам, — сказал банкир; и теперь ясно было, что я не единственный, кто допустил ошибку.

Но тема эта на первых порах еще не обрела решающей значимости, нас взволновала поначалу более животрепещущая: фольксдойче, польские немцы, собрались, видимо, забрать власть в этом лагере в свои руки. На другой стороне шоссе, на советской, они не играли никакой роли, быть может, русские считали их поместьем поляков с немцами, а подобная поместь не слишком-то располагала к себе русских; но под польским началом обнаружилось, какое преимущество давало знание языка этой страны, и фольксдойче использовали это преимущество на все сто процентов.

Однако это только казалось, будто само собой разумеется, что лагерное начальство их поощряет, вообще-то поляки не слишком лестно отзывались о бывших близких соседях, зачастую будущих соглядатаях, и самые продувные фольксдойче ни единого словечка не роняли по-польски, если поблизости случался бело-красный часовой.

И все же в этой крошечной державе на шоссе, ведущем в Пулавы, фольксдойче, кажется, собрались сколотить четвертое, наряду с русскими, поляками и имперскими немцами, сословие, только нового типа, а именно — господствующее. Они пролезли всюду, завладели кухней, оккупировали прачечную и, главное, поставили у ворот своего раздатчика работ. Не сказать, чтоб от него зависела наша жизнь или смерть, но вот достанется ли тебе чуть больше хлеба, а то еще помидор или огурец, очень и очень даже зависело от человека, который играл роль посредника между горожанами, бравшими помощников иной раз на почасовую работу, а иной раз и на целый день, и нами, голодными работягами.

Не прошло и двух-трех дней как раздатчики, уже сколотившие свою группу, заставили одну из рабочих команд построить им некое подобие судейской вышки, какие бывают на теннисных площадках. Четыре ее опорных столба обили внизу досками, так что получился большой ящик, и все, кто возвращался с работы, где давали поест, обязаны были положить в этот ящик свой взнос. А кто забывал сделать взнос, того очень скоро забывали и раздатчики.

Нельзя было не признать, что сидящий на вышке должен говорить по-польски, но десятину у подножья вышки мы признавать не желали, и однажды каждый из нашей группы в пятьдесят человек, занятых на дорожных работах, возвратившись вечером, швырнул в это хранилище процентов по увесистому булыжнику, забросав помидоры, огурцы, яблоки и даже хлеб; а раздатчик, следивший за взносами, оказался таким дуралеем, что поднял дикий шум. Так был положен конец налоговой системе, что быстро подорвало и господство фольксдойче, эти люди разом потеряли оборотные средства, а без них не очень-то повластвуешь.

Кое-что я и по сей день нахожу весьма забавным: лишенные могущества властители поддерживали свой дух неким музыкальным упражнением — каждое утро и каждый вечер они собирались и хором пели какой-то церковный гимн, всегда один и тот же.

Мужской хор, поющий по-польски, ничего не говорит ни уму моему, ни сердцу; я даже не поинтересовался, что именно они пели. Но вот сейчас, мысленно переносясь вперед, в ту часть своего повествования, которую мне еще предстоит рассказать, я вижу, что только лето в Пулавах прошло в сопровождении песен; последующие этапы не отмечены более музыкой, что, впрочем, если вспомнить условия нашего существования, меня ничуть не удивляет. Правда, впоследствии

немалую роль сыграло соло на трубе, повторяющееся все снова и снова, но тогда, в маленьком польском лагере в Пулавах, до тех событий было еще очень далеко.

Для моего дальнейшего жизненного пути этот лагерь особого значения не имеет, а потому я покажу еще всего две-три его моментальных фотографии. Кстати, у меня ничего, кроме них, нет, а найдется что-нибудь существенное, так в надлежащем месте я о том расскажу. По-иному не поступал я до сих пор и с другими эпизодами моей жизни; я хочу сказать, что, воспроизводя их, я вовсе не создавал законченные полотна, а позднее всегда сообщал в дополнение то, что считал нужным упомянуть. Итак, назад — в малый лагерь на шоссе между станцией и городом Пулавы.

Если иметь в виду все, что случилось со мной до него, и все, что случилось после, не удивительно, что этот краткий период представляется мне теперь не только по-летнему светлым, но даже овеянным какой-то сердечностью; это было едва ли не идиллическое существование, хотя с летом это не имело ровным счетом ничего общего.

Ведь лето было и там, где были клопы; оно было и там, где я, лежа на песке, горячо верил, что стоит мне зажмуриться, а потом быстро открыть глаза, как тень на солнечных часах сделает мощный рывок к заветному часу раздачи пищи, спасительный шаг к следующей кормежке; лето было и тогда, когда сорняки за оградой лагеря так вымахали, что заслонили от меня переплетением своих вонючих стеблей горизонт, где в дальней дали остался городок Марне; лето было и тогда, когда воды едва хватало, чтоб напиться, и вовсе не хватало, чтоб умыться, когда от нас несло как из сортира, а из сортира — как от нас; лето было и тогда, когда мы едва все не погибли, когда многие умерли и когда мастер Эдвин из Коло погиб как по своей вине, так и по нашей.

Но сегодня мне видится, что в том маленьком лагере наш плен словно прерывается, и хоть это не соответствует действительности, но и не очень преувеличено.

Там мы часто оставались без конвоиров, возвращались с того или иного места работы в лагерь одни, а пересекая рыночную площадь, пели. И за песню нам давали кое-чего поесть. Да, жители соседних домов, торговки на рынке, крестьяне.

А однажды, когда мы копали какую-то гнилую канаву и варили себе картошку, я просто зашел в чей-то садик и попросил лук. И получил три луковицы.

Когда же у вокзала мы нашли убитую лошадь, лагерное начальство решило нам притащить ее в лагерь; мы сварили что-то вроде гуляша.

А молодая женщина из бригады рабочих, прокладывающих телеграфную линию, осчастливила меня кружкой молока; и на какой-то миг я вспомнил, чем только женщины не могут нас осчастливить.

Да, конечно, случай с Брециной, с которым мы играли в шахматы и который добровольно вызвался в отряд миноискателей, потому что там полагался двойной паек: однажды он взлетел на воздух, а ведь в солдатах был с тридцать восьмого и не потерял человеческого облик.

И еще дизентерия, от нее не уберечься, а первым от нее умер Фельдфельд, который любил командовать, у которого был багаж, которому я вдепил оплеуху, потому что он требовал, чтобы я приветствовал его даже в плену.

Несчастные случаи тоже, понятно, бывали: так на маленькой верфи один из наших попал под железную плиту, а двое наших сварили себе грибов и умерли совсем как на гражданке, а одному из-за чесотки отняли руку, но уж очень он был грязен, а потому сам виноват.

Но веселых эпизодов, сдается мне, случалось куда больше. Однажды я даже напился — конвоиром нашей команды, работавшей на стройке кинотеатра, настоял, чтобы я угостился его самогоном.

Разумеется, сразу можно было понять, что мы находимся в польском лагере и что наши конвоиры — поляки, как и люди на улицах. Конвоиры иной раз

посредничали между теми и нами, и различие между лагерем и нелагерем потеряло в какой-то мере свою остроту.

Кроме того, нас не называли больше «спецами», нас называли fachowcy, но по сути дело сводилось к тому же, что и раньше; мы считались обученными специалистами, а посылали нас туда, где в нас была нужда.

Возможно, что тот, кто перевел меня из русского лагеря в польский, потому что у моей фамилии в списке стояла пометка «полиграфист», и впрямь думал, что в Пулавах уже требуются полиграфисты; не знаю, я того человека в глаза не видел.

Я же, печатник ли, полиграфист ли, делал в плену то, что делают пленные повсюду: выполнял ту работу, для которой у свободнорожденных, оставшихся свободными, не хватает сознательности или нет охоты.

Как-то утром я начисто позабыл, кто я есть.

Я проснулся, и все вокруг меня предстало без имени, без качества, всё было налицо, но не имело связей, никакой связи со мной или с кем-либо третьим. Я видел все не менее ясно, чем в любой другой день, я видел щетину на головах и щетину на щеках, слишком большие уши и шеи в коросте, я видел обломанные ногти и синеватые локти, я видел вялую злобу в глазах. Но все это не создавало целостной картины; все это были частности, из которых я не в состоянии был ничего узнать. То, что не должно было протекать одновременно, протекало одновременно; я все видел и все слышал точно впервые, я на все смотрел и ко всему прислушивался, словно бы на свете до этого никогда ничего не существовало. Я поднялся, сунул ноги в деревяшки, умылся, натянул куртку, на которой спал, нахлобучил шапку, которая служила мне подушкой. Мною руководила сила привычки, я сам не знал, как долго уже руководствуюсь ею; эта сила точно протаскивала меня сквозь гладкостенный канал куда-то в наступающий день. Все предметы вокруг меня и все люди казались полыми, сохранившими, правда, внешний облик, но без внутреннего содержания; я утерял одно измерение, я видел, но не знал, что я вижу.

Однако же я почувствовал, что со мной творится неладное. В ужасе, который сродни ужасу падающего в бездну, я попытался найти опору, найти ее там, где она казалась мне ближе всего, — в моем имени, и не нашел его. Мое имя исчезло, я оторвался от своего имени, я не знал более, кто я, я едва ли еще существовал.

Но кое-что другое я все-таки понял: значит, дело дрянь. Как человек, который умер и знает, что он умер. Как человек, которого не существует.

Об ужасе говорят, как о каком-то злополучии, которого следует опасаться. Это верно, но ужас может быть и целителем. Если, низвергаясь в пропасть, ты почувствуешь, что оторвался от самого себя, то ужас так повернет тебя в падении, что ты пролетишь мимо острых скал, мимо корней и нависающих трав, мимо всего, за что можно зацепиться на земле, с которой летишь в безмерные глубины, если уж ты сорвался в пропасть.

Я догадывался, я чувствовал, я понимал, что я, если хочу сохранить свою жизнь, должен вновь обрести свое имя, и опыт моей далекой прежней жизни подсказал мне ловкий ход: начать откуда-то издали, с малого, с наименования окружающих предметов и тем самым как бы неумышленно наладить то, что зовется памятью.

Вон та штриховка, что снизу вверх видится четко, но вот, разбегаясь в стороны, штрихи путаются, переплетаются, сливаются — так это же наша ограда. А водяное пятно на дворе — лужа. Еще мы знаем пруды, озера, моря. Мы знаем также ручьи и реки. Мы знаем болота, и каналы, и океаны, и дельты. Мы знаем искусственные моря, колодцы и трясины. Колодцы бывают шахтные, колодцы бывают с журавлем. А еще есть артезианские.

На свете есть бурильщики колодцев, я не бурильщик. Есть угольщики. Я не угольщик. Есть... есть... есть... часовые. Я не часовой. Есть солдаты, но я не солдат, а может, я солдат? Я больше не солдат. Я пленный. Я пленный в Польше. Я в Польше. Я родился в Германии. Я родился в городе Марне Я печатник. Я печатник Нибур.

Я Марк Нибур. Меня зовут Марк Нибур. Вот я и опять объявился, ох и напугал же я себя.

Или говорят: напугался? Да не все ли равно, как говорят, главное, я знаю, как меня зовут.

Главное, да, но когда не знаешь, напугал ты себя или ты напугался, так остается еще что-то смазанное, нет окончательной ясности, какой-то остаток того жуткого незнания; итак, как же лучше сказать: напугал я себя или напугался?

Я напугался, я напугал себя.

Звучит странно: напугал себя. Я его напугал — вот это верно звучит, а сам себя — странно.

Ну, что как звучит, еще успеет обсудить; когда у человека возникают сомнения в звучании чего-то, это уже излишества. Значит, беда осталась позади, та жуткая пустота, когда не знаешь, что как называется. Если у человека есть возможность усомниться в чем-то, усомниться, правильно ли звучит то или иное выражение, значит, он вернулся к жизни.

Я вернулся к жизни, когда обрел свое имя, но крики ужаса еще долго звучали у меня в ушах.

Думается, больше, чем удар, который нам наносят, больше, чем боль, которую вызывает этот удар, чем звон, вызванный ударом кулака по нашей скуле, чем запах скотобойни и вкус скотобойни у нашей собственной крови, нас ужасает сознание, что и нас можно бить смертным боем.

Когда до нас доходит, что мы не единственные в своем роде, нас всякий раз поражает шок. Мы допускаем, что должны быть такими, как все, но никогда до конца в это не верим. Однако же неотвратимо наступает миг, когда нам приходится окончательно поверить в это, поверить и испустить дух. Испустить дух или испустить последний вздох — казусы, под этим подразумевающимися, не столь уж различны.

Я знал, что у человека может пропасть собственное имя; читатель книг, читатель газет, читатель иллюстрированных журналов о такой возможности очень скоро узнает, но какое это имеет ко мне отношение?

Теперь я знал, что и этот факт имеет ко мне отношение. Так наступает зрелость.

От переживания, которое даже переживанием не назовешь, ибо скорее это было переумирание, я долго не мог оправиться и однажды решил: а теперь, парень, позаботься, чтобы тебя здесь побольше людей узнало — ведь случись с тобой такое еще раз и останься ты в таком состоянии, ни единый человек не будет знать, что ты и кто ты. Паспорта у тебя нет, как нет его ни у кого; с окружающими ты незнаком, тем более так близко, чтобы уберечь себя от забвения; свидетели, что ты существуешь, пожалуй, найдутся, но нет свидетеля, чтоб подтвердить, кто ты.

Дружище, Марк, единственный, кто о тебе все досконально знает едва ли не с первого твоего дня, это ты сам, и потому ты не вправе упускать себя из виду. Единственный, кто мог бы под присягой подтвердить и засвидетельствовать, что ты это ты — только ты сам; вот и позаботься, чтобы ты остался сам собой.

В нынешней ситуации, без паспорта, можно дать себе самому любое имя, можно сказать, что ты сын Караччиоло<sup>31</sup> или внук профессора Нибура. Можно сказать, что ты побывал на Килиманджаро. Много можно сказать. Однако потеряв память — ничего не скажешь. Тогда только другие могут что-то о тебе сказать, и ты против этого бессилён. Или могут такое навязать тебе, такое написать, чего и не собирались.

Они станут что ни день упражнять на тебе свое остроумие, называть тебя всякий раз разными именами. Или станут взваливать на тебя чистку выгребных ям и сортиров, ведь тот, кто не знает собственного имени, будет тщетно дока-

<sup>31</sup> Караччиоло — известный гонщик-итальянец, выступавший за немецкие фирмы.

зывать, что только вчера отработал свою очередь. Или станут вечно тебя колотить, если что-то где-то пропадет, ведь тот, кто забыл собственное имя, тот забыл и все заповеди. У кого нет имени, тот не существует, тому не нужно места, тот не получает жратвы, не проходит в ворота, никуда не выходит, не приходит домой...

Чего только ты не выдумашь, подумал я, но твердо решил крепко держаться в будущем своего имени.

Шестого октября тысяча девятьсот сорок пятого года я попал из Пулав, что в верхнем течении Вислы, в Варшаву, что в среднем ее течении, и опять, на сей раз очень и очень круто повернувшись, началась для меня новая жизнь. Осень была мрачной, рано похолодало, и лето мне скоро стало казаться какой-то иной планетой, а что Пулавы в той же стране, где и Варшава, я до сих пор не верю.

*Перевели с немецкого И. КАРИНЦЕВА и С. ШЛАПОВЕРСКАЯ.*

*(Продолжение следует)*





---

## ВСТРЕЧА В ВЕНЕ

★

ВИТАЛИЙ КОБЫШ

*Крутые ступени*

**П**резидент США Джими Картер быстрым шагом вошел в выдержанную в золотых тонах приемную дворца Хофбург. Президент улыбался, хотя видно было, что он нервничал. К Вене, старинному дворцу и этому изысканному залу было сейчас приковано внимание мира. Но долгожданный момент встречи — Дж. Картер добивался ее с того времени, как два с половиной года назад занял кресло президента США, — еще не наступил.

Прошло несколько томительных минут. Затем все замерли. В зал входил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, загорелый, улыбающийся. Увидев эту улыбку, приветливое выражение на лице советского лидера, Дж. Картер тоже улыбнулся. И тогда состоялся первый, самый первый диалог, уже зафиксированный для истории.

— Долгим же путем мы шли к этой встрече, господин Брежнев, — сказал взволнованный президент Соединенных Штатов.

— Да, господин президент, но этот путь мог бы быть значительно короче, — ответил Леонид Ильич Брежнев.

За этим диалогом стоит многое. Для того чтобы эта встреча стала возможной и на ней были подписаны ставшие выражением новых реальностей в жизни человечества документы, о которых речь впереди, потребовались долгие годы напряженных усилий, ожесточенной борьбы. Они все вместили: тревоги и надежды, риск и расчет, отчаяние и радость.

Шумят корреспонденты, взявшие в осаду Хофбургский дворец, гудят трансатлантические кабели, стрекочут телетайпы, носятся операторы, обслуживающие спутниковую связь, а память уносит к другим временам, а перед глазами встают иные картины.

...6 августа 1945 года. К берегам Америки на всех парах поспешает крейсер «Аугуста». На его борту президент США Г. Трумэн, отплывший из Европы, где он участвовал в Потсдамской конференции. У Трумэна прекрасное настроение, но он слегка озабочен: прогуливается по палубе и все время словно чего-то ждет. Когда командир крейсера подает шифровку с сообщением о сброшенной на Хиросиму первой в жизни людей атомной бомбе, Трумэн с трудом сдерживает рвавшийся из него ковбойский крик ликования. 9 августа приходит еще одно сообщение: вторую бомбу сбросили на Нагасаки. Трумэн в упоении. Черчилль тоже. Семь месяцев спустя он произнесет в колледже заштатного городка Фултон в штате Миссури речь, от которой принято вести отсчет «холодной войны». С плохо скрытым восторгом Черчилль несколько раз обращался в этой речи к атомному оружию. Ему казалось, что нет силы, которая устояла бы теперь перед англо-американским господством, что цель его жизни — сокрушение социализма — ближе чем когда-либо.

Пришел выстрадаанный, дорогой ценой оплаченный мир — и его будто и не было. Мы еще не перевязали все раны, миллионы продолжали жить в землянках, эхо войны раздавалось под каждой крышей. А в январе 1950 года Г. Трумэн отдал приказ ускорить работу по созданию водородной бомбы и подготовить секретный доклад о военном потенциале США и обстановке в мире. Смахвающий на Апокалипсис доклад подготовили. «Совершенно ясно, что Кремль стремится поставить под свое господство свободный мир... Он хочет навязать всему миру свою абсолютную власть», — говорилось в нем. Под такие заклинания

все идет, все становится дозволенным. Дополнительно стимулированный корейской войной военный бюджет США взметнулся с 15 миллиардов долларов в 1949 году до 50 в 1953-м. Значительная часть этих чудовищных по тем временам средств шла на создание стратегических военно-воздушных сил, «боевыми конями» которых стали оснащенные ядерным оружием тяжелые бомбардировщики — вначале «В-47», а затем межконтинентальный «В-52». Гонке стратегических наступательных вооружений был дан стремительный старт.

Атомная эйфория, объяснение вседозволенностью длились, однако, недолго. За поворотом в Соединенных Штатах в неприятное изумление сообщением о том, что Советский Союз располагает собственным атомным оружием, теперь пришла и другая отрезвляющая весть: у русских есть и водородное оружие. Некоторые из американских стратегов не хотели в это верить, другие считали, что это не более чем случайность, что обескровленная войной, еще не оправившаяся от нее страна не может, не в состоянии принять американский вызов. Пришедшие в 1957 году из космоса сигналы первого созданного руками человека — человека социализма — спутника Земли прервали грезы о безоговорочном диктате, о мире по-американски, окончательно вернули к действительности.

Пришло болезненное, мучительное похмелье. Пошли переоценки. Завязалась сварка: кто виноват, что так получилось, где, в чем был просчет, как же теперь? Курсу на низвержение, уничтожение социализма, поддурманенному, подпудренному наукообразными доктринами «подавления», «отбрасывания», «возмездия» был нанесен решающий удар.

На рубеже 60-х годов многим, в том числе и в высшем эшелоне власти в США, стало ясно, что превосходства — ни ядерного, ни вообще стратегического в широком смысле — больше нет, что пришло время переоценок, переориентации. Но согласиться с этим военно-промышленный комплекс не желал. Стратегия подавляющего стратегического превосходства получила смертельное ранение, но она еще была жива — в натовских штабах, в коридорах Пентагона и других вашингтонских ведомств и канцелярий.

Жрецы культа силы из американских и натовских штабов искали случая поиграть атомными мускулами, они рвались в бой, задирались, им важно было показать, что списывать их рано. Осенью 1961 года они спровоцировали в Берлине такое обострение, что мир поскользнулся. Выдержка нам не изменила, да и с той, другой, стороны спохватились. А год спустя, осенью 1962-го, теперь-то уж, пожалуй, можно с определенностью сказать, мир оказался просто на грани войны, которая легко могла бы перерасти в ядерную. Катаклизм, имеемый карибским ракетным кризисом, войдет в историю не только как один из критических моментов послевоенных десятилетий, но и как событие, подтвердившее политическую дальновидность, мудрость внешнеполитического курса Советского государства, КПСС. Человечество еще раз убедилось, что «советская военная угроза», которой оправдывалось безудержное наращивание вооружений, любые военные авантюры, в том числе весьма рискованные, — злостный миф, что если в мире есть сила, способная отвести от человечества угрозу ядерной войны, то это Советский Союз.

Теперь в США все за исключением самых твердолобых, тех, кого совсем занесло, поняли, что СССР не сломить, что военный паритет — факт. Приходилось менять сам образ мышления. После разорительного, бессмысленного периода наращивания арсеналов разрушения в Соединенных Штатах все большее признание получала идея, которую мы давно выдвигали, считая единственно разумной: советско-американские переговоры об ограничении стратегических вооружений.

В 1963 году был подписан Договор о прекращении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. 1968 год принес другой важнейший договор — о нераспространении ядерного оружия. Ядерное оружие впервые стало предметом переговоров. К лучшему менялась и вся международная атмосфера, чему в немалой степени способствовал состоявшийся в 1966 году визит в СССР президента Франции де Голля. В августе 1970 года Советский Союз подписал исторический договор с ФРГ, в котором были признаны итоги второй мировой войны, новые европейские границы, существование независимого социалистического государства — ГДР. Все это имело самое прямое отношение к последующему советско-американскому диалогу.

В январе 1969 года к власти в США пришло правительство республиканцев во главе с Р. Никсоном. То было время, когда Америка все глубже увязала во вьетнамской войне, но когда и уже в самой администрации не было сомнений, что бессмысленная, грязная, чисто империалистическая война по всем линиям проградна, что над страной нависла ката-

строфа. В широких массах населения США стал явственно слышен ропот, переходивший в яростные протесты, от которых было два шага до бунтов. Соединенные Штаты, кроме того, стали испытывать растущие экономические трудности — в немалой степени результат вьетнамской войны. Бывшее подавляющее экономическое преимущество США на глазах уходило, так же как ушло преимущество военное. Правящей верхушке становилось ясно, что ресурсы, которые США могли выделять на форсированную гонку вооружений, на ведение «холодной войны» в глобальном масштабе, имеют предел. Р. Никсон, получавший активные консультации со стороны своего помощника по вопросам национальной безопасности Г. Киссинджера, понимал, что американская внешняя политика, если США хотят выбраться из трясины, должна претерпеть серьезные изменения. Он решил, что начинать надо с нормализации отношений с Советским Союзом, с ослабления общей международной напряженности, а ключ к этому — советская готовность начать переговоры об ограничении гонки ракетно-ядерных вооружений.

17 ноября 1969 года советские и американские представители сели в Хельсинки за один стол. Самые первые переговоры об ограничении стратегических наступательных вооружений начались. С тех пор минуло десять лет. В их ретроспективе сейчас ясно видно, как нелегко было зачинать эти переговоры и как важен был тот старт. В высшем эшелоне власти США, тем более в Пентагоне, прежде и слышать не хотели о самой идее такого диалога. В том, что это стало возможным при таком президенте, как Р. Никсон, есть своя, американская логика. «Сам Ричард Никсон был поражен иронией судьбы: он, первый американский политический деятель, пришедший в Белый дом в качестве апостола антикоммунизма, должен был стать президентом, идущим на примирение с Россией», — замечает американский исследователь Р. Д. Барнет в своей книге «Гиганты: Россия и Америка». Он же поясняет, ссылаясь на одного из помощников бывшего президента США: «Ричард Никсон — первый американский президент послевоенного периода, которому не нужно было беспокоиться о Ричарде Никсоне». Другими словами, Р. Никсону с его репутацией антикоммуниста можно было не бояться, что его обвинят в «прокоммунистических» настроениях, «мягкости» в отношении русских и т. п.

В мае 1972 года документы об ограничении стратегических наступательных вооружений — Договор о противоракетной обороне и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений — были подписаны. После ратификации этих документов Верховным Советом СССР и одобрения и ратификации в США 3 октября того же года ОСВ-1 стало явью. То был первый шаг в направлении обуздания гонки смертоносных видов вооружения, но этот шаг, открывавший простор переговорам, был сделан. Он был серьезно подкреплен состоявшимся в июне 1973 года визитом Л. И. Брежнева в США, подписанными там советско-американскими соглашениями. Провозглашенная XXIV сессией КПСС Программа мира успешно выполнялась.

В то время мало кто мог предположить, что случится в последующие годы. Глубоко раненная поражением во вьетнамской войне, переживающая серьезные экономические трудности, политические конфликты, Америка погрузилась в острейшую классовую борьбу, распри, раздоры в правящей верхушке. Известное уотергейтское дело, обнажившее нравы этой «демократии», ее грязь, беспринципность, попрание элементарной законности, вызвало в стране настоящие конвульсии. Р. Никсону было уже не до международных соглашений, не до разрядки, он отчаянно цеплялся за власть. Скандал, развернувшиеся батальи поглощали все силы и тех кругов в США, которые выступали за переговоры с Советским Союзом, за ослабление международной напряженности.

9 августа 1974 года Р. Никсон был отстранен от власти. Новым президентом США стал Дж. Форд. На его плечи лег тяжелый груз самых разных проблем, в числе прочего и продолжение с Советским Союзом переговоров об ограничении стратегических наступательных вооружений: подписанное в Москве Временное соглашение неотложно требовалось изменить постоянным.

Для преодоления возникших в ходе переговоров трудностей, определения потолков стратегического наступательного оружия, согласования цифр Л. И. Брежнев и Дж. Форд встретились в ноябре 1974 года во Владивостоке. Достигнутое ими соглашение открыло прямой путь к новому постоянному договору — ОСВ-2.

Разработка ОСВ-2 была практически завершена. После Владивостока казалось само собой разумеющимся, что через несколько месяцев договор будет официально подписан.

Состоявшееся в августе 1975 года в Хельсинки Общевропейское совещание создало еще более благоприятствующий этому климат. Американская сторона, однако, нарушила все договоренности.

Смятение, растерянность, охватившие Америку в результате поражения во Вьетнаме и после Уотергейта, имели самые широкие последствия. Одним из них стала активизация реакционных правых сил, спекулировавших на недовольстве населения институтами власти, появлении достаточно широких шовинистических настроений. Под флагом борьбы с «наследством» Р. Никсона эти силы повели массированное наступление на политику разрядки, курс переговоров с Советским Союзом, ограничения гонки вооружений. Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений стал объектом непрекращающихся яростных нападок.

В конгрессе, в политических, научных кругах пошли жаркие дискуссии: быть ОСВ или не быть? О напряженности этого противоборства говорили ожесточенные столкновения, начавшиеся в самой администрации. У двух главных жрецов политики «национальной безопасности» — президентского советника по вопросам национальной безопасности, государственного секретаря Г. Киссинджера и его сокурсника по Гарварду министра обороны Шлесинджера — и до этого были политические разногласия и соперничество за влияние в правительстве. Теперь вражда питалась ОСВ. Г. Киссинджер в то время активно добивался скорейшего подписания долговременного соглашения на владивостокской основе. Министр обороны требовал, чтобы в соглашение были введены статьи, которые сняли бы какие-либо преграды на пути американских военных программ, но по рукам и ногам связали бы другую сторону. То был коварный, провокационный ход: Советский Союз, понятно, никогда не согласился бы с таким договором, но его срыв как раз и был тем, чего добивались Шлесинджер и стоявшие за ним силы, требовавшие зеленого света неограниченной гонке вооружений.

Шел 1976 год, последний для республиканской администрации, год новых выборов. Кроме выборов, Дж. Форда теперь мало что интересовало. Настроение президента быстро менялось, он больше не высказывался в пользу ОСВ. Советский Союз между тем делал все, чтобы ускорить переговоры, найти компромисс по немногим оставшимся нерешенными проблемам.

Ответом на это было глухое молчание. Дж. Форд не только не откликнулся на новые конструктивные инициативы Советского Союза, не пошел на подписание ОСВ-2, но, наоборот, всячески демонстрируя «твердость», договорился до того, что объявил об отказе впредь вообще употреблять слово «разрядка». Дело, понятно, было не в семантике, а в крутом повороте во внешнеполитическом курсе США. Отказ от слова «разрядка» был подкреплен форсированным наращиванием военных программ: дополнительно строились подводные лодки-ракетоносцы «Трайидент», разрабатывались первые образцы бомбардировщиков «В-1», шла работа над ракетами «МХ», крылатыми ракетами. Одновременно Вашингтон открыто демонстрировал жесткий курс по всем другим направлениям. При его прямом участии руководители НАТО завели в тупик переговоры в Вене по взаимному сокращению вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Была перечеркнута договоренность об урегулировании ближневосточного конфликта. На смену ей пришла рассчитанная на сепаратный разговор с Израилем и Египтом, оставлявшая нерешенными все основные взрывоопасные проблемы «челночная дипломатия» Г. Киссинджера. Разработанный на 1976 год, последний год пребывания республиканской партии у власти, военный бюджет предусматривал гигантский скачок — к 123 миллиардам долларов.

Дж. Форд сделал все что мог, чтобы сойти за своего у военно-промышленного комплекса, продемонстрировать правым «твердость». Ему очень, очень хотелось продлить пребывание в Белом доме, в котором он оказался благодаря лишь живописнейшему стечению обстоятельств, остаться в нем еще на четыре года уже по праву законно избранного президента. Не получилось. На состоявшихся в ноябре 1976 года выборах Дж. Форд погтерпел поражение. Беспринципность дорого обошлась ему лично, трагичнее, что она принесла американскому народу, всему человечеству ущерб, который не исчислить. На переговорах об ОСВ, например, был потерян по меньшей мере год, драгоценный год, от которого зависела безопасность народов. Теперь, задним числом, Дж. Форд горько раскаивается в содеянном, публично клеймит себя за ошибки. Но что для истории это запоздалое прозрение?

Итак, в январе 1977 года в Белом доме поселился новый хозяин — мало кому до недавнего времени известный в Соединенных Штатах бывший губернатор Джорджии Джеймс Эрл Картер, сразу потребовавший, чтобы его называли просто Джимми Картером. В первой президентской инаугурационной речи Джимми Картер в отличие от своих предшественников Кеннеди, Джонсона, Никсона, сделавших в таких же речах упор на особую роль США, на выпавшую им в современном мире историческую миссию, декларировавших военную мощь страны и не скрывавших имперских претензий и амбиций, взял спокойный, умеренный тон, не бросался громкими фразами, не угрожал. В числе прочего он сказал: «Мы твердо намерены проявлять настойчивость и мудрость в своем стремлении к ограничению арсеналов оружия на земле теми пределами, которые необходимы для обеспечения собственной безопасности каждой страны. Соединенные Штаты в одиночку не могут izbавить мир от ужасного призрака ядерного уничтожения, но мы можем и будем сотрудничать в этом с другими».

Американцам, уставшим от гонки вооружений, сопровождающих ее угроз и заклинанний, пустой риторики и невыполненных обещаний, такие слова понравились. С интересом, с ожиданием практических действий, которые их подкрепят, были они восприняты и во внешнем мире. Слова эти перекликались с тульской речью Я. И. Врежнева, содержавшей призыв к заключению нового соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений, к укреплению политики разрядки, и это будило надежды.

Большинство американцев и заморские наблюдатели испытали серьезное разочарование. Инициативы Белого дома сыпались одна за другой, но были часто попросту странными. Первые шаги в сфере внешнеполитической, например, выглядели продиктованными не столько интересами серьезной политики, сколько расчетами на пропагандистские дивиденды и телевизионные эффекты. Одной из сомнительных внешнеполитических акций нового правительства США стал, как известно, объявленный им «крестовый поход» за «права человека». В стране с миллионнами безработных, утонувшей в преступности, насилиях, расизме, стране с широко разветвленной системой тотального контроля, слежки, репрессий, такой «поход» можно было бы только приветствовать. К изумлению внешнего мира, хорошо информированного об этих особенностях американского образа жизни, вашингтонские власти себя-то как раз решили не беспокоить, направив пыл против других стран, в первую очередь социалистических. «Не часто случалось, чтобы за такое короткое время отношения Соединенных Штатов со столькими странами мира были доведены до состояния такой неразберихи, в каком они сейчас пребывают», — жаловался несколько месяцев спустя после прихода к власти новой администрации еженедельник «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт».

За спекуляциями с «правами человека» последовали другие дела, посерьезней. В июне того же 1977 года президент США объявил о том, что Соединенные Штаты приступают к массовому производству крылатых ракет, новой системы оружия, внедрение которой нарушало сложившийся баланс стратегических наступательных вооружений. «С моей точки зрения, президент ничем другим не мог бы стимулировать гонку вооружений больше, чем он это сделал своим решением, — комментировал этот шаг Джон Маклукас, бывший министр ВВС США. — Пускаясь в производство крылатых ракет, мы не в состоянии предвидеть, к чему это приведет. Советы вынуждены будут заняться производством собственных ракет. Решение президента уводит из мира известных систем оружия, где все его крупные единицы могут быть подсчитаны и замерены, в мир вооружений, не поддающихся контролю».

Вслед за крылатыми ракетами последовала нейтронная бомба.

Для начала большого пожара, как известно, хватает искры. Серьезные, обладающие чувством ответственности американцы поняли, что нейтронной бомбы более чем достаточно для ядерной катастрофы, что она может стать наиболее вероятным детонатором ядерной войны. «Нейтронная бомба не что иное, как небольшого размера ядерное оружие того типа, что было использовано в Хиросиме. Поэтому обещание произвести нейтронную бомбу, которая «щадит горсца», звучит отвратительно с моральной точки зрения. И это чудовищная ложь», — указывал профессор Э. Стернгласс, ядерный физик из Питтсбургского университета. В те дни в США получили большой резонанс слова бывшего руководящего сотрудника Пентагона и заместителя директора ЦРУ Г. Сквилла, ныне ведущего американского эксперта в области вооружений. «Нейтронная бомба не сделает ядерную войну более гуманной, она делает ее более близкой», — заявил он.

Это усиленное, демонстративное наращивание вооружений, разработка и внедрение его новых систем, разумеется, не могли не отразиться на ходе советско-американских переговоров об ограничении стратегических наступательных вооружений. Зигзагообразный курс Вашингтона, подверженный самым различным влияниям, между тем вызывал все более острую критику уже и на Западе. Президент Франции Жискара д'Эстэн, канцлер ФРГ Г. Шмидт едко высмеивали не имевшие ясной цели импровизации в политике новой администрации США, неизбежные тупики, в которые она вела. В самих Соединенных Штатах широкие массы населения выражали недовольство и бесперспективным внешнеполитическим курсом правительства Дж. Картера, и невыполнением щедро дававшихся в ходе избирательной кампании обещаний, касавшихся внутренних американских дел. Опросы населения показывали резкое, катастрофическое падение популярности президента и проводимой его правительством политики.

Советские люди, ожидавшие, что с приходом новой администрации отношения между нашими странами выровняются, переговоры о сдерживании гонки вооружений активизируются, политика разрядки получит новый импульс, испытывали не просто разочарование, но серьезное беспокойство.

Время не ждало; осаждавшие человечество проблемы, и прежде всего самая главная — нагнетание чреватой угрозой ядерного конфликта международной напряженности, с каждым годом, месяцем решать было все сложнее. В Соединенных Штатах ширилась общенациональная дискуссия о путях достижения подлинной безопасности, раздавались все более слышные голоса в пользу ОСВ-2.

Весь этот трудный период наша страна, Советское правительство, КПСС проявляли выдержку, благоразумие, дальновидность. Мы подчеркивали готовность к мирному диалогу с Соединенными Штатами, к активизации мирного сотрудничества на основе подписанного в 1972 году в Москве документа «Основы взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки», к завершению работы над договором ОСВ-2. Не станем сейчас вдаваться в подробности того, почему во внешнеполитическом курсе США к концу 1978 года наметились известные позитивные перемены, это тема для особого исследования. Твердый, последовательный курс СССР на разрядку, на переговоры так или иначе достиг цели. Советско-американские переговоры по ОСВ-2 (они шли в Женеве) подошли к успешному завершению.

Соглашение было готово к подписанию. Была достигнута договоренность о проведении в Вене 15—18 июня встречи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева с президентом США Дж. Картером. Было условлено, что главы государств подпишут договор ОСВ-2 и связанные с ним документы и обсудят другие вопросы, представляющие интерес для наших стран.

На протяжении семилетнего отрезка времени для Л. И. Брежнева это была пятая по счету встреча с руководителями Соединенных Штатов. Две предыдущие, как уже говорилось, состоялись в Москве, одна в Соединенных Штатах и одна во Владивостоке. Эта несложная статистика отражает нечто чрезвычайно важное — последовательность курса СССР на разрядку международной напряженности, на улучшение отношений с Соединенными Штатами. Этой главной целью Л. И. Брежнев руководствовался, начиная переговоры в 1972 году. С тем же он направлялся теперь в Вену. В нашей политике ничего не менялось, она не подвергалась перепадам, сбоям, конъюнктурным изменениям. В любых переговорах, понятно, важна роль как минимум двух сторон. Но правда состоит в том, что если переговоры об ОСВ-2 преуспели и Вена в те июньские дни оказалась в центре всеобщего внимания, это благодаря прежде всего настойчивости нашего курса в том, что касается главной цели — мира и разрядки, и его прямолинейности.

Затем пришли эти до предела насыщенные четыре венских дня. Можно предположить, что, оценивая значение встречи Л. И. Брежнева и Дж. Картера, будущие исследователи отметят две ее связанные между собой важнейшие характеристики. То, что она состоялась, и то, что на ней был подписан договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — ОСВ-2.

Говорят, что худой мир лучше доброй ссоры. Верно, конечно. Но так не скажешь о встрече на высшем уровне представителей двух самых могущественных держав, от которых во многом зависит поддержание всеобщего мира и безопасности народов: недостаточная подготовленная, без создания необходимых условий для ее проведения, она могла бы

принести больше вреда, чем пользы. Вот почему наша страна так ответственно подошла к идее переговоров, так тщательно к ним готовилась. Мы уже говорили, что Дж. Картер с момента прихода в Белый дом добивался этой встречи. Наша страна пошла на нее, когда стало ясно, что встреча созрела.

Без малейшего преувеличения можно сказать, что договор ОСВ-2 — самый крупный шаг, когда-либо предпринимавшийся в области сдерживания гонки вооружений, значение которого неизмеримо увеличивает то, что он касается ракетно-ядерных вооружений, наиболее разрушительных, смертоносных. Договор впервые поставил количественные и качественные ограничения на все три компонента стратегических наступательных вооружений: межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на подводных лодках и стратегическую авиацию. В договоре четко определено полное равенство сторон относительно общего количества всех средств доставки ядерного оружия. Предусмотрено, что к 1 января 1981 года (если, конечно, договор будет ратифицирован и вступит в силу) и Советский Союз и Соединенные Штаты ограничат свои средства доставки 2250 единицами. ОСВ-2 устанавливает не только суммарный потолок для основных носителей ядерного оружия, но впервые вводит ограничение для отдельных его типов. Впервые определен и предел числа боеголовок, которые могут быть установлены на одной ракете. Предусмотренный в ОСВ-2 процесс количественных и качественных ограничений будет надежно контролироваться согласованными между сторонами и оправдавшими себя в прошлом национальными средствами проверки.

Особое значение договора ОСВ-2 и других достигнутых в Вене договоренностей состоит в том, что они построены на принципе равенства и одинаковой безопасности сторон. Только при неукоснительном соблюдении этого принципа возможен заложенный в договоре справедливый баланс интересов обеих сторон. Мы не замазываем того факта, что соглашения ОСВ-2 полностью отвечают государственным интересам Советского Союза, гарантируют нашу безопасность. Но абсолютно то же самое можно сказать о безопасности, об интересах другой стороны. В том и ценность договора, что он никому не дает односторонних преимуществ. Каждая сторона, понятно, хотела бы видеть в договоре статьи, больше отвечающие ее интересам, но и наша страна и США должны были чем-то поступиться. Иначе ОСВ-2 не было бы.

При всей сегодняшней чрезвычайной важности договора его значение еще и в том, что он открывает путь для движения дальше — к ОСВ-3. А выработка этого нового, идущего от ограничения к сокращению стратегических наступательных вооружений, соглашения будет, вероятно, еще более сложным делом. При подготовке этого нового договора предстоит учесть серьезные стратегические и географические факторы, до сих пор как бы остававшиеся за скобками переговоров. Договоренность по ОСВ-2 призвана также послужить стимулом для более быстрого продвижения вперед на других советско-американских и многосторонних переговорах по сокращению вооружений и разоружению. Венская встреча наконец может стать важным этапом в направлении улучшения советско-американских отношений, которые подверглись подробному рассмотрению.

В ходе состоявшихся переговоров были проанализированы наиболее актуальные международные и региональные проблемы. Нельзя сказать, что эти обсуждения были гладкими, что в ходе их не возникало разногласий. Разговор порой становился достаточно жестким. Дж. Картер, в частности, пытался оправдать политику, проводимую США на Ближнем Востоке, в Намибии и Родезии. Происходящие в мире перемены, вызванные стремлением народов к национальному освобождению, к экономическому и социальному прогрессу, президент США объяснял «советским вмешательством». Л. И. Брежнев четко, в полный голос указал на необъективный характер толкования политики СССР в некоторых районах Азии и Африки. Мы не ищем там для себя ни экономических, ни стратегических выгод, не пытаемся ущемлять чьи-либо законные интересы, но последовательно выступаем за полную ликвидацию всех остатков колониализма и расизма, за уважение права народов на независимое развитие. Было откровенно сказано все, что мы думаем и по поводу легенды о так называемой советской военной угрозе, используемой противниками взаимопонимания между СССР и США.

Это был, что называется, «мужской» разговор, прояснивший позиции сторон, открывающий путь к их более активному и плодотворному сотрудничеству. «В целом уже ясно, что эта встреча оказалась насыщенной и продуктивной. Особенно ценно, я думаю, то, что

мы с Президентом Картером старались расширить сферу согласия между нашими странами», — отмечал Л. И. Брежнев в одной из своих речей в Вене.

Четыре венских дня не изменили мира, он все еще полон угроз и опасностей. Но мир стал более надежным, чем прежде, местом для жизни людей. Договор ОСВ-2 в буквальном смысле выстрадан народами, он пробудил в них веру в силу разума, надежду на то, что Земля останется мирной и прекрасной.

Прекращение гонки вооружений достижимо, более того, если человечество хочет выжить, это неотложно — таков главный урок Вены, очевидный и непрекращаемый. Определенные круги в Соединенных Штатах, однако, ставят этот урок под сомнение. Словно забыв, что они тоже обитают на Земле, а не где-то в районе туманности Андромеды, они заявляют, что не согласны с венской договоренностью, что она кажется им опасной.

Противники ОСВ в Соединенных Штатах исходят из разных соображений. Одни видят в статье договора, прокладывающего путь к сдерживанию гонки вооружений, угрозу прибылям военных корпораций. Другие шумят, пугают в целях рекламы, с тем чтобы, включаясь в разворачивающуюся в США избирательную кампанию, привлечь к себе внимание. Но главная движущая сила «оппозиционеров» — нежелание признать сложившийся между Советским Союзом и Соединенными Штатами военный паритет, отказаться от бывшего представления, что военное могущество США дает им возможность повелевать в мире, вмешиваться во внутренние дела других народов.

Ф. Жолио-Кюри когда-то говорил, что многие совершаемые человечеством ошибки объясняются его крайней молодостью: история цивилизации в конце концов насчитывает всего несколько десятков поколений людей. Жолио-Кюри размышлял об этом в то время, когда человечество еще не сталкивалось с теми смертельными опасностями, которые окружают его сегодня. Даже юность цивилизации не дает теперь права на ошибки. Если ОСВ-2 войдет в силу, открывая путь к ОСВ-3, ОСВ-4, словом, к разумному, исключающему ядерную опасность существованию, человечество докажет, что, оставаясь молодым, оно взрослеет. Если ОСВ-2 убьют, мир, конечно, не рухнет, но все будет хуже, труднее, все придется начинать сначала, то есть снова терять время, а это в ядерный век очень рискованное дело.

---



## ГЕНРИХ БОРОВИК

*Размышления в пресс-центре*

**А**ккредитация корреспондентов в пресс-центре дворца Хофбург началась за два дня до венской встречи глав государств СССР и США.

Две тысячи журналистов отстояли в очереди, чтобы предъявить администрации пресс-центра официальные письма от своих редакций, заполнить нужные анкеты (иногда для ускорения на безропотной сегодня спине завтрашнего конкурента) и приколоть к лацканам пиджаков, к курткам и рубашкам бирки с надписью «Пресса»: зеленюватые — для народа пишущего, желтоватые — для народа говорящего и показывающего, розоватые — для бессловесных фотокорреспондентов, народа, впрочем, самого шумного.

В списке аккредитованных имена крупнейших политических обозревателей мира, представляющих все средства массовой информации — СМИ. Говорящих, показывающих и снимающих оказалось, естественно, гораздо больше, чем пишущих. Одно только американское телевидение снарядило в Вену отряд в 162 человека.

За несколько дней до начала встречи венский пресс-центр был уже полностью оснащен. В обширных его залах на столах матово поблескивали сотни две электрических пишущих машинок, рядом с каждой лежала стопка белой бумаги, телетайпы были заправлены перфорационными лентами и бумажными рулонами, в десятках стеклянных будок заманчиво чернели телефоны, австрийское телевидение предоставило крупнейшим телекомпаниям разных стран студии с налаженной космической связью. Вся эта современная журналистская техника готова была прийти в действие по первому сигналу.

Но пока встреча, которую ждал весь мир, еще не началась, люди, приехавшие сюда, чтобы рассказывать о ней читателям, зрителям, слушателям, бродили бесцельно между длинными столами. И косились завистливо на двух человек, единственных в обоих обширных залах, которые, сидя в противоположных дальних углах, уже печатали что-то на электрических машинках, уже бегал под их пальцами радостно вертящийся земной шарик с выпуклыми островками букв, тянул строчку за строчкой, уже ткал, как челнок, какую-то неведомую журналистскую ткань. О чем-то там уже сообщали эти двое, что-то там такое уже комментировали, анализировали, прогнозировали. Но что? Наконец кто-то пустил успокоительный слух, что те двое самых быстрых и самых оперативных просто пишут на казенных машинках личные письма родственникам домой. У конкурентов отлегло от сердца...

О, сколько их здесь, этого народа из «шестой державы»! Настолько много, что возникла проблема с гостиничными номерами, а в пресс-центре появилось предложение — часть журналистской армии разместить в какой-нибудь военной казарме, выселив оттуда на время солдат. Неплохая символика перед началом венской встречи.

Впрочем, символов здесь немало, стоит только приглядеться. Вот хотя бы эти 20 скульптурных фигур на фронте старинного королевского дворца Хофбург. Почти каждая символизирует человека на войне, войну. Один поднял меч, другой опустил забрало, третий вынул кинжал, четвертый заряжает мушкет, ну и так далее. Даже монах поднял свой посох так, будто ведет в атаку солдат. Это символ старой Европы, многострадального континента, которому впервые за всю его историю выпали подряд три с половиной десятилетия мира.

Как же надо ценить его, как продлевать всеми силами!

...В очереди за аккредитационными карточками — муж, жена и двухлетняя девочка с куклой. Отстояли, получили пропуска, прошли в зал пресс-центра и тут же принялись за работу: жена переводит мужу какую-то статью из свежей газеты, он записывает. Девочка сидит в коляске, играет с куклой. Не часто увидишь в пресс-центре, месте профессионально жестком, сутуго, так сказать, для народа взрослого, девочку двух лет с куклой. Откуда они — местные, из Вены? Нет, оказывается, из Испании, корреспонденты радио. У Франсиско Охейды ежедневная тридцатиминутная программа новостей по одной из самых популярных мадридских радиостанций. Зачем же взяли девочку с собой, разве не трудно?

— Трудно, конечно, — отвечает мать и бережно поправляет платье на полной талии, — тем более что еще один ребенок шевелится. Но, во-первых, Крестину не с кем было оставить. А во-вторых, мы подумали: ведь то, что происходит в Вене, касается ее будущего...

Девочка продолжает играть с куклой, отец — печатать на машинке, но ответы жены слышит, одобрительно кивает, улыбается.

— Она сейчас ничего не понимает, — продолжает мать, — но почему-то мне кажется, что, когда вырастет, поблагодарит нас за то, что брали ее сюда с собой... — Засмеялась. — Жаль, не может она повлиять на ход переговоров, но пусть хоть на журналистов влияет. — Обернулась и показала рукой на представителей «шестой державы». — От них ведь многое зависит в мире... И не вредно, чтобы в зале пресс-центра бывали дети, пусть кое-кто лишний раз вспомнит о своей ответственности перед ними... А то ведь журналистское оружие нередко опаснее огнестрельного.

Точно сказано. Слово, говорят, не убивает, но — отравленное или безответственное — может принести, да и приносит много вреда людям. Тем более что среди тех, кто прошел аккредитацию в венском пресс-центре, немало таких, кто пишет и будет писать если не прямо, то косвенно и против договора об ОСВ-2 и против самой встречи. Может быть, не всегда сообразуясь с собственным внутренним убеждением, чаще по воле извне — и об этом ниже пойдет речь, — но писать будут. И я, к сожалению, не уверен, что подействуют на таких людей доверчивые глаза маленькой испанской девочки по имени Кристина, которая сидит здесь в пресс-центре со своей куклой и не подозревает, как много в ее судьбе зависит в том числе и от этих людей, пока что бесцельно бродящих среди пишущих машинок...

В залах пресс-центра стоит десятка полтора телевизоров. Для тех, кто будет следить за событиями, не выходя из дворца Хофбург. По одной из программ идет передача об отношении к договору об ОСВ-2 в США. С трибуны выступают противники договора — то ли члены палаты представителей конгресса США, то ли конгрессмены какого-то штата. Аргументация старая — «договор даст возможность России совершить ядерное нападение на США, о котором она, коммунистическая Россия, давно мечтает». Трибуна стоит на ступенях какого-то здания, и за ней полукругом располагается, как ни странно, хор молодых американцев. Ораторы ораторствуют про ОСВ-2 и «советскую угрозу». Хор поет вполголоса популярные американские песенки. На глазах изумленной публики рождается новый телевизионный жанр — политическая мелодекламация с дивертисментом. Танцевальный элемент представлен долгоногими девицами в купальниках, которых выпускают в перерыве между речами, когда один оратор сменяет другого. В сопровождении того же хора с оркестром девицы ловко подкидывают вверх мохнатые тамбурмажорские жезлы и почти на такую же высоту поднимают ноги. Песни, музыка и ноги должны символизировать, очевидно, то самое американское счастье, которое «мечтает разрушить коммунистическая Россия и, конечно, разрушит, если будет заключен с ней договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — ОСВ-2...».

В последние недели перед венской встречей в западной буржуазной печати нарастал накал антисоветчины. Будто приближалось подписание не договора, по существу антивоенного, глубоко мирного, а соглашения о проведении какого-то чрезвычайно опасного и мощного взрыва, который погубит чьи-то судьбы, разрушит надежды, покорежит жизни, после которого мир покатится в тартарары.

Напор шел мощный, вал за валом. Телевизионная передача, о которой я рассказал, это так, мелочь, гребешок на волне. А волны шли большие, раскатистые, могучие. Их хорошо было видно и отсюда, из пресс-центра, куда ежесекундно по телекам крупнейших телеграфных агентств, по радио и телевидению поступали свежие новости.

Апофеоз, пожалуй, наступил в самый канун встречи. Невозмутимый обычно сотрудник пресс-центра, загадочно улыбаясь, вынес к большой доске объявлений бумажный тикер одного из телеграфных агентств — полметра последних новостей. Наколел ленту на иглу, торчащую в верхней части доски, как кассир накальвает оплаченный чек, отчеркнул ногтем два абзаца из нескончаемых черных строк и, пожав плечами, удалился. Вокруг новой ленты новостей тут же столпились журналисты. В двух отчеркнутых абзацах сообщалось, что сенатор Джексон перед самым началом венской встречи сделал заявление, в котором назвал эту встречу попыткой «умиротворить» Россию, а Картера сравнил с «Чемберленом, отправившимся в Мюнхен».

Это уже была истерика. Битье тарелок. Отчаяние человека, который сорвал чеку, хотел бросить гранату, да она прилипла к вспотевшим от волнения и страха рукам и рванула рядом... Такие сравнения я слышал потом от журналистов, которые читали те два абзаца, посвященные Джексону. Одни называли это заявление поразительным. Более осто-

рожные говорили, что Джексон, пожалуй, пережал. Третьи утверждали, что после такого нелепого сравнения кое-кто из сторонников сенатора, пожалуй, отойдет от него. Даже китайская пропаганда, сказал мне французский журналист, не позволила себе докатиться до такой отчаянной глупости, хотя, что говорить, ее позиция чрезвычайно сродни позиции Джексона...

Американская «карандашная» журналистика была представлена в пресс-центре не столько количеством, сколько, как утверждают, качеством. Ее патриарх — обозреватель крупнейшей газеты, человек, похожий на Пиквика, только с глазами, лишенными пиквикской доброты и наивности, с брюшком, с трубкой («Без трубки не могу написать ни одной строчки»), во вполне современном костюме, который тем не менее выглядит на нем старинной английской визиткой. Самая крупная фигура американской политической журналистики после Уолтера Липпмана. Персонифицированная история середины XX века. Из беседы с ним ясно, что он поддерживает договор об ОСВ-2, уверен, что двум нашим странам нужно как можно скорее переходить от договоренности об ограничении гонки вооружений к сокращению вооружений. Он великолепно знает, что переговоры в Вене идут успешно, и что ходом их довольны обе стороны, и что в самой атмосфере переговоров заложено много надежд на будущее.

Но почему же вдруг накануне подписания договора появляется на страницах его газеты его собственная статья под названием... «Настроение в Вене не обнадеживающее»? В чем дело? И почему, когда вопрос об этой статье задан советским корреспондентом на очередной пресс-конференции, — почему автор ее молчит? Мрачно сосет трубку — он стоит рядом со мной — и молчит? Молчание это стоит ему, я вижу, немалой выдержки. Сразу после пресс-конференции он куда-то уходит, избегая объяснений. Почему?

Кто-то из американских журналистов на другой день говорит мне, что заголовок к статье дала редакция, а не автор, что если прочесть внимательно статью, то в ней вовсе не утверждается впрямую, что в Вене дела обстоят худо или что настроение там «не обнадеживающее». Более того, автор говорит в ней о «диком и политически опасном» заявлении Джексона (хотя эти эпитеты дает не от себя, а от безымянных венцев).

Хорошо, предположим, заголовок — это редакция. Но почему в этой же статье автор считает нужным утверждать, будто главная проблема венских переговоров заключается в «очень трудном вопросе»: можно ли заключать с Советским Союзом ограниченные соглашения о контроле над ядерным оружием, если Советский Союз «полон решимости уничтожить свободную цивилизацию Запада»? Ни на минуту не допускаю мысли, что автор статьи, человек, по-видимому, неплохо знающий историю, верит в галиматью о «решимости Советского Союза уничтожить западную цивилизацию». И все же он считает нужным вставить этот вопрос в свою статью из Вены, не находит возможным дать на него прямой ответ (хотя, конечно, прекрасно знает его) и нигде и ничем не обозначает своего протеста против заголовка статьи (если только этот заголовок действительно дали в редакции без его ведома).

В чем же дело? Не отвечает, только сосет с мрачной невозмутимостью свою трубку...

Беседую с ведущим обозревателем американского телевидения, человеком очень большого профессионализма, немалых знаний, редкого телевизионного обаяния. Его знают в Америке каждый человек. И, что самое главное, он пользуется у американцев не только большей популярностью, чем другие обозреватели, но и большим, чем другие, доверием. Так, во всяком случае, утверждают результаты опросов общественного мнения. Он был во время второй мировой войны военным корреспондентом, а сразу после войны провел несколько лет в Москве, представляя у нас одно из американских телеграфных агентств.

Из беседы с ним ясно: он целиком за подписание и ратификацию договора об ОСВ-2, понимает его значение, понимает, что этот договор не только ставит границы гонке вооружений, но и открывает дорогу для переговоров о сокращении вооружений вообще. Отмечает хорошую — искреннюю и деловую — атмосферу переговоров и считает, что она сама по себе очень много значит. Два наших лидера, говорит он, нашли общий язык, они показали, что переговоры и соглашения возможны даже по таким сложнейшим вопросам, как вопрос об ограничении наступательных стратегических вооружений. Он знает о жертвах советского народа, о его героизме во второй мировой войне, знает, какой великий вклад внесла в победу над фашизмом наша страна, и, по его собственным словам, не знает ни одного русского человека, который хотел бы войны.

Все это он говорит мне не в частной беседе, а в интервью для советского телевидения. Я спрашиваю его: как человек, которому доверяют многие американцы, как человек, который может оказать разумное влияние на тех, кто спекулирует на «советской угрозе», выскажет ли он это свое мнение по американскому телевидению? Займет ли позицию, скажет ли прямо, что советской угрозы Америке не существует, что договор должен быть ратифицирован в интересах США? И получаю от моего собеседника разочарывающий ответ. Нет, он не выскажет своей позиции по американскому телевидению, где у него ежедневная тридцатиминутная программа новостей. Нет, он не выскажет своей позиции и по американскому радио, где у него тоже есть ежедневная программа. Ему, крупнейшему телевизионному обозревателю Америки, не полагается, как он говорит, высказывать свое мнение. Это противоречило бы политике компании, где он работает. Он просто должен информировать публику о различных взглядах на тот или иной вопрос.

Значит, он будет «информировать» и об «угрозе Советского Союза», хотя сам лично, по-видимому, уверен, что такой угрозы не существует. Он прекрасно, надо полагать, знает, что люди, говорящие о «советской угрозе», — спекулянты, делающие на этом деньги или получающие политические доходы. Но все равно он будет «информировать о советской угрозе»...

Странное чувство испытываешь в пресс-центре, беседуя с американскими журналистами. Я не встретил ни одного, кто в личной беседе сказал бы: он против подписания договора, он верит, что СССР «полон решимости уничтожить США», он верит в «советскую угрозу». Ни одного! А беседовал я с немалым числом моих американских коллег. Думаю, они говорили искренне. Но у многих видел я какую-то неловкость в глазах, какое-то беспокойство, некоторое мешающее неудобство — впечатление, которое часто производит человек, находящийся во внутреннем разладе с самим собой.

Ведь почти каждый из них вложил лезвие в кампанию против заключения договора об ОСВ-2, внося свой «вклад» в коллективное сочинение о «советской угрозе». Причина тут не только в том, что многие газеты служат военно-промышленному комплексу, как служит ему, скажем, сенатор Джексон. Но и в том, что многие видные обозреватели Америки вынуждены соблюдать баланс между «голубыми» и «ястребами», чтобы не бросили им, обозревателям, самый опасный и разрушительный упрек, который только могут бросить в Америке человеку, имеющему прямое или косвенное отношение к политике, — *soft on communism*, что в переводе означает «мягок к коммунизму». Ну а сказать впрямую, что у Советского Союза нет и не может быть планов «уничтожения западной цивилизации» или «нападения на Америку», — такое вообще в США под силу не многим людям.

Год назад в Вашингтоне состоялась премьера киноэпопеи «Неизвестная война», созданной советскими кинематографистами под художественным руководством покойного Романа Кармена и при участии кинематографистов США. Аверелл Гарриман, бывший посол США в СССР во времена Рузвельта, то есть во время той страшной, долгой и тяжелой для нас войны, которая для его соотечественников осталась практически неизвестной войной, выступая на приеме после премьеры сказал: «Люди, которые утверждают, что Советский Союз собирается напасть на Соединенные Штаты, просто параноики». Это были честные, искренние и очень важные слова известного и уважаемого американца, крупного политического деятеля. Но они не нашли отражения в газетах. Зато там очень скоро нашли разные поводы, чтобы наброситься на Гарримана и подвергнуть его жесткой критике (далеко не всегда упоминая фразу о параноиках). Гарриман — богатый, независимый, давно сделавший свою карьеру человек. Но и для него такие нападки были, конечно, чувствительны, не прошли даром.

Когда из поездки в Советский Союз вернулся Мохаммед Али, он просто и откровенно рассказал своим соотечественникам, как ему понравилась Москва и другие города нашей страны, в которых он побывал, что видел он свободных, приветливых, миролюбивых людей, с симпатией относящихся к американскому народу и не помышляющих ни о какой войне. О, какой же отпор дали ему газеты! Сколько иронии и сарказма было вылиты на его голову! Сколько насмешек, сколько проработок, сколько угроз! На каждое его положительное слово о нашей стране печатались и произносились сотни и тысячи слов, которые должны были доказать противоположное.

Работа по поддержанию страха перед «советской угрозой» не требует убедительных тонких или неопровержимых аргументов. Ее главная сила в массивности и долговре-

менности пропагандистского налета, во взаимодействии всех средств массовой информации. Уж если идти по линии военных параллелей, то я сравнил бы эту пропагандистскую тактику с так называемым ковровым бомбометанием. Последний раз я видел его в Ханое в декабре 1972 года. Поскольку с тех пор этот термин не часто встречался на страницах прессы, я напомню, что это такое.

«Ковры» гнут американские «B-52». Они идут на высоте девять тысяч метров и сбрасывают бомбы. Вслепую, по приборам. На каждом самолете 60 полутонных бомб. Или 120, если по 250 килограммов. Самолеты заходят на бомбежку тройками, и бомбы ложатся так, что края воронок смыкаются. Эти воронки и образуют «ковер» шириной в полкилометра и длиной в километр. Когда одна тройка заканчивает бомбометание, его продолжает вторая. Без люфта, без шва, вплотную стелит она к первому «ковру» другой такого же размера. Затем на бомбежку заходит третья тройка, ну и так далее. Потом люди пытаются найти под этим гигантским «ковром» останки своих близких. Но найти почти невозможно. Потому что при таком бомбометании на всей площади «ковра» остается только крошево.

В такое же крошево пытаются средствами массовой информации превратить человеческую мысль, точнее способность человека мыслить и воспринимать мир самостоятельно. Вот пример, который меня поразил. В 1966 году в доме, где находился корпункт АПН в Нью-Йорке, моя соседка, американка, рассказала мне, как год назад она была с группой туристов в советской России. «Русские — замечательный народ! — говорила она. — Столько радушия, столько улыбок!» В 1978 году я снова приехал в США и поселился в том же доме. И снова встретился с той женщиной. Она мало изменилась — такая же общительная, активно говорливая. Однажды утром возле почтового ящика стала рассказывать: «Вы знаете, в 1965 году я была в России. Удивительное дело — люди у вас совсем не улыбаются. Угрюмы, неприветливы. Скажите, почему это так?» Она забыла, что десятилетие назад рассказывала мне противоположное. А я не забыл, потому что записал тогда ее рассказ в свой журналистский дневник. Просто за эти десять лет пропаганда внушила ей именно этот образ советского человека. И она поверила, что сама видела именно таких, угрюмых, русских. Ее память разбомбили средствами массовой информации, накрыли «ковром» страха, неприязни.

Другой пример. В начале лета прошлого года с подсказки ЦРУ в американских газетах началась очередная антисоветская кампания: сообщалось, что советские войска находятся в Заире и что ЦРУ имеет неопровержимые доказательства этого. Об «агрессии» Советского Союза в Заире кричали заголовки газет, повторяли телевизионные и радиоконментаторы. В наших газетах, естественно, появилось опровержение. Тогда сенат, чтобы «уличить» Советский Союз, потребовал, чтобы ЦРУ наконец выложило на стол свои «неопровержимые доказательства». Представитель ЦРУ пришел в сенат с чемоданчиком, но тот оказался пуст. Доказательств советской военной агрессии против Заира у него, конечно, не было. (Об этом тоже написали американские газеты, но писали в крохотных заметках.)

Именно в эти дни небольшая нью-йоркская радиостанция попросила у меня интервью. Ведущий, известный радиожурналист-международник, спросил: как я отношусь к агрессии моей страны прогив Заира? Удивленный, я напомнил своему собеседнику всю историю с вымыслом ЦРУ и с пустым чемоданчиком, сослался на американские же газеты, сказал, что выдумка была предпринята только для того, чтобы отвлечь внимание мира от действительной ингервенции в Заир вооруженными силами стран НАТО. Ведущий вежливо и внимательно слушал меня, кивая, и когда я закончил свой терпеливый и подробный ответ, он задал мне следующий вопрос: «Чем же объяснить, что Советский Союз послал свои войска в Заир?» Этот человек после массированного пропагандистского налета не мог воспринимать информацию, которая не укладывается в уже сформированное течение мыслей.

Среди многих причин, почему люди, не верящие в советскую угрозу, все же пишут о ней, мусолят ее и дают мошеннические заголовки полумошенническим статьям, есть еще одна. Старое правило буржуазной коммерческой прессы: смерть интереснее, чем рождение. Страх гораздо легче продать людям, чем спокойствие. Страх — эмоция товарная. А подготовка к войне выгодна. Ведь до сих пор кое-кто в Америке вспоминает о войне, скажем во Вьетнаме, как о подспорье для экономического развития и средстве для решения экономических проблем. Во время одного из раундов телевизионных предвыборных дебатов в 1976 году Джимми Картер бросил своему оппоненту, тогдашнему президенту США Джеральду Форду, обвинение в том, что при нем, Форде, безработица значительно увеличилась,

что при президенте Джонсоне ее уровень был гораздо ниже. И Форд, оправдываясь, ответил: «Да, но ведь Джонсону было легче — была война!»

Нет, не думаю, что в Америке есть разумные люди, не состоящие на учете в психдиспансере, которые мечтали бы о глобальной войне (по той хотя бы простой причине, что такая война не может принести им победы). А вот о войне небольшой, «легкой», «прогулочной», которая «встрянула» бы экономику, загрузила бы военными заказами военные заводы, — о такой, возможно, подумывают некоторые. Но ведь с маленькой «прелестной» войной тоже сложно: где? против кого? когда? и не получится ли нового Вьетнама, который попервоначально выглядел такой легкой затеей, а оказался такой долгой трагедией. Таким глубоким позором? Нет, нет, маленькая война тоже опасна. Другое дело состояние напряженности, «холодная война», постоянный страх перед «советской угрозой!» Вот на этом многие хотели бы погреть руки и греют.

Милитаризм — это ведь характеристика не армии. Это характеристика социального строя...

Мэр города Вены, седой, моложавый, улыбочивый и изящный человек, каким и подобает быть мэру старинной столицы вальсов, стоял с бокалом шампанского в руке на маленькой эстраде в огромном парадном зале городской ратуши, где давали прием в честь двух тысяч представителей средств массовой информации, и собирался произнести тост. Массовая информация, только что наслаждавшаяся мелодией Штрауса, который, что ни говорите, под сводами парадного зала городской ратуши Вены звучит по-особому. была настроена, может быть, немного на венский, что ли, лад и ждала, видимо, от венского мэра тоста, так сказать, соответственного. А мэр, неожиданно посерьезнев, рассказал о том, что дома у него на стене висит фотография, на которой пожимают друг другу руки русский и американский офицеры. И происходит это на одной из венских улиц, покалеченных только что отгремевшей войной, с обгоревшими, разрушенными домами, со стенами, выщербленными пулями и осколками, с провалами окон. Это рукопожатие русского и американского офицера, сказал мэр, стало для него символом мира, символом конца войны, конца фашизма. Страшно подумать, что было бы с миром, сказал мэр, если бы это рукопожатие не состоялось, если бы не было Вены, освобожденной советскими войсками... А теперь, сказал мэр, он присутствовал при рукопожатии лидеров двух великих государств, которое, будем надеяться, отдалит возможность новой войны, а может быть, в конце концов уничтожит ее совсем, продлит мир, который царит в Европе столь долго впервые за столетия... Глаза у мэра, когда он говорил эти слова, были строгими. Глаза человека, который знает, что такое война, знает, что такое горе, и очень не хочет, чтобы оно повторилось вновь. И журналисты, которые были на приеме, — во всяком случае, многие из них — подумали, наверное, что именно таким человеком и подобает быть мэру австрийского города Вены, старинной столицы вальсов...

Я слушал тост мэра, и перед глазами возникали фигуры советских солдат, пробывавших весной сорок пятого года к Вене, и грузная добрая фигура маршала Толбухина, виденная только что в одном из последних фильмов киноэпопеи «Великая Отечественная». И вспомнилось обращение маршала Толбухина — оно тоже было упомянуто в том фильме — сохранить прекрасный город для будущего, не терзать его бессмысленным сопротивлением, не увеличивать число жертв. Я вспомнил счастливые лица венцев, протягивавших цветы нашим солдатам. И среди них, возможно, был и нынешний мэр, совсем тогда, по-видимому, молодой человек. И еще я вспомнил памятник павшим советским воинам в центре Вены...

После тоста мэра дирижер взмахнул палочкой, и снова заиграли Штрауса, потом заиграли «Подмосковные вечера», потом какую-то американскую популярную мелодию. И подумалось, что в те апрельские дни сорок пятого ритм жизни этого города определялся не взмахом дирижерской палочки, а взмахом руки офицера, зовущего солдат в атаку. И специальные команды тогда только еще составляли списки павших, имена которых теперь выбиты золотыми буквами на красном граните памятника советскому воину в центре столицы. И раненый советский солдат, лежавший на мостовой возле собора Святого Стефана, смотрел в голубую высь, и она, обрамленная готическими башнями, кружилась в его глазах, подчиняясь не легкому ритму Штрауса или Моцарта, а тяжелым затухающим ударами останавливающегося сердца...

Мне показалось символичным, что подписание договора об ОСВ-2 произошло за че-

тыре дня до 22 июня. Эту дагу далеко не все помнят на Западе. Но мы помним и сделаем все, чтобы не допустить повторения того, что произошло тогда.

Но календарь календарем, а по существу событие, происшедшее 18 июня этого года в Вене, соотносится, конечно, гораздо больше с 9 мая, днем победы. Конечно, нельзя соизмерять эти несоизмеримые события. Но я просто хочу сказать, что они находятся в одной цепи. Трудно выковываемой цепи свершений, которые сохраняют мир на земле вот уже три с половиной десятилетия.

Главными строителями разрядки, строителями этого мира были социалистические страны, наш народ, наша партия. Это понимает и признает весь мир. И недаром на первом же заседании в Вене американский президент счел нужным сказать, что вдохновителем разрядки был Леонид Ильич Брежнев...

В Вене давно не найти следов войны. Ни на стенах домов, ни на великолепном здании венской оперы, ни на знаменитом соборе Святого Стефана. Следы войны можно найти лишь в памяти людей, в их глазах, в их сердце, в фотоальбомах с тяжелыми медными застежками, похожими на сундучные запоры, в фотографиях тех, кто погиб тогда. Нет этих следов войны и в любом другом европейском городе. Как нет их и в наших городах. Но только память наша все еще изранена, все еще кровоточит, и миллионы людей идут к могиле Неизвестного солдата.

Частица каждого из нас — с ним, с теми, кто не вернулся с войны. И те, ушедшие, смотрят сегодня на нас глазами наших детей, смотрят требовательно, добро и строго.

Вена — Москва.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИР КАРПОВ

★

## ВСПОМИНАЯ ОВЕЧКИНА...

*Исполнилось семьдесят пять лет со дня рождения замечательного советского писателя Валентина Овечкина. Много лет он был автором и членом редколлегии «Нового мира». Читатели журнала хранят светлую, благодарную память об Овечкине, который ставил и помогал разрешать острые и важные проблемы строительства нового, социалистического общества.*

*Предлагаемые записки войдут отдельной главой в книгу «Воспоминания о В. В. Овечкине», готовящуюся к выпуску в издательстве «Советский писатель».*

**III** последние годы Валентин Владимирович жил в Ташкенте. Мы встречались часто, постепенно наши отношения перешли в дружбу.

Обычно приходил к Овечкину я. Из-за плохого состояния здоровья он почти не отлучался из дома. Чаще всего заставал его за письменным столом. Окно кабинета выходило во двор и всегда было открыто. Я смотрел на Овечкина через решетку и тихо, чтоб не испугать его, спрашивал:

— Труженик! Вы сегодня принимаете?

Валентин Владимирович выходил встречать к двери, оживлялся и обычно с порога начинал ругать:

— Ну куда ты пропадаешь? Опять почти месяц не был!

Я действительно не хотел быть надоедливым. И каждый раз, прерывая работу Валентина Владимировича, испытывал угрызения совести. Мне казалось: вот у него только пошло дело, а я помешал. Ощущение это было оттого, что я заставал Валентина Владимировича только в двух положениях: или лежащим на диване, когда было плохо с сердцем, или же за письменным столом. То, что я не был ему в тягость и ругал он меня по-доброму за долгое отсутствие, подтверждало его радушие. Когда я приходил, он не отпускал меня до поздней ночи.

Переговорили мы с ним за эти годы о многом. Дальше я буду рассказывать, описывая бытовые детали, не представляющие интереса в литературном отношении, и малозначительные биографические подробности. Без «встреч» и «расставаний», в краткой простой последовательности изложу эпизоды жизни, свидетелем которых я был, и передам слова из бесед с Овечкиным, которые мне запомнились. О начале писательской биографии он рассказывал:

— Писать я начал лет на десять позже, чем следовало бы. Была в двадцатых годах литературная мода, коверкали язык, фразы, накручивали всякую заумь вроде Андрея Белого или Артема Веселого. Пугали меня эти сложные выкрутасы. Читал и думал: а я так не смогу! Вот поэтому поздно писать начал.

Однажды Овечкин снял с полки том Большой Советской Энциклопедии, нашел статью о себе и прочитал:

— Овечкин — «член КПСС с 1943 года». А я вступил в партию в двадцать девятом году. Всю коллективизацию и индустриализацию в моей биографии потерял! Как



ты думаешь, важно или нет в жизни пожилого человека, когда он пришел в партию — до коллективизации или после разгрома немцев под Сталинградом? Я считаю этот вопрос принципиальным. Написал в редакцию энциклопедии. Извинились. А на бумаге все так и осталось...

Я несколько раз был с Валентином Владимировичем в узбекском колхозе «Политотдел», о котором Овечкин писал свою последнюю повесть. Очень нравилось ему это хозяйство, высоко ценил Овечкин труд и достижения здешних колхозников. Здесь, на берегу пруда, под деревом, любил Валентин Владимирович посидеть с удочкой. Когда я наблюдал за ним со стороны в эти минуты, меня всегда охватывала грусть. Валентин Владимирович насаживал червя, забрасывал удочку, извлекал рыбу, а лицо у него было скучающее. Улов не радовал. Не было рыбацкого азарта. Снимал рыбу с крючка и тут же бросал назад в воду. Мыслями он был далеко, где-нибудь под Курском или на Кубани. Тоскливо было ему в Азии. Он душой и телом, всеми корнями творчества своего врос в землю колхозной Руси. Он мог жить только в России. Без России нет Овечкина.

Все очерки Овечкина обладают высоким и боевым публицистическим накалом, поэтому Валентин Владимирович представляется читателем человеком необычайно напористым и смелым. А вот в обыденных, житейских делах он был очень скромный, стеснительный и в то же время гордый. В последние годы жизни Овечкин испытывал материальные затруднения, но ни к кому не обращался за помощью. Он даже скрывал это. Когда друзья узнали и кое-кто прислал денежные переводы, Овечкин сказал: «Этого еще не хватало» — и возвратил деньги.

В день смерти писателя на его сберегательной книжке было немногим более ста рублей — наверное, очередная пенсия.

В Ташкент Валентин Владимирович вместе со своей супругой Екатериной Владимировной приехал потому, что здесь жили и работали их сыновья Валентин и Валерий. О других причинах переезда пока сказать трудно. Это уж дело истории. Скажу только одно: сам он не совершил ничего предосудительного и даже наоборот — Овечкин как писатель в социальном, моральном и общественном отношении был человеком кристальной чистоты и честности!

На узбекской земле писателя встретили приветливо и сочувственно. Много сделал доброго для него первый секретарь ЦК КП Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов; сам писатель, он знал цену этому тяжелому труду, высоко ценил и уважал талант Овечкина.

Часто, обстоятельно и очень интересно говорил Валентин Владимирович о самом любимом и главном в его жизни и творчестве — о жизни на селе. Подробно и с более тонким знанием дела эти взгляды Овечкина изложены в воспоминаниях его друзей, тех, кто был рядом с ним в годы создания известных очерков о районных буднях.

Хочется сделать существенное, на мой взгляд, дополнение. Мне кажется не совсем правильным ограничение творчества Овечкина рамками деревенской проблематики. Не говорят же о Горьком, Куприне, Чехове, что они писатели городских проблем. А таких мастеров, как Тургенев, Лесков, Пришвин, тоже ведь нельзя относить к сельско-пейзажным. Все они, как и другие литераторы, познавали и описывали закономерности общественной жизни и человека вообще.

И у Овечкина тоже на первом плане всегда был человек, не посевы и пересевы, не отстающие и передовые колхозы, а именно новый, советский человек, которого писатель знал с первых дней революции. Овечкин не только описывал, но, как и подобает писателю-коммунисту, боролся за счастливую жизнь советских людей, которую может им дать осуществление на практике заветов Ленина.

Считаю необходимым рассказать еще об одной теме, на первый взгляд очень далекой от вопросов сельскохозяйственных, но и в ней Валентин Овечкин был большой знаток. Я имею в виду ту область литературы, которую ныне принято называть военно-патриотической. Овечкин всю войну был в действующей армии, прошел суровую фронттовую школу, подвергался опасности, проявил не раз смелость не только в литературном, но и в подлинно боевом смысле этого понятия. Он был на крымском участке фронта корреспондентом армейской газеты, под Сталинградом — агитатором полка, на 4-м Украинском фронте опять военным журналистом.

Военная публицистика В. Овечкина характерна простотой, доходчивостью, оперативностью. Но простота и доходчивость были не от мелкотемья и будничности — они достигались сознательно писательским мастерством. Как бы ни была коротка газетная заметка Овечкина, в ней всегда есть факт человеческого, а на фронте солдатского, деяния, есть оценка поступка, его смысл, место в общем деле, исток и перспектива героизма. Не многим удавалось в условиях опасности и спешки писать такие емкие статьи. Овечкин без долгих рассуждений обращался прямо к читателям, все фронтовые публикации его имеют разговорную интонацию. Писатель говорит с фронтовиками напрямую, честно и открыто, зная, что они поймут его, потому что он сам фронтовик. Он говорил с людьми бесхитростно о главном на войне — как изгнать врагов, но касался при этом самых чувствительных уголков души соотечественников, чтобы укрепить их стойкость, мужество, решимость. Читателям известна как бы итоговая за период войны, правдивая, философски мудрая повесть Овечкина «С фронтовым приветом». Это наблюдения и размышления писателя, накопленные на фронте. Близилась победа, можно было делать первые обобщения о героических делах советского человека на войне, надо было заглянуть в будущее — что там?

Герой книги агитатор полка Спивак говорит солдатам перед боем: «Дело подходит к границам, товарищи... Я недавно из тыла приехал. Знаете, что сейчас на думке у каждого человека, что кладет первый кирпич на развалинах? Построить бы такую жизнь, чтоб была лучше прежней. И главное, закрепить ее теперь навечно...»

Сегодня эти слова звучат обыденно, а в те дни они выражали стремление каждого советского человека. «С фронтовым приветом» была одной из первых крупных книг о Великой Отечественной войне, в 1944 году многие писатели были только на подступах к широко известным теперь произведениям о войне. В. Овечкин не только в колхозной, но и в военно-патриотической теме оказался несколько прозорливее других литераторов.

Уже после смерти писателя в 1973 году по просьбе Военного издательства я занимался составлением сборника военных произведений Овечкина. В архивах писателя, во фронтовых газетах, в библиотеках я обнаружил очень много статей, зарисовок, очерков. Все они представляют собой библиографическую редкость, потому что были изданы один раз в те далекие, горячие, боевые дни. Меня как фронтовика поразила в этих работах Овечкина не только острая зоркость глаза писателя, но и удивительная добросовестность его. Овечкин никогда не писал наспех, вполсилы, для него на войне не было больших и малых тем. Всегда Валентин Владимирович выписывал каждую строчку, каждое слово с присущей ему максимальной требовательностью к себе.

Глубокие знания Овечкина в вопросах воспитательной работы, о природе героизма и высокого патриотизма в армейских условиях мне посчастливилось испытать и в моей личной работе. Я никогда не обременял его просьбами почитать мои книги или рукописи, знал — из-за болезни у него для своего творчества очень мало времени. Но однажды он сказал мне:

— Прочитал первую часть твоего романа. (Он говорил о «Вечном бое», который начали печатать в «Звезде Востока» в первых номерах 1967 года.) Пока ничего не скажу. Дочитаю до конца — тогда поговорим.

— Стоило тратить время, на другие дела его не хватает, — возразил я.

— Время зря не потратил, думаю, будет польза и для тебя и для меня, — ответил Овечкин.

Письменный стол Овечкина всегда был заполнен папками с чужими рукописями, корректурами, стопками писем. Чаще всего это присылали ему из «Нового мира», членом редколлегии которого он был.

Прочитав роман до конца, Овечкин, как мне показалось, очень обрадовался, что книга получилась. Он мне прямо так и сказал:

— Ты не представляешь, как я рад за тебя! Я очень боялся: вдруг ты неглубоко запустишь свой творческий плуг в эту сложную проблему. После первой части просто не мог дожидаться продолжения. Страшно переживал. Не знал, как буду говорить с тобой, если постигнет тебя неудача. Нелегко ведь говорить об этом. Сам, поди, знаешь. Но теперь все это позади. От души поздравляю тебя, ты написал очень нужную и хорошую книгу.

Я так смело передаю похвальные слова Овечкина лишь потому, что его оценка романа «Вечный бой» не раз публиковалась<sup>1</sup>. Тогда он еще сказал мне:

— Трудный хлеб у тебя — военного писателя.

Чтобы не появилось у читателей каких-либо подозрений насчет похвал Овечкина в мой адрес, расскажу другой случай с совершенно противоположным отзывом. В делах творческих Валентин Владимирович был весьма принципиален и строг. Ни дружба, ни приятельские отношения не могли повлиять на объективность оценки.

После разговора о моем романе Валентин Владимирович сказал:

— Принеси мне неопубликованную вещь. Ты над чем сейчас работаешь?

— Повесть пишу.

— Вот и принеси. Может быть, для «Нового мира» подойдет.

— Неловко мне время у вас отрывать.

— Брось скромничать. Неси.

Окрыленный похвалой романа, я поспешил доработать повесть и через некоторое время принес ее Овечкину. Он встретил меня, как всегда, радушно:

— Закончил, значит? Поздравляю. Молодец! Хорошее ощущение, когда завершена работа. У тебя бывает такое: написал очерк, рассказ — и жалко с ним расставаться? Жаль, что кончилось наслаждение этой мучительно приятной работой.

— Бывает что-то похожее — и радостно и грустно.

— Вот-вот. Это не только у писателей бывает. У настоящего мастера, если он любит свое дело, в любой профессии должно быть такое ощущение. Вот, помню, в юности был я сапожником. Сшил сапоги. Хорошие сапоги получились. Приходит заказчик, а мне отдавать сапоги жалко. «Не просохли, — говорю, — приходите завтра». И еще один вечер любовался я делом рук своих. Не только тот хороший работник, кто делает много и хорошо, надо еще, чтобы человек любовался, получал удовольствие от своей работы... Ладно, ты свое дело сделал. Оставь, почитаю.

Через неделю я с нетерпением ждал его оценки. Мне казалось, она будет высокой: и тема и сюжет интересные и поработал немало. К тому же я уловил желание Овечкина помочь мне, он прямо сказа о «Новом мире». Однако меня ждало не только огорчение, но и самый настоящий жгучий стыд. Овечкин встретил меня очень сердито. На мой обычный вопрос в окно: «Как поживает труженик?» — Валентин Владимирович холодно бросил:

— Иди, иди сюда.

Открыл дверь. Молча ушел в кабинет, и когда я зашел вслед за ним, он посмотрел мне в глаза так прямо и сердито, что у меня спина похолодела.

— Ты чего мне принес? — спросил он, показав на папку с повестью. — Прямо со сковороды притащил, да? Не перевернул даже, только с одной стороны поджарил — и на, читай? Чтобы ты мне больше такие недоделки не носил! Когда почувствуешь, что все сделал, тогда неси. Тут еще работать и работать, а он принес!

В общем, влетело мне здорово! Я думал, из-за легкомыслия и даже неуважения, которые были мной допущены, испортятся наши отношения. Но Валентин Владимирович сам пытался как-то сгладить неприятность. Выказав замечания и советы по доработке повести, он повел меня в столовую. Поставил на стол графинчик с водкой, настоянной на кореньях, и все еще хмуро позвал:

— Валерий! Иди, будешь чокаться со своим командиром!

Сам Овечкин из-за болезни сердца не пил, но гостей потчевал рюмочкой, призывая на помощь сыновей.

Валерий, мой бывший подчиненный, а в те дни инженер-геолог, был готов подержать компанию, у нас с ним и на гражданке установились хорошие отношения. Но в тот вечер беседа не клеилась. Валентин Владимирович был расстроен моей неудачей не меньше меня. Я же проклинал себя за самонадеянность и решил больше никогда не приносить рукописи Овечкину. Но не тут-то было! После этого разгрома при каждой встрече Валентин Владимирович допрашивал, что я сделал да поправил ли то место и вот тот эпизод. Даже в письмах, когда я уезжал, спрашивал, как идет работа.

<sup>1</sup> «Литературная Россия», 19 февраля 1971 года; В. Овечкин. Статьи, дневники, письма. М. «Советский писатель». 1972.

У меня сохранилось письмо, которое Валентин Владимирович написал за несколько дней до смерти. Может быть, это вообще одно из последних его писем. Поскольку Овечкин говорит в нем о своем состоянии, мне кажется, следует опубликовать это письмо. Оговорю одну деталь: почему-то в письмах Валентин Владимирович всегда был со мной на «вы», а в обычных разговорах был прост, обращался на «ты».

«Дорогой Владимир Васильевич! Запоздал я с поздравлением, но прошу принять во внимание уважительную причину: и перед Новым годом и после все эти дни тяжело болел, лежал.

Поздравляю Вас, Вашу жену и все Ваше семейство с Новым годом и от всей души желаю Вам добра. Здоровья — в первую очередь.

Желаю Вам, Владимир Васильевич, успешного осуществления всего задуманного в области литературы...

Рад слышать, что Вы продолжали работать над последней повестью. Если закончили ее переписывать — принесите, хочется еще раз прочесть ее теперь.

С сердечным приветом

В. Овечкин.

5.1.68 г.».

Он говорит здесь о той повести, за которую «отдубасил» меня в прошлом году. Я, чтоб не портить ему настроение, решил никогда больше о ней не вспоминать, а он все еще помнил.

Рассказ мой подошел к самому трудному дню. Я был у Валентина Владимировича накануне его смерти. Человек я не суеверный, в предчувствия не верю, однако невольно теперь вот думаю: может быть, он чувствовал, что видимся в последний раз. Пришел я в тот день к Овечкиным часов в пять вечера. Сначала, как всегда, сидели в его кабинете. Потом Екатерина Владимировна позвала нас в столовую ужинать. В восемь часов я стал прощаться:

— Утомил вас, пойду.

— Посиди еще, куда спешить?

Посидели. Валентин Владимирович рассказывал о друзьях-писателях, вспоминал Михаила Колосова, Евгения Носова, Федора Голубева, Илью Френкеля, Николая Атарова. С большим уважением говорил о «смелой и мудрой женщине» Маризтте Шагнян.

В десятом часу я опять попытался откланяться. Но Валентин Владимирович не отпустил. Лишь в двенадцатом часу ночи он пошел провожать меня. Я до сих пор ощущаю, как он шел рядом, держал меня под руку. Шли мы не торопясь. Валентин Владимирович был в отличном настроении, смеялся, шутил... Но почему-то до самой остановки троллейбуса, будто прощаясь, мягко похлопывал и поглаживал мою руку...

На другой день его не стало.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АЗАРОВ,  
доктор педагогических наук

★

## ДИАЛОГ

Заметки о Бенджамине Споке и о современных  
проблемах воспитания

*Декларация прав ребенка... В нынешнем году минуло двадцать лет с того дня, когда Организация Объединенных Наций приняла этот документ. В прямой связи с ним находится провозглашенный XXXI сессией Генеральной Ассамблеи годом ребенка 1979 год.*

*Инициатива ООН встретила самую горячую поддержку всей прогрессивной общественности мира, приковав внимание многих правительств к проблемам защиты детей от голода, холода, эпидемических заболеваний, эксплуатации детского труда.*

*Страшно сказать — в одной только Латинской Америке за десять лет погибло 7,5 миллиона детей из-за отсутствия медицинской помощи. В мире 300 миллионов детей не ходят в школы. Свыше 50 миллионов ребят вынуждены, чтобы жить, зарабатывать себе на хлеб, подвергаясь жесточайшей эксплуатации. Десяти-двенадцатичасовой рабочий день ребенка — это в век НТР, великих научных открытий!*

*Права ребенка в капиталистическом мире — это чаще пустая формальность, фикция, ибо нет в мире более незащищенных существ, нежели дети трудящихся. В одной из цивилизованных стран нашей планеты, где закон строго карает за жестокое обращение с животными, все еще не отменены телесные наказания в школах.*

*Как же значительны, необыкновенно важны действенные меры, направленные на защиту прав ребенка, какую весомость обретают слова, напоминающие человечеству о том, каким прекрасным может и должен быть мир детства — будущего человечества, как необходимо знать каждому природу этого мира и отдавать все свои помыслы, усилия воспитанию в детях добра, разума, красоты. Именно поэтому книги американского доктора, педагога, активного борца за мир Спока, пронизанные идеями Человечности, прозвучали с такой силой на весь мир.*

*И вот доктор Спок у нас в Артеке. Он увидел воплощенными в жизнь свои идеи: все лучшее — детям, для детей. И, может быть, здесь он понял до конца, сколь велик разрыв между его высокими гуманистическими идеалами воспитания и возможностью (вернее, невозможностью) их осуществления в капиталистическом мире.*

*Диалог Ю. Азарова, педагога и литератора, с доктором Споком во многом касается и этих проблем и проблем воспитания в наши дни. Мы посвящаем это выступление Международному году ребенка.*

### 1. ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

**З**начение большого педагога определяется мерой гражданственности. Даром, как заметил один мыслитель, слышать диалог своей эпохи, или, точнее, слышать свою эпоху как великий диалог. Улавливать в ней не только резонансы голосов прошлого, но и слышать голос будущего. Разрешать мысль как великое противоречие и мучиться неразрешенностью жизненных конфликтов. Бескорыстно служить великим идеям справедливого устройства мира и бесконечно верить им.

Такой мерой невольно соизмеряешь значение известного американского детского врача и педагога Бенджамина Спока — борца за мир, одного из тех, с чьим именем связана гуманистическая педагогика.

В свое время шквал страстей обрушился на него. И это случилось потому, что его педагогическая позиция возвысилась до самых глобальных противоречий мира, зацепила самые острые идеологические проблемы.

Как бы два важнейших пласта в Бенджамине Споке. Один связан с политикой — здесь он сторонник социализма, яростный противник империализма, войны. Другой обусловлен профессиональной деятельностью, соединившей в себе искусство медицины и искусство воспитания.

Я отправился на международный детский фестиваль в Артек, куда был приглашен Бенджамин Спок, увидеть этого замечательного человека в общении с детьми, ближе узнать его взгляды на воспитание в нюансовых переплетениях (основные его установки я знал и раньше: писал о нем), приблизиться к пониманию его педагогической философии.

В том, что содержанием личности во многом определяются и педагогические взгляды, я никогда не сомневался. Точнее, личностный аспект в педагогике крайне важен, поскольку накладывает определенный отпечаток на весь педагогический мир того или иного мыслителя в этой области. Не скрою и своих ошибочных раздумий. Перебирая в памяти всех больших педагогов, я невольно для себя делил их (в сугубо личностном плане) как бы на два типа. Первый: Оуэн, Ушинский, Дистервег, Макаренко. Здесь я сталкивался с характером неистовым — горящие, как у пророка, глаза, нервы подобно тросам, могучая энергия рождает могучие формулы: если характер создается обстоятельствами, значит, надо изменить среду (Оуэн); если педагог дышит энергией — детская самодеятельность неизбежно развивается (Дистервег), только счастливый человек может воспитать счастливого человека; разорвитесь на части, но станьте счастливым, иначе вы не сможете воспитывать детей (Макаренко). В этом характере, казалось мне, преобладают мажорные интонации. И весь дух личности — реформаторский, бескомпромиссный. Другой тип, по моим предположениям, не являлся полной противоположностью первому. Но здесь нежность души человеческой как бы смягчала тональность педагогических исканий. Здесь больше ориентаций на отношение к личности ребенка, здесь доброта в той изысканно-трепетной тонкости, которая и рождает ту интимность прикосновения, свойственную людям легкоранимым, мучительно сомневающимся, рефлексирующим в самые глубинные закоулки совести. Здесь подлинно гражданская страстность рождается как великое откровение через собственную муку, боль, очищение.

Только больной, измученный, но готовый в любую секунду принести себя в жертву во имя одного несчастного ребенка Песталоцци мог сформулировать так свой основной метод влияния на детскую душу: «С утра до вечера я был среди них. Все хорошее для тела и духа шло к ним из моих рук... Моя рука лежала в их руке, мои глаза смотрели в их глаза. Мои слезы текли вместе с их слезами, и моя улыбка следовала за их улыбкой».

И как апофеоз этой линии духовного общения — Януш Корчак, переступивший с детьми порог фашистского крематория...

Педагогический метод — я о нем буду говорить дальше — определяется в том числе и той границей человеческих убеждений, за которой нет больше ничего. И эта грань — готовность отдать всего себя детям. Без колебаний, без остатка. Отдать не в порядке самопожертвования, а в порядке величайшего и последнего самораскрытия своих лучших человеческих сил. Завоевавший право сказать: «Сердце отдаю детям», — В. А. Сухомлинский напишет в одной из последних своих книжек: «Имея доступ в сказочный дворец, имя которому — Детство, я всегда считал необходимым стать в какой-то мере ребенком. Только при этом условии дети не будут смотреть на вас как на человека, случайно проникшего за ворота их сказочного мира, как на сторожа, охраняющего этот мир, сторожа, которому безразлично, что делается внутри этого мира».

Конечно же, такое характерологическое деление педагогических линий на два типа весьма условно неточно, уязвимо. Но реальность не сбросишь со счета, тем более что она заявляет о себе в педагогическом почерке, в педагогической палитре. Больше

того, эти самые личностные характерологические нюансы находятся в особом сцеплении со всем мировоззрением личности, со всем отношением к духовным ценностям, не допускающим какой бы то ни было релятивизм. И эти нюансы, порой оборачивающиеся слабостями, всегда индивидуальны и различны, а смыкаются они в гражданственности, в той неумной бешеной педагогической жадности, стремящейся охватить все факторы становления души человеческой, чтобы ребенку стало лучше, чтобы матерям и отцам жилось радостно. Поэтому и вершины у обоих типов одни и те же: создать системы, обеспечивающие всестороннее и гармоническое развитие,— вот единая и последняя цель педагогической дерзости.

И эта общая цель снимает необходимость банального вопроса: «Какая из линий в педагогическом рисунке нужнее и правильнее?» Задавать такой вопрос так же неправильно, как отдавать предпочтение Некрасову перед Тютчевым, Маяковскому перед Есениным, Фолкнеру перед Хемингуэем. Просто мы имеем дело с разным уровнем сложности, с разным богатством человеческой талантливости.

Все это я объясняю не случайно, поскольку в педагогике, как и в искусстве, шарахание то в одну, то в другую сторону всегда приносило немало вреда: убивало поэтическую форму в ущерб содержанию, а в педагогике порой разъединяло нерасторжимое — бережное отношение к личности ребенка от всей организации жизни детей, гарантирующей суверенность этой бережности.

Какова же педагогическая палитра Бенджамин Спок? Каким образом эта сложная система «доктор Спок — современное американское общество — личность ребенка» сформировала те установки, которые пришлось по душе современному гражданину мира? Каков сам Спок как человек?

Не скрою: по многим публикациям о нем, да и по его книгам у меня сложилось определенное представление — скорее педагог корчаковского плана. Этаким добрый-предобрый, конечно же нежно-сентиментальный, сказочный доктор Айболит. А оказалось все наоборот. И я рад тому, что рухнули мои построения о двух педагогических линиях. Укрепилась вера в то, что подлинный воспитатель — это уникальная личность, мерой которой являются гражданственность и человечность. Эти два свойства в Бенджамине Споке соединены органично.

Напомню: года четыре назад по всему миру прокатилась волна дискуссий вокруг педагогических взглядов Спока. Появились статьи и в нашей печати. На страницах «Литературной газеты», в частности, было опубликовано такое характерное письмо геолога А. Силуянова из Кургана:

«Уважаемая редакция! В нашей стране хорошо знают американского педагога и педиатра доктора Спока по его замечательной книге «Ребенок и уход за ним», переведенной на русский язык. Сформулированные им прогрессивные, гуманистические идеи и педагогические принципы близки и понятны нам, они перекликаются с идеями и воспитательной практикой наших выдающихся педагогов А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого и других. Но вот за рубежом, о чем уже говорилось и в нашей печати, появились сообщения, что д-р Спок изменил своим принципам, отказался от системы воспитания, построенной на доброте и доверии к ребенку, и уповает теперь прежде всего на жесткость и дисциплину. Что же произошло с д-ром Споком? Мне не совсем понятно, почему нужно противопоставлять дисциплину доверию — разве одно исключает другое? И почему указание на то, что, помимо доброты, полезна бывает и жесткость, означает измену прежним взглядам?»

И в сентябре 1974 года я выступил на страницах «Литературной газеты» со статьей «Доктор Спок против доктора Спока?». Вопросительный знак в заглавии статьи был поставлен не случайно, так как я, как мне казалось, доказал, что никакого прямого отступничества у доктора Спока не было. Три года спустя, встретившись со Споком, я показал ему эту статью. Споку понравился заголовок, а когда переводчица познакомила в общих чертах с содержанием статьи, Спок, в общем-то, согласился с ней и подчеркнул, что никакого изменения своим принципам у него не наблюдалось. Не скрою, я тогда несколько как бы уходил от категорических, безапелляционных заявлений, так как многое мне не было понятно: проблема была необыкновенно сложной, полемической.

И эта моя в некотором смысле «размышленческая» позиция дала основание некоторым читателям прийти и к таким выводам, будто я все же обвинил Спока в отступничестве. Впрочем, мне и сейчас многие товарищи, которые встретились со Споком, говорят, что все же некоторое отступление у него было. Примерно такое же отметила и Валя Трибунская, которая в течение многих дней переводила его выступления, интервью, беседы. Я такой позиции не разделяю, поскольку вопрос, опять-таки подчеркиваю, сложен. И здесь надо говорить о целой системе противоречий, которые выявились в результате педагогической и общественно-политической деятельности этого замечательного человека.

## 2. ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРЕЖНИМ ДИСКУССИЯМ

Итак, доктор Спок, подчеркивалось в печати прошлых лет, с чьим именем связана гуманистическая педагогика, выступил со статьей, в которой ратовал будто бы за твердость в воспитании детей.

Доктор Спок, антивоенный лидер, борец за мир, утверждает, что без жестких, последовательно проводимых требований не может быть действенного воспитания.

Доктор Спок, замечательный педагог современности, увидел вдруг в мягкости, доброте, родительской ласке главные противоречия воспитания детей в современной Америке.

Эта его новая позиция и вызвала в зарубежной печати бурю страстей.

Радио... Газеты... Телевидение... Десятки запросов... Все желают знать, зачем и почему понадобилось доктору Споку изменить своим убеждениям: проповедовать твердость и дисциплину вместо доброты, «переметнуться к консерваторам», отступить...

Чем вызваны эти заявления? Похоже, кому-то захотелось скомпрометировать доброе имя истинного гуманиста современности Бенджамина Спока. Но только ли этим? И почему, казалось бы, частные вопросы педагогики стали общественно значимыми? Перед тем как ответить на все эти вопросы, волнующие читателя, и на главный из них — остался ли доктор Спок верен своим взглядам или изменил им, — я позволю некоторое отступление: необходимо объяснить, почему решение, что ставить на первое место — строгость или доброту, оказывается кардинальным в воспитании детей.

История знает немало случаев, когда одна книга или статья о воспитании приводила в движение общественную мысль, совершала своего рода очистительный переворот в сознании людей. Чем объяснить такой резонанс? Чем объяснить, что выдвижение на общественный суд острой педагогической идеи приводило к тому, что пульс общественной жизни мгновенно учащался и в полемику вступали крупные ученые, педагоги, писатели Руссо и Толстой, Пирогов и Добролюбов, Макаренко и Сухомлинский?.. Они вторгались в самые глубины социальной жизни, через отдельные звенья микропедагогических явлений обнажали социальные противоречия и находили ту единственную правду-истину, которая долгие годы потом сопутствовала нравственному развитию общества.

Разрешая, казалось бы, семейные, отнюдь не глобальные проблемы воспитания: «пеленать или не пеленать?», «сечь или не сечь?», «наказывать или поощрять?», «строго выполнять режим или с некоторым послаблением?», — признанные авторитеты общества указывали на причины существующего зла, пытались объяснить способы обновления мира. То есть брались не проходные или узкоспециальные темы, а такие, которые, по меткому выражению Ушинского, становились общественными вопросами для всех и семейными вопросами для каждого.

Для нас, советских педагогов, проблема примата доброты над строгостью является одной из важнейших: правильное ее решение объясняет тонкие нравственные переделы, логику утверждения человечности в воспитании детей. Здесь малейшие недомолвки и неточности сказываются на всей системе педагогических подходов.

Подлинная педагогика, даже если она имеет дело с отвлеченными процессами, всегда учитывает мир детства, мир личности ребенка. Да! Именно от того, как мы прикасаемся к детям, как вытираем им носы и застегиваем штанишки, как заставляем учить уроки и укладываем спать, как смеемся в их присутствии и рассказываем о себе, как



угрожаем или поощряем — от всего этого зависит становление детской души и даже в известном смысле судьба целого поколения. Не случайно советские ученые подчеркивают это. «Всю систему народного образования, политического воспитания,— пишет в своем исследовании доктор философских наук Г. Л. Смирнов,— пронизывают идеи добра и человечности, идеи развития в человеке его лучших качеств...»

Много лет работая в школе и занимаясь педагогической теорией, я тысячи раз убеждался в том, что научное решение этой проблемы позволяет четко отделить авторитарности, подлинную коллективность от ее суррогатов, свободу от вседозволенности, истинную любовь от слепой привязанности, необходимость бескомпромиссного подчинения нравственным законам от педагогического произвола и насилия...

Прежде чем вернуться к сенсационным выступлениям доктора Спока и к полемике вокруг его статей, попытаемся проникнуть в ту социальную ситуацию, которая сложилась в Америке. Общий кризис нравственных ценностей отразился непосредственно на воспитании. Противоречия обнаружались по двум направлениям. С одной стороны, в современной Америке появляются сотни тысяч подростков и молодых людей изнеженных, не приспособленных к жизни (хиппи и йиппи), разочарованных и затерянных в огромном мире «напряженного общества», отказывающихся работать, учиться и вообще заниматься какой-либо деятельностью. С другой стороны, мы сталкиваемся с фактами одичания и вандализма в среде детей и молодежи.

В журнале «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт» в свое время были приведены такие факты, рисующие масштабность проблемы. В Калифорнии ватага мальчишек недавно поломала железнодорожную стрелку, сняла тормоза с цистерны с огнеопасной жидкостью. Цистерна выкатилась на главный путь, столкнулась с маневренным локомотивом и загорелась. В огне погибли два рабочих-железнодорожника. В Детройте только за четыре месяца этого года полиция зарегистрировала 5061 случай злонамеренного уничтожения имущества (в предыдущем году за тот же период таких случаев было 4227). В школах города Мэдисон (штат Висконсин) за один год было выбито стекол на сумму 25 тысяч долларов, и школьные власти жаловались, что живущие по соседству люди даже не брали на себя труд вызвать полицию, видя, что вандалы ученики делают со своей школой.

Мотивы вандализма самые разные. «Некоторые органы власти усматривают в участвовавших актах вандализма, совершаемых молодежью,— отмечает журнал,— реакцию на нынешние социальные трения — бедность, семейные неурядицы, безработицу, расовую вражду и т. п. Кажется, что в периоды обострения расовых трений число актов вандализма увеличивается».

Реакция на вандализм и другие патологические и социальные отклонения, в свою очередь, вызывает одну за другой волны ужесточения. «Отдавать детей-вандалов под суд!», «Наказывать!», «Жестко требовать!» — вот выход из социального кризиса, который предлагали многие педагоги, полицейские, родители, общественные деятели.

Неужели среди них оказался и доктор Спок?

Чем больше вчитываешься в статьи доктора Спока, тем отчетливее осознаешь, что здесь речь идет не столько о замкнуто-этических категориях, сколько о главных проблемах воспитания, которые неизбежно выходят на политику и идеологию общества в целом.

В одном из своих интервью доктор Спок сказал: «Знаете, поднялась такая буча после того, как я выступил с этой злополучной статьей... Все спрашивают об одном и том же, все желают знать, зачем и почему я так написал. А уж письма! Вот, пожалуй-ста: «Стыдитесь, вы погубили молодое поколение». Или вот это: «В том, что мой сын стал преступником, виноваты вы»... Как все это глупо, как смехотворно! Они же ничего не поняли. Ничего! В своей статье... в общем, в этой статье я лишь повторил все то, что твердил на протяжении трех десятков лет: «Не пасуйте перед своими детьми. Когда нужно, не бойтесь проявлять твердость по отношению к ним». Но быть твердым не значит быть злобным: это значит воспитывать ребенка в атмосфере радости и дружбы...»

**Любопытны обвинения, предъявленные Споку.**

«Я считала его мифом,— пишет итальянская журналистка Лина Колетти в журнале «Зуропео» после сенсационного выступления Спока.— Его теории всегда обладали

такой притягательной силой, его книга «Ребенок и уход за ним»... буквально источала принципы терпимости... И вдруг я узнаю — он отступил, сделал совершенно невероятное самокритическое заявление, объявил о провале — пусть и частичном — своих идей. Что он призывает вернуться к наказаниям и методам «твердой руки». «В том, что молодежь сегодня так распустилась,— сказал он,— есть доля и моей вины»...

Забегая несколько вперед, хочется предупредить читателей, что такого заявления Бенджамин Спок не делал. Напротив, он гордится тем, что его книги помогли воспитать бунтующих молодых людей, людей, отказавшихся воевать.

Итак, маленький вопрос, что ставить на первое место — строгость или доброту, разделил людей (и так было всегда) на два противоположных лагеря. Первые — сторонники гуманизма — утверждают, что только в атмосфере доброты может быть осуществлено подлинное воспитание. К ним всегда принадлежал и Спок. Он писал в блестящей книге «Ребенок и уход за ним» о том, что больше всего на свете детям нужна любовь преданных родителей, что дети, ставшие преступниками, страдали не от недостатка наказаний, а от недостатка любви, что каждый ребенок — личность.

Нельзя сказать, чтобы сторонники второй концепции начисто отменяли ласку и доброту. Они просто отдавали предпочтение строгости и жестким требованиям. Никто из них, разумеется, не призывает «сокрушать дитяти ребра сызмалу», но они ратуют за беспрекословное подчинение детей воле взрослого.

Именно против таких авторитарных методов выступил около тридцати лет назад Бенджамин Спок. Тогда он на первое место ставил родительское тепло, свободу ребенка, его творческую деятельность. Был ли он тогда перmissive-вистом — проповедником вседозволенности? Нет. Была ли его теоретическая концепция связана, скажем, с теорией свободного воспитания? Нет. Вносил ли он со временем какие-либо коррективы в развитие своих идей? Разумеется. Эти коррективы отражают и некоторую эволюцию взглядов доктора Спока, и противоречия американского общества.

Уже в 50-х годах Спок начинает предостерегать матерей от крайностей в воспитании детей. «Проявляйте чуткость,— говорит он,— учитывайте желания и волю своего ребенка. Но осторожно; не позволяйте ребенку превращать вас в рабыню. Помните, что главенствующую роль должны играть родители, родительский авторитет. Я имею в виду настоящий авторитет, а не авторитарность, разумеется. Речь идет не о наказании ребенка, а об умении научить его тому, что хорошо и справедливо. Нужно добиваться того, чтобы в наказании как в методе воспитания просто не было необходимости...»

Наблюдая, как многие родители совершают ошибки — культивируют вседозволенность, потакают капризам, способствуют зарождению у детей безволия и безответственности,— Спок к 1957 году специально перерабатывает свою книгу для второго издания и особо подчеркивает руководящую роль родительского авторитета, дисциплины.

И — доктор Спок становится антивоенным лидером, одним из организаторов антивоенных маршей. Официальные круги привлекают его к уголовной ответственности по обвинению в заговоре с целью побудить молодежь не служить в армии. А прогрессивные силы единодушно присваивают ему звание гуманиста... Педагогические идеи Спока сомкнулись, как и следовало ожидать, с большой политикой. Сторонники гуманизма безоговорочно одобряют его идеи. А приверженцы ужесточения ему пишут: «Я сжег твою книгу!». «Я разорвала ее на мелкие клочки...» Они «вопят хором»: «Это Спок повинен в том, что наша молодежь такая недисциплинированная и безответственная»...

Да, Спок, добрый доктор Спок, вынужден под их напором оправдываться: «Разве в странах, где моей книги никто и в глаза не видел, молодежь бунтует меньше?» Но как и тридцать лет назад, он придерживается основного своего принципа: «Существование дисциплины, ее девять десятых — это любовь, которую ребенок испытывает к родителям».

Американский врач Ричард Робертелло в журнале «Вилледж войс», в статье «Наши дети были спокизированы» отметил, что многие американские молодые люди, воспитанные по гуманной системе доктора Спока, оказались в трагическом положении: «Эти люди оказались неспособными выбрать профессию, заработать достаточно денег для сносного существования, использовать свои немалые интеллектуальные способности и таланты для какой-либо значительной карьеры. Они приходят к нам, врачам, растерянными и смятенными. Родители продолжают поддерживать их в моральном и финан-

совом отношении. У них ощущение, что они сражены своим неумением найти для себя место в жизни.

«Дети Спока», замечает Робертелло, хорошо воспитаны. Им давали уроки плавания, музыки, танцев, стремились развивать их интеллектуальные интересы, помогали узнавать свои физические возможности. Это-то «одностороннее» воспитание (не было организованного опыта жесткости?) их и погубило! И Робертелло в качестве выхода из создавшегося противоречия (социального, а затем уже педагогического) намекает на необходимость ужесточения: «...вместо того чтобы подвергать их (детей.— Ю. А.) лишениям, разочарованиям, быть требовательными и враждебными — короче говоря, подвергать всем негативным сторонам жизни вместо гуманных, родители обещали им сад».

То, что эти поправки далеко не второстепенны, подтверждается, в частности, и бурной реакцией на статьи Спока в западной печати.

Можно было бы сказать, что Спок не несет прямой ответственности за разноречивую интерпретацию своих статей. Но ведь каждый в ответе не только за то, что он сказал, но и в известной мере за то, как его поняли.

Можно было бы не обратить внимания на эти коррективы, учитывая и высокую порядочность доктора Спока, и весь его гуманистический опыт, и его последние признания в том, что по коренным вопросам он взглядов не меняет. Но тенденции, которые, очевидно, помимо его воли наметились в его последних статьях, чрезвычайно опасны и могут привести к самым нежелательным последствиям.

Можно было бы подождать, когда стухившийся полемический туман сам по себе рассеется. Но это вряд ли возможно, так как за тонкостью вопроса и кажущимися незначительными поправками стоят глобальные проблемы формирования личности человека и сложные противоречия в классовом обществе.

Рассмотрим статьи Спока, опубликованные в семейном журнале «Редбук» в самом начале дискуссии.

«Помню особенно разительный случай,— пишет доктор Спок,— когда одна мать целых полчаса вела «переговоры» со своей трехлетней дочерью, не желавшей надеть теплый костюм...» «Не хочешь ли ты надеть свой лыжный костюм, чтобы пойти играть на улицу?» — спросила мать. «Нет», — сказала дочь. Мать: «Но ведь тебе будет холодно, если ты не наденешь лыжный костюм». Ребенок: «Почему?» Мать: «Ты простудишься и не сможешь пойти к Саре на день рождения». Ребенок: «Почему?» Мать: «Если ты простудишься, тебе придется лежать в постельке и мы вызовем врача». Ребенок: «Почему?» Мать: «Потому что мы не хотим, чтобы ты еще сильнее заболела».

Если раньше Спок отметил бы, как девочка с помощью игры в «почемучки» получает о мире новое знание и что такого рода общение необходимо, то теперь Спок объясняет это явление простым капризом, подчеркивая: «Ясно, что девочка вовсе не хотела получить от мамы какую-то информацию. Ей захотелось поддержать завязавшуюся игру-«дразнилку», ибо она чувствовала, что мать боится пригрозить ей чем-нибудь».

Я готов согласиться с доводами доктора Спока и принять его объяснения психологических механизмов этой игры. Но как понять такие интонации? В одном месте Спок подчеркивает, что нужно быть твердым, ну, не совсем как «фельдфебель, муштрующий солдат», а достаточно твердым, чтобы дать почувствовать свою власть. Для подтверждения собственных соображений он приводит пример совершенной и образцовой деятельности Эйзенхауэра, который, дескать, успешно распорядился во время войны всеми подразделениями и отдельными подчиненными. Любопытный образец для педагогики годовалых!

Как понять утверждение Спока о том, что воспитывать детей иной раз мешает знание психологии? Назад, к педагогике дедушек и бабушек юной Америки? Главную задачу он видит в разрешении противоречия между властью и нерешительностью. «Оба эти качества,— пишет он,— неразделимы, точно сямские близнецы, ибо что ни говорите, а нерешительность порождается боязнью быть чересчур властным». А почему, собственно, нерешительность зависит от необходимости проявить власть, а не от сомнений и раздумий всякого культурного воспитателя?

Вернемся к эпизоду с девочкой. Эпизод типичен. На день случается другой раз и несколько таких. Но что значит проявить власть? Схватить за руку? Топнуть ногой?

Прикрикнуть? Напомнить о тех физических воздействиях, которые уже были? Все эти авторитарные приемы ничего общего не имеют с требовательностью, основанной на любви к ребенку. Авторитарность — всегда злоупотребление властью, всегда порок, ибо она, даже в микроскопических дозах, преддверие нравственного распада. Проявление бездушной жесткости к ребенку мгновенно распаивает шлюзы, через которые захлестывающим потоком врываются ненависть, неприязнь и разобщенность. Воспитатель прибегает к насилию лишь тогда, когда оказывается бессильным идти по линии мастерства.

И еще один пример. «Несколько дней назад одна мамаша, — пишет Спок, — рассказала мне, как ее восьмилетний сын после получасового назойливого и безуспешного выпрашивания у нее чего-то, почувствовав недостаточную твердость в ее голосе, внезапно изменил тон и спросил: «Почему я должен сделать то, что ты говоришь?» От неожиданности вопроса мать сразу почувствовала облегчение и, смеясь, ответила: «Потому что я старше и сильнее тебя, а если понадобится, смогу тебя поколотить». Он тоже рассмеялся, потому что напряжение исчезло, и оба провели счастливо весь остаток дня».

Снова я готов допустить, что насчет этого самого поколачивания сказано в шутку. Но не стоит ли за счастливым смехом матери и сына и второй план: перед взором ребенка всплыли картины прошлых слез, пошлепываний, попугиваний, стояний в углу и прочих детских неприятностей?

Я оглядываюсь назад и снова пробегаю глазами две маленькие его статьи. Одна из них начинается словами: «Неумение быть твердым — вот в чем, на мой взгляд, главная беда современных американских родителей». В другой — бесконечные напоминания о необходимости проявления власти, о фельдфебеле, муштрующем солдат, об Эйзенхауэре и обо всех этих психологических штучках, суть которых — утвердить такую мысль: «Вот если ребенок нас будет бояться — будет и порядок». А чтобы он нас боялся, нужно быть решительным и властным. И когда все это суммируешь, невольно и возникает вопрос: да тот ли это Спок?

Примерно сто лет назад нечто подобное произошло в России. Известный врач и педагог Н. И. Пирогов под нажимом самодержавия и «общественности» согласился, правда с оговорками, с применением розог в гимназии.

В своих статьях Н. А. Добролюбов, резко осуждая непоследовательность Пирогова, писал тогда: «...г. Пирогов оказался слабым перед средою, и он уступил, уступил не в мелочи, а в принципе, уступил в том, против чего решительно и ясно заявлял свое мнение прежде».

По этому вопросу собирался выступить Ф. М. Достоевский. Интересны его пометки, сделанные в записных книжках. Приведу некоторые из них: «Настоящий суд над г. Пироговым был бы таков: «Что вы, Пирогов, добровольно перешли в партию обскурантов или только сделали уступку противникам?» Но обскурантизм в Пирогове невозможен, след., уступка... Довольно плохая и нехорошая, правда. Можно ли было без нее обойтись? Почти можно». И далее: «Он (Пирогов.— Ю. А.) ошибся, положим. Но действительность сшибает иногда и гениальных людей с ног... Пирогов нигде не соглашается с розгою как с принципом... Пирогов рассудил, что лучше сделать хоть что-нибудь, если не все».

Да, действительно, Пирогов не возводил розгу в принцип воспитания, хотя и не мыслил хорошей дисциплины без строгости и наказаний. Как и Спок, Пирогов ратовал за атмосферу любви, за доброе отношение к детям, за гуманизм... Но он был и не против твердости в обращении с детьми, ибо так считал не только он, но и многие его коллеги.

Противоречия Пирогова в какой-то мере напоминают противоречия, которые обнаружались во взглядах доктора Спока. Сам факт того, что доктор Спок решительно отказался от высказанных им в своих последних статьях суждений, внес некоторую ясность в дискуссию и с еще большей силой подчеркнул сложные противоречия воспитательной практики современной Америки. Приведу ответы, которые он дал в своем интервью итальянской журналистке Лине Колетти для журнала «Зурло».

«Мне и в голову никогда не пришло бы утверждать,— обрушился доктор Спок на журналистку,— что родители должны подавлять волю своих детей. Точно так же, как мне не пришло бы в голову сказать: если твой сын вздумал повесить кошку на дереве, отнесись к этому спокойно, пусть вешает... Знаете, что, в сущности, произошло? Просто они вырвали из этой статьи разрозненные фразы. Именно те, которые позволили им прийти к выводу: ага, наконец-то этот тип признает, что мы можем сечь своих детей... Но клянусь вам, что все это либо чистый обман, либо чистое невежество. Да, в жизни мне приходилось изменять многие свои взгляды, но основным своим принципом, своей философией я не изменял никогда. И никогда я не раскаивался в том, что писал. Моя книга вышла в 1946 году. В те времена педиатрия была очень консервативной и суровой наукой, а Америка — очень квакерской и конформистской страной. Так, например, считалось, что ребенка нужно кормить через каждые четыре часа: ни минутой раньше, ни минутой позже — не то можно испортить характер малыша... Так вот, я одним из первых сказал, что все это ерунда, что нужно относиться к ребенку полиберальнее, что если вы покормите ребенка, когда он голоден, ничего плохого не случится. Я хотел помочь родителям идти в ногу со временем, понимаете?.. По-моему, не так уж страшны некоторые привычки. Главное, чтобы ребенок жил. Жил с любовью и в атмосфере любви...»

Да! Обскурантизм в докторе Споке невозможен. По большому счету в больших социальных проблемах Спок не делает уступок среде.

«Видите ли, предшествующее поколение считало,— говорит он,— что только благодаря трепету перед отцовским или материнским авторитетом дети могут стать достойными гражданами... Я показал, что это чушь... И объяснил это, ссылаясь на собственный опыт. В детстве я боялся отца и мать. Да и не только в детстве, но и в юности. Боясь их, я боялся всего: учителей, полицейских, собак. Я рос ханжой, моралистом и снобом: против всего этого мне пришлось потом бороться всю жизнь. Но сегодняшние дети! Сегодня в Америке ты уже не укажешь ребенку: «Сделай то-то и то-то», — если ты хочешь, чтобы тебя послушались, ты должен доказать разумность своего требования. Вы, наверное, заметили, с какой свободой молодежь критиковала университетские власти, когда поняла, каким суровым и принудительным порядкам подчинена жизнь высших учебных заведений. Как они свободно боролись за гражданские права, против войны во Вьетнаме. Знаете, я считаю, что война во Вьетнаме заставила молодежь крепко призадуматься. Она показала, какой раковой опухолью являются империализм, расизм, нищета, неравенство, загрязнение окружающей среды. И молодежь взбунтовалась и стала искать иные идеалы. Так вот: они, эти молодые америкацы, и есть «дети» доктора Спока. Ребята, исполненные смелости и чувствующие себя вправе задавать себе и другим любые вопросы. Господи, как я ими горжусь! Ибо мир не будет спасен, если с каждым днем не станет увеличиваться число тех, кто спрашивает себя и других, почему все летит кувырком...»

И все же написанного не вычеркнешь. В этой грустной истории заключена не только трагедия «спокизированных детей», но и трагедия самого Спока, человека необыкновенной душевной щедрости и талантливости, стоящего в одном ряду с выдающимися педагогами прошлого и настоящего. Трагизм доктора Спока состоит в том, что он пытается примирить непримиримое, стремится отстоять гуманистическую систему воспитания в милитаристском, алчном обществе, которое в силу своих противоречий если и допустит какую-то толику «спокизации», то непременно потом жестоко отыграется на детях, что-то изуродует в них, испоганит, уничтожит...

И последнее. Что же следует ставить на первое место — ласку или строгость? Ответим словами замечательного советского педагога В. А. Сухомлинского, который, полемизируя со своими противниками, писал: «Я не могу согласиться с тем, что ребенка надо любить с какой-то оглядкой, что в человечности, чуткости, ласковости, сердечности кроется какая-то опасность... Я уверен, что только гуманностью, лаской, добротой... можно воспитать настоящего человека...»

В лучших традициях советской педагогики, у истоков которой стоят Крупская и Макаренко, была вера в светлое начало человека, было такое понимание доброты, которое никогда не исключало требовательности, целесообразной строгости и уважения к достоинству ребенка. Эти традиции мы развиваем в современной школе.

### 3. ЕЩЕ РАЗ О СТРОГОСТИ И ДОБРОТЕ

Я рассказываю Споку о дискуссии, которую вела «Литературная газета» в течение 1976 года на своих страницах. Дискуссия называлась «Кого и как мы растим». Один из вопросов дискуссии был таким: «Почему иной раз доброта оборачивается злом в воспитании детей?»

— Так не бывает,— резко отвечает доктор Спок, будто на такой вопрос он отвечал неоднократно. И тут же встречный вопрос: — Приведите мне пример.

— Выходит, что кашу маслом не испортишь,— ухожу я от ответа, поскольку разделяю позицию доктора.

Спок смеется и добавляет:

— В жизни очень мало нравственных аксиом, но одна из них такая: доброта никогда не приводит к злу.

— Тогда почему же в США, да и не только в США вокруг этой проблемы строгость — доброта столько споров?

— В Америке действительно есть много ученых авторитарного направления, которые считают, что если к ребенку относиться строго и даже с жесткостью, то тогда он вырастет вежливым и, главное, послушным человеком. А если к детям относиться по-доброму, то они вырастут избалованными, распушенными, убудками.

Я пытаюсь заметить, что авторитаристы, наверное, не так уж прямолинейны, что в их представлении строгость не является синонимом грубого насилия, окрика, ругательства, что здесь дело в чем-то посложнее. Спок просит меня не перебивать его (он любит изложить свою мысль до конца, исчерпывающе, и это он делает с методической аккуратностью и последовательностью). Снова он подчеркивает, что никогда не был сторонником вседозволенности, что существуют разные манеры воспитания, индивидуальные почерки.

И я так понял доктора Спока. Можно предпочесть и строгое воспитание, основанное на непринужденности в обращении с ребенком. Если вы выбрали строгую манеру воспитания, то надо быть в этой манере последовательным. Умеренная строгость в смысле требования хороших манер, беспрекословного послушания (замечу, что эти же мысли он высказывал и в 50-е годы: никогда он не возводил в абсолют культ терпимости и избалованности), аккуратности, выполнения режима и т. д., то все это вреда ребенку не причинит, если действия родителей основаны на доброте и если созданы условия для того, чтобы дети росли счастливыми и общительными. Такую строгость Спок исповедует как одно из важнейших звеньев своего педагогического и врачебного кредо. Но есть еще и иная, авторитарная строгость, когда родители грубы с ребенком, когда постоянно недовольны им, подозрительны, не делают скидок на возраст и индивидуальные различия. В таких условиях ребенок вырастает малодушным, бесцветным или жестоким человеком.

Спок как бы вычленяет два вида строгости. Строгость, основанная на доброте, и строгость, основанная на раздражительности, враждебности, ожесточенности. Последняя и формирует жесткого человека, а иногда и озлобленного преступника.

Я слежу за мыслью Спока, который напоминает мне: я же об этом подробно рассказал в своих книжках. Я молчу не потому, что я этих мыслей Спока не знал, а потому, что я убежден еще и в том, что все это не так просто, что за этими всеми, в общем-то, правильными рассуждениями доктора стоит нечто большее, чего Спок не касался в своих книжках. Почувствовал ли он эти мои ожидания, я не знаю, но он понял отлично, что я жду от него какой-то особенной диалектики взаимоперехода и взаимосвязи различных манер воспитания, которую он и раскрыл в своей беседе. В общем-то, все выглядело так: строгость не исключает мягкости, а мягкость без строгости опасна.

При мягком обращении, как и при строгом, говорит Спок, можно воспитать послушного ребенка, если ваше воспитание основано на уважении к личности сына или дочери. Дело не в том, что родители предпочитают непринужденность в обращении и не настаивают на абсолютном послушании и аккуратности. Важнее другое — чтобы ребенок любил людей, и это поможет воспитать общительного и внимательного к другим людям человека... И снова оговорка, как бы возвращающая канву его мыслей не тот самый первый круг, на котором расположена строгость, основанная на доброте

Мягкость тогда даст положительный результат, если родители не побоятся проявить твердость в тех вопросах, которые они считают особо важными.

— При мягком воспитании можно получить, значит, и скверный результат?

— Разумеется,— утверждает Спок, снова недовольный тем, что я вклинился в его слаженные построения.— И это случается тогда, когда родители не ожидают от ребенка понимания своих потребностей, когда бездумно подчиняются ребенку, когда ущемляют себя в своих человеческих и родительских правах. Когда у слишком мягких родителей вырастают назойливые, избалованные дети, то это вовсе не потому, что эти родители мало требовали от своих детей, хотя и это не исключается, а потому, что они стеснялись или боялись настаивать на своих требованиях, или потому, что бессознательно поощряли детский деспотизм.

Спок говорит о чрезмерной мягкости родителей как о вредном явлении в американском семейном воспитании, как о самой острой проблеме, возникшей потому, что нынешнее поколение родителей не желает поступать по отношению к детям как к людям второго сорта: ругать и лишать их всего. Многие родители (я так понял Спок) отвернулись от строгих традиций предыдущего поколения, а усвоенные ими по новым теориям (психологическим и социально-психологическим) новые установки, рассчитанные на воспитание добротой, не подкреплены ясным пониманием твердого педагогического руководства, которое непременно должно исключить какую бы то ни было распущенность и вседозволенность. Таким образом, родители оказались как бы на полпути.

Одним из методов воспитания Спок назвал метод терпения, который вовсе не означает вседозволенность, а скорее родительское умение ждать. Нельзя действовать по принципу утерелой кошки. Если ребенок не откликается на поощрение, то наказание только ухудшит дело, поэтому надо подождать, избегая раздражения и отчаяния, позволить ребенку проявить свою независимость и самостоятельность и, выбрав удобный момент, возвратиться к своим требованиям. Всеобщей основой воспитания Спок, как и Сухомлинский, считает потребность в другом человеке, потребность любить детей. Не заставлять, а научить ребенка быть добрым — в этом главная направленность воспитательских действий родителя. Если ребенок не сумеет полюбить людей, то невозможно будет даже научить его поверхностным манерам.

— Но что значит научить любить людей? Каких людей? Как это возможно в несправедливом обществе, где рядом с детьми обеспеченных родителей живут обездоленные? Где тот предел истинной доброты, который смыкается с подлинной гражданственностью?

Я явно лезу на рожон со своими вопросами. Нет, я не вступаю со Споком в политический спор. Свою позицию Бенджамин Спок сформулировал достаточно ясно. Меня настораживает, и не то что настораживает, а будто оставляет в тени, где-то в неясной глубине, то самое главное, что является сутью человеческой доброты.

Я вижу Спока как бы в двух измерениях. Спок, у которого все правильно, мудро, величественно: богат, добр, добился в жизни самого главного — говорить вслух, без оглядки все, о чем думает, не скрывая своих убеждений. И дело не только в его олимпийских и политических победах, признании общественности мира, он еще и по-человечески счастлив: вот моя молодая жена, вот мои талантливые сыновья, мои внуки, мои увлечения, мои прекрасные яхты. И для такого Спока нет особенных проблем в доброте. Здесь доброта ограничивается методическим советом, здесь ее общечеловеческий смысл зауживается до элементарной общечеловеческой нормы действия, обязательных микроначал, которые свойственны роду людскому. Действительно, если больной просит воды, ему принесет каждый — и в этом не будет доброты, не будет нравственного содержания. Ибо здесь нет выбора, нет противоречия между личным творчеством «я» и моральной нормой.

И есть еще другой Спок. Спок, выступивший против всей системы. Спок, чье политическое лицо дорого всем простым людям. Спок, защищающий детство от эксплуатации, несправедливости, лжи, лицемерия. Спок, отважившийся выступить против веками складывающейся иерархии насилия, унижения, деспотизма. Спок, решивший пойти за свои убеждения на тяжкие испытания. Это Спок страдающий, Спок, чудом уцелевший, избежавший волей случайности суровой кары в несправедливом обществе.

И для такого Спока доброта становится проблемой, непосредственно связанной с коренными вопросами жизни общества. Здесь начинаются искания. Снова замечу: где дело касалось забот детского врача, где Спок был специалистом, там он давал исчерпывающие ответы. А там, где сложная противоречивость вышла за пределы его компетенции, где необходим серьезный и глубокий философский, этико-психологический анализ, там Спок оказался в какой-то мере беспомощным. На этом вопросе я еще остановлюсь, а сейчас мне хотелось бы, воспользовавшись некоторой аналогией, обозначить связь между гражданскими убеждениями педагога и его методикой общения с детьми.

Ушинский. Поразительное сходство у всех больших педагогов. Даже во взглядах на доброту, строгость, мягкость. И связь между макроустановками и микроприемами аналогичная. Ушинский в своей семье был, как и Спок, добрым и строгим по отношению к детям. И его нежная любовь не исключала суровой требовательности. Вот как об этом пишет его дочь В. К. Ушинская (Пото) в своих воспоминаниях об отце: «И в обхождении с нами далеко не было любовности к нам от родителей или любования нами, ласки без конца... Но наоборот, чувствовалась при внимательном отношении к нам какая-то сдержанность. Ласка была редкостью, но редкость, кажется, особенно чувствовалась и потом долго не забывалась. Может быть, отец и чаще ласкал бы нас, но нас было много, и, может, боязнь обидеть при этом, обойдя кого-либо из нас, была отчасти причиной, а чувство справедливости ко всем нам было особенной его чертой... Другой стороной его отношения к нам, детям, было строгое преследование исполнения нами своих маленьких детских дел. Это сказалось как в уроках и занятиях с нами, так и в требовании от нас той детской помощи, которую мы, особенно старшие, могли оказать в семейной обстановке... Он и потом редко допускал нас высказывать безапелляционные мнения и критиковать с видом знатоков то, что было выше наших суждений».

Итак, три добродетели: любовь к детям, основанная на справедливости, труд как форма саморазвития и помощи другим и интеллект как постоянная разумная осмысленность поступка, основанная на глубине познанной культуры. И эти три добродетели неразрывно связаны со всем мировоззрением Ушинского, его политическим и философским кредо, с его могучей идеей народности и верой в человеческий прогресс. Я невольно сравниваю некоторые позиции Ушинского и Спока в таком важнейшем вопросе, как отношение к милитаризму. В одном из писем к Н. А. Корфу Ушинский писал: «Чему мы должны учить теперь детей? — раздувать их народные страсти и народное самолюбие, вливать в них ненависть к чужеземцам, приучать стрелять и резать. Вот какие школы мы должны устраивать — и это неизбежно, необходимо. Вот куда повернули людей Наполеоны, Бисмарки и Вильгельмы — да поразит их кара небесная!»

Соответственным было и отношение к Ушинскому со стороны властей, официально. Его книги, как и книги Спока, признаются вредными, в них находят идеологические ошибки, говорят, что они дурно влияют на молодежь, развращают. Об этом писал Ушинский в одном из частных писем к его превосходительству товарищу министра просвещения И. Д. Делянову: «...название вредных книг кладет самую оскорбительную печать на всю мою педагогическую деятельность. За что же это? Неужели за то, что я всегда шел прямой дорогой?»

Нет, разумеется, Ушинского (как и Спока) преследовали не за то, что он исповедовал «методическую доброту» (больше ласки и меньше строгости), а за его дух, за его настроенность, которая выразилась в верности декабристским идеям, клятве, сформулированной им в юношеские годы рылеевскими словами: «Известно мне: погибнет тот, кто первый восстает на утеснителей народа», за его сотрудничество с «Современником», за его солидарность с освободительным движением шестидесятников, за его пламенную любовь к народу.

Итак, три «методические добродетели», так сказать, на микроуровне сомкнулись со своим основанием на макроустановках: любовь к народу, труд, избавляющий каждого от эксплуатации, справедливое просвещенное устройство общества. Нет, не так уж все просто с этой самой добротой. Не случайно проблема доброты в философия и



педагогике на протяжении веков так держит человеческие умы. Не случайно доброта стала ведущей темой всех искусств и народов.

Именно доброта, а не что другое была в сознании людей распята на кресте. Именно в доброту были вколочены гвозди, чтобы жил этот вечный идеал человечности, противостоящий злу, всему недоброму. И Пилат внешне ну никак не изувер. Нет, он склонен, скажем, по Булгакову, Христа, этого доброго, незащитного человека, приютить у себя, облагодетельствовать, поскольку импонирует ему его острая пытливость, способность проникать в мир другого человека. Но в какой-то момент будто останавливается, будто понимает и не будто, а жестко осознает, что эта Христова доброта есть его антимир, его гибель, его, Пилатова, пропасть. Его пугает идеализм мышления Христа, направленный против кесаря, против существующей системы, существующего зла. Доброта не есть нечто внешнее, не есть некая прибавка к чему-то, не есть урезанная благодетель. Она есть то основание человеческого миропонимания, которое не терпит половинок, полуправды, полумеры. Ее предел в беспределности. Ее бесконечность — начало любого микроскопического движения души человеческой, претендующей на утверждение блага.

У вечных Споков и вечных Ушинских свои пилаты, свои противники, свои служители той силе, которая олицетворяет зло. В Споке вдруг проглянула эта вечная тема, когда мы коснулись Библии («если я только для себя, то зачем я?») и когда мы коснулись Сократа, которого, как и Спока, обвинили в свое время в растлении молодых людей.

Проблема доброты неизбежно превращается в схоластическую игру бисера, если она отрывается от сегодняшних забот трудового человека, от той несправедливости, которая есть в мире, от той марзматически-хищнической власти, манипулирующей народами.

И когда я увидел, что Спок это хорошо понимает, он вырос в моих глазах.

*(Окончание следует)*



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

НАДЕЖДА МАРКОВА



## «БАТРАКИ» МАРИУСА ГОНТЬЕ\*

БЕГСТВО

**Д**есятое июня 1940 года, Озуар-ла-Ферьер — цветущий поселок километрах в тридцати от Парижа. Жители здесь трудятся на огородах и в садах с утра до вечера, а если работают в городе, то с вечера до утра. В сущности, мирная жизнь уже в прошлом. «Странная война» кончилась месяц назад. Гитлеровская авиация бомбит города и дороги, боши вот-вот войдут в Париж.

Мы с мужем сидим в доме унылые, понурые. У нас гости: соседи — Жаклин и старая Вереж, гадалка и, по слухам, колдунья. Пришли поделиться новостями, поохать — что-то будет?

Хлопает калитка, и в дом влетает Эмиль Кувье. Это еще один наш сосед, владелец велосипедной мастерской. В сарае позади его дома среди бесчисленных рулей, колес, цепей и всякого прочего железа, в таинственной глубине годами пылится допотопная машина без колес. То гордость Эмиля — «старушка Марта», автомобиль давно не существующей марки. Сейчас Эмиль взбудораженный, красный, запыхавшийся, даже без традиционной кепки.

— Друзья! Вы что это сидите? О чем думаете? Ведь о н и вот-вот будут здесь! Двигаться надо...

— Да, но куда и, главное, как? Вокзалы в городе закрыты. Товарные ходят только через Мелён...

— А старушка Марта на что? Будет готова через полчаса, самое большее через час. Собирайтесь!

Лихорадочно записываем в рюкзаки кое-какую еду, белье и мыло, а главное — рукописи. Ровно через час раздаются хриплые гудки: у калитки чудовище о четырех колесах. Действительно, «старушка Марта» ожила! На крыше гора чемоданов, с боков приторочены велосипеды, тюки спереди, сзади. Из открытого багажника горчит черная рогатая голова — козленок. Внутри машины вся семья Эмиля плюс кот и пес-дворняга.

— Помилуйте, да тут и места-то не осталось!

— Ничего-ничего. Не до комфорта...

Обнимаем соседок. Жаклин плачет: у нее младенец, множество домашней птицы.

— Куда мне двигаться-то? А оставаться тоже страшно...

Кое-как втискиваемся. Жарко и невообразимо тесно, но хозяин машины улыбается: влезли!

---

\* Автор предлагаемых воспоминаний Надежда Николаевна Маркова оказалась за рубежом в 1919 году. Во время второй мировой войны, находясь во Франции, Н. Н. Маркова активно участвовала в движении французского Сопротивления вместе со своим мужем, ученым-экономистом А. П. Марковым. С окончанием Великой Отечественной войны Марковы вернулись на родину. Последние десятилетия своей жизни А. П. Марков работал в Институте мировой экономики и международных отношений. Надежда Николаевна Маркова до выхода на пенсию вела преподавательскую и переводческую работу.

«Старушка Марта» дрожит всем телом, издает угрожающий скрип и наконец трогается в путь.

— До Мелёна часа три,— говорит Эмиль, прибавляя скорость.— Дороги запружены...

Увы, через три часа мы только-только выехали из коммуны Аршевеше, к которой принадлежит наш зеленый соловьиный Озуар. На шоссе многоголосый, ревущий, скрипящий поток: люди, машины, велосипеды, телеги, тачки... По обочинам движется разномастное стадо домашнего скота. Солнце печет. Все в пыли, изнемогают от жажды и усталости. Но тысячеголовая река медленно течет вперед.

В те горестные дни этот исход был уделом сотен тысяч людей. К 10 июня веры в то, что Париж отстоят, уже не осталось. «Боши на пороге!» — и за какой-нибудь месяц почти пятимиллионный город волнами выплеснул на дороги четыре пятых своего населения.

Солнце клонилось к закату, когда «старушка Марта» впервые пожаловалась на преклонный возраст: отвалилось колесо. Мужчины под проклятия текущей толпы занялись ремонтом, и тут началось: вой, свист — налетела фашистская эскадрилья! Грохнула поодаль, потом ближе, ближе, совсем рядом. Осколки зацокали по крышам машин. Вспышки, скрежет, вопли... Скот, обезумев, мечется и топчет людей. Кричат дети и взрослые...

После второго налета «старушка Марта» оказалась смертельно раненой, и ее с пробитым мотором сбросили в ров. Эмиль посадил семью на велосипеды и двинулся дальше. Нам же остальную часть пути предстояло проделать пешком.

До Мелёна мы добрались только к ночи. Вокзал, как это ни странно, еще открыт, освещен и, конечно, забит людьми, но кассы работают и у перрона — состав! Втиснулись, оставив почти все вещи на платформе. А через сутки, сделав две пересадки, мы были уже в департаменте Эро, в главном его городе Монпелье.

### ТОЛЬКО ЦВЕТЧКИ...

Монпелье — город южный, солнечный, благоухающий, вино здесь льется рекой, а сальдо банковских счетов выражается многозначной цифирью. Все в зелени, цветах... Город улыбочивых южак и благочестивых католиков. Войной и не пахнет. В магазинах пока что товаров полно. Жандармерия еще старого образца, не вишистская, которая придет позднее, но — примета времени: город переполнен беженцами из оккупированной зоны и покоренных гитлеровской Германией стран.

Мы приютились у добрейшей швей — хозяйки дома, где обитают наши дети: они приехали сюда год назад и были зачислены в местные лицеи. Спустя несколько дней нас ошарашивает приглашение — хотя и в вежливой форме, но достаточно настойчивое — явиться в здание театра. «О, просто маленькая проверочка всех вновь прибывших!» Являемся. Просят в зрительный зал, уже набитый битком! Кого здесь только нет! Биолог из Австрии, известная певица-немка (разумеется, не арийка), врачи, инженеры, студенты из Брюсселя и Праги, испанцы, арабы, негры. Основная масса — рабочие, грузчики. Настоящее вавилонское столпотворение! Мягкие кресла очень удобны, но спать сидя — задача довольно-таки трудная, поэтому их скоро разломали и улеглись на обломках. Внушительное здание с колоннами на центральной площади превратилось в огромную ночлежку.

На следующий день началась сортировка задержанных. За большим столом сидел очень важный инспектор. За его спиной двое полицейских. Инспектор учтиво вызывал по списку, некоторых просил даже сесть. «Откуда?», «куда?», «зачем?». Дошла очередь и до нас. Услышав ответы, инспектор оживился.

— Из Аршевеше? Рядом с имением Ротпильда? Да ведь там у моей тещи дача. Второй дом от кафе «Тяжкий папаша», знаете?

— Конечно! Кто не знает «Тяжкого папашу»! Отличное розовое вино...

— Вот-вот. Там все в порядке? А оккупанты?..

— Уезжали в суматохе, но оккупантов еще не видели.

— Ну и ладно. Вы свободны.

«Новая Франция» Петена уже на пороге, но сюда пока не дошла.

Здерживают пожилого испанца. Загорелый плечистый мужчина плачет, баскским беретом вытирает слезы. Надсаженно кричит на ломаном французском:

— У меня дети по ту сторону гор... за перевалом! Я приходил к ним тайком раз в месяц, приносил получку, еду... Старая мать там... Как они будут? Погибнут теперь... Мерзавцы, предали нас!..

Его уводят полицейские. Но еще долго слышны крики.

Многих, прежде всего арабов, негров, видимо, направят на работу в Германию. Нам повезло: нас освободили.

Наша хозяйка не любит переуплотнения, поэтому советует нам перебраться в деревушку Кейлар: жизнь там дешевле да и места побольше. Кейлар так Кейлар. Едем. Деревушка крохотная, ее даже нет на карте, приличных дорог здесь тоже нет. Домики затерялись среди скал. Мир доисторических каменных нагромождений, колючек, змей и ящерйц. Тропический зной...

Общество, в котором мы оказались, довольно-таки неожиданное: гостиница полна офицеров разбитой французской армии. Мы единственные невоенные. На нас косятся. За ужином появляется полковник — высокий, седой, угрюмый. Он молча проходит к своему месту во главе стола и поднимает бокал:

— Да здравствует Франция!

— За Францию! — шелестом проносится вокруг стола.

И больше ни слова за весь ужин. Эта могильная застольная тишина, глубокая печаль на лицах угнетают, как нависшая грозовая туча.

Имени полковника мы так и не узнали. Во Франции принято обращаться к военным не по фамилии, а по рангу: «мой полковник», «мой капитан». Но много позже стало известно вот что: в июле сорокового он бежал в Алжир, сражался в Африке против армии Роммеля, был взят в плен, бежал. Фашисты схватили его и расстреляли. Полковник так и не увидел свою прекрасную Францию свободной...

Положение у нас ужасное. Мы всюду «не свои», всем чужие. В Кейларе не продавались и недели — вернулись в Монпелье. Город полон слухов, разнотолок. Товары понемногу начинают исчезать, цены ползут вверх. «Радио Лондон» глушат, а адмирал Дарлан, правая рука Петена, не скупится на прогитлеровскую пропаганду: распространяется о великодушии оккупантов, их культуре и вежливости, о видной роли, которая уготована Франции в «новой Европе». Прислушиваемся к разговорам:

— Зверства фашистов? Вы их видели? Я — нет!..

— Разрушенное восстановим, зато будет больше заказов...

— А пленные?

— Отпустят! Ведь война кончилась — мир!

— Франция оккупирована? Ну и что? Немцы культурные — Шиллер, Гёте... Лишь бы не красные...

Настроения обрисовываются отчетливо. Мы — красные, поэтому снова должны выбирать место жительства подальше от Монпелье. На сей раз это поселок Блеймар, где, говорят, мужчин всех забрали — можно наняться в батраки. Очень кстати! На дряхлом грузовике, который развозит пассажиров, промтовары, домашнюю птицу, а заодно и почту, через Лодев, Ле-Вижан — в Блеймар. Лето сорокового уже кончается.

На ферме Камприё близ Блеймара мы устроились сезонными батраками. Хозяин наш по фамилии Пажес был еще не старый, крепкий, зажиточный и скарёдный фермер. Четверо сыновей в плену, остались дочь-подросток и старуха мать; жена скончалась год назад, но Пажес мало тужил о хозяйке, зато скрежетал зубами при мысли о сыновьях:

— Дураке и, остолопы! Не могли бежать, как все. Захотелось на казенных арестантских хлебах пожить. А здесь кто будет работать? Лоботрясы!

Хозяйство у Пажеса было обширное, но владения разбросаны: здесь кусочек, там еще один, в отдалении — третий.

— Отцы, деды делили по сыновьям, и получилось ни то ни се — лоскутное одеяло!

Инвентарь примитивный, орудия труда допотопные. Механизацию Пажес презирал:

— Мои руки, да сыновья, да корова — вот и вся механизация.

Оккупационный режим в этом заброшенном уголке «свободной» зоны еще не чувствовался. А Пажес и вовсе не собирался ничего сдавать «проклятым бошам».

— Забрали сыновей, так черта с два с меня возьмут еще что-либо! Все спрячу! Да и добраться сюда не так-то просто.

Увы, бедняга просчитался. Уже в августе явились жандармы-вишисты — на грузовиках, с автоматами. Облазили все погреба, кладовые, сараи, амбары обчистили. Разумеется, у хозяина была масса тайных заначек, но ведь и реквизиция в пользу оккупантов едва лишь начиналась. Это были цветочки, а ягодки впереди. К стенке еще не ставили — только пугали...

### ПРАВО НА НЕНАВИСТЬ

Кончился сезон, завершилась и наша работа на ферме Камприё. Пора снова возвращаться в Монпелье. Город неузнаваем. На лицах тревога, озабоченность. В магазинах пусто. На рынке умопомрачительные цены. Исчез текстиль, пропала обувь, парфюмерия. Город полон слухов, иногда самых фантастических, иногда недалеких от истины. О расстрелах заложников. О том, что шартрский собор в руинах. Что какой-то шотландский пастор помогает в Марселе беглым англичанам. Правда ли? Кто знает...

Однажды ранним утром мы бродили по городскому рынку в надежде продать хоть что-нибудь из одежды. Вдруг среди обычных торгашей с их нехитрыми поделками заметили огромного широкоплечего детину с ярко-рыжими вихрами, до глаз заросшего рыжей бородой. Молодой, загорелый, одет в какую-то куцую курточку явно с чужого плеча. Рот почему-то повязан тряпицей. Парень предлагал веер и искусно сплетенную коробочку-ларец из соломы и ковыля. Навязывая свой товар, он мычал что-то нечленораздельное: на французский не похоже, но и от английского далеко — «р» слишком твердое.

— Подойдем? — предложил муж. — Этот тип несомненно издалека. По-моему, шотландец.

Мы подошли, и тут я спросила прямо в лоб:

— Инвернесс? Лох-Ломонд? Стерлинг?

Парень вздрогнул, испуганно огляделся. И вдруг закивал, заулыбался счастливой детской улыбкой. Даже тряпку чуть отодвинул ото рта.

— Мы русские, — сказала я.

И тут все встало на свои места. Мы отошли в сторонку, купили хлеба, сыра, вина и, сидя вдаль от прохожих, выпили и закусили вместе. Насытившись, «глухонемой» разговорился. Как мы и предполагали, Джек был шотландцем. Воевал. Отступал. На спасательное судно в Дюнкерке не попал, двое суток пролежал в канаве. Потом переоделся, сняв с первого попавшегося убитого какую-то гражданскую одежку, и побрел куда глаза глядят. По-французски он не знал ни слова, поэтому завязал рот тряпицей, симулируя ранение челюсти. Кормился где попало: кто подает кусок хлеба, кто вынесет стакан вина. Жалели парня. Однажды в стог сена встретил испанца, который до войны работал барменом в парижском кафе. В то кафе иногда заглядывал некий шотландский пастор.

Испанец знал немного английский, сразу распознал шотландца и рассказал ему об этом пасторе, который, как он разузнал, бежал из Парижа и основал в Марселе «Дом моряка» якобы для нейтральных матросов. Он-де наверняка приютит земляка, а затем поможет ему добраться до родины. Всю Францию проехали на поездах Джек с барменом, а близ Монпелье расстались.

Нам шотландец страшно обрадовался, без конца повторял: «Благослови вас, господа!» — и просил помочь добраться до Марселя. Мы его направили к нашему знакомому, директору ванадельского завода в Пиньяне. Впоследствии тот с юмором рассказывал, что шотландец проработал грузчиком недели две, зарабатывая деньги на проезд до Марселя, но повязку с лица так и не снял: мало ли кто шныряет вокруг в это горячее время. Распознают, чего доброго. В ответ на расспросы продолжал мычать и рычать. За это и за его бычью силу рабочие дали Джоку кличку Брама био, что по-провансальски значит «рев быка». Дальнейшая судьба его мне неизвестна. Хочется надеяться, что Джо-

ку удалось добраться до своих и еще повоевать. Нам он остался дорог тем, что именно от него мы впервые узнали точные факты о марсельском пасторе — человеке, с которым впоследствии не раз скрещивались наши жизненные пути.

...Осенью в университете и лицее начались занятия, и тут же прокатились волнения. Бывшие «Круа де фе»<sup>1</sup> сколотили в городе банду своих сторонников. Они провоцировали студенческую молодежь, радовались каждому столкновению между юными патриотами и сыновьями винооторговцев.

От ссор к стычкам, от стычек к дракам, потасовкам, побоищам. Страсти накалялись. Появились голуборубашечники, уже вооруженные дубинками и кастетами. Даже нейтральных охватил воинственный пыл. Взрыв стал неизбежен. И он произошел.

Однажды спортсмены-лицеисты отправились на загородные велогонки. Что там произошло, сказать трудно. Расспросы ни к чему не привели, никто не назвал имен. Не последовали и аресты. Однако потасовка, видимо, была серьезная, в ход пошли не только кулаки. Были серьезные ушибы, ранения, травмы, но смертельный случай лишь один — и жестокий жребий пал на нас. То был наш сын.

Лицей в полном составе пришел проститься с погибшим товарищем. Город был потрясен.

Как бы тяжки ни были наши переживания, нельзя было поддаваться горю. Право оставалось только одно — право на ненависть. Ведь и наша беда перестала быть нашей личной — была беда общая: из-за кровавой, бессмысленной бойни, навязанной миру Гитлером, сотни тысяч семей оплакивали гибель близких.

## ТОСТ ЗА ПОБЕДУ

Наступило лето 1941-го. Ужаснейшая весть: гитлеровские полчища вторглись в пределы СССР! Город на мгновение онемел. Потом зажужжал, как встревоженный улей. Происходящее оценивают по-разному. Для нас, русских, результат конкретный: всех нежелательных выселяют из прибрежной зоны. Просимся пока в Манд, где живет подруга нашей хозяйки, содержательница семейного пансионата.

...Горный городок, приютившийся под лилово-розовыми склонами, заросшими вереском и лавандой. Белые домики, черепичные крыши. Церковный шпиль виден из дальней дали. Повсюду белые козы и козлята на игрушечных ножках.

На каждом перекрестке репродуктор: «Радио Виши» горланит о прекрасной жизни, которая ждет «новую Францию». А с рынка между тем исчезает все, чем извечно торговал Манд: гвозди, кожи, седла, даже кнуты. О продовольствии и говорить нечего. Продукты ушли на черный рынок, все из-под полы.

На площади у старого фонтана старики, старушки сидят под каштанами. Кто курит, кто вяжет. Ведут тревожные беседы.

— Сожрут боши Францию, их армию ведь нам кормить приходится. Беда!

— Зачем нам-то война? Двое внуков в плену, сын неизвестно где. Я стар, еще под Верденом искалечен... Предали Францию!..

— И карточки скоро введут на продукты...

— Вот увидите, скоро и сюда боши заявятся. Не посмотрят, что неоккупированная зона...

Итак, мы в недорогом семейном пансионате, каких тысячи во Франции, особенно в горах и на море. Хозяйка-патронесса за кассой считает прибыль, ее муж за стойкой разливает напитки и моет стаканы.

Просторная столовая с низким потолком. Пол выложен красной керамической плиткой, клетчатые занавески на окнах и такие же скатерти на столах, веселые провансальские тарелки на стенах и повсюду крупные ярко-желтые бархатцы (французы их называют индейскими розами). Казалось, все располагает к хорошему настроению,

<sup>1</sup> «Боевые кресты», фашистская организация, пытавшаяся устроить в Париже путч 6 февраля 1934 года.

в особенности ряд красочных бутылок позади стойки. Но лица мрачны, полны тревоги и угрюмого раздражения. Это беженцы: с севера Франции, из Парижа, из Бельгии, Голландии, Дании, Германии, Австрии...

И вдруг в уютную столовую вошел невысокий пожилой человек в очках, вошел и заговорил — громко, звонко, решительно, ни к кому в отдельности не обращаясь:

— Нет, вы видели что-нибудь подобное, я вас спрашиваю?! Я видел! Собственными глазами! В двадцатом веке пленные французы идут под конвоем немцев, да, немцев! Идут по улицам Парижа, столицы своей страны, своей Франции!

Зал притих.

— Известнейший хирург из Парижа, — шепнули мне соседи. — Его мобилизовали в немецкий госпиталь, но он удрал, переодевшись водителем грузовика. Загнал машину в кювет, сам едва выбрался. Здесь его знают все — знаменитости! Работает в местной больнице. Под чужим именем, разумеется.

Между тем врач продолжал все громче, с холодной яростью:

— Бред большого воображения, кошмар после операции. А этот ядот воображает, что сие навечно, что так все и останется. Вообразил, что он Юлий Цезарь! Но он забыл, как кончил Юлий Цезарь. Забыл или даже не знал, недоучка... Но он сам кончит не так. О нет! Это я вам говорю — на виселице, вот где! Для таких, как он, единственное, что остается, это виселица или гильотина. Надо же, меня хотели заставить работать у фашистов в госпитале!

Зал слушал затаив дыхание. Перестали даже есть.

— Я? Их лечить? Пусть благодарят бога, что я удрал, иначе я бы их всех до единого отравил, будьте спокойны!.. Счастливичики! Вот кто нас спасет! — заорал он, обращаясь к нам на всю столовую: узнал, что мы русские. — Счастливичики!

Это было как раз в самые трудные дни боев первых месяцев войны, когда наши войска отступали.

— Это почему же мы счастливичики? — спросили мы мрачно, даже со злостью.

— Да разве непонятно? — кричал хирург с яростным воодушевлением. — У вас позади пространства — Урал, Сибирь! А у нас, я вас спрашиваю? Что у нас? Оккупация! На что Наполеон был гениальный полководец, не чета этому подлецу и трусу, который и фронта-то не нюхал, — и тот вошел в Москву, как муха в бочке с медом. А этот неуч, кретин, фанфарон все мудрейшие книги съел и своей дурацкой свастикой решил запоганить весь мир. Черта с два! Как врач вам говорю: операция будет тяжелой, длительной, крови прольется уйма. Но выживет и победит тот, кто сейчас терпит неудачи. И я вас заранее поздравляю с победой! Не только себя — ваш народ всех нас спасет!

Хирург поднял бокал и залпом выпил.

Все смотрели теперь только на него, слушали только его — кто с опаской, кто с затаенной радостью, а кто и с холодным недоумением. Даже хозяин перестал вытирать стаканы. Элегантная дама, сидевшая напротив нас, спросила потихоньку своего кавалера: почему этот доктор — с такими-то идеями! — еще на свободе?

— Это единственный хирург на всю округу, да еще знаменитейший, — шепнул тот в ответ. — А у начальника жандармерии камни в почках.

Как в зеркале в реакции зала отражались взгляды и настроения беженцев из многих оккупированных стран. А мы? Мы были просто счастливы, окрылены смелыми словами хирурга. Еще бы! Затерянные в чуждой среде, без родных и близких, без сколько-нибудь достоверных сведений о том, что происходит в мире, не зная, что ждет нас завтра, а может быть, даже сегодня, — мы вдруг обрели друга, единомышленника, встретили истинного патриота своей страны, полного веры в нашу победу.

Мы чуть не плакали от счастья! Но увидеть его хотя бы еще раз нам больше не пришлось: врач вскоре исчез. И камни в жандармских почках, видимо, не помогли. Хирург как в воду канул. Разумеется, расспросы были бесполезны. К тому же мы и сами висели на паутинке. Но для нас это был первый клочок сопротивления в «свободной» зоне Франции. За ним последовали другие — позже.

К началу нового учебного года нам разрешили перебраться в департамент Изер, в Гренобль, где есть женский лицей. Итак, снова в путь!..

## МСЬЕ ПОМА

Первая проблема: где зацепиться, найти жилье? Помогает попутчик, врач, товарищ по высылке.

— Попробуйте заглянуть на виллу «Шант-Уазо» на набережной. Прекрасный особняк, четырнадцать комнат, владелица — вдова богатого человека, живет одна. До денег жадная, но терпеть можно. Только вот насчет убеждений не особенно распространяйтесь. Красных до смерти боится. А город, в сущности, целиком антипетеновский. Понятно?

Идем к прекрасному дому на набережной, окруженному тенистым парком. Звоним, робея. Нас принимает томная особа. Она собирается уезжать к сестре в Лион и готова ненадолго «уступить» чердачок: две крохотные комнаты и кухнюшку размером с носовой платок. И то благо!

— Вы русские? Но не... террористы?

Уверяем, что нет. Муж — ученый, жена — преподавательница. Восхищаемся виллой: какой порядок! какой прекрасный парк! какое чудное название — «Песнь птицы» (так переводится «Шант-Уазо»). Наша лесья подкупает хозяйку. Дело сделано: у нас снова есть крыша над головой.

Гренобль не Монпелье. Здесь не пахнет вином, не слышно шороха банкнот, хотя людей с достатком и тут немало. В городе сразу угадывается центр интеллектуального сопротивления. Здесь работают известные всему миру ученые-астрономы, регулярно собираются члены прославленного Альпийского географического общества. Для них слова «фашизм», «насилие» синонимы «проказы».

Когда на торжественной линейке перед началом занятий в лицее по радио зазвучал старческий голос Петена с его «новыми» лозунгами, в зале раздались смешки и свист учащихся. Правда, директриса на следующий же день вызвала родителей, в том числе и меня, для соответствующих «патриотических» внушений, но все же ни один из провинившихся не был исключен. А самое главное — здесь уже организованы три подпольные точки, в основном коммунистические: одна занималась изготовлением документов, подделкой паспортов, пропусков; другая направляла патриотов в горы к партизанам, держала связь между партизанскими группами и по возможности занималась их снабжением (увы, в самых скромных размерах); третья помогала пересылать бежавших из лагерей военнопленных в Алжир или Англию.

И тут мы снова услышали о том таинственном шотландском пасторе, к которому год назад направлялся наш Брама био. Как оказалось, пастор тоже был выслан из прибрежной зоны в Гренобль и теперь помогал организовывать побеги пленным английским летчикам и солдатам: примерно в семнадцать километров от города располагался крупный лагерь, где содержалось около тысячи военнопленных.

Через несколько месяцев после того как мы обосновались в Гренобле наша допотопченная хозяйка — вдова нотариуса — поднялась к нам на чердачок и попросила освободить помещение: оно, видите ли, ей совершенно необходимо в качестве кладовки. Пришлось выехать и зимой, в снегопад бродить по окрестным селам и фермам в поисках жилья. Так мы попали в Коран — горную деревушку, расположенную выше магистрали Гренобль — Шамбери. Поселок был невелик: десятка два домов, мэрия, школа, пост новой вишистской милиции. Нам указали на ферму Мариуса Гонтье, культиватора, как он себя называл, то есть владельца угодий и фермы, которые ему достались в наследство от отца-агронома.

Хозяин оказался лентяем, пьяницей и добродушным болтуном. В батраках он очень нуждался, поэтому взял мужа без разговоров: высокий, плечистый — чем не батрак? К тому же русский, ученый — значит, не станет воровать.

Тут-то мы и осели вплоть до освобождения Гренобля.

Освоились, осмотрелись. Места райские! Альпийские луга с ранней весны и до зимы покрыты ковром цветов — примул, фиалок, жонкилий. Солнце, отражающееся в снегах встающего на горизонте хребта Бельдонн, греет круглый год. Фермы расположены далеко друг от друга — по склонам гор, в ущельях. Дома повсюду добротные. Фамилии хозяев по большей части одинаковые: Гонтье, Ла-Миоры. Проезжих дорог почти нет. В горы люди пробираются вдоль русла ручья, по тропам. И так до самого



перевала Сапэ, где в расщелине между скалами ютятся малый домишко, целиком скрытый фруктовыми деревьями, ежевикой, некошеной травой. Рядом пройдешь — не заметишь. А по седловине перевала — дорога к знаменитому монастырю Большой Шартрез. Монахи здесь из поколения в поколение производят прославленный ликер, рецепт которого ревниво хранится в стенах монастыря.

Вот там-то, в лесах, меж скал, и таились группы партизан-«террористов», как их называли вишисты и гитлеровцы.

Наш хозяин, как и многие крестьяне той поры, использовал коров в качестве единственного «механизма» в хозяйстве: на них пахал, возил дрова, навоз. Обычно Мариус вел упряжку, а батрак — мой ученый муж — грузил и сбрасывал тяжелые комья навоза или направлял плуг.

Несколько повыше нашей фермы в живописном средневековом полуразрушенном замке Тур-де-Шьен жил итальянец с целой кучей детей. Жил — и ничего не делал. Шпионил, говорили...

Однажды поздно вечером к нам тихо постучали.

— Кто там?

— Откройте. Вы русские?

Отворяем дверь, кстати никогда не запиравшуюся. Входит, прихрамывая, старичок маленького роста, коренастый, морщинистый, но еще кренкий. Седой чуб, трубка в зубах, клубы вонючего дыма. Мы усадили его у печки — ночи в ту пору были свежие, — предложили чаю. Беседа поначалу комканая, отрывистая. Понятно: нас «процупывают» — кто мы? зачем здесь? откуда? что думаем о событиях? Затем, упершись в меня острыми, живыми глазами, старик выпалил:

— Я поляк, беглый каторжник. Бежал когда-то из царской тюрьмы, был схвачен. Меня заковали и сослали в Сибирь навечно. Но я опять бежал. Скитался. И вот теперь здесь...

Он подождал минутку, попыхивая трубкой, затем продолжил:

— Моя фамилия Помагальский. Эрнест Помагальский. Для всех местных я Пома, старина Пома. Я здесь много лет. Тут неплохо. Соседи добрые... Очень приятно поговорить по-русски. Очень!

Рассказ мсье Пома о сложных путях его жизни был довольно сбивчивым. Старик забывал даты, часто путался. Да и неудивительно — он столько пережил, прошел через всю Европу, где-то обзавелся семьей, потом потерял ее. Он даже не знал даты своего рождения, не помнил, сколько ему лет. А по бумагам? О, бумаги он столько раз терял, менял...

Это был мастер на все руки: механик, столяр, слесарь — «жизнь научила». Как мы узнали впоследствии от соседей, Пома мог починить все на свете от детского велосипеда до грузовой автомашины, ремонтировал часы и даже скрипки, делал детям дудочки. Кстати, он и сам когда-то играл на скрипке и любил петь.

На этом мы сразу сошлись, и хотя «сливянки доброй» у нас не было — только розовое вино Мариуса, — но вскоре уже вместе пели русские песни и провели прекрасный вечер, забыв на время о личном горе каждого. Пели наперекор кровавой туче, нависшей над миром и сеющей смерть. Говорили о наших соседях, фермерах, у которых «вместо разума и души мешок картошки, урожай зерновых и вино». О местном климате и почве. О богатеях, которым до войны и дела нет. И вот Пома заговорил о действиях партизан на перевале. В детали не вдавался, пользовался условными обозначениями: группа «R», группа «T», группа «F».

— Они ведь не сидят на месте, все время в движении. Главное — быстрота переброски сил для налета. Сегодня тут, завтра там. Но трудностей масса: мало опыта. Боеприпасов и ручных пулеметов нет, продовольствия нет, сапог нет и чинить нечем, табак на вес золота. Все приходится добывать в боях. Молодежь, конечно, отважная, рвется в бой... И — напрасные жертвы...

Мы слушаем, прикидываем, чем мы можем помочь, но вопросов задаем мало: принимаем — все, что нужно, мсье Пома расскажет сам.

— Я пытаюсь помогать, чиню что могу, ползаю по ночам то туда, то сюда. Но разве мне с больной ногой за ними поспеть? Опасно, кругом разные люди. Взять хоть вашего соседа, что в Тур-де-Шьен. Лодырь, проныра. За кусок сахара отца продаст...

Опять молчание. Пома посасывает трубку и выжидающе посматривает на нас. Мы переглядываемся и предлагаем свои услуги.

— Вот за этим я и пришел. Молодцы! Не ошибся в вас. Главная беда — плохая связь, отсутствие координации. А связь нужна — с городом, с железнодорожниками, с рабочими: где пройдет эшелон? как движется грузовой транспорт? — Он поднялся. — Мне спускаться в город ни в коем случае нельзя. Слишком хорошо знают там старину Пома. А вы, русские, можете сказать: мы белые! Казаки, мол. А здесь якобы остались в изоляции, занимаетесь фермерством...

С этого все и началось.

### РОЗОВОЕ ВИНО МАРИУСА

Через сутки после этого неожиданного ночного визита к нам вновь постучались.

— От Пома, — чей-то тихий шепот за окном.

На пороге три рослых парня, один из них араб. Назвались: Луи из Парижа и Курт из Эльзаса. Имени алжирца мы не разобрали.

Оказывается, они из верхней группы. Там очень холодно по ночам, а у Курта, как назло, зуб разболелся, да и всех троих лихорадит. Им указал на нас мсье Пома: может быть, йод найдется, аспирин или еще что?

Парни обтрепанные, голодные, грязные. Рассказали, что основная группа совершила налет на немецкую машину, груженную запчастями и консервами, кое-чем поживились, но на всех не хватило.

— Нельзя ли у фермеров хоть охотничьи ружья достать? У нас пока всего два ружья да старый пистолет. И журева ни крохи...

— Неужели грузовая машина одна шла?

— Отстала от колонны... Ну, ее и захватили врасплох. В мгновение ока справились ребята, а затем путь один — под откос.

Мы предложили нежданым гостям помыться, угостили щами. Я перевязала Курту щеку, нашлось немного йода, капелка водки вместо спирта. Дали с собой таблетки аспирина. Все драгоценности по тем временам.

Перед рассветом они ушли — сытые, бодрые, согревшиеся у плиты. Даже улыбки появились на лицах.

То был наш первый контакт с партизанами, а вот где и когда я впервые встретила с Жанной Рюд, сейчас точно не помню. Но образ ее перед глазами: маленькая женщина с мелкими чертами открытого лица. На голове корона золотых кос. Во взглядах, жестах, манере говорить тот особый отпечаток, что сразу выдает незаурядную личность. Масса энергии и задиристой отваги, огромная жизненная сила. Когда она рассказывала или приказывала, ее нельзя было не слышать, не слушать, не слушаться. Невозможно, раз увидев, забыть.

Она говорила:

— Вы нашли меня, а я вас. Теперь все будет хорошо.

Так и было. Почти ежедневно Жанна совершала переход из города в горы, к нашей ферме, где ее уже ждали записки от Пома. А за этими записками мы карабкались еще выше, чаще всего вдвоем: я и муж.

Передохнув у нас, Жанна спускалась в город. Как у легендарного Самсона, в волосах ее была сила: в них она вплетала бумажные ленточки с текстом — связь. Весточки от партизан семьям, донесения в другие точки, доклады центральному руководству. Как-то она сказала:

— Даже муж этого не знает.

Шла тайной тропкой и каждый день рисковала жизнью: если бы ее схватили, то за контакты с партизанами, за укрытие «террористов» и беглецов из фашистских концлагерей расправа была бы неминуемой.

Вскоре мы познакомились и с мужем Жанны Фернандом Рюдом. Военного звания он не имел, хотя и называли его командан. Некоторое время Фернанд был руководителем одной из групп на перевале Сапэ, с которой мы были связаны больше всего. Человек небольшого роста, с римским профилем и умными глазами, учитель

истории в лицее, уже тогда пользовавшийся репутацией серьезного ученого. Когда организовался лагерь Сопротивления в Веркоре, Рюд перешел туда вместе с группой бойцов, участвовал в битве за Веркор, был награжден медалью Сопротивления и орденом Почетного легиона.

Как сейчас вижу процессию друзей, поднимающуюся по зеленому склону к нашей ферме,— обычно это было по воскресеньям: муж и жена Рюд, кое-кто из их верных соратников и в хвосте — маленький мальчик с серьезными, взрослыми глазами, сынишка Жанны, впоследствии известный летчик, пилот на дальних трассах. Вроде бы ничего особенного: идут люди провести на свежем воздухе выходной день, выпить приятного розового вина Мариуса. Где еще такое достанешь? А вино-то было прикрытием. Объединяло нас совсем другое — дело Сопротивления.

### КАЖДЫЙ БОЙ — НЕРАВНЫЙ

В сущности, в горах можно было чувствовать себя относительно спокойно: фашисты редко осмеливались подниматься так высоко. Вокруг скалы, вековой хвойный лес — неровен час получишь пулю в лоб. Но уж если отваживались, то никогда: в одиночку не ходили, поднимались целыми отрядами, вооруженные до зубов, со сворой злющих псов-ищеек.

Прав был Пома: главная беда заключалась в недостатке боеприпасов, в слабом снабжении партизанских групп. В поисках патронов лазали по оврагам, подползали к колючим заграждениям различных военных складов.

Главным направлением борьбы, наиболее верным и «гарантированным», были налеты на транспортные составы: летели под откос эшелоны с боеприпасами, целые составы резервных гитлеровских частей обрушивались в горные потоки, если партизанам удавалось в нужную минуту взорвать мост. А на горных дорогах Большого Шартреза, проложенных по карнизам над пропастями, над бурными речками, мест для «случайных» аварий было немало.

Успех зависел от внезапности и быстроты действий. Стоило промедлить, растеряться — и провал обеспечен. Не сразу молодые патриоты усвоили единственно эффективную тактику налетов. Получив информацию о продвижении «гусениц» — колонны автомашин (как раз здесь так важна была связь, которую мы обеспечивали), — пропускали ее беспрепятственно до моста через горную пропасть. И когда почти все машины уже были на другом ее краю, мост взлетал в сокрушительном взрыве. Несколькими хвостовых грузовиков падало на дно пропасти. Там их ждали партизаны — они спешили собрать добычу.

Уцелевшая головная часть колонны была уже далеко: немцы не рисковали задерживаться. Но не всегда налет завершался удачей: у врага были свои информаторы и зачастую колонну сопровождали конвойные бронированные машины. У мостов выставлялась охрана, порой фашисты первыми нападали на группы поджидавших партизан. Тогда каждый бой был неравный...

До войны Шартрез славился прекрасными хвойными лесами и вкуснейшим ликером. Но в годы оккупации он получил другую известность — стал местом зверского преступления фашистов. В скалистой местности на альпийских высотах приютился женский монастырь. Там укрывались еврейские дети, преимущественно девочки, девушки. Монахини ответили на призыв обреченных родителей — взяли сирот на попечение.

Но... где скалы, там и змеи. Кто-то пронюхал, донес. И вот среди ночи появились вооруженные фашисты на бронемашинах, как обычно — с псами. Мощными прожекторами осветили древние стены монастыря, монашек связали и бросили в подвалы, где уже лежали связанные, избитые сторожа. А девушек и девочек увезли всех до одной. Куда? Известно: в женские концентрационные лагеря типа Равенсбрюка или прямо в газовые камеры. Вряд ли кто-нибудь из них выжил...

Еще одна трагедия, разыгравшаяся в горах, всплывает в памяти. В одном из самых крупных в Европе географических обществ, Альпийском, в самый разгар битвы за Сталинград был прочитан доклад «Почему побеждает и победит Красная Армия».

Докладчики — ученые Андре Парде и Александр Марков (мой супруг, «батрак» Мариуса Гонтье) — хотели поднять дух хотя бы в узкой среде своих коллег. Увы, и здесь не нашёлся доносчик: доклад стал известен оккупантам<sup>2</sup>. В результате оба докладчика уже не могли показываться в городе. Но дело повернулось следующим образом. В горах, близ дорог Большого Шартреза в одной из пещер временно разместились раненые партизаны — ожидали возможности добраться до больницы, где им удалось бы подлечиться. А сопровождал их студент-медик пятого курса, сын профессора Парде, темнокударый юноша лет двадцати. Мы отлично знали этого парня, знали и сестру его. И любил детей Парде за веселый, открытый нрав, а в особенности за твердую веру в победу. Сын победы не дождался, временный медпункт случайно был обнаружен гитлеровцами. Раненых уничтожили. А молодой врач — судя по всему, именно его-то и искали — пал жертвой извергов: ему отрубили руки, ноги, затем голову...

Дорого заплатили фашисты за эти злодеяния. Новыми смелыми нападениями на изолированные военные объекты врага ответили партизаны Большого Шартреза.

Почему-то в памяти лучше всего удержались молодые люди, ерцававшие в те годы в горах близ Гренобля. Например, был там два русских парейка, увезенных оккупантами с советской территории в самом начале войны. Их имена звучали по всему горному краю от Шартреза до Веркора. Павел Морозов и Георгий Борисов звали их. Бежав из гитлеровских лагерей, они добрались до высокогорных партизанских групп и своей отчаянной отвагой, абсолютным презрением к опасности и смерти, «мелкой», опытом завоевали уважение товарищей и стали во главе двух групп.

— Эти ребята, Морозов и Борисов, узнав, что я немного говорю по-русски, не отходили от меня буквально ни на шаг, — рассказывал Фернанд Рюд. — Они поражали своей боевой хваткой и изворотливостью на поле боя. Ведь нас поливали с воздуха смертоносным огнем. С самолетов сыпались десантники-головорезы. И все-таки эти ребята выстояли, выжили...

После войны они были награждены французской медалью Сопротивления. В печати не раз упоминались эти два русских парня в связи с наиболее отважными и удачливыми вылазками партизан против врага.

...Первая высадка союзников в Дьеппе не удалась, а до победы было еще ой как далеко! Гренобль превратился в военный лагерь. Фашисты срубали вековые мачтовые сосны, гордость здешних лесов, навалили бревна у всех ходов и лазов, опутали преграды колочей проволокой. «Стой! Руки вверх! Террористы?» — мы проходили сквозь заграждения с поднятыми руками, нас основательно обшаривали. Заставляли снимать обувь и носки. Даже раскрывали и вытряхивали наши кулечки с жалким недельным пайком, но ничего не находили: жизнь научила высшей технике конспирации.

Из всех многочисленных транзитных посетителей фермы мы особенно подружились с двумя. Их звали Кики и Попо. Кики, то есть Кирилл, был русский по матери. Отчим, адвокат из Парижа, временно жил в Гренобле. У Попо родители были русские, пропали без вести. Оба парня как могли помогали нам в трудной батрацкой работе. Ходили за хворостом, пилили и возили на санях дрова с лесной делянки. Прожили они у нас всю зиму. Весной Попо исчез, возможно, отправившись искать родителей. А Кирилл, как только стало известно об организации лагеря Сопротивления в горном массиве Веркор, поднялся в горы и поселился там в одной из деревушек. Вскоре штаб веркоровских войсковых частей обратился с призывом ко всем патриотам взяться за оружие в защиту трехцветного флага Франции, поднятого в Веркоре, и наш отважный Кики тут же ответил на призыв.

То было кровавое сражение. В лагере насчитывалось три тысячи бойцов. Вдесятеро большим числом фашистские десантники напали с воздуха на партизанскую базу, и началось зверское истребление патриотов, у которых не было ни одного артиллерийского орудия. Судьба тех партизан, кому посчастливилось остаться в живых, сложилась по-разному.

<sup>2</sup> В ноябре 1942 года с согласия правительства «Визи» гитлеровскими и итальянскими войсками была оккупирована и «неоккупированная зона» Франции, то есть оставшаяся «свободной» после капитуляции треть страны.

Раненый, изнемогающий от усталости Кики две недели бродил по лесам, не смея выйти к населенным пунктам, повсюду занятым гитлеровцами. Питался ягодами. Но все-таки добрался в Гренобль к отчиму. А вскоре к ним присоединилась и мать — голосная, измученная, полуживая от странствий по горам. Эта семья — одна из немногих партизанских — снова была вместе...

В горах над Греноблем, в местечке Риоперу, размещался небольшой кожевенный заводик. Какую именно продукцию он давал, в точности не знаю, но работал завод, конечно же, на оккупантов. О политических убеждениях директора и его помощников судить было трудно, мы их никогда не встречали, однако большинство рабочих были антифашистами. Там работали несколько русских, уже пожилых и не подлежащих мобилизации. Их помощь мы ощущали каждый день: они поставляли кожу, гвозди, выносили инструменты, чинили обувь партизан, когда ее можно было доставить в мастерские. А ведь за любое из этих деяний легко было поплатиться жизнью!

Из рабочих запомнились двое: один уже совсем пожилой, по фамилии Капакли, второй — Рыжов. Мы не раз встречали обоих в городе: они укрывали советских бойцов, бежавших из концлагерей. В дальнейшем Рыжов возглавил отделение Союза советских патриотов в Гренобле. Я до сих пор бережно храню аттестацию, подписанную Рыжовым, где он благодарит за помощь в организации этой первой в городе — а может быть, во всей Франции — ячейки ССП (Союза советских патриотов), впоследствии Союза советских граждан. И не менее святая реликвия — черный портфель, который русские рабочие сшили и подарили «батраку» Александру Маркову в знак любви и уважения. От первого до последнего шва он был сделан в мастерских Риоперу.

#### КОГДА В СОЮЗНИКАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ...

Я — в тюрьме. Если бы власти прознали о моих отношениях с «террористами» или о деятельности Пома и Жанны Рюд, этого было бы вполне достаточно для немедленного расстрела. Однако на сей раз причина коренилась в другом: по мере новых успехов наших войск на фронте, по мере усиления Движения Сопротивления, по мере активизации союзной бомбардировочной авиации фашисты становились все злее, мстительнее в отношении мирных жителей. Расправившись с мужчинами, они взялись за женщин.

Гренобль — культурный центр, живописный город с его чудесным воздухом и горным спортом — всегда был излюбленным местом отдыха иностранцев. До войны здесь часто селились старушки англичанки доживать свой век. А во время оккупации Франции многие иностранцы предпочли Гренобль Парижу или же были высланы сюда из прибрежной зоны. Так и получилось, что жены и вдовы дипломатов или представителей деловых фирм оказались здесь, а их мужья в Германии. Вот всех этих «нежелательных» женщин и забрали. Не обошла сия участь меня и дочь, обитательниц горной фермы, возможных шпионок. Мужа-«батрака», к счастью, не тронули: слишком нужны были рабочие руки в земледелии.

В камере стекла разбиты, гуляют сквозняки. Заключенные — сплошь старики и старушки: жалкие, растерянные, больные, покрытые чирьями и струпами — результат скверного питания и простуд. И все-таки нам грех было жаловаться: по стечению обстоятельств комендантом тюрьмы оказался наш бывший знакомый — статный красавец француз, женатый на русской. Он признал нас и проявил нечто вроде милосердия: разрешил заклеить окна газетами, подмести грязный пол и даже расщедрился на дополнительную порцию полусырой каши и прогнившей кормовой свеклы. В один из дней он под большим секретом сообщил, что нас скоро вывезут в Италию. Плохо дело! Через несколько дней другая информация — в Германию! Совсем беда...

Вот тут-то и встал на защиту нашей судьбы таинственный шотландский пастор из Марселя. Как мы узнали, звали его Дональд Каски. Впоследствии он стал настоятелем шотландской церкви в Париже на улице Байяр и написал книгу о своей деятельности в годы войны. То, что произошло в апреле 1943-го в Гренобле и решило нашу участь, лучше всего передать словами самого Каски.

«В тот период гестапо стало осуществлять одно из самых отвратительных своих

мероприятий: нанесло удар, направленный против старых и немощных. В качестве «меры предосторожности» немцы, которые взяли в свои руки контроль над Греноблем, объявили, что все британские подданные, все иностранцы, все явные голлисты будут отправлены в рейх и там интернированы. Я хорошо знал, что это значит: их ждали ужасы лагерей и газовые камеры. Ведь многие из арестованных были слишком стары для того, чтобы их можно было использовать как скот для тяжелых работ, на которые фашисты назначали заключенных. Я оставил все прочие дела, писал в разные инстанции, обращался в Красный Крест, обежал все административные учреждения. Но большинство вишистских официальных органов заполняли трусы и искатели теплых местечек. Все порядочные французы уже были изъяты оттуда стараниями гестапо. Один из предателей просто-напросто вышвырнул меня на улицу. И я понял, что остается последний шанс — направиться к коменданту города, итальянцу.

Это был холерный красавец и явный болван. Будучи предоставлен сам себе, он стал бы маловажным и заурядным человеком. Но начиненный всей этой чепухой о древнем римском величии времен Цезаря, возродившемся теперь в лице Муссолини, комендант принимал свою «царственную» персону всерьез. Разговаривая, он то и дело смотрелся в зеркало.

— Синьор, эти люди невинны.

— Господин пастор, они враги Итальянской империи и потому опасны.

— Вам опасны? Извините, но это просто смешно.

Он пригладил свои черные волосы и снисходительно улыбнулся.

— Вы меня не поняли, господин пастор. Мы ведем тотальную войну. Все враги должны быть в нашем полном подчинении.

— Но их уже подчинила сама жизнь. Они стары... в большинстве это женщины. Разве итальянские солдаты воюют против женщин? — Зная, что иду на риск, я добавил: — Учтите, такая, с позволения сказать, война сделала бы их посмешищем всего мира!

— Вы забываетесь, господин пастор! Наши союзники желают, чтобы они были отправлены в Германию. И они будут отправлены!

Я откинулся на спинку стула, улыбнулся со всем нахальством, на которое был способен, сказал с иронией:

— Я все понял, синьор комендант. Вы получаете приказы от гестапо. Я напрасно злоупотребил вашим временем и зря потратил свое. Я сегодня же увижу начальника штаба СС и замолваю за вас слово.

Я встал, собираясь уйти. Он вскочил, дергая слишком тугий воротничок. «Теперь надо ждать худшего,— подумал я.— Теперь конец».

Дрожаящим пальцем комендант указал на стул и заорал:

— Садитесь! Как вы смеете говорить со мной таким тоном?! Если бы вы не были пастором, я бы застрелил вас! Сию же минуту!

— Простите меня, синьор. Я знаю, что вы гуманист. И уверен, что только под нажимом согласились на такое бесчеловечное обращение с несчастными. В Германии они будут уничтожены... Немцы не такой цивилизованный народ, как итальянцы. В Италии ваши пленники были бы счастливы.

Комендант успокоился, сел и задумался.

— Они останутся в Гренобле,— наконец сказал он и доверительно добавил: — Как вы заметили, господин пастор, высокая римская культура немцам недоступна. Величавым движением руки он отпустил меня. Я покинул кабинет, хотя особой надежды на спасение заключенных у меня по-прежнему не было».

...На следующее утро ворота тюрьмы открылись. Мы видели из окна, как отъехали два открытых грузовика, набитых заключенными. Затем подали еще три. Мы стали спешно собираться — наша очередь. Нам объявили, что разрешено брать с собой только маленький чемоданчик или узелок.

Примерно через полчаса, к нашему крайнему изумлению, одна из мапгн вернулась во двор тюрьмы. За ней вторая, третья... пятая. Заключенных опять водворили в камеры.

Как выяснилось, за пределами тюрьмы произошло следующее. Четыре грузовика выехали под конвоем эсэсовцев и остановились на площади. Поджидали последнюю

машину. Внезапно раздался вой сирены, из боковой улицы вылетел роскошный лимузин и затормозил возле конвоя. Элегантный итальянский офицер о чем-то горячо заговорил со старшим по чину эсэсовцем. Дискуссия длилась всего несколько минут, затем появились военные машины, и на пути тюремных грузовиков выстроилась целая рота вооруженных итальянских солдат. Через пять — десять минут появилась еще одна итальянская рота. Только тогда — не раньше и не позже — на сцене театрально возник сам итальянский комендант города. Горячо жестикулируя и повышая голос до визга, он отдал какие-то распоряжения, после чего вся колонна машин с заключенными повернула назад. Ворота тюрьмы опять затворились за ними. Некоторых арестованных тут же освободили под залог, а дня через два моя дочь вернулась с прогулки в камеру, радостно крича:

— У ворот нет больше немецких солдат! Там итальянец в каске с пером!

Прошло еще несколько томительных дней. И комендант сдержал свое слово: всех заключенных выпустили и отправили по домам. Так завершилась эта трагикомическая эпопея, яснее ясного поведавшая нам о расправах, возникавших между фашистскими союзниками.

Добавлю лишь, что некоторое время спустя пастор Дональд Каски сам попал в тюрьму. Больше года бросали его из каземата в каземат: пытали на вилле на юге Франции, затем бросили в средневековую тюрьму Сан-Ремо в Италии, где сохранились еще камеры-бутылки, прорезанные в скале, и наконец снова Франция, тюрьма Фрэн в Париже, узники которой подняли восстание в день освобождения Парижа, 25 августа 1944 года.

### УЧЕБНИКИ С ДВОЙНОЙ ОБЛОЖКОЙ

Мсье Пома, как мальчишка, радовался нашему освобождению. Высказал предположение, что при аресте не обошлось без происков итальянца из Тур-де-Шьен:

— Это отъявленный мерзавец!

И тут же сообщил срочную информацию, которую следовало передать вниз, в город. Речь шла об удачном налете группы «I» на грузовую автоколонну фашистов близ Ле-Банше.

Дело было так. Два мощных грузовика и полутонотонка отстали от головных машин у моста через глубокий провал.

— Тут наши ребята на них и напали, взяли врасплох. Конвой перестреляли, машины под откос, сами кубарем на дно, в ельник. В густом-то ельнике даже днем темно как ночью. Только вот в машинах боеприпасов почти не оказалось. Зато было много консервов, куруво, сигареты и махорка. Сигареты, конечно, для своих, а махорку раздали населению...

Не могли фашисты напасть на след партизан. Как ни бесились, а не в состоянии были выловить горных «террористов». И вымещали злобу на мирных жителях.

Мы каждую ночь ждали тяжелого стука в дверь. Те, кто к нам тайком приходил, стучали осторожно. Если бы стали ломиться, все было бы ясно: кто-то донес на нас, забирают.

Однажды вечером сидели мы с друзьями тесным кольцом вокруг радиоприемника, жадно ловили доносящиеся сквозь помехи фразы о победе под Сталинградом.

— Фон Паулюс окружен? Не может быть!

— В плену! Армия разбита!

— Вот это победа!

Вдруг врывается к нам хозяин, Мариус, бледный, трясется весь:

— Скорее прячьте радио! Фрицы!..

На пороге два рослых парня в немецкой форме. Все. Теперь крышка! А один из вошедших на чистейшем русском языке:

— Нет ли здесь русских? Нам говорили... Где-то здесь профессор русский, батраком.

— Я самый... А вы кто такой?

— Спрячьте нас! Мы из трудового батальона бежали... Нас, наверно, уже хватились, так что висим на волоске. Сказывали нам, в горах над этим хутором могут по-мочь...

Риск велик, но что поделаешь? Переодели, накормили, и крошечной ночью дочь отвела гостей на те тропы, в ту хижину, куда фашистам не добраться. К счастью, сомнения наши были напрасными. Уже через день парни влились в партизанский отряд и вступили на путь борьбы за свою родную землю по эту сторону фронта.

До рассвета мы слышали свистки и лай собак. Жутко было... А наутро снова прыгала дочь беззаботной козочкой вниз по горным тропам, унося заклеенную в обложки учебников информацию, переданную нашими новыми друзьями: откуда прибыл трудовой батальон, сколько человек, какова численность охраны. И еще до начала занятий в лицее у руководителей Сопротивления были все необходимые сведения.

### ОСВОБОЖДЕНИЕ

Как-то муж получил письмо от издателя из Шамбери с приглашением приехать в гости, а заодно показать ему свой труд. Речь шла об экономической работе «Россия сегодня», книге, в условиях фашистской оккупации совершенно недопустимой<sup>3</sup>.

Я решила сопровождать мужа. Срочно изготовили для меня фальшивый пропуск на чужое французское имя, и мы пустились в путь с неизменным рюкзаком, набитым бумагами. К счастью, догадались сверху яблок напихать. Дорога шла лесом, кругом горы, птицы поют. Едем на автобусе, любимся, настроение самое благодушное. Может быть, проверки бумаг вовсе не будет, а если и случится — не беда: контролеры-вишписты на французские документы смотрят сквозь пальцы. Вот гестаповцы-проныры подлог сразу разношают. И тогда приговор короткий: «Шпионаж — расстрел».

Как назло, на маленькой остановке два фашиста с автоматами! Вошли с задней площадки, а мы сидим впереди. О том, чтобы выскочить, и речи быть не может: сразу получишь пулю в затылок.

Муж успел шепнуть:

— Давай пропуск. Живо!

Схватил мою грубо сработанную фальшивку, сувул в рот, изжевал и проглотил.

Подходят:

— Ваш пропуск?

Муж подает свой. Спокойно говорит мне:

— Посмотри в сумочке... Нет? А в карманах?.. Тоже нет? Неужели дома забыла?

Тут же окрик:

— Не разговаривать! Выходить!

Взяли меня под руки, вытащили из автобуса. Муж тоже выскочил. Автобус отошел. Меня ни живую ни мертвую ведут к небольшому зданию шагах в двухстах от остановки: немецко-вишпистский контрольный пункт чисто местного значения.

Втолкнули в коридор, затем в камеру маленькую, без окон. Скамейка и стул — больше ничего. Вдруг за стеной дикий вопль. Кричит женщина. Затем еще крики. Наконец все стихло. Закусила губы, жду. Дверь в камеру отворилась рывком. Как-то боком вполз французик молоденький, прилизанный: светлый костюмчик, галстук бабочкой, черные усики, черные глазки, платок из карманчика. Что-то в этой театральной красивости было нарочитое, отвратительное, внушавшее чувство гадливости и страха.

Допрос начался спокойно, можно даже сказать, учтиво: кто? куда? зачем? для кого? главное — чей приказ? кто сообщники? И вот уже мягкий голос переходит в резкий, повелительный крик. Конечно, на «ты»:

— Такая-растакая! Вот погоди, засуну иглу под иголь — заговоришь!

Думаю: все, пропала, конец. В голове крутится: успел ли скрыться муж?

Вдруг дверь приотворяется. Просовывается голова солдата. Какие-то слова. Французик мигом исчезает... Свое состояние описывать не берусь, слов нет. Ноги дрожат, еле стою. Поняла: не герой я. Пытки выдержу ли?

Дверь вновь открывается, двое солдат меня куда-то ведут.

Нормальная комната с окном. Огромный стол. Сидят немецкий офицер. Почти мальчик — сдуловый, тщедушный. Перед ним мой муж — плечистый, рослый, в

<sup>3</sup> В 1946 году эта книга с помощью коммунистов Франции увидела свет.



тулупе на бараньем меху и берете (типичная одежда фермера), рюкзак за плечами. Словно издалека доносится голос — спокойный, решительный, громкий. Медленно по-немецки что-то говорит. Дальше ничего не помню, кроме «казак?».

Туман в голове. Очнулась, когда почувствовала крепкую руку мужа в своей. Что произошло, узнала уже за воротами, когда отошли на приличное расстояние, забрались в кусты, присели на траву. Слышу:

— Подошел я к французу-часовому у ворот. Прошу впустить. А тот: «Да что вы, мсье, в уме ли? Сюда входят, но отсюда не выходят». Я настоял, и он провел меня прямо к начальнику пункта. Тот совсем юнец, безусый, белобрысый. «Зачем?» «За женой. Напрасно задержали. Она едет со мной к приятелю. По бабьей бестолковости пропуск позабыла или потеряла». (Муж знал книжный немецкий, говорил не быстро, но правильно.) Тут вспомнились советы Пома, и говорю: белый, казак. Тот чуть ли не привстал! Я продолжаю сочинять: мол, здесь уже давно, арендую ферму у Гонтье в селе Коран, занимаюсь сельским хозяйством, словом, агрокультер. «Не верите, говорю,— звоните в Коран, господину мэру». Другого выхода не было. Знал, что иду ва-банк, но знал и другое: если эсэсовец застанет мэра, старик не подведет. Патриот, голлист до мозга костей, поддержит по всем пунктам. И немец действительно стал звонить по телефону. Видимо, в обученных эсэсовцах уже нехватка была, мелкую сошку стали привлекать. Без опыта был начальник. Даже не поинтересовался, что у меня в рюкзаке. А если бы залез туда, под яблоки? Страшно подумать!

Потом выяснилось, что мэр расвирепел, напустился на фашиста.

— Забираете фермеров! — рычал он.— А кто картошку сдавать будет? Я, что ли, по полям ползать стану? Вы требуете по пять мешков с фермы! А фураж? А вино?..

В Шамбери мы все же попали. Возвращались через несколько дней уже с новым, более надежным пропуском. А в Гренобле события развивались своим чередом. Подпольные группы атаковали военный полигон. Весь день, всю ночь рвались снаряды и пороховые склады. Яркое пламя освещало город. Даже с горных склонов были видны огненные языки, грохот взрывов разносился далеко окрест.

Аресты мирного населения участились. Комендантское время теперь начиналось на час раньше, и всякого, кто находился вне дома, расстреливали без предупреждения. Так, на улице был убит мальчик Жако, помощник пекаря, посланный к соседу за дрожжами. Весь квартал оплакивал тихого, услужливого парня, который разносил хлеб по домам. Общественные похороны были запрещены, и даже родителям не разрешали идти за гробом. В Лионе расстреляли 11 заложников, среди них двоих русских. Облавы, обыски, аресты, казни... Город оцепенел от ужаса. Не было семьи, которую обошло бы горе.

А 6 июня 1944 года англо-американские войска высадились в Нормандии. Наконец-то открыт второй фронт! Кое-где вывесили трехцветные флаги, свастику срывали — и в пыль!

Войска оккупантов стали отходить к северо-западной окраине города. В долине Изеры оказалось значительное скопление воинских частей. И в этот момент как на крыльях со склонов гор понеслись в долину партизаны. Плохо вооруженные, оборванные, без единого артиллерийского орудия, с яростью бросились они на врага. Завязался бой, который длился всю ночь. Пулеметы трещали не смолкая. Вспышки отражались в темной Изере. К утру все как будто стихло. Но тыловые части оккупационных войск, отделившись от общей массы, снова ворвались в город. Поднялась паника, опять завязалась перестрелка. Мы в горах не знали, что и думать. Кое-кого перевели в подвал — на всякий случай. Однако вскоре наступила тишина, на этот раз окончательно. Над мэрией взвился французский флаг! Город был в руках патриотов.

Надо было видеть эти счастливые, сияющие лица! В изодранных кожанках или рубашках, с автоматами, ружьишками, с красными или трехцветными кокардами на беретах, несли партизаны освобождение горожанам, а те встречали их цветами, улыбками и объятиями.

Прошло еще какое-то время, и в город вкатилась колонна канадских бронемашин и танков. Это были первые части морского десанта союзных войск, высадившегося на южном побережье Франции. В церквях начался перезвон.

Улицы, площади были запружены ликующим народом. Союзников встречали восторженно, бросали им букеты цветов и душистые венки маргариток. А те в ответ плитки шоколада, сигареты, конфеты.

Сразу же после освобождения, в августе 1944-го, в Гренобле был создан первый во Франции Комитет общества «Франция — СССР», в числе организаторов которого были и мы, «батраки» с горной фермы Мариуса Гонтье. То были радостные дни, счастливое время надежды и веры в новый, лучший мир.

---

### ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Скажем доброе русское спасибо Надежде Николаевне Марковой, которая так просто, скромно, с большим человеческим достоинством и, я бы сказал, красиво рассказала нам о том, что нельзя ни в коем случае забывать, — о том, как в труднейшие дни гитлеровской оккупации Франции четверо русских, брошенных судьбою на чужбину (ее муж, видный экономист, она сама, их сын и дочь), нашли в себе душевные и физические силы, чтобы вместе с французами, идя на смертельный риск, принять участие в борьбе с общим врагом — германским фашизмом.

В послевоенные годы мне довелось немало поехать по Франции, и всюду — на севере и на юге, на западе и на востоке — я видел могилы, в которых покоятся рядом с французами русские люди. На этих могилах всегда, в любое время года лежат свежие цветы — народ помнит об этих людях и знает, чем он им обязан. Где-то там, у Монпелье, осталась и особенно дорогая сердцу Надежды Николаевны Марковой могила ее сына, павшего в схватке с фашистами.

Кровь, пролитая в борьбе за общее дело, скрепила дружбу наших народов, и не случайно именно Советский Союз и Франция, действуя совместно либо параллельно, вот уже долгие годы делают так много для упрочения мира, безопасности, сотрудничества в Европе.

Разными путями попадали русские люди во Францию, по-разному складывались их судьбы, и далеко не просто для многих из них было найти свое место в строю в пору суровых испытаний 1940—1945 годов. Одни остались там еще с дореволюционной поры, когда приходилось искать в этой стране убежище от преследователей царской охранки. Другие, помоложе, были подхвачены, как осенние листья, вихрем революции и оказались на чужом берегу. Третьи, самые молодые, бежали из гитлеровских концлагерей, чтобы вместе с французскими партизанами возобновить вооруженную борьбу против вермахта.

Надежде Николаевне Марковой и ее покойному супругу довелось в ту пору встречаться со всеми тремя поколениями россиян, находившихся тогда во Франции, и вот что интересно: глубокое чувство патриотизма, пробужденное вероломным нападением Гитлера и на их родину и на страну, приютившую их, воодушевляло всех. Лишь очень немногие пошли в услужение к Гитлеру, и уделом их было всеобщее презрение.

Впервые в Париж я приехал вскоре после победы, весной 1946 года, когда Франция медленно оправлялась от страшной травмы, нанесенной ей войной. В Марселе в ту пору советские торговые суда выгружали пшеницу, хотя и нам самим было еще голодно. Советский Союз посылал хлеб голодным французским детям, и изможденные женщины, стоявшие на набережной, плакали от волнения, глядя, как льется золотой поток зерна. А тем временем советские бойцы, участвовавшие во французских партизанских отрядах, сдавали властям оружие, захваченное в боях у гитлеровцев, и готовились к отправке на родину — их матери заждались сыновей, от которых долгие годы не было никаких вестей.

Надежда Николаевна Маркова и другие русские патриотки хлопотали тогда, провяля заботу об этих крепких, загорелых, веселых парнях, которым посчастливилось пройти невредимыми через все круги ада фашистских лагерей и через страшное пекло партизанских боев. Готовились в путь и многие из тех русских людей, которые покинули родину в сложные и трудные 20-е годы и теперь завоевали право возвратиться на родину своим участием в борьбе против Гитлера.

Для Надежды Николаевны и ее мужа не было никаких сложностей в решении этой проблемы: у них не было вины перед родиной. Но были и иные, куда более трудные и драматические ситуации: я имею в виду тех, кто в 1917 году не понял и не принял революцию и, больше того, вступил с ней в борьбу. Но теперь, двадцать девять лет спустя, родина проявила величайшее великодушие и раскрыла свои двери для всех, кто понял, какую трагическую ошибку совершил тогда, и решил ее исправить.

Час выбора пробил 22 июня 1941 года. Мне рассказывали, что уже утром этого трагического дня, когда радио сообщило о вторжении фашистов в Советский Союз, в советское консульство, еще работавшее в Виши, обратился князь Оболенский, которого увезли из России, когда ему было всего десять лет. Он сказал: «Прошу принять меня в ряды Красной Армии. Я хочу драться с гитлеризмом».

Таких заявлений было много. Но вернуться тогда в СССР из вишистской Франции было почти невозможно, и те русские эмигранты, которые искренне хотели защищать родину, сумели найти применение своим силам, вступив в ряды французских партизан. Так был поставлен крест на прошлом.

И когда после победы, весной 1946 года был обнародован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции», у дверей советского консульства в Париже собрались толпы людей с заявлениями о приеме...

Я был тогда в зале Иена, где посол СССР во Франции А. Е. Богомолов вручал первой группе русских эмигрантов советский вид на жительство. Надо было видеть эту картину, чтобы представить себе во всей полноте происходившее в зале. Седые старики волновались, юноши и девушки, родившиеся во Франции, целовали советские паспорта. Среди получивших советский вид на жительство были самые разные люди — от белогвардейского генерала Постовского, войска которого в 1919 году разгромил наш Буденный, до активного участника Движения Сопротивления во Франции Матяша и совсем молоденькой работницы Натальи Хорунжей, родившейся и выросшей в Лионе...

Надежда Николаевна Маркова вместе со своим супругом в те дни была занята не только хлопотами по организации быта отправляемых на родину участников партизанской борьбы во Франции. Вместе с Жанной Рюд они помогали организовать одну из первых ячеек создавшегося тогда общества «Франция — СССР».

Прошло некоторое время, и супруги Марковы, став советскими гражданами, вернулись в Советский Союз, чтобы приобщиться к жизни своей страны. Активно участвуя в деятельности нашего общества «СССР — Франция», они сохраняли и укрепляли свои связи с друзьями по партизанской борьбе в районе Веркора, сберегая наилучшие воспоминания о народе, с которым им довелось делить горе и радости суровых лет битв с фашизмом. В их прочной дружбе с французскими соратниками как в капле воды отразилась общность судеб двух наших народов, которым историей было суждено заложить прочные основы великого дела обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе.

Русская пословица говорит: друзья познаются в беде. Советские люди и французы хорошо познали друг друга в той тяжелой беде, коей явилась для всех европейцев страшная и поистине безумная агрессия гитлеровской Германии. И публикуемые воспоминания Н. Н. Марковой убедительно и очень своевременно напоминают об этом.

**Юрий ЖУКОВ.**



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КОСОЛАПОВ



## ЖИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

*Заметки о книжной серии «Пламенные революционеры»*

Литературу не зря называют социальным и нравственным барометром времени. Внимательно глядя в действительность, она чутко улавливает изменения, происходящие в жизни общества, в его социально-нравственном климате, в сознании и моральном облике человека. И не случайно, разумеется, среди героев советской многонациональной литературы в последние годы на передний план выходят люди активной жизненной, гражданской позиции, сознательно относящиеся к общественному долгу, люди, у которых помыслы и слова не расходятся с делами, люди, для которых единство слова и дела становится повседневной нормой поведения. Это не случайно потому, что активность жизненной позиции — одно из определяющих качеств личности гражданина развитого социалистического общества, одна из определяющих примет той исторически сложившейся человеческой общности, которую мы называем ныне советским народом.

Активность жизненной позиции... Совершенно очевидно, что это качество формировалось в процессе строительства нового общества, «в нашей буче, боевой, кипучей», формировалось всей атмосферой советского образа жизни, вырабатывалось под влиянием целенаправленной идейно-воспитательной работы ленинской партии в массах. У активной жизненной позиции советского человека 70-х годов глубокие и прочные корни. Они прорастают из толщи пластов истории освободительной борьбы; они идут от тех поколений рыцарей революции, которые подобно горьковскому Данко отдавали людям во имя их светлого будущего свое сердце.

В выработке активной жизненной позиции неоспорима роль литературы и искусства. Диалектика их взаимоотношений с действительностью такова, что, непрестанно черпая из жизни, находя в ней яркие, сильные характеры, типические судьбы и коллизии, зорко подмечая рождение новых качеств у человека нового общества, литература и искусство возвращают это людям в виде художественных образов, художественных обобщений. Лучшими своими произведениями они доставляют читателю и зрителю не только эстетическое наслаждение, но и глубоко затрагивают разум и сердце, чудодейством искусства активно участвуя в формировании духовного мира и нравственного облика нашего современника.

В свете сказанного очень важно поговорить о воспитательной роли и значении художественно-документальных исторических повестей и романов, выпускаемых Издательством политической литературы в серии «Пламенные революционеры». В них, повестях и романах этой серии, пожалуй, впервые с такой последовательностью и масштабностью раскрываются ветвящиеся в глубине времен корни сегодняшней активной жизненной позиции строителей коммунистического общества, ее животворные изначальные истоки.

1

Серия «Пламенные революционеры» начала выходить в конце 60-х годов. С тех пор увидело свет уже около 80 книг. Целая библиотека повестей и романов о выдающихся деятелях русского и между-

народного освободительного движения — от возглавившего в начале XVIII века крестьянское восстание на Дону Кондратия Булавина до славной когорты большевиков — соратников Ленина, от Максимилиана Робеспьера и Джузеппе Гарибальди до Эрнста Тельмана и Георгия Димитрова...

Задумывая серию, издательство и писательская общественность исходили, по сути дела, из ленинской идеи. Вспомним: в статье-некрологе «Иван Васильевич Бабушкин» Ленин обратился с призывом к товарищам рабочим присылать дополнительные сведения о Бабушкине, воспоминания о других революционерах, павших в борьбе. Мы намерены, заявил он, издать брошюру с их жизнеописанием. И далее: «Такая брошюра будет лучшим чтением для молодых рабочих, которые будут учиться по ней, как надо жить и действовать всякому сознательному рабочему». Жить и действовать!

Задумана серия широко, с большим размахом, с мыслью создать своеобразную художественную летопись освободительной борьбы всех времен и всех континентов. Понятно, что преобладающее место занимают в ней повести и романы, посвященные героям русского революционно-освободительного движения. В серии представлены все три его основных этапа. Вышли и продолжают выходить книги о декабристах, о революционерах-разночинцах, народовольцах. Уже стало достоянием читателя около 30 книг о деятелях третьего, пролетарского этапа, книг о большевиках-ленинцах — В. Воровском, Ф. Дзержинском, М. Калинин, А. Кедровели, С. Кирове, Г. Кржижановском, Н. Крупской, В. Ногине, А. Цюрупе и других. Среди вышедших книг о борцах международного рабочего движения, кроме уже упомянутых об Эрнсте Тельмане и Георгии Димитрове, — повести о Никосе Белояннисе, Сэн Катаяме, Карле Либкнехте, Сухэ-Баторе, Тиборе Самуэли, Кларе Цеткин...

В самом начале, когда на прилавках книжных магазинов появились первые, небольшого формата томики с эмблемой «ПР», не обошлось без некоторых опасений за успех этого большого, сложного и очень ответственного издательского начинания. Рассуждали примерно так: биография революционеров внешне во многом схожи — нелегальное положение, преследования со стороны охранителей царского режима, аресты, допросы, тюрьмы, ссыл-

ка... Не будут ли книги серии «Пламенные революционеры» похожи одна на другую? Не пойдут ли авторы след в след? Не будет ли доветь над ними некий стереотип? Не получится ли, что вместо реальных полнокровных героев книги окажутся заселенными людьми-схемами, лишенными живой плоти?

Сегодня, когда серия шагнула во второе свое десятилетие, можно с удовлетворением сказать, что эти опасения, к счастью, не оправдались. Конечно, среди вышедших книг есть более удачные и менее удачные. Есть такие, как, скажем, «Нетерпение» Юрия Трифонова, которые стали не только украшением серии, но и приметным явлением во всей нашей художественной прозе. Попадают, к сожалению, и книги, не лишенные очевидных недостатков; книги, герои которых предпочитают разговаривать преимущественно цитатами; книги, перегруженные разного рода документами настолько, что автор буквально сгибается под их тяжестью и ему уже не до того, чтобы свободно и раскованно «писать» духовный мир своего героя, мир его мыслей и чувств. И так бывает. Но в целом «Пламенным революционерам» сопутствует несомненный успех. Книги эти нашли путь к читателю, прочно вошли в читательский обиход. Все заметнее внимание к ним и нашей литературной критики.

Наряду с рецензиями на отдельные выпуски серии один за другим появляются литературно-критические ее обзоры (статьи В. Литвинова, Г. Бровмана в журнале «Коммунист», В. Кардина — в «Вопросах литературы», В. Кисунько — в «Юности», В. Куницына — в «Нашем современнике», В. Савченко — в «Литературном обозрении»...). Авторы этих статей-обзоров единодушны в том, что вышедшие книги, отвечая общим задачам серии, отличаются вместе с тем разнообразием сюжетно-композиционных и стиливых решений, творческих подходов к теме, что, повествуя о людях одной, общей судьбы, серия «Пламенные революционеры» создает примечательное богатство характеров.

Герои этих книг, герои, чьи имена звучат сегодня как легенда, привлекают тем, что при всем многообразии индивидуальных особенностей, неповторимой самобытности каждого это всегда сильные, цельные и неумемные натуры, люди душевной чистоты, высокого долга и совести. Каждый из них — крупномасштабная, яркая лич-

ность с активной гражданской и нравственной позицией.

## 2

Писатель, обратившийся к жанру художественно-документальной прозы, видимо, мог бы поведать о тех немалых трудностях, которые возникают перед ним. Вроде бы чего проще: собрал факты биографии героя, садись и пиши, как оно все происходило. Ан не тут-то было! Обнаруживаются подводные рифы, чреватые опасностями для успешного творческого плаванья.

Едва ли не самой главной и наиболее сложной проблемой жанра была и остается проблема соотношения факта, документа, с одной стороны, и художественного вымысла, обобщения с другой. По этому поводу в нашей литературной периодике прошло несколько оживленных дискуссий. Как часто случается, в пылу полемики выявились две крайние, полярные точки зрения. Сторонники первой вообще склонны отказывать автору художественно-документальной повести или романа в праве на вымысел. Они считают, что каждый шаг, каждая мысль, любое высказывание героя должны быть строго документированы. Впадающие в другую крайность, наоборот, зывают к ничем не ограниченной свободе авторского воображения, к свободному — в угоду замыслу — смещению исторических событий во времени.

Подробное рассмотрение всех аспектов этой проблемы выходит за тематические рамки данных заметок. Ограничимся поэтому самыми необходимыми и по возможности краткими суждениями. Отрадно, что лучшие книги серии «Пламенные революционеры» не грешат ни той, ни другой названной выше крайностью. Их авторы вовсе не чуждаются художественного вымысла, понимая, что без него вообще невозможно было бы создать повесть или роман. Получился бы сборник документов, монтаж цитат, так сказать, голая информация, неспособная вдохнуть живую жизнь в образ героя. Как бы мог, к примеру, Алексей Шеметов написать повесть «Вальдшнепы над тюрьмой», если бы ему было отказано в праве на художественный вымысел? Ведь его герой Николай Федосеев, принадлежавший к плеяде первых марксистов в России, значительную часть своей недолгой жизни провел в застенке. В каком положении оказались бы авторы и многих других

книг, герои которых также долгие годы находились в камерах-одиночках, если они не заносили на бумагу свои мысли и переживания или эти записи-документы до нас не дошли?

Но художественный вымысел — будь то внутренний монолог или мысли вслух заточенного в одиночку героя, картины его душевного состояния в последние часы жизни или создание наряду с реально существовавшими историческими личностями вымышленных персонажей и эпизодов, в которых судьба героя пересекается, переплетается с судьбами этих «романных» лиц, и т. п., — всегда опирается на действительную историческую основу. За ним, этим вымыслом, невидимая читателю большая и кропотливая работа художника, тщательное изучение им архивных и других документов эпохи, исторической и мемуарной литературы, поездки в те края, где жил и действовал герой, встречи с его потомками или родственниками близких ему современников... Все это помогает писателю в создании реалистического образа героя, в раскрытии правды этого характера, в познании внутренней логики его развития. А рожденные творческим воображением художника сцены и эпизоды воспринимаются читателем как вполне исторически достоверные, словно так все и происходило на самом деле. Еще Добролюбов писал, что задача исторического романиста — внести в историю свой вымысел, но основать его на истории, вывести его из самого естественного хода событий, неразрывно связать его со всей нитью повествования и все это представить так, чтобы читатель видел перед собою как живые личности, знакомые ему в истории и изображенные здесь средствами искусства, «в очаровании поэзии».

В книгах серии «Пламенные революционеры» случается и так, что автору оказывается недостаточно подлинных документов и он придумывает их сам (например, письма, дневниковые записи и т. д.). С точки зрения пуристов это, конечно, недопустимо. Что же касается художественной практики, художественного опыта, то он свидетельствует об ином: это допустимо и оправданно, если, конечно, вымышленные документы не вступают в противоречие с исторической правдой, а, наоборот, усиливают ощущение этой правды, если они верны духу эпохи и логике развития характера героя; иными словами, когда они вы-

глядят не прихотью автора, а становятся фактом искусства.

Помнится, кто-то из критиков, писавших о художественно-документальной литературе, уже ссылался в этой связи на Константина Паустовского, от первой до последней строки придумавшего письмо лейтенанта Жеребцова в «Кара-Бугазе», которое послужило зачином повести. Пример действительно очень интересный и поучительный. Когда повесть вышла в свет и специалисты (заметьте: специалисты!) засыпали Паустовского вопросами, где, в каком архиве хранится «цитируемое» им письмо, писатель испытал не только некоторое смущение, но и чувство гордости. Он был горд тем, что его вымысел оказался близким к исторической правде. Но, говорил Паустовский, если бы я не прочитал множества документов той эпохи, не окунулся бы в нее с головой, мне ни за что не удалось бы добиться этого.

### 3

В создании серии «Пламенные революционеры» участвуют многие писатели. Каждый из них в соответствии с поставленной перед собой задачей, а также в зависимости и от того, кого выбрал себе героем, пользуется широким спектром художественно-изобразительных средств и приемов. Архивные источники, как уже говорилось, переплетаются с вымыслом, дополняются им. Прерывая изложение фактов, автор сам берет слово, сам рассказывает о герое. Герой рассказывает о себе и о других персонажах книги. Они, эти другие персонажи, размышляют о герое, оценивают его действия и поступки. Читатели встретят и внутренний монолог героя, и его мысли вслух, и диалог, и личную переписку, и дневниковые записи, и официальные документы, и газетную хронику событий...

Всмотримся повнимательнее в страницы некоторых книг серии. Возьмем повесть «Сечень» Александра Борщаговского, «Книга о счастливом человеке» Вольфа Долгого, «Навсегда, до конца» Валентина Ерашова, «Генерал, рожденный революцией» Михаила Шатирына и «Горизонты» Ирины Гуро и Анатолия Андреева.

В отличие от книг серии «Жизнь замечательных людей» и других произведений биографического плана авторы серии «Пламенные революционеры» обычно не ставят

перед собой задачу воссоздать последовательно, шаг за шагом весь жизненный путь своих героев. Для сюжета обычно выбирается тот период, который можно назвать звездным часом в жизни героя,— время, когда с наибольшей силой проявились лучшие свойства его натуры,— период наивысшей активности мысли и действия героя. Такое построение сюжета — своего рода художественный прием, позволяющий показать характер самым крупным планом, в концентрированном виде дать его главные, доминирующие черты.

Повесть А. Борщаговского «Сечень» хронологически охватывает совсем небольшой отрезок времени — с октября 1905 по конец января 1906 года. Перед нами проходят три последних месяца жизни Ивана Васильевича Бабушкина, этого замечательного большевика, ученика и соратника Ленина, человека, всю свою жизнь беззаветно отдавшего рабочему делу, которого Владимир Ильич назвал гордостью партии. В разгар первой русской революции Бабушкин с далекого Севера, где он отбывал ссылку, двинулся в Россию. Впереди встречи с товарищами по партии, встреча с любимой женой... Но и в Сибири в то время кипела борьба, и там нужны были люди, способные встать во главе масс, повести их за собой. И Иван Васильевич остается в Иркутске: «Сейчас в России нет места, где я нужен больше», — решает он для себя. Бабушкин с головой уходит в революционную работу. Став одним из руководителей Иркутского комитета РСДРП, он выступает на митингах и собраниях, ведет большевистскую агитацию, развертывает подготовку к восстанию. В январе 1906 года Бабушкин и пять его товарищей везли захваченное ими оружие, поезд был настигнут карательной экспедицией генерала Меллер-Закомельского, и все шестеро безо всякого суда и следствия были расстреляны. Через несколько лет, когда узналась правда об этой кровавой расправе, Ленин напишет о Бабушкине и подобных ему народных героях: «Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации».

«Книгу о счастливом человеке» В. Долгий посвятил героической жизни Николая Эрнестовича Баумана. Автор знакомит нас со своим героем, когда тот уже твердо стал на путь профессионального революци-

опера. За плечами у него революционная работа в Казани, затем в петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». В центре повести — личное знакомство Баумана, бежавшего из ссылки за границу, с Владимиром Ильичем Ульяновым, непосредственное участие в издании «Искры» и доставке ее в Россию. Бауман — делегат II съезда РСДРП. После съезда руководит Московским комитетом партии. Именно эти несколько лет были самыми яркими в короткой жизни неутомимого и мужественного борца.

«Книга о счастливом человеке» не единственное в нашей литературе произведение о Николае Баумане. Многим, вероятно, помнится роман Сергея Мстиславского «Грач, птица весенняя», написанный в 30-е годы и выдержавший затем много изданий; роман этот пользовался большим успехом у молодежи, стал заметным явлением в художественно-документальной прозе тех лет. И все же, сравнивая сегодня эту книгу с лучшими повестями и романами серии «Пламенные революционеры», нельзя не видеть, насколько преуспела в своем развитии художественно-документальная проза, как обогатилась палитра ее изобразительных средств.

«Генерал, рожденный революцией» — повесть об Александре Федоровиче Мясникове (Мясникяне). Ее автор армянский прозаик М. Шатирян показывает своего героя в канун Октябрьской революции. Он борется за большевистское влияние в войсках Западного фронта, за установление власти Советов в Белоруссии. В этой борьбе, в обстановке чрезвычайно сложной и острой с особенной силой раскрылся талант Мясникова — выдающегося организатора масс. Признанный руководитель большевиков Белоруссии, он в эти дни возглавляет созданный в Минске Военно-революционный комитет. В ноябре 1917 года фронтовой солдатский съезд единодушно избирает его главнокомандующим войсками Западного фронта. Полуторамиллионная солдатская масса Западного фронта верила в этого бывшего прапорщика. В него верили рабочие и крестьяне Белоруссии, верила партия, верил Ленин...

Станислав Викентьевич Косиор входит в повесть И. Гуро и А. Андреева «Горизонты» уже сложившимся, опытным партийным руководителем. Он генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Украины. Время действия повести — первая

половина 30-х годов, годы индустриализации страны, выступления в строй действующих предприятий таких промышленных гигантов, как Харьковский тракторный завод, годы становления колхозного строя и ликвидации кулачества, проходившие в обстановке ожесточенной классовой борьбы в деревне. Выступления кулаков против коллективизации, убийства сельских коммунистов, поджоги, срыв хлебозаготовок, распространение провокационных слухов, дезорганизация снабжения деревни промышленными товарами — все это опытной рукой направляется из закордонного центра, где окопались бежавшие от советской власти украинские буржуазные националисты. Классовый враг умело использует в своих целях допущенные на местах перегибы в осуществлении сплошной коллективизации и в проведении политики ликвидации кулачества. От руководителей республики требовались высокая политическая зрелость и революционная бдительность, способность трезво оценивать обстановку, подлинно большевистская воля и мудрость в борьбе за генеральную линию партии. Авторы повести «Горизонты» не случайно выбрали для сюжета своей вещи именно эти годы: они были тем периодом в жизни Косиора, когда его недоюжный талант партийного руководителя проявился наиболее полно.

В центре повести «Навсегда, до конца» В. Ерашова — годы приобщения Андрея Бубнова к революционной работе, годы становления его характера, формирования личности. Знакомится читатель с героем, когда тот еще ученик реального училища.

Большое место в книге занимает участие Бубнова в создании первого в России Иваново-Вознесенского общегородского Совета рабочих депутатов. Многие страницы посвящены деятельности Совета. Доведя повествование до осени 1917 года, В. Ерашов пишет: «У каждого настоящего человека в жизни должен быть свой звездный час. Вот он пришел и для Андрея Сергеевича...» Увы, этому времени автор отвел лишь небольшую часть книги. Об активной роли Бубнова в подготовке и осуществлении Октябрьской революции сказано скороговоркой. А вся послеоктябрьская жизнь (участие Бубнова в гражданской войне, работа на посту начальника Политического управления РККА, а затем народного комиссара просвещения) втиснута в эпилог.



И это обидно. Ведь книга В. Ерашова, по существу, единственная попытка рассказать в художественно-документальной литературе о видном деятеле нашей партии, одном из соратников Ленина. Нельзя не учитывать, что о роли Бубнова в строительстве социалистического государства, советских вооруженных сил, советской культуры сегодняшний молодой читатель может знать совсем мало или даже не знать ничего.

## 4

Но вернемся к книгам, сюжет которых, как мы уже видели, построен иначе, чем в повести В. Ерашова. Естественно, может возникнуть вопрос: беря в основу сюжета какой-то один период в жизни героя, не лишают ли себя авторы возможности показать истоки и развитие его характера и не обедняют ли они тем самым повествование? Вдумчивому читателю всегда хочется видеть, как складывался человек-герой, в какой обстановке, под влиянием каких социальных факторов формировались те или иные свойства натуры, что толкнуло героя на путь революционной борьбы, чем была заполнена его жизнь до того, как читатель встретился с ним на страницах книги. Известно, что успех таких жанров художественной прозы, как повесть и роман, в немалой степени зависит от умения автора не только показать уже сложившийся, устоявшийся характер, но и проследить диалектику его развития. Конечно же, это относится и к прозе художественно-документальной.

Отвечают ли рассматриваемые нами произведения этим требованиям? В общем, можно сказать, да. С разной степенью художественной достоверности и убедительности, но отвечают. Как это достигается? В ход повествования включаются ретроспективные страницы, а порой и целые главы. Авторы широко используют прежде всего воспоминания героя о ранее прожитом и пережитом. Тем более что в жизни героев этих книг, профессиональных революционеров, случались — и нередко — такие периоды, когда они испытывали особое тяготение к встречам с собственной памятью (тюремные камеры-одиночки, «путешествия» через всю страну в арестантских вагонах или в кандалах по бесконечной Владимирке, пребывание на положении ссыльного в таких глухих, отдаленных от жизненных центров местах, про которые в

русской пословице говорилось, что туда даже Макар телгт не гонял). Появление на экране памяти дорогих образов родных и близких, товарищей по революционной борьбе согревало душу, помогало выстоять в самых тяжелых обстоятельствах.

В пути из ссылки вспоминает Бабушкин свое деревенское детство, смерть отца, голод, бросивший их с матерью в нищие дворы Петербурга, приобщение к революционному рабочему делу и бесконечно дорогого ему человека — жену и верного товарища по борьбе. Из воспоминаний Бабушкина мы узнаем, как, бежав из тюрьмы, не зная иностранных языков, он пробирается за границу — в Лондон, где была тогда редакция ленинской «Искры», как, нелегально вернувшись в Россию, он с огромной энергией работает для «Искры» в подмосковном Покрове, в рабочих казармах Орехово-Зуева и Иваново-Вознесенска...

Николай Бауман, арестованный в 1897 году и брошенный в одиночку Петропавловской крепости, готовясь мысленно к первому допросу, восстанавливает в памяти все, чем пришлось заниматься после приезда в Петербург. В распорядок дня он ввел «прогулки» по камере, положив за правило выхаживать за день не меньше десяти верст. «А чтобы втянуться в эту нудную — вот уж ни уму ни сердцу! — ходьбу, он устраивал себе, по памяти, настоящие прогулки, всякий раз новую, — по улицам родной Казани, по заволжским лугам. Шаг за шагом вспоминал каждый дом, попадавшийся на пути, чуть не каждую вывеску, а поскольку не любил гулять один, то и эти мысленные свои прогулки совершал с друзьями и разговаривал с ними, спорил...»

Андрей Бубнов, очутившись в 1916 году в одиночке самарской тюрьмы (тринадцатый по счету арест!), перебирает в памяти и судит прожитую жизнь. Самым ярким, самым незабываемым было для него знакомство с Лениным. Произошло оно в Стокгольме на IV съезде партии. «Он сразу понял, что это — Ленин. И совсем не потому, что перед Владимиром Ильичем особо почтительно расступились или, наоборот, восторженно кинулись к нему, — нет, обстановка на съезде была не торжественная, не парадная, обращение с единомышленниками — ровное и равное, ничьи заслуги специально не выделялись и не подчеркивались. Но... при вполне обыденной, неброской — разве что невероятной

мощи «сократовский» лоб — внешности, при скромнейшей манере держаться, при полнейшем отсутствии «вождизма», актерства, рисовки — при всем этом Владимир Ильич производил впечатление необыкновенное...»

Вводя в повествование воспоминания героя, авторы стремятся, пусть и пунктирно, показать основные этапы формирования его характера, с тем чтобы сделать психологически более достоверными ход его мыслей, его поступки, изображенные в книге. Нередко для этих целей писатель прибегает и к документу.

## 5

Казалось бы, пускаться в рассуждения о роли документа в художественно-документальной литературе означает ломиться в открытую дверь. Но это только на первый взгляд. В действительности все обстоит не так просто. Даже совсем не просто. Конечно, книги серии «Пламенные революционеры», поскольку центральные их персонажи не вымышленные, а реально существовавшие исторические личности, создаются на документальной основе. В любом случае — и тогда, когда те или иные документы включаются в книгу целиком или пространно цитируются (в повести А. Борщаговского «Сечень» они всюду даже выделены в тексте курсивом), и тогда, когда (как, скажем, в повести «Горизонты» И. Гуро и А. Андреева) документы совсем или почти совсем не приводятся. Но проблема строгого и тщательного отбора документов, принципы отбора, соблюдение при этом автором чувства меры, умение найти наиболее эффективный способ заставить документ работать, заговорить — все это для художественно-документальной литературы проблемы отнюдь не надуманные. Опереться ли только на документы малоизвестные, недавно разысканные в архивах, или наряду с ними включить в книгу и документы уже публиковавшиеся? Нужно ли автору книги комментировать документ? На сей счет, как известно, готовых рецептов нет и быть не может. Здесь все зависит от замысла, от жизненного и художественного опыта и такта писателя, от его художнического чутья и вкуса.

Случается, в одну книгу тот или иной документ вписался настолько органично, что его не вынешь без ущерба для содержания, а на страницах другой аналогичный

документ выглядит совсем необязательным. Всего один пример. И А. Борщаговский и В. Ерашов в своих повестях приводят выдержки из дневника последнего русского царя Николая II. Вот запись, включенная А. Борщаговским в повесть «Сечень»: «8 февраля. Среда... Гулял долго и убил две вороны... Обедали офицеры лейб-гвардии Павловского полка и Меллер-Закомельский со своим отрядом, вернувшимся из экспедиции по Сибирской ж. д.». Эта запись не только штрих к характеристике интеллектуального и нравственного убожества самодержца всероссийского. Это документ, связанный с жестоким подавлением карателями революционного движения в Сибири, движения, одним из видных руководителей которого был Иван Бабушкин.

А вот выдержки из царского дневника, приведенные В. Ерашовым в повести «Навсегда, до конца»: «Вечером кончил чтение отчета военного министра — в некотором роде одолел слона»; «Опять начинает расти та куча бумаг для прочтения, которая меня так смущала прошлой зимой». Трудно понять, почему выбраны именно эти записи. И как могли записи, относящиеся к началу царствования Николая II, попасть в главу повести, воссоздающую события первой русской революции?

Обратимся теперь к примерам иного рода. Думается, очень верно поступил А. Борщаговский, когда среди других отобранных документов особо выделил и довольно щедро процитировал подлинные «Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина», написанные по настоянию Ленина в самом начале нашего века и впервые опубликованные почти через двадцать лет после трагической гибели их автора. Тогда, в Лондоне, в 1902 году, Бабушкин спрашивал себя: «Ему ли, не дожив еще до тридцати, садиться за воспоминания? И зачем они: не для «Искры» ведь — для нее они велики, не пригодятся, а кому пригодятся? Но Ленин советовал, настаивал, подталкивал, однажды буквально подтолкнул, коснувшись его плеча и искусительно показав, как это хорошо, как блаженно-хорошо бывает поработать и за столом...» Написанные с подкупающей непосредственностью, «Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина» представляют собою человеческий документ редкостной впечатляющей силы.

В. Долгий в «Книге о счастливом человеке» наряду с другими документами приводит письма Николая Баумана отцу. Напи-

санные в тюремных застенках, они свидетельствуют о негибимой воле Баумана, его неукротимом стремлении идти и дальше по избранному пути; они помогают нам глубже понять духовный мир и нравственный облик героя. «Постарайтесь проникнуть в мое сердце,— пишет Бауман из Таганской тюрьмы,— и Вы поймете, что иначе я не могу жить: мой путь давным-давно наметен, свернуть с него — значит убить свою совесть. Последнее же — самое ужасное преступление; для него нет искупления».

## 6

Чтобы ярче высветлить главные черты характера героев, авторы нередко ссылаются на оценки, даваемые личности героя его единомышленниками, соратниками, близкими людьми. В. Долгий, например, специально пишет эпизод, в котором Ленин рассказывает о Баумане только что приехавшей за границу Крупской:

«Вводя Надежду Константиновну в редакционные дела, больше всего он говорил ей о людях. О тех, на ком держалась «Искра»,— об агентах ее, «искряках». Кое-кого она давно и отлично знала — по Шуше, по Питеру. Но были и незнакомые ей имена. В ряду других — братья, Надюша, особое внимание! — Бауман. Николай Эрнестович Бауман, клички — Грач, Полетаев, Евграфыч, Макс, Григорьев.

Она улыбнулась: помилуй бог, столько кличек разом? Зачем? В этих вопросах ее, как и в улыбке, право, не было ничего такого, что могло бы хоть как-то принизить незнамого ей человека, но Владимир Ильич, к удивлению ее, вдруг загорячился: нет, нет, она не права, вовсе не от игры в конспиративность, не от щегольства такое обилие кличек у Баумана! Без них не обойтись человеку, который только в этом году не раз переходил границу и в качестве агента «Искры» исколесил всю Россию, умудряясь еще при этом не только доставлять туда газету, но и налаживать под самым носом у полиции деятельность местных организаций. Словом — находчивый, неутомимый, до дерзости смелый человек! Кстати: это он — первый — повез «Искру» в Россию в чемоданах с двойным дном. К тому же (что уж вовсе редкость для нашей братии) — великий практик. Умение его наладить любое дело, практически организовать его — просто фантастично. Сейчас он

в России, но скоро, возможно, приедет, и она сама познакомится с ним, сама убедится, какой это яркий, какой это талантливый, какой, наконец, обаятельный это человек».

В повести «Горизонты» есть такие страницы. Украинский писатель Иван Микитенко (персонаж не вымышленный) встречает своего давнего друга Евгения Малых, помощника Косиора. Вот ты, говорит Микитенко, почти что профессор, Институт красной профессуры окончил, в газете успешно работал, показал себя талантливым очеркистом, открой мне свой секрет: «Уйти из газеты, бросить любимое дело, перейти на положение, ты извини меня, но все-таки очень зависимое... Конечно, ты не секретарь, не порученец... Ученый референт... Но ведь все равно сам себе не принадлежишь, верно? И кроме циркуляров и резолюций, уж наверно ни черта не напишешь! Чего же ты пошел, тебя же силой не тащили?

— Секрет тут, пожалуй, есть. И он даже имеет имя...

— Станислав Викентьевич Косиор?.. Ну, расскажи мне про Косиора. Чем он тебя привлекал?

— Это не так легко определить,— задумчиво ответил Евгений.— Как разложить по полочкам человеческое обаяние?.. Может быть, оно в какой-то завершенности, многогласности его личности. Понимаешь, он бывает разным... Ни один вопрос не решается им в одной плоскости. Ну, можно сказать, диалектическое рассмотрение явления — в его характере. Диалектический подход, умение входить в подводную часть корабля. Самую главную: где работают машины, те, что кораблю дают движение. Я не хочу сказать, что этим методом не владеют другие. Петровский тоже был около Ленина. Может быть, даже дольше, чем Косиор. Тоже многому научился. Но, понимаешь, разные люди имеют разный подход, и вот мне — ближе косиоровский...»

Оценки единомышленников, соратников, друзей героя вносят свои краски в его портрет, образ. Имеет значение и то, как оценивают героя идейные противники, враги революции. В рассматриваемых повестях — и это одно из их достоинств — персонажи такого рода изображены, как правило, в реалистической манере, не шаржированно, без ненужного окарикатуривания. По-своему это вовсе не глухие люди,

энергичные, опытные, изрядно поднатюренные в борьбе с «крамолой»; люди, подчас способные трезво оценить сильные стороны натуры тех, упорство кого они пытаются сломить.

В «Книге о счастливом человеке» читателям наверняка запомнится тот своеобразный поединок, который в течение долгих месяцев ведут между собой начальник петербургской охраны жандармский полковник Пирамидов и узник Петропавловской крепости Бауман. Полковник лично допрашивает подсудимого, стараясь придать допросам видимость «разъяснений по душам» двух интеллигентных людей. И хотя условия, в которых находятся противоборствующие стороны, вопиюще не равны, полковник терпит крах в этом поединке.

Нелегальная деятельность Баумана в Москве не давала покоя и начальнику московской охраны небезызвестному Зубатову: «...этот Прач, Бауман этот, уже ощутимо переломил обстановку в Москве. Достоин, право же, удивления, что все это сделал, и за месяц с небольшим, один человек. Что и говорить: господин первостепенной важности!.. И — стыд и позор! — в Москве, где мало-мальски деятельные нелегалы долго не задерживаются, этот молодчик целый месяц преспокойно разгуливает на свободе. И это при том, что с ног сбились не только филеры, но и вся сеть секретных агентов! Бывали, правда, случаи, когда его настигали — нет, все равно каким-то образом он исчезал в последнюю минуту...»

В октябре 1917 года в Минск на съезд крестьян-фронтовиков Западного фронта приезжает эсеровский лидер Виктор Чернов. В разговоре с главкомандующим фронтом генералом Балуевым и комиссаром фронта меньшевиком Ждановым он так характеризует Александра Мясникова: «...действия здешних большевистских лидеров, и в особенности выдвинувшегося на первый план Мясникова, показывают, что они настойчиво идут к определенной цели, и эта цель продиктована им из Питера Лениным! Кстати, я имел случай познакомиться с этим Мясниковым еще в 1908 году в Баку и вести с ним публичные дискуссии, поэтому могу засвидетельствовать, что хватка у него крепкая. И не для того он добился здесь политического превосходства, чтобы затем сидеть сложа руки или дискутировать с нами на съездах. Нет, как только Ленин начнет там, в Питере, они возьмут за горло нас здесь.»

## 7

Вернемся теперь к мелком затронутому ранее вопросу: чем отличаются книги серии «Пламенные революционеры» от многих историко-революционных биографических повестей 20—30-х годов? Такое сопоставление (именно сопоставление, а не противопоставление, поскольку книги серии отнюдь не спорят с лучшими повестями довоенных лет, не опровергают и не перечеркивают их) позволяет видеть нынешний этап эволюции жанра, обусловленный и широким для писателей доступом к архивам, разысканием новых важных архивных источников, и несомненно возросшим за последние годы профессиональным опытом литераторов, работающих в художественно-документальной литературе.

В центре внимания авторов историко-революционных биографических повестей 20—30-х годов были преимущественно дела, действия героя, часто без глубокого проникновения в его внутренний мир: изображались сложные перипетии нелегального существования, приемы конспирации, острые схватки с царизмом и его слугами, разоблачение провокаторов, неоднократные аресты и дерзкие побег из тюрьмы и ссылки... Все это, разумеется, есть и в книгах серии «Пламенные революционеры». Однако здесь на передний план решительно выдвигается первопричина, внутренний источник активных поступков героя — постоянная и напряженная работа мысли, идейные убеждения, сокровенные чаяния, все то, что принято именовать диалектикой души.

Как говорит один из персонажей повести Юрия Давыдова «Завещаю вам, братья...», ведущий рассказ о героической жизни народовольца Александра Михайлова, «никаких бомб, никаких подкопов. Сюжетами этими многое заслонялось. Нет, хочу, чтоб слышали музыку, которая в его душе звучала, постоянно звучала...». Этой «музыке души», пластике сложных психологических состояний, духовным поискам героя, внутренним мотивам его деятельности придают авторы серии «Пламенные революционеры» первостепенное значение. Они стремятся создать полнокровный образ героя со всем богатством духовного мира, с его глубокой идейной убежденностью, мыслями о настоящем и будущем народа, со всеми его радостями и горестями, успехами и неудачами.

В книгах серии «Пламенные революционеры» отчетливо просматривается повышенное внимание авторов к нравственным, моральным проблемам, характерное для всей советской литературы последних лет. Серия, как уже отмечалось в посвященных ей обзорных статьях, последовательно решает одну из очень важных своих задач — задачу раскрытия нравственного смысла, нравственного аспекта революции, влившей новое содержание в такие понятия, как высшее назначение человека, долг, честь, достоинство, совесть, доброта, счастье... Герои этих книг — не только активно мыслящие и активно действующие, но люди и высокой нравственностью. Благородство и чистота помыслов, верность гражданскому долгу, единство слова и дела — таковы главные приметы этих героев.

В основе их нравственности лежит революционный идеал. Служению ему посвящена вся их жизнь, ради него — борьба, работа, самопожертвование. Это люди с огромным зарядом страстей, люди, не останавливающиеся ни перед какими трудностями, идущие до конца в достижении поставленной цели. Это счастливые люди. Счастливые, несмотря на все тяготы и страдания, выпавшие на их долю. Их счастье в борьбе за народное дело. Они испытывают счастье душевной отдачи, счастье быть нужным, необходимым людям. И вместе с тем это натуры, чуждые самодовольству и самоуспокоенности, всегда не удовлетворенные собой; им свойственны сложные душевные борения, внутренние противоречия, ошибки...

Большевики-ленинцы, коммунисты, о которых рассказала серия «Пламенные революционеры» — а о многих ей еще предстоит рассказать, — это герои исторически нового типа, герои, сформировавшиеся и закалившиеся в горниле классовых битв пролетариата, герои эпохи Великого Октября и строительства нового общества. Они не герои-одиночки, их сила в нерасторжимой связи с народом; они идут вместе с массами, во главе масс. Они представляют партию, ставшую умом, честью и совестью нашей эпохи. И чем больше появляется таких книг, тем все очевиднее становится, что се-

рия «Пламенные революционеры» в этой своей части вырастает в художественную летопись истории ленинской партии, персонафицированную в образах выдающихся ее деятелей, передовых борцов.

И еще об одной примечательной черте этих книг необходимо сказать. Вся жизнь их героев (не убийства высоких слов) озарена светом ленинских идей. Это относится не только к книгам, на страницах которых Владимир Ильич выведен как действующий персонаж, к книгам, где целые главы посвящены тем этапам жизни героя, когда он вершил революционное дело плечом к плечу с Лениным («Книга о счастливом человеке» В. Долгого, повесть В. Красильщикова «В начале будущего» о Глебе Кржижановском и др.). В иных повестях Ленин непосредственно не появляется, но и в них герои-большевики неизменно испытывают притягательную силу его личности, его характера, им передается его неукротимая энергия. Ленин неизменно присутствует в мыслях и принимаемых героями решениях, в их действиях и поступках. Опираясь при изображении Владимира Ильича на богатый опыт нашей художественной Ленинианы, лучшие книги серии «Пламенные революционеры», в свою очередь, пополняют и обогащают ее.

Повести и романы о беззаветных борцах за народное дело позволяют современному читателю мысленно пройти вместе с ними трудный, но прекрасный, героический жизненный путь. Размышляя над их судьбами, человек отчетливее определяет отношение к собственной жизни, к окружающей действительности, глубже осознает свою причастность к великому делу революционного преобразования общества, свою ответственность за все на свете. Эти книги не только помогают с позиций сегодняшнего дня осмыслить прошлое. Они призваны передавать духовную эстафету поколений, революционные традиции, призваны тревожить совесть, растить и мобилизовывать гражданские чувства, гражданскую активность. Особенно нужны эти книги нашей молодежи — поколению, «обдумывающему житье, решающему — сделать жизнь с кого...».



АДОЛЬФ УРБАН

★

## ЗОВЕМ ЭТУ ЗЕМЛЮ СВОЕЮ

*Размышления о репутации стиха*

1

**А**нна Ахматова до последних дней не оставляла стихи. Ее литературная репутация была высока. О ней думали, говорили и писали как о живом классике. Писали А. Твардовский, О. Берггольц, А. Сурков, П. Антокольский, Вс. Рождественский, Я. Смеляков, Д. Самойлов, Е. Евтушенко, Р. Рождественский... Какие разные поэты сочли необходимым объясниться перед лицом Анны Ахматовой! Из стихотворных посвящений можно составить большую книгу. И эта книга лучше всего говорила бы о живом участии поэзии «живого классика» в современной литературе.

Между тем что же это такое — ахматовская поэзия? Для нее придумано столько разных определений — ее связывали с интимным дневником и психологическим романом, с новеллой и Библией, с драматургией и кинематографом. Е. Добин сверх того в книге «Поэзия Анны Ахматовой» прибегнул еще к музыкальным и живописным метафорам — и все по-своему логично, обоснованно. Кроме одного и главного — речь идет о тончайшей лирике, об искусстве краткого и точного изъяснения. О поэте, в сущности не писавшем баллад, длинных сюжетных стихотворений, монументальных исторических картин. То есть не о повествователе по самой сути своего таланта.

Анна Ахматова погружалась в непосредственное течение чувства. Ловила и оставивала мгновение врасплох, придавая ему эпиграмматически чеканную форму. В самой жизненной ситуации находила отражения сильнейших кружений сердца.

В кратком соприкосновении людей различала даль внутреннего родства или отталкивания.

Изначально — по истокам и следствиям — это была лирика, поэзия чувств, но, конечно, не совсем обычная. Эта простая мысль заставляет идти как бы вспять. Сделать попытку прочесть стихи Анны Ахматовой вне условности сложившихся критических оценок. Как поэта сегодняшнего, современного, кто вызвал на личное объяснение столь многих и разных стихотворцев.

Среди иных шумных явлений современной поэзии тихий голос Анны Ахматовой звучит достаточно твердо и отчетливо. Оглядывая все ею написанное, начинаешь понимать, что это не глухой и робкий шепот, не осторожное осознание интимных ценностей. В самом ее смятении и слабости была сила («Слаб голос мой, но воля не слабее...»), была решительность («Не с теми я, кто бросил землю...») в часы горячайших испытаний, неколебимость («Надо снова научиться жить»).

И среди ранних стихотворений, наиболее интимных и камерных, мы различим и чувство простора, и свободу выражения, и пронизательную, деятельную, напряженную работу поэтического зрения, и непрекращаемое соответствие слова сути.

В поэзии Анны Ахматовой мы имеем дело с очень определенным характером. Не броским, не навязчивым, но потаенно страстным. С личностью, которая больше значит, чем обещает на словах. В которой скрыты силы, проявляющиеся не сразу, не в бурных и мгновенных вспышках, а поддерживающие ровный и горячий пламень.

В ее характере была непреклонность и постоянство, верность высокой судьбе и сосредоточенная творческая энергия. Те черты, которые по-человечески обаятельны и дороги, способны захватить всякого, кто захочет войти в ее поэтический мир. В определенном смысле это характер, проявившийся с большой силой именно в своем времени. И нашедший связь с нами, сегодняшними читателями.

## 2

Литературная репутация Анны Ахматовой установилась рано. О ней писали многие талантливые критики и литературоведы. Однако ее творческий портрет, созданный общими усилиями, очень уж скоро оказался как бы дорисованным. Острота и тонкость интерпретаций ее ранних книг создавали непоколебимый литературоведческий канон. В его ключе рассматривалось и позднейшее ее творчество, в то время как и в раннем не все было оценено сразу и по достоинству.

Главные выводы из этих интерпретаций: поэзия Анны Ахматовой питается психологической прозой, это своеобразный роман-лирика, тяготеющий к дневнику и к дружескому посланию. Ну и, конечно, поэзия интимная, любовная, камерная, возникшая на почве частной жизни и к узкому кругу обращенная.

Но поздняя лирика Анны Ахматовой (30—60-х годов) решительно не поддается такому прочтению, как и ранняя (10—20-х) интимным романом не замкнута и не исчерпывается.

В самом стиле ее поэзии есть внутреннее течение, уводящее от дневниковой ограниченности лишь этого момента, этого переживания:

Заплаканная осень, как вдова  
В одеждах черных, все сердца туманит,  
Перебирая мужнины слова,  
Она рыдать не перестанет.  
И будет так, пока тишайший снег  
Не жалится над скорбной и усталой..  
Забвенье боли и забвенье нег —  
За это жизнь отдать не мало.

Стихотворение начисто лишено новеллистического или психологического сюжета. Тут нет противостояния героев («я» и «он»), нет описания случая, житейского положения, действия, нет психологически связанных деталей, выстраивающихся в картину реального душевного движения, жизненно конкретного конфликта. Но дело даже не в этом. Все стихотворение — ссединение и

взаимное поглощение двух метафор: осень — вдова и снег — забвенье. Овеществленные, олицетворенные, конкретизированные друг в друге, они обретают новые качества: природа — человеческую жизнь, чувства — силу природного закона.

С самого начала в поэзии Анны Ахматовой действует закон лирического обобщения, метафоры, любую, даже самую интимную ситуацию приводящий к общечеловеческой значимости. И еще одно качество, тоже с самого начала свойственное поэзии Анны Ахматовой. С первых стихотворений поэт ведет разговор с музой, и у Анны Ахматовой она достаточно реальна. Рассеянные по разным стихотворениям черточки легко собираются в пластический и яркий портрет: «Муза-сестра заглянула в лицо, взгляд ее ясен и ярок». Она стройна, у нее смуглая рука и «смуглые ноги обрызганы крупной росой», тихий голос, веселый нрав. В минуты, печальные для поэта, она печальна. В минуты счастья — радостна и весела.

Но в 1924 году Анна Ахматова пишет торжественное и патетическое стихотворение, которое так и называется — «Муза»:

Когда я ночью жду ее прихода,  
Жизнь, кажется, висит на волоске,  
Что почести, что юность, что свобода  
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.  
И вот вошла. Откинув покрывало,  
Внимательно взглянула на меня.  
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала  
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Полное самозабвение. Напряженность внимания и слуха. Отказ от всех земных благ ради бедной дудочки суровой и требовательной музы. Абсолютная покорность ее воле. Жуткий вопрос, который трудно произнести: «Ты ль Данту диктовала?» Пафос этого стихотворения вполне можно назвать одическим.

Что это — перемена точки зрения, противоречие, исключение из правил?

Витийственные интонации были уже в самых ранних стихотворениях Анны Ахматовой. Они вторгались в ее поэзию и как бы отогревались близостью интимных подробностей и чувств. Вспомним одно из самых ранних стихотворений:

...А там мой мраморный двойник,  
Поверженный под старым кленом,  
Озерным водам отдал лик,  
Внимает шорохам зеленым.

Как будто личное самоощущение и даже самолюбование совсем еще юного поэта

устремляется вдруг в некое дальнее пространство, не только к полноте естественных чувств, осуществлению в любви, но и в высшей красоте, в мраморной законченности и твердости характера. И речь Анны Ахматовой невольно становится звонкой и торжественной — «мраморный двойтик», «поверженный», «отдал лик», «внимает»... Это не шепот, а чистый, хорошо поставленный певческий голос.

Анна Ахматова нигде не перейдет границы, не станет декламировать, не унижится до ложного пафоса, когда интонационный жест изображает пылкую страсть, а слова холодны. Высоким словом она умела придать естественность и сполна обеспечить внутренним содержанием.

На землю саван тягостный возложен,  
Торжественно гудят колокола,  
И снова дух смятен и потревожен  
Истоймой скукой Царского Села.

Вся эта сдержанность и торжественность, чтобы не оказаться выпрепной, уравновешена «истоймой скукой» и смятением юной души, замершей перед оцепенелой красотой «русского Трианона», перед его официальной пышностью, истощившей все запасы естественных жизненных токов:

Пять лет прошло. Здесь все мертво  
и нemo,  
Как будто мира наступил конец.  
Как навсегда исчерпанная тема,  
В смертельном сне покоится дворец.

Это 1910 год. О любимом Царском Селе. Слова высокие, торжественные и безнадежные, полные смутного предчувствия. Витийственная интонация перехвачена глубокой печалью.

И так вся ранняя поэзия Анны Ахматовой в самых неожиданных местах вдруг озаряется возвышенным эпитетом. Чуть архаичным словом, вынутым из одического ряда и вставленным в интимное признание, связывающим, казалось бы, такие «дневниковые» стихи с классической традицией, где личное ценно не само по себе, а как порыв духа, мучительный поиск красоты, осуществление индивидуальных возможностей. В любви ли, страдании, самозабвении среди природы, в поэтическом ли слове...

С годами эти интонации в поэзии Анны Ахматовой крепнут, становятся более частыми и настойчивыми. В них яснее всего ощущается воля художника, его непреклонность, характер женственный, но неуступ-

чивый. Порывистый и страстный, но не разбросанный, не впадающий в противоречие с самим собой.

## 3

Как же быть с психологической прозой, будто бы притаившейся в ее поэзии?

Как забуду? Он вышел, шатаясь,  
Искавился мучительно рот...  
Я сбежала, перил не касаясь,  
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка!  
Все, что было. Уйдешь, я умру».  
Улыбнулся спокойно и жутко  
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Конкретность и сиюминутность переживания. Использование на первый взгляд незначительного диалога с глубоким и насыщенным подтекстом. Тут все до предела динамично, взаимосвязанно, полно психологической напряженности. Скупые и точные слова, столь твердо и в то же время изящно и многосложно организованные, передают мучительную ситуацию, драматический конфликт, доведенный до кульминации и оборванный, нерешенный, безысходный.

По логике психологического романа разрешения его нужно ждать от последующих стихотворений, в новых ситуациях, в иных чувствах героини. Хотя бы в этом:

Слаб голос мой, но воля не слабеет,  
Мне даже легче стало без любви.  
Высоко небо, горный воздух веет,  
И непорочны помыслы мои.

Любовь кончена, сердце успокоилось, ум открыт высоким и чистым мыслям.

Но в действительности это не приемственная ситуация и не развитие прежнего чувства. Там он был обижен злой шуткой. Здесь она говорит «все проще», вспоминая измену или ссору, в которой виноват он. И то и другое стихотворение исчерпано настроением, которое в данный момент владеет его героиней.

Сцепляя разные ситуации разных стихотворений Анны Ахматовой в одно целое, мы вынуждены произвольно конструировать сюжет, примиряя, унифицировать разные конфликты, придавая монотонность настроениям, которые насколько не монотонны, домысливать характеры.

Прозаик А. Платонов по одной фразе «Не стой на ветру» пытался, например, воссоз-



дать образ человека, ее произнесшего: «Вопль любящей женщины заглушается пошлым бесчеловечием любимого; убивая, он заботится о ее здоровье: «Не стой на ветру». Это образец того, как интимное человеческое, обычное в сущности, превращается в факт трагической поэзии. В лице персонажа «любимого» в стихотворении присутствует распространенный, «мировой» житель, столь часто испытующий сердце женщины своей «мужественной» беспощадностью, сохраняя при этом вежливую рассудочность».

Траговка интересна, но едва ли основательна. Фразу мог произнести и трагически несчастный, глубоко уязвленный, отчаявшийся человек. Ведь это она «терпкой печалью напоила его допьяна». Сам текст не дает повода читать фразу так или иначе оттого, что характера, в общем, нет. И нет потому, что это не страница романа, а лирическое стихотворение. Мгновенный рисунок чувства, захваченного врасплох. Не обдуманного и сформулированного, но остановленного в самом его течении, еще не отделенного от мелочей и подробностей, не отвлеченного в сферу анализирующего сознания.

Как это и свойственно пластической лирике, наблюдения поэта, его опыт, знание мира оформились в неповторимую психологическую ситуацию, в драматическую картину, преисполненную динамики, напряжения, страсти. Анна Ахматова умела видеть и запоминать, умела ставить себя в разные житейские условия, в которых оказывались люди ее круга, возраста, стремлений, и переживать их как свои. Жизненное она удивительным образом соединяла с непосредственностью личного чувства.

Кипение этого чувства, его горечь, его подъемы и спады, общее настроение и составляют суть стихотворения. Отчасти это приближало ее лирику к новелле XX века, но не в большей степени, чем сама русская новелла становилась поэтической новеллой настроения. Что касается психологизма, то он в разной степени и в разных формах всегда был свойствен лирике. «Внутри» поэзии психологическая традиция имеет столь же древнюю историю, как и в прозе.

Сопоставьте «диалектику души» в поэзии А. Фета и в прозе Л. Толстого. Оба эти художника осознавали схожесть своих поисков. Толстой восхищался тонкостью психологической нюансировки в стихах Фета. Он примерял ее к своей прозе. Но от этого его проза еще глубже становилась про-

зой. А Фет никогда не поступался поэзией. Психологизм его никогда не был прозаичным.

Анна Ахматова писала в XX веке. В литературе еще больше стирались границы между жанрами. Разрушались канонические формы. Сближались разные виды искусства.

Анна Ахматова возвращала поэтическому слову его полновесную конкретность, его основной эмоциональный тон. Но она не выходила за границы поэзии. Лирика ее никогда не переставала быть лирикой. Не трансформировалась настолько, чтобы аналогия с психологической прозой — романом или рассказом — означала нечто большее, нежели выразительную метафору. Одно из многих качеств ее ранней поэзии — именно конкретность и определенность чувства, его внутренняя обеспеченность и мотивированность.

## 4

Чувствовали это и те первые ее исследователи, что выдвинули мысль о близости поэзии Анны Ахматовой к роману либо повести.

Острая наблюдательность не позволяла Б. М. Эйхенбауму умолчать о сходстве приемов Анны Ахматовой с приемами Е. Баратынского и Ф. Тютчева. Он упоминал также влияние И. Анненского и фольклорные мотивы в ее лирике. Наконец, В. М. Жирмунский впервые сказал о проникновении в поэзию Анны Ахматовой «рациональной стихии, логических формул и отношений».

Мы введем в действие еще один эстетический ряд, начисто обойденный в ранних оценках ее поэзии. Обратим внимание на образы русской природы в ее стихотворениях. Их великое множество. Они щемяще выразительны, точны, разнообразны, печальны, трогательны.

Анна Ахматова непременно ставит своих героев на почву, где происходят их драматические монологи. Чувству и переживанию сопутствует природа. Ее картины возникают перед глазами в самые острые моменты. Кончились «быстрые недели его любви, воздушной и минутной». Горек разрыв. А высоко в небе сереет облачко, «как беличья расстеленная шкурка». Ушел любимый, сверкает и хрустит оледенелый сад, «солнца бледный тусклый лик» глядит в круглое окно и «сквозь тонкий лед еще сквзят вчерашние следы».

Вообще одиночество, печаль, разлука обостряют внимание, обращают взор к окружающему миру, к его особой жизни. Этот мир у Анны Ахматовой не становится субъективным образом чувства. Он самостоятелен, в нем своя жизнь. Он не подчиняется эмоциям поэта, а лишь окрашен его настроением.

Природа сохраняет свет и свежесть. Она не дает несчастью поглотить человека. Она как бы предлагает себя взамен, всегда готовая принять искреннее, внимательное, неудовлетворенное чувство поэта.

Сладок запах синих виноградина...  
Дразнит опьяняющая даль.  
Голос твой и глух и безотраден.  
Никого мне, никого не жаль.

Между ягод сети-паутинки,  
Гибких лоз стволы еще тонки,  
Облака плывут, как льдинки, льдинки  
В ярких водах голубой реки.

Как отвлекает от страдания природа, как дразнит, забирает, втягивает в себя, предлагая свою нежность вместо утраченной любви! Этот запах виноградия, эта опьяняющая даль, сети-паутинки, облака, воды — все так прекрасно, чисто, доброжелательно, что как бы смягчает горечь безотрадного чувства.

В последней своей книге В. М. Жирмунский писал: «В сущности, о пейзажном «фоне» в собственном смысле у Ахматовой говорить нельзя. Она не создает цельной живописной картины, на фоне которой развертывалось бы действие, она с большой остротой индивидуального восприятия фиксирует отдельные импрессионистические штрихи, которые для нее ассоциировались с действием, очень часто... с резким разрывом между пейзажем и сопутствующим ему личным переживанием».

В. М. Жирмунский природу не признает в стихах Анны Ахматовой даже в качестве фона, однако нам думается, что природа у нее больше, чем фон, чем «импрессионистические штрихи»:

На пригорке дремлет мельница.  
Годы можно здесь молчать.

Над засохшей повиликою  
Мягко плавают пчела;  
У пруда русалку кликаю,  
А русалка умерла.

Затянулся ржавой тиной  
Пруд широкий, обмелел,  
Над трепещущей осиною  
Легкий месяц заблестел.

Замечаю все как новое.  
Влажно пахнут тополя.  
Я молчу, молчу, готовая  
Снова стать тобой, земля.

Здесь природа, приглашающая к молчанию, к сосредоточенности, является во всей своей полноте, совершенстве и самостоятельности каждой частицы и в любой миг способна обернуться несравненной новизной. Анна Ахматова все время всматривается в ее меняющийся лик. Замирая, умолкает перед ее столь разнообразной и прекрасной жизнью.

Российская природа — самостоятельный герой поэзии Анны Ахматовой. Герой изначально любимый, никогда ей не изменявший, который всегда, во всех положениях присутствовал и помогал. Ведь все эти примеры взяты из тоненькой юношеской книги Анны Ахматовой «Вечер» (1912), казалось бы столь замкнутой на себя, интимной, эгоцентричной!

Но зоркость поэта поразительна. Открытость Анны Ахматовой перед природой естественна и непрерывна. Пустыри и пруды. Сосновые иглы на низких пнях и поросшие лебедой огороды. Шуршание тополей и желтые флаги осени на вязах. Тонкая паутина и обледенелый сад. Пчела на белой хризантеме и желтый вечерний луч в букете георгин. Сухой запах иммортели и белизна левкоев. Крики ворон и журавлей. Дымок над кузницей и жара под навесом темной риги. Все это слишком важно для Анны Ахматовой по сути, по сердечной привязанности, по эстетическому значению. Тут сошлись смысл и красота.

Человек, занятый только собой и своими интимными чувствами, не может вместить столько богатств внешнего мира. Да и сама Анна Ахматова хорошо знает это: «Я вижу все. Я все запоминаю, любовно-кротко в сердце берегу».

Между тем природа еще и одухотворяет все окружающее. Она непринужденно влияет на город, оживляя его геометрический рисунок. «Легкий осенний снежок лег на крокетной площадке». «...гумбы белеют четко в изумрудном дерне». «Туманом легким парк наполнился, и вспыхнул на воротах газ».

Даже интерьер у Анны Ахматовой всегда чудодейственно освещен: тонкие лучи ложатся «на несмятую постель», сквозь стекло «известь белых стен пестрят», играют так, «что весело глядеть», на зелене-

ющей меди рукомойника; на рассвете «нестерпимо бела штора на белом окне».

Анна Ахматова непринужденно сближает природу с красотой предметного мира, человеческого обихода. «...небо ярче синего фаянса». «...свод воздушный, словно синее стекло». «Небо цвета вороненой стали, звезды матово-бледны».

Это все тот же «Вечер»!

Во второй книге Анны Ахматовой, «Четки», природа еще меньше похожа на собрание пейзажных примет. Здесь уже целые стихотворения говорят о поглощенности поэта родной природой, о душевной привязанности к русскому пейзажу, о любви к его неяркой красоте, о благотворности его врачующих сил.

В этой, быть может, самой интимной ее книге природа еще теснее окружила поэта. Анна Ахматова даже вынуждена усомниться — эта ее сосредоточенность не могущественнее ли взволнованного любовного чувства: «И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу?»

И поражаешься, с какой последовательностью у критиков переходят из статьи в статью, из книги в книгу одни и те же детали («Я на правую руку надела перчатку с левой руки» или «На шее мелких чепок ряд, в широкой муфте руки прячу»), и при этом остается не услышанной, не увиденной и не оцененной природа в лирике большого поэта.

## 5

В 1921 году К. И. Чуковский предложил нескольким известным литераторам — вместе с ними и Анне Ахматовой — заполнить анкету «Некрасов и мы». Среди разноречивых ответов ахматовские поражают точностью, обдуманностью и прямотой. Из них следует: Некрасов — любимый поэт, оказавший влияние на ее поэзию, хотя трудно представить поэтов более разных.

Не станем гадать, какие стихотворения держала на примете Анна Ахматова, когда говорила о влиянии Некрасова. Обратим внимание вот на что: уже в «Четках» и «Белой стае» природа не только выразительна сама по себе, она включает еще очертания и краски народной жизни — хозяйственной, трудовой, социальной. Есть неуловимая грань, где встречаются «простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый...» Как флаги мелькают жниц короткие подолы. Загорелые бабы смотрят спокойными осуждающими глазами на барское без-

делье. Вет «Пасхи ветер многозвонный»... В июле 1914 года подряд «четыре недели торф сухой по болотам горит». Летит от дымящихся лесов «можевельника запах сладкий». Стон солдаток и «вдовый плач» повис над деревней.

И сама Анна Ахматова прикинется к этой жизни, в воображении своем отождествившись с нею: «Лучше б мне частушки задорно выкликать...» И —

Дай мне горькие годы недуга,  
Задыханья, бессонницу, жар,  
Отыми и ребенка, и друга,  
И таинственный песенный дар —  
Так молюсь за твоей литургией  
После стольких томительных дней,  
Чтобы туча над темной Россией  
Стала облаком в славе лучей.

Ода и плач одновременно.

А вокруг Анны Ахматовой встанут «таинственные, темные селенья — хранилища бессмертного труда». И она почувствует в себе силу «спокойной и уверенной любви» к ним, нерасторжимую связь с ними по бунтующей капельке «новгородской крови», что вскипает, «как льдинка в пенном вине».

В тех самых стихах, где развивается «интимный роман» встреч и разлук, любовной муки, измен, отчуждения, Анна Ахматова, словно крестьянка, жалуется на немилость господ к жнецам и садоводам, потому что, «звения, косые падают дожди», и «на взбухших ветках лопаются сливы, и травы легшие гниют». Ее глаз увидит огонь на башне озерной лесопильни, штабеля серых сложенных бревен, груды овощей, пестреющих на черноземе. Она ощутит «запах спелой ржи». Услышит «крик аиста, слетевшего на крышу».

Все это взгляд, понимающий, что такое труд, сельские заботы, времена года: «Еще струится холодок, но с парников снята рогожа». Или наступление майских заморозков, когда «жестокая, студеной весна налившиеся почки убивает».

А известные стихи о том, как «памятна до боли тверская скудная земля»!

Журавль у ветхого колодца,  
Над ним, как кипень, облака,  
В полях скрипучие воротца  
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,  
Где даже голос ветра слаб,  
И осуждающие взоры  
Спокойных, загорелых баб.

Ветхий колодец, скрипучие ворота, неяркие просторы... У Анны Ахматовой предметы, в традиционно-романтической поэзии «неэстетичные», занимают равноправное место. Природа ее лишена жеманства, хотя Анна Ахматова и любит красивые города, храмы, памятники, сады, цветы, парки. Она легко соединит «бензина запах и сирени». Оценит «едкий, душный запах дегтя», торфяной гари, «листву растрепанной ольхи», «резкий крик ворон», «дорожки, где улитки и польнь».

Здесь-то и придется вспомнить лирику Некрасова, столь естественно вбиравшую в себя обиход деревенской жизни, пейзаж, представленный во всей своей пестроте, непритязательности, откровенности.

Можно указать на сходство смысловых определений у Анны Ахматовой и Некрасова. На подобие обобщающих образов. Анна Ахматова не однажды назовет свою музу странницей, печальницей, нищенкой. Все это, конечно, напоминает некрасовскую музу «мести и печали» и ее сестру — «крестьянку молодую». Ахматовские рыдания, выкрики, заплачки, особенно периода первой мировой войны, без сомнения, находятся под обаянием этой музыки. Недаром среди любимых стихотворений Некрасова Анна Ахматова назвала «Внимая ужасам войны...».

Конечно, сходные и даже по видимости одинаковые образы в пределах стихотворения функционально у них далеко не совпадают. Поэтические стили Некрасова и Ахматовой особенны и решительно друг на друга не похожи. Ахматовская поэтика прошла школу лаконизма у А. Пушкина и А. Фета. Школу мысли у Е. Баратынского и Ф. Тютчева. Школу психологически насыщенного стиха у И. Анненского. Анна Ахматова выработала свой исключительно емкий лирический стиль. И все же скупое упоминание Анны Ахматовой об увлечении Некрасовым, если отнестись к этому серьезно, имеет немалый вес. В причитаниях, слезах, восклицаниях ее босоной музыки явственна послепушкинская, уточним — некрасовская, поэтическая струна. Вообще реализм в восприятии природы, ее «простая жизнь», открытая еще Пушкиным, вероятно, тоже усилены некрасовским влиянием. По крайней мере Некрасов тут самый близкий предшественник, предлагающий свой опыт, минуя «прекрасную природу» Фета и абстрактные пейзажи символистов.

Для нас же в данном случае важно не

подобие образных рядов, не совпадения — случайные или условные, — не степень общей близости поэтики Анны Ахматовой и Некрасова, а сама идея открытости, незамкнутости, живой восприимчивости поэзии. У Анны Ахматовой эмоциональное полнокровие ее стихов, образы русской природы, обиход сельской жизни, многокрасочный и разноголосый строй наблюдений решительно разрывают границы «интимного романа». Больше того — создают другой эмоциональный центр, другой «сюжет», где природа, родина, Россия занимают главное место. И опять же начиная с самых ранних стихотворений и книг.

Границы «интимного романа», если он вообще может быть выделен как самостоятельное целое без серьезного насилия над самой сутью лирики, разомкнуты и сметены глубоким и жадным интересом к миру, обостренной наблюдательностью и потаенной страстностью, которые у Анны Ахматовой прорываются не только в диалоге с любимым, но и в другом, более важном диалоге с жизнью в ее целостности, с историей, с землей тверской, новгородской, петербургской — вообще российской.

## 6

Так тема поэзии — в связи с творчеством Анны Ахматовой — предстает темой не столько даже литературной, сколько широко жизненной. Здесь не только построение особой манеры, в споре с символизмом вернувшей прозаическую полновесность слову, его основное значение через непосредственность дневниковой записи и аналитичность психологического положения, а явление цельного и гармоничного, подлинно жизненного характера, включившего в свою личную жизнь и переживание интимного чувства — любви ли, разрыва, измены, возвращения — и весь остальной громадный мир, измеряемый обычно уже категориями природа, история, время, наличная действительность.

Дело тут не в словах, как может показаться, а в нераздельности бытия — чувства — мысли. В цельном переживании в одном акте далекого и близкого. В могущественном захвате в личную сферу общего и превращении его в осязаемо конкретное. Долгое время по сути универсальная гармония стиха Анны Ахматовой воспринималась как фрагменты женского дневника, страницы частной жизни, чуть ли не как наивная бессознательная фиксация ощущений. Меж-

ду тем молодая Анна Ахматова времен «Белой стаи» уже в 1915 году писала такие стихи, в которых высказывал себя особый жизненный характер и высшая гармония:

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,  
Прозрачный, теплый и веселый...  
Там с девушкой через забор сосед  
Под вечер говорит, и слышат только пчелы  
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно  
И чтим обряды наших горьких встреч,  
Когда с налету ветер безрассудный  
Чуть начатую обрывает речь...

Наружно тут все как будто укладывается в схему интимного переживания. Оно, как вообще у Анны Ахматовой, запутанное, трудное, напряженное.

Горькие встречи превратились в молчаливый обряд. Что-то до конца исчерпано в отношениях — и ничего нельзя объяснить. Чуть начатая речь обрывается. Ситуация становится еще напряженнее и сложнее. А есть же где-то «простая жизнь и свет» — вспомним другие стихотворения, — там дымится «тело вспаханных равнин», наливаются восковым зерном рожь, а «к колосу прижатый тесно колос с змеиным свистом срезывает серп». Есть немудреная, искренняя и открытая любовь, ведущая «нежнейшую из всех бесед» через ограду, на виду у пчел и солнца...

За этой интимной ситуацией угадывается преданность чему-то большему, высшему, главнейшему:

Но ни на что не променяем пышный  
Гранитный город славы и беды,  
Широких рек сияющие льды,  
Бессолнечные, мрачные сады  
И голос Музы еле слышный.

Поглощен, стал личным переживанием весь классический Петербург. Поглощена и литературная традиция, жуткие его описания — от Пушкина и Гоголя до Блока и Достоевского — уступили место сжатым и прозрачным эпитетам («пышный», «гранитный», «город славы и беды»), в неразвернутой емкости («банальности») которых затаены главные историко-культурные определения. И в то же время Петербург предстает здесь как бы в непосредственности бросающихся в глаза очертаний и красок — мрачные парки. «широких рек сияющие льды»... Мы же вправе еще отметить точность и обдуманность этих образов. Их осмысленную дальнорочность и наполнен-

ность общим — историческим и современным — содержанием.

Что это так и есть, доказывают стихи, написанные несколько лет спустя — все о том же городе, — где каждая строчка уже прямая формула преданности, мужества, решимости:

И мы забыли навсегда,  
Заключены в столице дикой,  
Озера, степи, города  
И зори родины великой.  
В кругу кровавом день и ночь  
Долит жестокая истома...  
Никто нам не хотел помочь  
За то, что мы остались дома...

Остались, «город свой любя», в годы разрухи и голода, чтобы сохранить «его дворцы, огонь и воду». Остались вопреки зову покинуть «край глухой и грешный», вопреки клевете и осуждению.

Но вернемся к стихотворению 1915 года. Не однолинеен и его внутренний, психологический ход. Он не исчерпывается противопоставлением «простая жизнь» — сложность и запутанность с их горечью. Сверх этого мотива отношений двух сердец есть еще «живем торжественно и трудно» как параллель надличному бытию — «город славы и беды», — включенный в любовное переживание.

Анна Ахматова, может быть, впервые в русской поэзии любовь двух людей почувствовала и показала таким универсальным, таким наполненным чувством, которое способно объять всеобщую жизнь, сделать ее принадлежностью этой любви, обратить самую ее даль, определяемую абстрактными понятиями — категориями — в конкретный образ, непосредственную данность, эмоцию.

Не только слову возвращала Анна Ахматова его изначальную ценность, непосредственную значимость, естественный смысл. Она с необыкновенной твердостью и смелостью увела поэзию от всякого рода абстракций. Но не потому, что вовсе от них отвернулась или противопоставила им быт, интим, мгновнность. Она преодолела их, снова наполнив жизнью. Надмирное, уже парящее как бы вне времени, она опять сделала реальным в новом историческом и своем личном времени.

Этим даром Анна Ахматова владела с самого начала. В книге «Вечер» есть обаятельное стихотворение, которое часто комментируют, но едва ли полно понимают:

Смуглый отрок бродил по аллеям,  
У озерных грустил берегов,

И столетие мы лелеем  
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко  
Устилают низкие пни...  
Здесь лежала его треуголка  
И растрепанный том Парни.

Что это? Эту, лирический вздох, сон наяву?

Дело в том, что и живая культурная традиция в поэзии временно способна абстрагироваться. Лица превращаются в лики. Строки, исполненные огня,— в цитаты. Образы, оплаченные кровью, подтвержденные судьбой поэта,— в застывшие эмблемы. Живой человек понимается как система. Как собрание полезных советов и символических качеств.

Пушкина не однажды пытались умертвить пушкинисты, сделав из него концепцию. Анна Ахматова, глядя на эти обескровливающие усилия, вернула Пушкина в лицей, в царскосельские парки.

То есть не совсем так. Было время — «бродил по аллеям», грустил у озер. Но иглы сосен устилают пни, как столетие назад. И «здесь лежала его треуголка». След попал в след. Время сомкнулось со временем. Сила и глубина чувств Ахматовой вернули поэта — «столетие мы лелеем еле слышный шелест шагов». Он пришел как вечная и единственная жизнь, которая когда-то предстала его взору. Это она делает его поэзию реальностью нашего бытия. Это ли не даль — временная, столетняя, уже цепенеющая и абстрагирующаяся, которая приблизилась, потеплела, стала нашей жизнью!

Анна Ахматова не прибегала к стилизации. Они ей враждебны. Стилизация — это обыкновенно и есть охлаждение творческого импульса, механическое движение в безвоздушном пространстве, превращение живого в мертвое.

Связь Анны Ахматовой с культурной традицией жизненна, кровеносна, произнесем даже это слово — интимна. Но ахматовская интимность не помогает ли принимать традицию не как внешнее правило, а как жизнь, которую мы прежде чувствуем, а потом осознаем? Не руководствуемся которой, а в которой пребываем? Это ведь большая разница: знать правила или просто жить как дышать, не замечая этих правил, носить их дух на нервных окончаниях.

Сколько раз и с каким восторгом приводились ахматовские строчки из стихотворения «Царскосельская статуя»: «Смотри, ей

весело грустить, такой нарядно обнаженной». Как классический пример оксюморона они вошли в словари поэтики, хрестоматии. Однако прямо или косвенно относили их все-таки к «интимному» роману. Что и говорить, интонации в самом деле глубоко личные. Но герои этого романа — Пушкин, воспетая им дева, время...

Уже кленовые листья  
На пруд слетают лебединый,  
И окровавлены кусты  
Неспешно зреющей рябины.

И, ослепительно стройная,  
Поджав незябнувшие ноги,  
На камне северном она  
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх  
Пред этой девушкой воспетой.  
Играли на ее плечах  
Лучи скудеющего света.

И как могла я ей простить  
Восторг твоей хвалы влюбленной...  
Смотри, ей весело грустить,  
Такой нарядно обнаженной.

Это знаменитая девушка с разбитым кувшином, прославленная Пушкиным в его гекзаметрах «Царскосельская статуя».

Ситуация, в чем-то сходная с той, что и в стихотворении «Смуглый отрок бродил по аллеям...». Пейзаж Царского Села, написанный с ахматовской точностью, скупостью, остротой. Он сиюминутный и вечный. Сегодняшний и тот — абсолютный — пушкинский. Снова одно время вошло в другое. Там через иглы сосен, здесь вместе с «этой девушкой воспетой».

Только теперь связь еще крепче, еще живее. Роман — через столетие — вполне жизнен и реален. Дева, на которую Пушкин излил «восторг хвалы влюбленной», вызывает у Анны Ахматовой и «смутный страх», и восхищение, и ревность. Но соперничество кончается тем, что она как бы отнимает ее у Пушкина, осветив излучением нового чувства, своего поэтического огня. И вот эта дева, ослепительно стройная, неподвластная времени, замершая на северном камне в вечной грусти, вдруг словно теплеет, оживает, одухотворяется, приняв на плечи лучи «скудеющего света», оваянная бессмертной любовью и непосредственным восхищением всех проходящих мимо. Среди тоски окровавленных осенью кустов, слетающих кленовых листьев, стывших прудов она вдруг освещается счастьем и весельем. И рождается это — те-



Анна Ахматова и здесь избегает каких бы то ни было отвлеченностей, сухой логики понятий. В стихотворении о творчестве ни разу не сказано — творчество, поэт, вдохновение или что-либо подобное. А самый обостренный психологический момент — опаленное горячим ветром сознание, этот образный вывод важен для нее не в отвлеченном или абсолютом значении. Он естественно обращен обыкновенной земной любовью, непосредственным желанием сказать главные слова, оживить «голоса незримых», заглясти «венцом червонным» хрупкую розу...

Перед вдохновением открывается не железная колея метафизических законов, а живая тропинка к любви, сотворению красоты, пониманию. Простирается не всеобъемлющая абстракция, а неисчерпаемые возможности жизни.

Муза становится идеальным двойником Ахматовой: она сопровождает поэта, вникает в его чувства и как бы подсказывает ему истинное отношение к жизни.

Характер музы развивается так же, как и характер поэта. В пору, когда определялся характер молодого поэта, определился и характер музы.

Зачем притворяешься ты  
То ветром, то камнем, то птицей?  
Зачем улыбаешься ты  
Мне с неба внезапной зарницей?

Не мучь меня больше, не троны!  
Пусти меня к вещам заботам...  
Шатается пьяный огонь  
По высохшим серым болотам.

И Муза в дырявом платке  
Протяжно поет и уныло.  
В жестокой и юной тоске  
Ее чудотворная сила.

Муза, все так же предлагая поэту бесконечность и неисчерпаемость живой жизни, улыбаясь, притворяясь «то ветром, то камнем, то птицей», исподволь вселяет в сердце неведомую прежде муку. Это новое чувство, новое жизнеощущение, освобождающее от юношеских иллюзий и неопределенности.

«...мир больше не чудесен...»

За текстом стихотворения — разор первой мировой войны, кровь, пожары. Это время, когда Анна Ахматова стала вслушиваться в пророческие голоса: «Ждите глады, и труса, и мора, и затмения небесных светил». И сама прикоснулась «к вещам заботам».

Жестокая и юная тоска ее музы — это ее

собственная тоска, тревожное предчувствие грозных для России дней, мировых катастроф, невозвратных потерь: «А здесь уж белая дома крестами метит и кличет воронов, и вороны летят».

Другими стали разлуки и печали. «В объятай пожарами, скорбной Польше» затеряна могила одного. «Я не знаю, ты жив или умер» — сказано о другом. «Не за победой, за смертью» ушел третий, и воображению чудится «холм изрытый над окровавленным Днестром».

И вот одна осталась я  
Считать пустые дни.  
О вольные мои друзья,  
О лебеди мои!

Теперь ее муза предсказывает, остерегает, печалится, скорбит.

Характер обрел строгую и чеканную форму: «Ни праздного, ни ласкового слова уже промолвить не могу».

Все закоулки души провеяны ветром времени. Просквожены навывлет, продуты. Целующиеся губы пророчат беду. На них горечь понимания. Все личное, каким бы глубоким, отдельным и тайным оно ни было, бесповоротно и всецело включено в безоглядный бег времени, который не знает ни снисхождения, ни пощады. Личное отворено настежь, роздано, перелито в общую жизнь:

Земной отрадой сердца не томи,  
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,  
У своего ребенка хлеб возьми,  
Чтобы отдать его чужому.

## 8

Поэзия такого диапазона и внутренней насыщенности, как у Анны Ахматовой, притягивает к себе, заключает в круг глубоко личных чувств самый воздух времени, рассеянные в нем нравственно-психологические токи. Ее поэзия драматична, погружена в сердцевину переживаний, чело-вечна. Это очень много.

Чем дальше, тем плотнее становится материя стиха Анны Ахматовой, точнее поэтические определения, сосредоточеннее чувство, строже мысль.

Одно из поздних стихотворений — 1961 года — называется «Родная земля»:

В заветных ладанках не носим на груди,  
О ней стихи навзрыд не сочиняем,  
Наш горький сон она не берedit,  
Не кажется обетованным раем,  
Не делаем ее в душе своей  
Предметом купли и продажи,



Хвора, бедствуя, немотствуя на ней,  
 О ней не вспоминаем даже.  
 Да, для нас это грязь на калошах,  
 Да, для нас это хруст на зубах.  
 И мы мелем, и месим, и крошим  
 Тот ни в чем не замешанный прах.  
 Но ложимся в нее и становимся ею,  
 Оттого и зовем так свободно—своею.

Эпиграфом «И в мире нет людей бесслез-ней, надменнее и проще нас» оно связано со знаменитым «Не с теми я, кто бросил землю...» (1922) и замыкает круг постоянных разговоров с землей, родиной, Россией. Это уже не пейзажи милых сердцу парков и сельских уголков. Не умильные улыбки природы. Не щемящая грусть смен-н<sup>н</sup> времен года. Но земля в собственном смысле слова.

Анна Ахматова находит точные образы-формулы. Ведет прямую и непрерывную нить размышления. Это голос опыта. Пережитое и передуманное много раз. Итог долгой жизни.

Анна Ахматова сознательно пренебрегает украшениями, которые готова подсказать услужливая память, возвышенными речами, приличествующими такому важному поводу, и тем меньше превращает свою мысль в абстракцию, в очищенное понятие, эмблему. Оставляет она лишь то, что есть. Неминуемое. То, что так или иначе случается со всяким человеком, прожившим долгую жизнь: болезни и бедствия, «грязь на калошах» и «хруст на зубах», ежедневное преодоление тяжести земной. Все, что пришлось испытать и вынести. Все, что было твоей совестью, твоей правдой, твоей судьбой, не игравшей в слова, не искавшей выгоды. Когда можно сказать: «И мы мелем и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах».

«Родная земля» — о верности, мужестве, достоинстве человека, делающего главный выбор и отвечающего за него жизнью. Есть в этом выборе высочайшая свобода — в самых трудных обстоятельствах быть самим собой, звать эту землю своею, стать ее неделимой частью...

Один из сильнейших двигателей поэзии Анны Ахматовой — мотив поведения. Поведения в любви, творческого, гражданско-го. Впрочем, для нее все это едино, неразсторжимо, связано и предполагает цельность, самостоятельность, достоинство, собранность и постоянство личности, проявляющей себя с неизменной определенностью и характерностью.

Анна Ахматова обладала неистощимой

любопытностью. Для нее все было интересно. Она много знала, много помнила, отличалась тончайшей интуицией. У нее был чудесный дар понимания. Она умела замечать мелочи и по ним восстанавливать важное и значительное. Знания Анны Ахматовой были подробны, конкретны и разнообразны. Идеал — пушкинская точность, широта и гармония.

Явить личность в этом безграничии восприимчивости, интересов, потребностей куда труднее, чем выказать характер в узкой или специальной области. Между тем Анна Ахматова всегда шла навстречу новым знаниям, впечатлениям, предчувствиям. Грандиозные события происходили в самой жизни, вовлекая целые страны и континенты. Вдосталь было трудного, драматичного, трагедийного.

Личность Анны Ахматовой больше всего высказалась в интенсивности переживания, в том могущественном захвате в свою орбиту причин и следствий, когда сами они как бы взаимно уничтожаются и растворяются, уступив место эмоциональному углублению, сосредоточению, преображению:

И упало каменное слово  
 На мою еще живую грудь.  
 Ничего, ведь я была готова,  
 Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:  
 Надо память до конца убить,  
 Надо, чтоб душа окаменела,  
 Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета  
 Словно праздник за моим окном.  
 Я давно предчувствовала этот  
 Светлый день и опустелый дом.

Нам не дано знать это «каменное слово» и точное содержание памяти. Ясно только, что случилось нечто горестное и трагическое. Безжалостное «каменное слово», как приговор, отняло дорогого человека, опустошило дом, внесло разорение в душу... Но дело тут не столько в нем, сколько в огромном внутреннем сопротивлении, в великой воле к жизни, мужественности и непреклонности. На убийственный приговор отвечает окаменением души и новой, возвращенной на этом разорении жизнью, неподвластной жестокости и равнодушию любых «каменных слов».

Поэзия Анны Ахматовой была восприимчива к тому, что происходило вокруг. Она испытывала новые давления, приложения новых сил. Восприимчивость ахматовской

поэзии особая. Она включала в себя не столько факты, события, сколько их следствия, их влияния на человека, нравственно-эмоциональные выводы. По скрытым подземным толчкам, по их разрушительной и созидательной силе нетрудно судить о характере событий, об их размахе и действии на людей.

## 9

В жизни важны не только улыбки, радости, счастье. И не только труды и беды. По сути, для поэта важно все.

В цикле стихотворений «Тайны ремесла» Анна Ахматова очертила границы своего космоса:

Многое еще, наверно, хочет  
Быть воспетым голосом моим:  
То, что, бессловесное, грохочет,  
Иль во тьме подземный камень точит,  
Или пробивается сквозь дым,  
У меня не выяснены счеы  
С пламенем, и ветром, и водой...  
Оттого-то мне мои дремоты  
Вдруг такие распахнут ворота  
И ведут за утренней звездой.

Анна Ахматова думает о двух главных устремлениях поэзии. Вглубь, к тому, что «бессловесное грохочет», разрушает «подземный камень», «пробивается сквозь дым». К их тайнам — невыразимому, подспудному. И к стихиям вольным, освобожденным — счеы «с пламенем, и ветром, и водой». Устремления вдаль — «за утренней звездой». Она не ставит внешних ограничений. Интуиции могут быть сколь угодно изощренны и тонки. Мысли — широки и емки. Пространственные завоевания мало интересовали Анну Ахматову. Или, точнее, она считала их возможными или состоявшимися лишь в том случае, если они оказывались принадлежностью чувства, источником переживаний, захватывали нравственную сферу. В этом смысле Анна Ахматова отличалась большой разборчивостью. То, что ее не трогало, она не могла поместить в стихи. Умозрения, даже самые фантастические и по-своему красочные, ей решительно противопоказаны.

Но другое дело — ум, мысль, идея поэтическая. Без мысли нет стихотворения. Ум, так же как и вся личность поэта, участвует в его создании. Только ум в поэзии особенный, выказывает себя иначе, нежели в

рассуждении, соотносящем понятия, или в науке. В «Тайнах ремесла» есть стихотворение «Творчество», с большой тонкостью показывающее это отличие ума поэтического, поэтической мысли:

Вываает так: какая-то истома;  
В ушах не умолкает бой часов;  
Вдали раскат стихающего грома.  
Неузнанных и пленных голосов  
Мне чудятся и жалобы и стоны,  
Сужается какой-то тайный круг,  
Но в этой бездне шепотов и звонов  
Встает один, все победивший звук.  
Так вокруг него непоправимо тихо,  
Что слышно, как в лесу растет трава,  
Как по земле идет с котомкой лихо...  
Но вот уже послышались слова  
И легких рифм сигнальные звоночки, —  
Тогда я начинаю понимать,  
И просто продиктованные строчки  
Ложатся в белоснежную тетрадь.

Перед поэтом в минуту вдохновения является некое жизненное «все» или «весь мир». И бой часов как напоминание о времени, и раскаты грома, и пленные голоса, и жалобы, и стоны... Все явное и все тайное, дальнейшее и близкое спешит обрести речь, стать словом, выразить себя.

Но поэт не может повторять мир, создавать его двойника. Он среди этого неясного гула и шума, в немой, не высказавшей себя жизни интуитивно находит один всепобеждающий звук. Этот звук подчиняет себе все остальное. При нем оно открывает свой смысл. И «слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо...». «Тогда я начинаю понимать», — пишет Анна Ахматова.

Стоны становятся словами. Пленные голоса получают свободу. Жизнь начинает говорить. Она уже сама диктует строчки, лежащиеся на белоснежный лист. Создается новый гармонический ряд, где красота объединяется с правдой, освещена лучом понимания.

С понимания и начинается творчество. Истому чувств, чутко прислушивающихся к шорохам и звонам, вспышки мгновенных интуиций сменяет властительный ум. Он раскрывает тайны. Опознает неузнанные голоса. Через понимание достигается гармония. Чувственные реакции проходят испытания умом. Красота поверяется достоинством правды.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Бочаров.** Бойцовский темперамент.— **Юрий Яновлев.** Исповедь поэта.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**И. Григулевич.** Пропагандистская машина США буксует.— **Н. Эйдельман.** Первая книга о Дашковой.— **Н. Агаджанян, А. Катков.** Современный человек и сердце.

## Литература и искусство

### БОЙЦОВСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ

**Лев Якименко.** Городок. Роман. «Москва», 1979, № 4.

**Л**ев Якименко не успел завершить многое из задуманного. Но то, что он успел, значительно и интересно.

Он, бесспорно, крупнейший исследователь шолоховского художественного мира. Монография «Творчество Шолохова» издавалась трижды, причем автор каждый раз дорабатывал ее, уточняя те аспекты, по которым возникала к тому времени полемика среди исследователей. Он был темпераментным и острым критиком. Заметным событием стал выход его книги «На дорогах века», посвященной проблемам метода социалистического реализма и современному литературному процессу.

Но была потребность у Льва Якименко выразить себя и в художественном творчестве. Серьезный ученый, авторитетный критик, заведующий кафедрой в Академии общественных наук, он все больше и больше времени отдавал прозе. Одна за другой вышли повести, составившие в конечном счете автобиографическую трилогию: «Куда вы, белые лебеди?», «Все впереди», «Жеребенок с колокольчиком» (1968—1974). Это трилогия о юношах сорок первого года, о тех, кто шагнул в войну почти сразу же после выпускного школьного вечера (тогда они еще не именовались балами) или про-

учившись год-два в институте. О поколениях, чье детство пало на время коллективизации, крутого поворота всей народной жизни; именно в эти грозные годы начинали познавать мир, определяться в нем ребята, ставшие десятилетие спустя солдатами. Это трилогия о революционных традициях, питавших мужество участников Великой Отечественной. Наконец, это трилогия, насыщенная мыслями о проблемах бытия, и прежде всего о нравственной ответственности и активности человека.

Книги были рождены не сентиментальным побуждением запечатлеть невозвратимые годы детства и юности, а желанием увидеть в судьбе человека истоки жизненной стойкости и энергии целого поколения. Это не только биография Алексея Ялового, героя трилогии, но и биография поколения. И может быть, больше даже биография поколения, чем биография Ялового.

Алексей Яловой — это как бы светлая память автора о героическом поколении. Память, отсеявшая все мелкое, незначительное, оставившая только крупное, приметное, характерное. Для всех повестей примечательны резкая поляризация характеров и романтическая приподнятость тона.

Автор поэтизирует героев, в которых предстало великое фронтовое братство, скрепленное пролитой кровью.

Конечно, временами Якименко-критик давил на Якименко-прозаика, заставляя излишне пояснять показанное, лишая подчас душевные движения героя их непосредственности. И все-таки трилогия сохранила стойкий внутренний жар. В ней глубокие раздумья над жизнью, природой мужества, нераздельностью личных судеб с народной судьбой.

Писатель, наверное, тогда обретает подлинную зрелость, когда совершает шаг от автобиографического повествования к эпическому полотну, когда, говоря современным языком, съемка жизненных картин ведется уже несколькими телекамерами, что позволяет менять ракурсы, перемежать крупный и общий планы, совмещать изображения. В романе «Городок», увидевшем свет уже после смерти автора, Лев Якименко и осуществил такую «многокамерную съемку».

Само реальное и метафорическое название места действия (Городок) вызывает у нас ощущение провинции — извечной точки пересечения столиц и глухомани, веяний и устойчивости. Здесь уже нет сельской малоподвижности и в то же время отсутствует суетность больших городов. Словом, перед нами та глубинка, в которой вышукло, приметно, основательно отражается движение жизни. И, как на всяком перекрестье, многое выглядит четче, яснее. Для изображения этой жизни и потребовалось писателю несколько камер, несколько точек съемки.

Одна — взгляд редактора районной газеты Божко, пытающегося здраво и заинтересованно разобраться во всех узлах, узелках, узелочках, с которыми его сталкивает профессия и человеческая судьба. Это очень своеобразный герой — не автобиографичный, не «рупор автора», но по своему облику необычайно близкий и дорогой ему. Близкий своим жадным интересом к жизни, неуступчивостью, совестью и каким-то удивительным сочетанием твердости в основных принципах, в деле и слабой душевной защищенностью от бытовых невзгод. Другая точка — взгляд его антипода газетчика Кульбабкина, снедаемого злобой и честолюбием, видящего во всем лишь «гнильцу», материал для публичного разоблачения. Третья камера дает как бы общий план, картину жизни: то выхва-

тит фигуру знатного комбайнера Гриценко, то запечатлеет первого секретаря райкома партии в его поездке по району с приезжим писателем, то проследует за женой Божко, учительницей, посещающей дома своих учеников. И автор, как режиссер, умело переключает камеры для выхода в эфир. Именно авторская позиция собирает воедино относительно самостоятельные блоки повествования.

В этом романе совсем нет автобиографичности, мало лирических пассажей, бывших до того неотъемлемой частью прозы Л. Якименко, но по-прежнему явственно ощущается его бойцовский дух, открытое любованье тем, что ему по душе, и прямая полемика с тем, что не устраивает в жизни. По-прежнему характеры резко полярны — либо положительные, либо отрицательные. Но сама диалектика поведения героев, сами переплетения жизни стали многосложнее, многослойнее.

Хорошая семья у Ивана Павловича Божко, сердечные отношения у него с женой и дочерью. И вдруг, как говорится, пошло-поехало. Обнаружили раковое образование у жены, поддалась легким соблазнам мотыльковой жизни семнадцатилетняя Светлана. Сорвался Иван Павлович, застав однажды у себя в квартире разгульную компанию «патлатых», отстегал ремнем дочь. Ушла из дома оскорбленная Светлана, а вскоре умерла жена. Одиноким, потрясенным, пытавшимся покончить с собой — таким предстает Божко к концу повествования. Еле брезжит надежда на то, что и впрямь, как сказано в последней фразе романа, «по-новому заворачивала жизнь». Что случилось, где и как проглядели хорошие люди, хорошие родители свою дочь? Прямого, однозначного ответа на этот вопрос нет. И нет пригодного на любой случай объяснения.

Сложно разворачивается и судьба первого секретаря райкома партии Лобанова. Деятельный, энергичный, честный, он много сделал для района за шесть лет своего секретарства. Глава, живописующая утреннее совещание в райкоме по благоустройству Городка, едва ли не лучшая в романе — она исполнена живых примет, тонких наблюдений, художественной достоверности. Но в какой-то решающий момент не смог Лобанов ни противостоять крутой команде сдать зерно сверх плана, ни с должной энергией добиваться сдачи такого количества. Он медлил, колебался, понимая, что побед-

ный рапорт грозит обернуться бескормидцей, прямым ущербом животноводству района. Кончилось тем, что Лобанова перевели на пенсию, а для него пенсия не заслуженный отдых, но наказание. Подрублено кряжистое дерево. Что случилось, с чем он не сумел совладать, где дали промашку другие? И снова об этом должен думать сам читатель без растолковывающей подказки автора.

Так перепутывается все в жизни. Старшина милиции, крупная, сильная личность Людмила Штанько, гроза окрестных пьяниц, сама оказывается замешанной в неблагоприятных делах. Передовой директор винзавода Городинский был, как выявило расследование, крупным махинатором, дельцом; его недолгое преуспеяние — прогляд-дел-таки поддерживавший его Лобанов! — закончилось исключением из партии.

Возможно, такое изложение заставит заподозрить прозаика в сгущении красок, нарочитых поисках «червоточинки». Но Л. Якименко не обходит реальных противоречий, не тушует перед ними, ибо исполнен веры в непреходящую победу добра.

И дело вовсе не в том только, что он дает и светлые фигуры: Божко, его жена Александра Федоровна, директор совхоза Сероштан, молодой, задиристый агроном Тищенко с его идеей «щадящей» целинной обработки почвы в кубанских условиях. Не процентное соотношение плюсов и минусов, успехов и недостатков, хороших и плохих людей для нас важно — важна реальная авторская оценка происходящего, отчетливое прояснение тенденций жизни. Авторская же оценка здесь безукоризненно точна.

Активность жизненной позиции Якименко видна, к примеру, в разговоре Лобанова и Сероштана. Твердый, прямой, деловитый — недаром он Герой Социалистического Труда! — Сероштан неуступчиво стоит на своем: «Я директор государственного предприятия, с меня требуют выполнения плана, но и я требую, чтобы мои заявки удовлетворялись». А Лобанов знает, что в реальных условиях многое зависит от того, как сумеешь принять, попотчевать нужного человека: «Расходы на рубли, а польза на тысячи». Позиция Сероштана, конечно, предпочтительнее. Но позиция Лобанова, что там скрывать, весьма жизненна. Вот и директор соседнего совхоза Гаврилов вступает в спор: «Государство большое. Всего не учтешь, не запланируешь, самим инициативу тоже надо проявлять».

Автор не встает здесь открыто ни на чью сторону, он понимает, что за этим спором «разные требования, различное понимание сложившегося механизма управления, служебных отношений, снабжения...». Слово сложившегося механизма — эти слова далеко не случайны. Для Якименко при всем присущем ему нравственному максимализму фронтного поколения неизменно существует реальность. Реальность, которую нельзя сбрасывать со счетов.

И все-таки авторское отношение к этому спору в книге есть. Оно отчетливо проглядывает в коротенькой главке «Из записей И. П. Божко». Среди форм разобщения, «противных самому духу нашего общества», Божко отмечает злокачественную «услуга за услугу» и задумывается над тем, не написать ли роман о молодом директоре совхоза, на которого давят подобные сложившиеся уже отношения. Глубоко примечателен комментарий Божко к своему замыслу: «Воюем с этим страшно. Победа в одном месте, поражение в другом. Сколько сил будет уходить на, казалось бы, мелочную, но изнурительную борьбу? Что останется для главного?»

Наверное, читатели романа почувствуют, что не все одинаково удалось автору. Излишне мелодраматичной и малодоверной представляется мне история скитаний Божко после смерти жены: в людях такого склада и такой многолетней втянутости в работу необычайно сильна внутренняя дисциплина, которая удерживает от ложных поступков. Налет мелодраматичности есть и в исповеди комбайнера Гриценко о его любви к молодой жене Панае.

Но все это я расцениваю как частные издержки жгучего желания увидеть и показать противоречия жизни, ее многосложность. В самом деле, нелегко уловить истинное движение потока — не пену, затейливо кипящую на гребне волн, и не те придонные глубины, которые остаются недвижимы даже при сильной буре, а те слои, где аккумулируется энергия бурь: нелегко расквашиваются, зато и не сразу успокаиваются.

Именно силу, движение этих слоев пытался уловить Л. Якименко. В отличие от автобиографической трилогии он не старается здесь прямо навязывать свою волю, давать свою оценку, объяснять свое восприятие. Жизнь течет по своим законам. И, пожалуй, единственное, в чем ощущается твердая направляющая режиссура автора, — он не дает нравственного права тор-

жестовывать плохим, мелким людям. Терпят крах упования Говоркова, начетчика и карьериста, занять пост первого секретаря райкома, остается ни с чем Кульбабкин, активно помогавший Говоркову в плетении интриг. Жизнь в своем поступательном движении, при всех зигзагах и петлях, не всегда воздавая должное за добро, мешает все-таки восторжествовать дурному. В это твердо верил — можно даже сказать, веровал — Лев Якименко.

Вот упомянут Кульбабкин. Пожалуй, это самая сложная фигура романа. В его деятельности обнаруживается то, что все мы ценим в журналисте, — готовность резко и бескомпромиссно бороться с общественным злом, бестрепетно выжигать все проявления корысти, мздоимства, беспринципности. Это он «дожимал» директора винзавода Городинского, он настаивал на расследовании денежных манипуляций Штанько. В известном смысле он обладает абсолютным нюхом на антиобщественные явления. Но как-то причудливо преобразовалось это у него в недоверие к людям вообще, в допущение того, что у каждого человека сыщутся проступки, стоит только приглядеться. Уже в первой его самоаттестации мы чувствуем какой-то надрыв, пережим. Вчитаемся в эти строчки: «Работа в газете для меня не средство существования (заработать — и гораздо больше! — я мог бы на любом месте), моя газетная служба имеет другую функцию. Я — боец!.. Никому не спущу! Мимо недостатков не пройду! По этой причине или по другим свойствам характера, но только пришлось мне многое претерпеть. И наветы, и обиды, и прямые угрозы. Даже покушения были! Кто любит ныне принципиальных? Таких, которые метлой пройдутся, всех и вся на чистую воду выведут, никто не любит!»

Всех и вся! Не всех нарушителей, а всех, кого захочется вывести на чистую воду. Потому так легко, не проверив основательно факты, он обвинил в хищениях директора прокатного пункта Бутенко: на такой должности, убежден газетчик, нельзя не жульничать. И это привело к смерти честного человека, не перенесшего облыжного обвинения. Смертью Бутенко художественно карает, осуждает писатель непомерное разоблачительное рвение Кульбабкина. А сколько неприязни вложил автор в изображение ночных любовных походов этого районного обольстителя. Для Якименко не мог быть общественно нравственным че-

ловек, безнравственный в личной жизни. Писателем владела убежденность в самой непосредственной связи между личным и гражданским поведением человека.

В этом романе Якименко впервые использовал оружие иронии, сатиры. Характеристики людей, к которым он относился неприязненно, в трилогии были своеобразным этическим манифестом героя. Прямым и четким. Да и в литературно-критической полемике Якименко — а он много полемизировал в своих критических статьях, его бойцовский характер явственно сказывался и там — тоже почти не использовалось оружие иронии, критик уповал на силу аргументации. Здесь же Л. Якименко опирается на силу сатирического впечатления, сама сатира у него больше склоняется к утрированию, к подчеркиванию, открытому цвету. Это не гротеск — объекты осмеяния не настолько страшны, — а именно утрирование, подчеркивание. На таком сатирическом эффекте построен рассказ о плакатах, которые были развешаны по прямому указанию Говоркова. На танцплощадке, где по вечерам свирепствуют вечерние роки и буги, красуется невольпад: «Любите и изучайте великое искусство народной музыки. Д. Шостакович», а над стойкой во вновь открытом баре — «Употребление спиртных напитков скотинит и зверинит человека. Ф. Достоевский».

Сатирическое утрирование особенно необходимо там, где включается одна из телекамер, — главы-монологи Кульбабкина. Это был трудный литературный опыт для писателя, прежде склонного к открытому лирическому, романтизированному, пафосному повествованию. Найти эту интонацию было не просто. Как соблюсти художественную меру в самораскрытии персонажа, антипатичного автору во всем, о чем бы он ни высказывался — о современной музыке, модах или своих жизненных целях? При чем автора интересует не психологическая тонкость и изощренность самооправданий и переживаний Кульбабкина, а обнаружение той точки зрения, той позиции, которая приводит к опасной aberrации взгляда на мир, ведет к озлоблению и в конечном счете к саморазрушению личности. Такие сдвиги — явление гораздо более широкое, присущее, понятно, не только профессии журналиста, но именно в этой профессии оно особенно губительно: объективная потребность газеты в критических материалах вдруг дает неожиданный эффект — человек

начинает упиваться своей властью карать или миловать.

Не станем, однако, преувеличивать реальный вес иронии в интонационном строе романа. Передавая многосложность жизни, писатель поднимает разные стилевые пласты. Иронично-повествовательная интонация сосуществует с лирико-пафосными пассажами о благословенном зерне, об осени с ее чудесной тайной смерти и обновления, о вечной памяти народа и непрерывно текущей нити исторического бытия человечества... И тут же красочные бытовые зарисовки вроде разговора Божко на площади с въедливыми пенсионерами. Главенствующая же стилистика стихия отмечена стремлением к энергичной разговорной речи, не отягощенной развернутыми описаниями, сложными стилистическими фигурами. Бойцовский дух автора сказывается и в этом: как можно энергичнее выявлять динамику

нравственных конфликтов. Автор любит беседы, диалоги, споры: в них прямо обнажаются точки зрения, завязываются конфликты, сшибаются противоборствующие характеры.

Именно после одной из бесед с чабаном — человеком, прошедшим сквозь многие боли, ошибки, невзгоды и теперь в степной тиши пытающимся разобраться в том, как жить, чтобы себя не ронять, — Иван Павлович Божко, выразитель авторского мироощущения, сказал то, «во что сам свято верил». Он говорит: «Человек на земле делом держится, любимой работой, семьей, детьми. Не нами придумано, с дедов-прадедов». В этих словах заключено твердое убеждение и самого автора. В это он верил, это отстаивал, с этих позиций оценивал людей. Этому посвятил свой последний роман.

А. БОЧАРОВ.



## ИСПОВЕДЬ ПОЭТА

Агния Барто. Записки детского поэта. М. «Советский писатель». 1978. 351 стр.

**А**гния Львовна Барто относится к тому счастливому отряду советских писателей, чьи имена знают в каждой семье и чьи стихи дети, становясь взрослыми, читают наизусть своим детям. Живой интерес к творчеству таких писателей всегда перерастает в интерес к их личности. У читателей возникает множество вопросов: их интересует и жизнь писателя, и его творческая лаборатория, и его общественная деятельность. На подобного рода вопросы и отвечает Агния Барто в своих «Записках детского поэта».

Трудно точно определить жанр книги: в ней звучат стихи и шелестят страницы дневников, воспоминания перемежаются с отчетом об удивительной и благородной деятельности по воссоединению семей, разбросанных войной. У этой книги огромная география — результат странствия автора по родной земле и за рубежом; книга густо населена множеством прекрасных людей. Мы узнаем о них нечто очень важное, с интересом рассматриваем их портреты, написанные пером поэта.

«Пытаюсь представить себе его семидесятилетним и не могу, — говорит писательница об Аркадии Гайдаре. — Продолжаю видеть его то по-детски озорным, то насупленным, то просветленным, но никогда не

будничным». Никогда не будничным! Почти всех своих товарищей по перу Агния Львовна запомнила «не будничными». Видимо, у нее есть дар взглянуть на человека как бы с солнечной стороны и запомнить его в лучшем, самобытном проявлении.

В книге А. Барто нет прямых, категорических характеристик, и портреты писателей — товарищей по перу написаны броскими, но очень точными, запоминающимися штрихами. Вспоминая свои встречи с Алексеем Толстым, А. Барто рассказывает о, казалось бы, незначительном эпизоде, когда Толстой попросил ее прочесть стихи о сверчке. «Алексей Николаевич слушал с детским вниманием, и я ждала, что он скажет. Но он сидел молча, задумавшись». Писательница недоумевала и только спустя годы узнала, что далеко на чужбине сверчок был для замечательного русского писателя символом родного края. В небольшом эпизоде со сверчком звучит отголосок большей драмы, которую пережил Толстой.

Буквально несколько страничек посвящено Льву Кассилю. Но как много в них точно подмеченных черт, как много верно схваченных и воспроизведенных «случаев из жизни». Вот Лев Кассиль открывает Неделю детской книги в Колонном зале. «В зале установилась та доверчивая тишина, ко-

торию он больше всего ценит, и дети как замороженные слушают его. А через минуту зал захохочет». Постепенно, штрих за штрихом возникает портрет чуткого и умного писателя, который, выступая перед детьми, прикованными к постели, старается употреблять поменьше глаголов («...они же не могут двигаться»), который лихо придумывает заглавия для произведений друзей и всегда находит время, чтобы написать письмо другу...

«Для поэтов Пушкин — почти религия», — утверждает Агния Барто в главе «После Михайловского». И рядом с этим высоким чувством, чувством любви к Пушкину, занятное наблюдение — девочка с утра пристает к матери: «Что мы подарим Пушкину на рождение?»

Агния Львовна пишет о многих людях. Но, пожалуй, главным героем ее книги, как и главным героем творчества и главным ее читателем, является ребенок. О ком бы она ни писала, в какой край света ни возвращалась памятью, перед писательницей обязательно возникает образ маленького человека. Она рассказывает о детях в объётой пламенем борьбы Испании, о наших детях в дни Великой Отечественной войны...

Всем хорошо знакома книга Чуковского — удивительная энциклопедия детских душ, вобравшая в себя плод многолетнего наблюдения за детьми. В «Записках детского поэта» разбросаны тонкие наблюдения за детьми, их высказывания. Автор выступает и как тонкий знаток ребячьей психологии и терпеливый собиратель детских высказываний и словечек, изучает детские рисунки и прислушивается к детской редакции своих стихов. И перед нами словно бы приоткрывается дверь творческой лаборатории большого детского поэта. Мы становимся очевидцами того искреннего разговора, который автор ведет сам с собой. «Все-таки самый искренний разговор — это разговор с самим собой».

В «Записках детского поэта» немало страниц уделено мастерству и самобытности поэта, пишущего для детей. «Прежде всего он (детский поэт. — Ю. Я.) должен обладать детскостью. Это дар природный, и заменить его ничем нельзя, — пишет Агния Барто. — Стихи для маленьких... должны быть обращены к чувствам, именно в этом назначение поэзии». Так, знакомясь с наблюдениями поэта, читая не очень известные стихи, мы вдруг делаем для себя удивительное открытие. Мы привыкли к

яркому сатирическому дарованию поэта, а у ее таланта есть еще одна очень дорогая грань — лиризм. Лиризм стихов А. Барто как раз в чувствах. А если у малыша какие-то чувства не пробудились, то они пробудятся! И поэтому, как говорит поэт, детские стихи надо писать «на рост». «Ребенок растет с каждым днем и, возвращаясь к стихотворению, понимает его глубже, по-новому».

Писательница рассказывает о работе над поэмой «Звенигород», посвященной послевоенному детскому дому. Именно в период работы над поэмой Агния Львовна со всей остротой почувствовала горе и одиночество детей, потерявших на дорогах войны своих родителей:

Вдруг настанет тишина,  
Что-то вспомнят дети,  
И, как взрослый, у окна  
Вдруг притихнет Петя...

Встречи с обездоленными детьми заставили писательницу переступить рамки чисто литературных интересов и сподвигли ее к большой, многолетней деятельности по воссоединению семей, разведенных войной. «Найдена по голубым тувелькам», «Найден по голубю», «Найден по „кукушке"», «Найдена по неживой матери» — прислушайтесь к названиям главок. Какая детская непосредственность и какой драматизм в их звучании. Это история поиска. Трагические прятки, в которых детская поэтесса «водила» девять лет. И вот короткая запись: «Соединено 927 семейств, но до сих пор каждое утро, разбирая почту, ловлю себя на мысли — вдруг кто-то нашелся?» Это итог. Неизмеримо огромный. Уже ради одного такого стоило жить. И дети, как бы отвечая на любовь к ним писательницы великой взаимностью, пишут ей: «Мы хотим, чтобы вы жили так долго, как слон».

Книга «Записки детского поэта» пронизана одной вечной во всех временах идеей — дети должны быть счастливы. Помочь им в трудную минуту, оградить их от бед — в этом писательница видит главное жизненное призвание. И хотя в книге много говорится о литературе, этот разговор тоже посвящен детям, потому что речь идет о литературе, которая помогает ребенку становиться настоящим человеком. И то, что книга «Записки детского поэта» пришла к читателю в год ребенка, тоже знаменательно. Агния Барто как бы отчитывается перед повзрослевшими читателями о своей деятельности — творческой и общественной.



Много лет назад на Втором международном конгрессе писателей в объёме пламенем гражданской войны Испании Агния Барто произнесла слова, прозвучавшие как клятва: «За смерть детей, за их умолкший смех, за угасшие детские глаза фашизм ответит перед всем человечеством». Теперь эти слова — история. И вместе с тем их острота не притупилась, и, думая о детях Чили и Никарагуа, мы повторяем их с верой и страстью.

В «Записках детского поэта» страницы, посвященные поездке А. Барто в Испанию, особенно впечатляющие — память поэта бережно сохранила воспоминания тех дней. Высокий драматизм, который писательница пережила на испанской земле, — это на всю жизнь. Испания как бы морально подготовила А. Барто к Великой Отечественной войне. И то, что в своем творчестве и в своей общественной жизни писательница всегда была на переднем крае времени, этим она, видимо, в большой мере обязана Испании. «Записки детского поэта» — книга, с одной стороны, очень личная, с другой — в ней отчетливо слышны ритмы времени. Не башня из слоновой кости, а строительная площадка эпохи — вот где было и остается рабочее место поэта.

Читаешь страницу за страницей и все явственней ощущаешь, с какой страстной энергией поэт Агния Барто вторгается в свое время, не обходя стороной и его огненные рубежи. Испания, Великая Отечественная война, борьба со страшными последствиями войны, борьба за жизнь без бомбежек и голода, за жизнь, которая нужна детям. И важно, что в каждом витке своего времени поэт и гражданин находят не просто свое место, но участок активной борьбы. Так рождается биография поэта трудная и интересная, биография, в которой творчество и жизнь нераздельны.

Свою необычную книгу Агния Барто начинает минорными строками: «В стихах почти каждого поэта с годами начинает звучать грусть об ушедшей молодости». Но уже через несколько строк, как бы преодолевая себя, поэтесса утверждает, что стихи, написанные для детей, должны быть «неистощимо молоды». Новая книга поэта, книга-исповедь, неистощимо молода. Она молода, как вся жизнь детского поэта, ибо устремлена вперед. У «детей нет вчерашнего дня, у них все — впереди». И у них и у тех, кто отдал им жизнь.

Юрий ЯКОВЛЕВ.



### Политика и наука

## ПРОПАГАНДИСТСКАЯ МАШИНА США БУКСУЕТ

К. А. Хачатуров. Идеологическая экспансия США в Латинской Америке. Доктрины, формы и методы пропаганды США. М. «Международные отношения». 1978. 263 стр.

Голливуд в «добрые старые времена» американской просперити называли фабрикой снов. С тех пор многое изменилось не только в США, но и во всем мире. Голливуд пришел в упадок, «фабрика снов» захирела. На смену ей пришла новая индустрия по ловле человеческих душ в сети «американского образа жизни» — индустрия пропаганды. Обосновалась она на Потомаке, а ее воротилами, главными продюсерами, режиссерами и актерами стали государственные деятели США. Следует ли удивляться, что в этой обстановке бывший герой дешевых ковбойских фильмов Рейган смог без труда переквалифицироваться из актера в политического деятеля крупного масштаба, стать

губернатором Калифорнии и даже замануться на кресло президента Соединенных Штатов.

Пропаганда в устах американских идеологов всегда имела привкус бранного слова, и неспроста. Под пропагандой они подразумевают стремление выдать черное за белое, извратить, исказить подлинную сущность событий и явлений, оболгать, оклеветать, облить грязью своих противников. Родиной такой пропаганды является США, как в этом красочно поведал миру еще Марк Твен в своем бессмертном памфлете «Как меня выбирали губернатором».

Пропагандистский аппарат США со своим американским политикам ханже-

ством и лицемерием прикрывает свою далеко не чистоплотную деятельность респектабельными вывесками, но от этого содержание и характер его работы не меняются.

Чилийские события, приведшие к свержению правительства Народного единства в сентябре 1973 года, со всей очевидностью обнаружили империалистические цели американской пропаганды. Как явствует из материалов, получивших огласку в ходе обсуждения деятельности ЦРУ в американском конгрессе, пропагандистские службы США за рубежом действуют в тесном контакте с главным шпионским ведомством. Непосредственное участие в подготовке фашистского переворота в Чили принимало Информационное агентство США (ЮСИА), которое через каналы органов массовой информации и пропаганды осуществляло мероприятия по дестабилизации правительства Сальвадора Альенде. Эти факты подробно изложены в докладе американского конгресса о подрывных действиях ЦРУ в Чили в 1963—1973 годах, изданном в Вашингтоне в 1975 году. Подобными примерами подрывной пропаганды США изобилует история и действительность и других латиноамериканских стран.

Что же представляет собой современный пропагандистский, а точнее — внешнеполитический пропагандистский аппарат правительства США, каковы его задачи, цели, методы работы? Об этом подробно рассказывает в своей книге доктор исторических наук К. Хачатуров, раскрывая их содержание на примере Латинской Америки.

Используя многочисленные источники и разнообразную литературу, автор рассекречивает подлинные замыслы и неприглядные дела американского аппарата внешнеполитической пропаганды, работающего под непосредственным руководством Белого дома. Этот аппарат, опираясь на громадные возможности современных масс-медиа (печати, радио, телевидения), стремится всячески содействовать претворению в жизнь экспансионистских планов американского империализма. С этой целью он демагогически представляет внешнеполитические цели США не как стремление к господству и экономическому порабощению, а как заботу о благосостоянии и безопасности других народов, которым якобы угрожает «советский коммунизм». Конкретно в Латинской Америке эта «забота» проявляется в беззастенчивом вмешательстве во внутренние дела стран

этого региона, использовании таких средств, как дезинформация, подкуп, шантаж, ложь, запугивание и т. д. И все же, несмотря на огромные средства, которые США тратят на внешнеполитическую проаганду (только по линии ЮСИА за четверть века было израсходовано 4 миллиарда долларов), американская пропаганда терпит частые провалы (классический пример тому — Куба) и вынуждена периодически осуществлять перетряску своих кадров, менять вывеску, искать новые пути и средства к достижению своих целей.

До недавнего времени главным американским пропагандистским ведомством являлось Информационное агентство США. В правительственных документах, выступлениях государственных деятелей и статьях буржуазной печати США всячески превозносился «благородный» характер целей ЮСИА. По словам крестного отца этого агентства президента США Эйзенхауэра, ЮСИА было призвано стать «хорошо организованным учреждением, распространяющим правду о Соединенных Штатах и о внешней политике США во всем мире». Значительно лаконичнее и прямолинейнее задачи ЮСИА определила газета «Нью-Йорк таймс», писавшая, что «цель агентства — обратить в свою веру тех, кого можно убедить». Автор книги документально показал методы этого обращения латиноамериканцев «в веру ЮСИА» — пропагандистское обеспечение реакционных, в том числе фашистских путей, организация «психологической войны» против социалистической Кубы, усиленная идеологическая обработка общественного мнения других латиноамериканских стран.

Латинская Америка — один из основных объектов деятельности пропагандистских органов Вашингтона. Именно там сосредоточено три четверти так называемых двунациональных центров, через которые ЮСИА вело пропаганду силами местных граждан. ЮСИА воздействовало на общественное мнение латиноамериканских стран, используя весь свой могущественный пропагандистский арсенал: издание журналов, книг, брошюр, организацию радиопередач, прокат телевизионных фильмов и документальных кинофильмов, создание «культурных центров», библиотек и т. п. Об откровенно антикоммунистической сути ЮСИА свидетельствует следующая рекомендация конгресса США: «ЮСИА и другие американские агентства должны усилить информацию

и различные программы, которые убеждали бы народы Латинской Америки в преимуществах свободы и угрозе их личному благополучию со стороны коммунизма». Пропаганда американского образа жизни — одна из целевых задач ЮСИА. Особенно массированный характер пропаганда эта обрела в связи с двухсотлетием образования США.

Руководители ЮСИА намеренно ставили знак равенства между «холодной войной» и идеологическим противоборством. «Нашей главной проблемой остается непонимание американским народом того, что мы вовлечены в психологически-политическую войну... Если под холодной войной понимать борьбу идеологий — войну, осуществляемую всеми другими способами, кроме военного конфликта, — то холодная война в плане борьбы за умы людей, очевидно, все еще продолжается... Если мы не готовы хотя бы верно осветить и пропагандировать идеи, в которые мы верим, нам не уцелеть», — заявил в 1972 году бывший директор ЮСИА Ф. Шекспир. Таким образом, руководители внешнеполитической пропаганды США объявили «холодную войну» непременным атрибутом идеологического противоборства и даже ее синонимом.

Весной прошлого года за океаном произошла новая смена вывески главного органа в области внешнеполитической пропаганды: вместо ЮСИА, действовавшего на правах самостоятельного ведомства, в системе Государственного департамента США было создано Управление по международным связям (УМС).

Причины реорганизации внешнепропагандистского ведомства США очевидны. С одной стороны, в условиях перехода от «холодной войны» к разрядке международной напряженности ЮСИА окончательно дискредитировало себя как орудие неприкрытой идеологической экспансии. Достоянием гласности стали многочисленные факты тесной связи ЮСИА с ЦРУ. С другой стороны, реорганизация ЮСИА была продиктована стремлением правящих кругов США всемерно усилить внешнеполитическую пропаганду, интегрировать ее с высшими эшелонами власти.

К чему же конкретно свелась смена вывески? Помимо прежних функций ЮСИА, включая руководство радиостанцией «Голос Америки», в ведение УМС были переданы функции, выполнявшиеся Государственным департаментом США в области образования

и культуры за рубежом. УМС в отличие от ЮСИА распространило свою деятельность не только на зарубежные страны, но и на территорию Соединенных Штатов. Директор УМС стал советником президента по вопросам внешнеполитической пропаганды. Наконец, был увеличен бюджет УМС, достигший в текущем году свыше 400 миллионов долларов.

Правительство США всячески пытается опровергнуть очевидный факт причастности УМС к подрывной пропаганде на мировой арене. Так, президент Дж. Картер заверил, что УМС не будет действовать тайно, не будет прибегать к манипуляциям и не будет вести пропаганду. Однако слова руководителей США расходятся с делом. В действительности УМС в еще больших масштабах продолжает заниматься подрывной пропагандой, крупномасштабными идеологическими диверсиями. Оно активно включилось в лицемерную кампанию в защиту «прав человека». Как писал американский еженедельник «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт» в статье «Новый подход к созданию представления о США за границей», «представители УМС за рубежом получили приказ постоянно информировать руководителей страны о реакции общественности на события в области внешней политики США, как, например, о позиции Картера по вопросу о «правах человека». Среди общественности США не случайно нарастает критика по адресу подрывной деятельности УМС. Так, в упомянутой выше статье отмечалось: «В США некоторые ученые и работники просвещения выражают беспокойство по поводу увязывания научной и культурной деятельности с поисками новостей и информации новым УМС. Это, опасаются они, позволит в большей степени, чем раньше, манипулировать ими в политических целях... Писателям и редакторам часто направляются указания, чтобы подчеркнуть заботу президента о таких проблемах, как права человека, и смягчить статьи о жизни в Америке, которые не отвечают интересам Белого дома». Действительно, миллионы людей в США и за рубежом задают резонный вопрос: как согласуется «забота» Дж. Картера о «правах человека» в социалистических странах с поддержкой империализмом США кровавых реакционных режимов, с грубым попранием основных прав человека в самих Соединенных Штатах? Но на этот вопрос

УМС не дает и не может дать вразумительного ответа.

Есть еще один новый момент в деятельности УМС, порожденный блокированием империалистических кругов США с пекинскими руководителями на основе совместной борьбы против Советского Союза, социалистических стран, национально-освободительного движения. Ныне УМС и его отделения за рубежом охотно подхватывают пекинские фальшивки и клеветнические инсинуации, распространяют их через каналы радиовещания, телевидения и местной «большой» прессы. Так выглядит сегодня чудовищный тандем империалистической и пекинской пропаганды, основанной на лжи, дезинформации и им подобных ингредиентах, без которых не обходится ни одна буржуазная идеологическая кухня.

Но как бы ни надрывались повара, стряпающие на этой кухне свои отравленные блюда, в конечном итоге им не избежать серьезных поражений. Недавние события в Никарагуа, Эфиопии, Афганистане, Иране, да и в других странах неопровержимо свидетельствуют о том, что народ можно держать в окопах и околпачивать десятилетиями, но не вечно. Рано или поздно, но наступает прозрение — и тогда бурю народного гнева не в силах сдержать ни танки, ни террор тайных полиций, ни потоки лжи и клеветы, запрограммированные в Вашингтоне. Вряд ли поможет в этой грязной игре и «китайская карта». К таким выводам приходит читатель своевременной и содержательной книги К. Хачатурова.

И. ГРИГУЛЕВИЧ,

член-корреспондент АН СССР.



## ПЕРВАЯ КНИГА О ДАШКОВОЙ

Л. Я. Лозинская. Во главе двух академий. («Страницы истории нашей Родины») М. «Наука». 1978. 143 стр.

**В**ышла книга о Екатерине Романовне Дашковой — и как этому не порадоваться!

Ум и талант необыкновенной женщины засвидетельствованы выдающимися мужчинами — Дидро, Франклином, Адамом Смитом, Герценом, Добролюбовым... Ее записки имеют достоинство важного исторического документа и художественного произведения.

Между тем Дашкова жила в той стране и в ту эпоху, когда писались, например, следующие письма: «Трудно, любезная моя Елисавета, определить, каким образом можно быть автором в корсете. Признаюсь, мне всегда смешно, когда я воображаю себе мадам де Сталь сидящую за большим бюро и за кипой бумаг. Тут есть какое-то противоречие, которое изъяснить трудно, но нельзя его не чувствовать... Изредка можно написать и песенку и стишки, но все не более одного полулиста». Автор письма (обращающийся к своей дочери) — один из просвещеннейших российских людей, известный прогрессивный государственный деятель Михаил Михайлович Сперанский. Что же писали, говорили, думали менее просвещенные!

О приниженном, зависимом положении российской женщины на разных общественных уровнях — от избы до дворца — написа-

но немало. Однако «умом Россию не понять...». Еще в патриархальный домостроевский уклад древней Руси врываются такие самобытные деятельницы, как княгиня Ольга, Марфа Посадница, царевна Софья.

Над миллионами душ, то есть лиц мужеска пола (женщины, как известно, в число душ не входили), в течение шестидесяти шести лет из ста, составляющих XVIII век, самодержавно властвуют одна за другой несколько императриц. Когда Вольтер «комплиментит» Екатерине II, он называет ее Catherine le Grand — Екатерина Великий.

Не одним наблюдателем и исследователем отмечалось, что петровские преобразования, в основном адресованные военному, ученому, администратору, в то же время влияли на жизнь их жен и дочерей не столь внешне, эффективно, практически, сколь «невидимо», внутренне, но, может быть, тем основательнее... «Вообще, — писал Герцен, — женское развитие — тайна: все ничего, наряды да танцы, шаловливое злословие и чтение романов, глазки и слезы — и вдруг является гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум. Девочка, увлеченная страстями, исчезла — и перед вами Теруань де-Мерикур, красавица-трибун, потрясающая народные массы, княгиня Дашкова восемнадцати лет, верхом, с саблей в руках, среди крамольной толпы солдат». Аристократка, облада-

тельница крепостных душ поставлена великим революционером и мыслителем рядом с одной из «зажигательниц» французской революции.

Формула сближения — личность.

Дашкова была личностью, и это явилось ее основным вкладом в историю, культуру, политику.

В содержательной, живо, художественно написанной книге Л. Лозинской многосторонне представлена княгиня — философ, сельский хозяин, хирург, педагог, писатель (овоеобразный женский аналог Петру Великому — академику, герою, мореплавателю, плотнику!). Прожив шестьдесят семь лет, с 1743 по 1810 год, Дашкова сумела «посетить сей мир в его минуты роковые» (и даже не один, а несколько миров — русский, европейский): дворцовый переворот 1762 года, время французских энциклопедистов, великой революционной бури 1789—1794 годов, наполеоновского апогея и готовящегося ему отпора — все это ее время; во многие события вписано ее имя. Дела Дашковой в значительной части принадлежат давно ушедшему XVIII веку, но лучшее — личная самобытность, — далеко выходит за пределы ее биографии. И тогда по внутреннему родству мы легко найдем нити, связывающие «неожиданнейшую даму» XVIII столетия с теми, например, юными женщинами, которые не участвовали в тайных декабристских обществах, но «вдруг», естественно сделались декабристками... Дашкова не согласилась бы с их мужьями, но наверняка одобрила бы поступок жен...

Подходя таким образом к этой исторической личности, мы вслед за автором книги о «президенте двух академий» увидим в замечательных «Записках» Екатерины Романовны Дашковой то главное, что волновало поколения читателей XIX столетия и не ос-

тавит равнодушным нашего современника, поймем естественность и необходимость появления такого труда о Дашковой, который столь квалифицированно выполнен Л. Лозинской. Вводя в текст своего исследования фрагменты сочинений старинной писательницы-ученого, обогащая свой труд ценными приложениями из документального наследства Дашковой, достоверно представляя внутренний мир героини, автор расширяет культурный и нравственный кругозор нашего современника, вызывает обоснованную надежду на переиздание самих «Записок» Дашковой, еще далеко не изученных, не освоенных нашей наукой: опубликованная Вольной типографией Герцена за границей книга смогла впервые появиться в родной стране только в 1881 году, но на языке подлинника — французском; первый (и пока единственный) русский перевод мемуаров Дашковой появился в России после революции 1905 года. К сожалению, этот труд попал в любопытную категорию сочинений — тех, что не принимались дореволюционным строем (и оттого до 1917 года подвергались гонениям), но затем совсем по другим причинам, прежде всего из-за преувеличенных предубеждений насчет сословной принадлежности авторов, нелегко осваивались нашей издательской практикой. Таковы, между прочим, и «Записка о древней и новой России» Карамзина, «Мемуары» Екатерины II, «Философические письма» Чаадаева...

Обогащая и расширяя свой исторический опыт, мы находим и будем находить новые богатства и в давно не трогавшихся рудниках прошлого. Появление работы Л. Лозинской в этом смысле явление примечательное.

Н. ЭЙДЕЛЬМАН.



## СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И СЕРДЦЕ

Г. И. Косицкий. Цивилизация и сердце. М. «Наука». 1978. 183 стр.

Несмотря на удивительные, кажущиеся фантастическими достижения современной цивилизации, справедливо отмечает автор, «властелином над своей собственной природой человек еще не стал». В результате неуклонно растет удельный вес так называемых болезней цивилизации. Наибольшую опасность среди них представляют по-

ражения сердечно-сосудистой системы — гипертоническая болезнь, атеросклероз, инфаркт миокарда. Если еще в прошлом столетии заболевание сердечных сосудов было медицинским курьезом, то в настоящее время поражения сердца в высокоразвитых странах стали причиной более 50 процентов всех случаев смерти. Болезни сердца

не только быстро учащаются, но и «омолаживаются». Прежде всего это относится к так называемой ишемической болезни сердца, вызванной сужением просвета сердечных кровеносных сосудов. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность мужчин, главным образом в возрасте около сорока лет, от ишемической болезни сердца в 23 странах с высоким промышленным потенциалом в 1964 году увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 1955 годом.

Бурный технический прогресс и появление сложных видов трудовой деятельности изменили привычный ритм жизни и предъявили серьезные требования к психической сфере человека. Все эти явления характерны для индустриальных стран с высокоразвитой механизацией и автоматизацией производственных процессов, с непрерывно возрастающим потоком информации, обрушивающейся на человека, и другими факторами, способствующими бездеятельности мышц и растущему нервному напряжению. И это «горе от ума» XX века. Развитие науки и техники, которое намного облегчило физический труд и создало комфорт, вместе с тем лишило современного человека необходимой двигательной активности. «Активный бездельник» — так все чаще и чаще называют людей, живущих по принципу «максимум комфорта, минимум движений». Вся их активность, как правило, умственная. Медицинская статистика свидетельствует, что инфарктом миокарда значительно чаще болеют те, чья работа связана с интенсивной нервной нагрузкой. Работники умственного труда в молодом возрасте страдают атеросклерозом и гипертонической болезнью в 1,5—2 раза чаще, чем люди, занятые физическим трудом.

Конечно, было бы проще всего обвинить во всем этом цивилизацию, прогресс общества, возросший темп жизни и т. д. Но не сама цивилизация несет зло здоровью человека, а неправильное пользование ее плодами. Так можно ли в современных условиях победить сердечно-сосудистые заболевания? На этот вопрос Г. Косицкий отвечает четко и ясно: «Не только можно, но и должно». И далее: «Это можете сделать лишь вы сами!»

На первый взгляд такое заявление может показаться странным. Ведь мы привыкли верить во всеислие нашей медицины, с гордостью вспоминаем ее успехи — ликвидацию пандемий чумы, черной оспы, холеры

и других опасных заболеваний. Неужели ей не под силу справиться с сердечно-сосудистыми болезнями? Для чего же тогда строятся специализированные клиники и кардиологические центры, выпускаются все новые и новые сердечные средства?

Но ни одно, даже лучшее лекарство не сделает больное сердце здоровым. Для избежания сердечно-сосудистых болезней нужно, чтобы каждый из нас на протяжении всей жизни был сознательным творцом своего здоровья. «Настоящая физическая культура, — пишет известный советский авиаконструктор О. Антонов, — это разумное отношение к организму — вместилцу нашего разума — все 24 часа в сутки. Я хочу еще раз подчеркнуть: не утренняя зарядка, даже не спортивные занятия несколько раз в неделю, а постоянная круглосуточная культура отношения к самому себе, оптимальный физический образ жизни делает существование человека полноценным». И напротив, длительная недостаточность двигательной активности ведет к серьезному ослаблению организма, делает его уязвимым к сердечно-сосудистым заболеваниям. Наглядный пример тому — наблюдение американского кардиолога В. Рааба. К нему в клинику была доставлена женщина, которая после смерти отца, стремясь отрешиться от жизни, в течение тридцати лет не вставала с постели. За это время у нее наступила такая детренированность сердечной мышцы, что пульс в покое составлял 140 ударов в минуту!

В книге Г. Косицкого большое внимание уделяется раскрытию защитной роли физического труда, даются практические рекомендации для оптимального здорового образа жизни. Среди них особого внимания заслуживает совет больше ездить на велосипедах. Автор книги сконструировал оригинальный велосипед, обеспечивающий координированную работу мышц ног, рук, грудной клетки и брюшного пресса и способствующий выработке правильного ритма дыхания.

К наиболее успешным и в то же время доступным методам тренировки сердца относится бег трусцой на длинные дистанции. Но все это необходимо осуществлять обязательно под постоянным контролем врача. Наблюдения показали, что регулярные тренировки в беге трусцой в течение года с постепенным увеличением дистанции до марафонской делают работу сердца в состоянии покоя экономнее почти в 2 раза. Для

бега не помеха и старость. В Англии, например, некогда известный легкоатлет Джо Дикине, которого журналисты давно уже окрестили «дедушкой бега», в девяносто с лишним лет каждое воскресенье пробегал около семи километров в окрестностях Лондона. Еще более удивительно спортивное долголетие американца Лэрри Льюиса. В свои сто два года он каждое утро пробегал десять километров. Дистанцию 100 ярдов (91 метр) Льюис преодолевал за 17,3 секунды (на 0,5 секунды быстрее, чем в сто один год)...

В одной из резолюций Всемирной организации здравоохранения врагом человека номер один был назван атеросклероз. Г. Кошницкий в своей книге образно назвал его ржавчиной жизни. О том, какое значение тренировки в беге имеют для борьбы с этим заболеванием, ясно свидетельствует описанный в зарубежной литературе случай с семикратным победителем Бостонского марафона американским бегуном Кларенсом Демаром. Когда он в возрасте семидесяти лет умер от рака, на вскрытии у него была обнаружена тяжелейшая форма атеросклероза, которая для любого другого стала бы роковой. Стенки сердечных сосудов оказались сплошь покрыты жировыми отложениями. Сердце было нормальных размеров, но его сосуды в 3 раза шире обычного... Как показали многолетние наблюдения американского врача Томаса Бэслера, у бегунов на марафонскую дистанцию сердечные сосуды значительно шире, чем у остальных людей. Не удивительно, что нигде в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти марафонца от сердечного приступа.

Марафонский бег, конечно, средство эффективное, но заниматься им может далеко не каждый. Гораздо доступнее более легкие формы постоянных занятий физической культурой в сочетании с рациональным питанием, то есть питанием по принципу «максимум биологической ценности на минимум калорий». В прямом противоречии с этим принципом находится чрезмерное потребление жирных мясных продуктов. Вредно также частое увлечение мучными и кондитерскими изделиями, особенно тортами, пирогами и т. д. Если вам перевалило за сорок (а при больном сердце значительно раньше), то все эти «кулинарные поэмы» можно разрешить себе вкушать лишь в виде исключения, главным образом по праздникам. Глубоко ошибаются те, кто считает, что поесть — значит бросить в

топку организма порцию горючего, не важно какого, сколько и как, лишь бы ярко пылало пламя обменных процессов, давая необходимую для жизнедеятельности человека энергию. Организм, как бы задыхаясь от избыточного количества высококалорийных продуктов, аккумулирует их в виде жира. Усиленное жиroadобразование — та одушина, с помощью которой организм избавляется от излишнего топлива. Так возникает ожирение, повышающее шансы стать жертвой серьезного сердечно-сосудистого заболевания.

Большую роль в борьбе с гипертонией наряду с рациональным питанием играет тренировка в мышечном расслаблении. В 1969 году в Индии проводился эксперимент с участием 42 гипертоников. У 32 больных была выявлена гипертоническая болезнь, а остальные 10 страдали почечной гипертонией. Все испытуемые девять месяцев подряд ежедневно тренировались по тридцать минут в расслаблении мышц, не принимая лекарств. Тем не менее артериальное давление у них нормализовалось.

Итак, заговорив о произвольном мышечном расслаблении, мы вплотную подошли к рассмотрению такого принципиально важного средства, способного в значительной степени приостановить дальнейший рост сердечно-сосудистых заболеваний в условиях современной цивилизации, каким является психогигиеническая саморегуляция. Всем нам известна пословица «в здоровом теле — здоровый дух». А вот Бернард Шоу утверждал обратное: «Здоровое тело — продукт здорового рассудка». Нам представляется, что и то и другое одинаково верно. Известный невропатолог М. Аствацатуров неоднократно говорил о том, что сердечные сосуды поражаются, как правило, у людей, страдающих внутренней напряженностью. Сейчас установлено, что у людей, испытывающих чувство постоянного нервного напряжения, экспансивных, с повышенным чувством недостатка времени стенокардия и инфаркт миокарда наблюдаются в 3—7 раз чаще (в зависимости от возраста), чем у остальных людей.

Наблюдения последних лет убедительно показывают, что, систематически занимаясь психогигиенической саморегуляцией, человек может снизить степень эмоционального перенапряжения, вызванного интенсификацией труда на производстве, возросшими темпами современной жизни. В рецензируемой книге вопросу эмоционального напря-

жения и его влиянию на сердце уделяется одно из центральных мест. Г. Косицкий подробно излагает заслуживающую внимания свою собственную физиологическую теорию эмоций. В то же время, касаясь вопроса управления эмоциями, автор ограничивается описанием главным образом одного только способа ослабления сдвигов, возникающих при отрицательных эмоциях, — интенсивной мышечной деятельности. Подчеркивая, что волевым усилиям подвластны лишь внешние, двигательные проявления ответных реакций организма, автор книги ничего не говорит о возможностях обучения произвольной регуляции деятельности внутренних органов, в том числе сердца и сосудов. На этом вопросе следует остановиться подробнее.

Первым шагом, с которого начинается психогигиеническая саморегуляция, становится тренировка в мышечном расслаблении. Уже одни только навыки мышечного расслабления позволяют в нервной ситуации резко уменьшить поток лишних, «панических» импульсов в центральную нервную систему, избежать рефлекторных спазмов сердечных сосудов. Но психогигиеническая саморегуляция предполагает также обучение произвольному расширению кровеносных сосудов (в том числе и сердечных) путем самовнушения «приятного разливающегося тепла» и замедленного дыхания. О том, насколько успешно такое обучение, может свидетельствовать опыт Горьковской областной клинической больницы имени Семашко. Там были проделаны эксперименты по снятию боли при стенокардии с помощью специально подобранных формул самовнушения. Через два-три месяца регулярных занятий психогигиенической саморегуляцией боль совсем исчезла у 11 из 20 человек и значительно уменьшилась у 6. Сначала боль утихала только во время сеанса тренировки, но вскоре наступал стойкий обезболивающий эффект.

В последние годы на помощь психогигиенистам приходит техника. Один из таких приборов носит название лечебный импульсный дистанционный аппарат, сокращенно ЛИДА. Это не что иное, как генератор четырех видов раздражителей — электромагнитного, термического, акустического и оптического. Их синхронное действие (40—60 импульсов в минуту) в течение получаса вызывает мышечное расслабление. Остается только запечатлеть в памяти ощущения, которые возникают при действии

этого аппарата, и научиться воспроизводить их самостоятельно с помощью самовнушения. Какие же это ощущения? Пациент чувствует, что его как бы обволакивают импульсы электромагнитного поля УВЧ, дуновения теплого воздуха, звуки, имитирующие падающие капли, вспышки зеленого света. А почему именно зеленого? Многие, наверное, помнят слова из песни: «Все стало вокруг голубым и зеленым...» Но не все знают, что голубовато-зеленый и голубой цвета действуют на нас успокаивающе. Нас успокаивает голубое небо, голубая гладь моря, озера, реки, наконец просто зеленая лужайка в лесу.

Исследованиями московского врача-психотерапевта В. Райкова было установлено, что с помощью длительной (несколько месяцев) и упорной тренировки психики человек может научиться совершенно четко, как наяву, «видеть» самого себя... отдыхающим на берегу Черного моря. Подобную эмоциональную тренировку может облегчить правильно выбранное музыкальное, а еще лучше цветомузыкальное сопровождение. Например, в Алма-Ате врач А. Мирзоян успешно сочетает цветомузыку, построенную на основе произведений Чайковского, с психогигиенической саморегуляцией для лечения неврозов. А ведь именно с неврозов очень часто начинаются заболевания сердца и сосудов.

Заслуживают внимания и появляющиеся в последнее время на ряде наших предприятий так называемые комнаты психологической разгрузки, инициатором которых выступал одесский завод «Стройгидравлика». Вот как там проходит сеанс «психологической разрядки». Собравшиеся для короткого отдыха в специально отведенное для этого время в течение минуты слушают шум леса, пение птиц, а затем три минуты — приятную спокойную музыку, сочетающуюся с игрой голубого и зеленого цветов. Позже включается бодрая музыка, а комната постепенно озаряется сначала розовым, а потом красным цветом. Ученые установили, что всего лишь десять минут такой нервно-психологической разгрузки помогают повысить производительность труда примерно на 10 процентов.

На наш взгляд, психогигиеническая саморегуляция может сыграть роль мощного барьера, призванного защитить сердце и сосуды от разрушающего действия порождаемого цивилизацией вездесущего стресса. Воздействуя на природу и изменяя ее, че-



ловек «в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти» — эти слова К. Маркса в современных условиях обретают особое значение. Думается, что психогигиеническую саморегуляцию в наше время по праву можно считать одним из важнейших элементов совершенствования человеком своей природы.

«Многочисленные факты... — пишет Г. Косицкий, — свидетельствуют о том, что перенапряжение нервной системы, психические травмы, отрицательные эмоции способствуют возникновению гипертонии, атеросклероза и нарушений коронарного кровообращения». Значит ли это, спрашивает автор, что нужно всячески оберегать нервную систему, стремиться прожить жизнь без эмоций, волнений и напряжений? Он отмечает, что это было бы нереально и, более того, глубоко неверно. Действительно, жизнь без эмоций бедна и пустынна, это такая же крайность, как и привычка постоянно испытывать волнение и напряжение, даже тогда, когда в них нет никакой необходимости. Психогигиеническая саморегуляция отнюдь не лишает человека эмоций, а позволяет ему лучше управлять ими, используя внутренние резервы организма.

Одну из глав своей книги Г. Косицкий посвящает коллективным мерам борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поражения сердечно-сосудистой системы, пишет он, связаны не только с развитием технического прогресса, но «в значительной мере и с характером социального строя, т. е. с взаимоотношениями людей в процессе производства». Огромное значение здесь, помимо высокого уровня медицинской науки и широких социальных мер профилактики, имеет также гуманная духовная и нравственная атмосфера нашего общества, благоприятный моральный климат в коллективе. В условиях развитого социалистического общества небывало расширяются возможности для гармонического развития каждого советского человека. «В нашем обществе, — пишет автор, — имеются все объективные предпосылки для того, чтобы полностью предотвратить надвигающуюся опасность роста поражений сердечно-сосудистой системы. Но мы должны еще раз подчеркнуть, что одного этого мало. Судьба вашего сердца, читатель, в значительной мере в ваших собственных руках».

Мы полностью присоединяемся к этим словам.

**Н. АГАДЖАНИН,**  
*доктор медицинских наук.*

**А. КАТКОВ,**  
*кандидат медицинских наук.*



---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ЮРИЙ ОКЛЯНСКИЙ.** Повесть о маленьком солдате. М. «Советская Россия». 1978. 240 стр.

Имя замечательного немецкого писателя-антифашиста Бертольта Брехта часто упоминается в книге. Но не он ее главный герой, а его сотрудница, секретарь, часто соавтор, всегда единомышленница — Маргарет Штеффин, умершая совсем молодой от туберкулеза в Москве летом 1941 года. Об этой рано оборвавшейся, но деятельно и благородно прожитой жизни, казалось бы скромной, а на деле героической, и рассказал в своей книге Ю. Оклянский. Рассказал, широко привлекая всевозможные документы — от архивов Иностранной комиссии Союза писателей до пластинок с записанными на них стихами Брехта, от книг до газетных вырезок и протоколов. И все же верность документу не главная движущая сила повествования. Решающее значение здесь имеет энергия рассказчика, увлеченность судьбою, поразившей его и поведшей по дорогам поиска. Уже уяснив в достаточной мере облик молодой немецкой антифашистки, отдавшей свои нравственные и физические силы борьбе за новую, свободную Германию и выказавшей при этом незаурядную смелость и талант бойца, Ю. Оклянский пишет: «Вероятно, и для Маргарет Штеффин назрела пора той известности и признания, какую она заслужила. Восстанавливаются утраченные факты и звенья литературной истории, а вместе с ними и справедливость». Именно восстановлением справедливости посредством привлечения неоспоримых устных и письменных свидетельств и движим труд Ю. Оклянского.

Да, на своем пути, пролежавшем через горячие точки Европы 30-х годов, Маргарет Штеффин повстречала людей, достойно представлявших наше бурное время. Здесь были политики и писатели, общественные деятели и актеры, их объединяла страстная ненависть к гитлеризму, объединяла любовь к Советскому Союзу, уважение к той исполинской созидательной работе, которая развернулась на просторах огромной страны в годы первых пятилеток... Именно в ту пору в ответ на призывное обращение А. М. Горького «С кем вы, мастера культуры?» все честные, даровитые, прямодушные, прозорливые деятели искусства, литературы, науки сплелись для бескомпро-

миссного противодействия фашистской агрессии, для поддержки справедливых идей и дел социализма. Многие из этих неутомимых, вдохновенных трибунов проходят по страницам книги Ю. Оклянского: ведь стоящая в центре повествования женщина, чье имя сейчас мало кому известно, была знакома не только с Брехтом, но и с замечательным революционным композитором Гансом Эйслером, с Михаилом Кольцовым, с его соратницей, подругой Марией Остен, с женой Брехта, известной театральной деятельницей Еленой Вайгель, со знаменитым Эрнстом Бушем. Круг передовой интеллигенции здесь охвачен и представлен достоверно и выразительно. Можно сказать, что работа Ю. Оклянского — одно из звеньев той художественной истории общественной жизни 30-х годов, которая пишется книга за книгой и должна быть продолжена, развернута.

Вместе с тем, говоря о людях, с которыми дружила, мыслила и действовала заодно Маргарет Штеффин, не будем забывать о ней самой — ее судьба, ее нравственный облик заслуживают серьезного изучения и уважения. Индивидуальность героини ничуть не тускнеет в кругу блестящих знакомцев. Дочь строительного рабочего Августа Штеффина, выросшая в послеверсальской, раздираемой противоречиями Германии, она нашла верный путь, вступив в Коммунистическую партию Германии и связав тем самым свою судьбу с самым мудрым и героическим движением современности, получила возможность выразить лучшие качества своей богато одаренной природы. Ю. Оклянскому удалось не только сообщить, что делала, чем занималась М. Штеффин, но и передать чистоту ее побуждений, ввести нас в светлый душевный мир, охарактеризовать нравственную доблесть «маленького война».

И. Гринберг.



**МАРК ГРОССМАН.** Камень-обманка. Роман. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 1978. 464 стр.

Роман М. Гроссмана «Камень-обманка» расширяет наше представление о событиях 20-х годов — интервенции и гражданской войне на Дальнем Востоке, Сибири и Урале

Основа романа документальная. Автор пользовался в нем многочисленными архивными документами, устными и письменными свидетельствами очевидцев, подлинными письмами людей, причастных к описываемым событиям.

Интересна композиция романа: одни и те же события преломляются через восприятие персонажей-антагонистов, получая, таким образом, разностороннее освещение. Так, автор предлагает нам «выслушать» адмирала Колчака, который, находясь под арестом и ожидая приговора, лихорадочно ищет самооправданий. О тех же фактах, которые предвзятно трактует Колчак, мы узнаем из дневника Андрея Россохатского (героя, который проходит через весь роман), волею обстоятельств оказавшегося в колчаковской армии. И наконец, летопись событий, подаваемых непосредственно «от автора», сообщает им объективно-реалистическое освещение.

Среди действующих лиц — красные командиры Фрунзе, Тухачевский, Рокоссовский. Автор показывает их преданность делу революции, мужество, мастерство. Особая роль принадлежит большевикам, полномочно представляющим советскую власть на местах, в полках, в партизанских отрядах, — Степану Варакину, начальнику красного эскадрона, преследовавшего Унгерна; Петру Щитинкину, стоящему во главе партизанской армии в 30 тысяч штыков и сабель, особо прославившейся своими действиями в тылу Колчака; Емельяну Ярославскому... Как достоверна в их характерах революционная страсть, непоколебимая вера в правоту своего дела, самоотверженность! Вот Ярославский ведет допрос барона Унгерна:

«— Вы — человек класса, у которого отняли награбленное, от этого злора. Или есть другие причины?»

Унгерн повторил с тупым упорством:

— Мое дело было восстановить государя, искоренить зло.

— Вот как! Казни, пытки, грабеж — это «искоренить зло»? Впрочем, мои слова — не вопрос, и на них не надо отвечать.

Через час Ярославский вызвал часового, кивнул на Унгерна.

— Уведите.

Барон дошел до двери, резко повернулся, нижняя челюсть его отвисла и заметно дрожала.

— Все... Это все... Но я принадлежу истории и бог еще... А-а, черт с вами со всеми...

Ярославский отозвался сухо:

— История... Вы действительно оставили в ней грязный след. Что же касается бога, то, полагаю, он не осудит нас за то, что мы покараем дьявола».

Уже в этом диалоге видна напряженность мысли, прямота характера большевика-ленинца.

Мир контрреволюции выступает в романе и ничтожным и страшным в своей бесчеловечности. Барон Будберг, надменный генерал Лебедев, чудовищно честолюбивый Гайда, Унгерн, открыто похваляющийся

своим цинизмом, атаман Дутов и многие другие. Все они схожи в одном — в лютой ненависти к народу. Картина схватки двух лагерей в романе приоткрывает нашему взгляду завтрашний день страны, обогащает знанием о том, что не кануло в прошлое, но живет и должно жить в памяти каждого из нас.

Н. Михайловская.

Челябинск.



**ВАДИМ РАБИНОВИЧ. В каждом дереве скрипка. Стихи. М. «Советский писатель». 1978. 94 стр.**

«В каждом дереве скрипка» — первая книга Вадима Рабиновича, однако ее ни в какой мере не назовешь дебютом. Стихи поэта уже давно печатаются в периодике, и внимательный читатель поэзии мог получить представление о его творческой манере и своеобразном взгляде на мир. Рабинович прежде всего, я сказал бы, художник с чувством неожиданного. При внешней традиционности стихотворной техники читатель встретит в книге сразу несколько на первый взгляд противоположных, «не стыкующихся» по формальной логике меж собой ипостасей в характере лирического героя. Возможно, к примеру, упреки поэту в бытовизме, в любовании чисто житейскими, «домашними» реалиями. Таков «Воскресный день» с его сочной палитрой, с искренней радостью человека, вкушающего заработанные им земные дары. Но в книге есть и немало образцов философской, точнее — натурфилософской лирики, где автор решает вечные вопросы бытия, вселенские проблемы, в то же время прочно связанные с действительностью, с веком идущим, с его нравственными коллизиями. Порой кажется, что Рабинович слишком часто обращается к архаизмам, к торжественной лексике древних книжных источников. И здесь же у него находятся пласты современной уличной речи горожанина, жаргонизмы, народные просторечия. Но в основном поэт умело сочетает эти пласты языка, создавая органичный речевой сплав, с помощью которого он надеется, выражаясь его программными словами, «постичь родословную вещей», отразить неповторимость мира и неоднородный лик современника.

Обступает древнее меня,  
И выступают скрытые причины:  
Высокий свет нахлынувшего дня  
Ведет происхождение от лучины —

так определяет Рабинович свое кредо.

Естественность авторского голоса отвечает естественности, натуральности характера его лирического героя. Чем он ни занят — моет ли посуду на солдатской кухне, уютит ли по-пластунски землю во время учений, бредет ли по городу, рыбачит ли на Каме или смотрит в глаза любимой, — в нем всегда полнокровность бытия. В нем

ощущение широты земли — и привязанность к негустому подмосковному лесу. Он устремлен в будущее, но понимает: все высокие порывы и подвиги держатся на простых и сильных человеческих чувствах.

Когда в минувшую войну  
Отец мой умирал под Керчью,  
Он вспомнил женщину одну  
За три минуты перед смертью.  
То было матери моей  
Лицо с прической довоенной,  
Явивое среди тьмы смертей,  
Единственное во вселенной.

Метафора поэта, как правило, «очеловечивает» плоть земли и переносит ее процессы на жизнь людскую («Содрать бы дерн с души моей»). Отсюда и яркая цветовая гамма стихов. Цвет движет чувство, оно рождает мысль, а мысль находит звуковое оформление, соответствующее всему строю стиха. Эта пластичная взаимосвязь разных стихий в процессе творчества вообще весьма характерна для нынешнего этапа развития реализма в искусстве. И хорошо, что в первой книге поэт сумел воплотить эту линию общехудожественных тенденций времени, не идя, однако, торными тропами.

Особое обаяние книге сообщает юмор. То щедро плещущийся, то изящно-тонкий, переходящий в самоиронию, он словно разряжает густую атмосферу сборника с множеством книжных реминисценций в нем. Последние же, надо сказать, порой перегружают ее. Мне близок, например, интерес поэта к культуре и быту других стран, особенно сильно проявившийся в «Малабарской поэме». Написанная на индийские темы, эта вещь сложна и виртуозна, но все же от нее остается ощущение перевеса эрудиции, литературных познаний автора над его ощущением мира, удивлением жизни. А удивление, открытие, озаренность — основное, что создает духовную суть его книги.

Ст. Золотцев.



**А. КАМЕНСКИЙ.** Рыцарский подвиг. Книга о скульпторе Аине Голубкиной. М. «Изобразительное искусство». 1978. 247 стр.

Книга эта открывается главой, точнее сказать — разделом, «Черты личности». Это психологический этюд, проникнутый глубоким пониманием Голубкиной и сердечным сочувствием к ней. Перед нами предстает характер необычайной цельности, силы, скромности, самоотверженности.

Очерк характера опирается на документальную основу. Многие факты и обстоятельства здесь впервые введены в оборот. Уже это немалая заслуга автора. Но А. Каменский не просто сообщает малоизвестные или неизвестные факты, характеризующие Голубкину, — он, подчеркивая, создает ее живой портрет. Следует сказать, что сама художница при жизни всячески избегала портретирования и в буквальном смысле (живописцами и фотографами) и литературного. А. Каменскому удалось создать порт-

рет художника, отличавшегося святой одержимостью (применительно к Голубкиной это не слишком громкое слово), безмерной преданностью искусству и высочайшей требовательностью к самой себе.

Когда узнаешь, сколько лишений, болезней и трудностей выпало на ее долю, хочется куда-то идти, кому-то доказывать, кого-то просить, от кого-то требовать. Не сразу вспоминаешь, что речь идет о художнике, которого нет в живых, что уже некуда идти, бессмысленно требовать и просить. Можно только посмертно воздать должное редкостному ее таланту. Потом понимаешь — в своей обделенности она отчасти была виновата сама, непримиримо расходясь с людьми, ей сочувствовавшими, громоздя перед собой и на своем пути к широкому признанию препятствие за препятствием.

Очерк написан так, что возникает живой эффект присутствия, словно о Голубкиной говорит человек, близко ее знавший. Важный моральный вывод не только в отношении героини книги: надо быть бережным к художнику, даже если он странен, нелюдим и не вписывается в привычные рамки.

Второй раздел книги назван «Летопись подвига». Самое большое место занимает в этом разделе описание и прочтение работ скульптора. Автору во многих случаях удается рассказать о самом процессе творчества. У читателя возникает ощущение, что он был в мастерской, когда замысел проходил один за другим этапы своего воплощения, а потом видит завершенную скульптуру, имея возможность обойти ее кругом. Характеристики произведений, даваемые А. Каменским, это краткие, исполненные динамизма и драматизма этюды.

Книга, написанная лично и страстно, включает в себя большой аппарат, который сам по себе имеет немалую ценность. В примечаниях много ссылок на документы. В приложении дан полный текст замечательной работы Голубкиной «Несколько слов о ремесле скульптора».

Нелегко определить жанр этой книги, которая соединяет строгий документализм с глубоко личным отношением к теме, живой портрет сложной личности и скрупулезно выполненный справочный аппарат. Автор в предисловии пытается определить жанр своего труда: «После долгих колебаний я избрал такой тип повествования, который, наверное, можно назвать документально-монографическим этюдом». Можно назвать так, а можно иначе. Точность определения жанра не столь уж существенна. Одаренный писатель сам создает свой жанр, примером чему может служить книга искусствоведа А. Каменского о Голубкиной.

Сергей Львов.



**ТОДОР ПАВЛОВ.** Избранные труды по эстетике. М. «Искусство». 1978. 639 стр.

Имя Тодора Павлова (1890—1977), крупного партийного и общественного деятеля социалистической Болгарии, академика, ав

тора теоретических трудов в области философии и эстетики, широко известно в Советском Союзе и других странах мира. Философские сочинения Т. Павлова и его статьи по эстетике, которые неоднократно появлялись в нашей стране, вызывали большой интерес у самого широкого круга советских читателей.

Сейчас мы получили возможность познакомиться сразу с целым рядом статей Т. Павлова по эстетике, собранных в солидный том. Он включает в себя как работы общего методологического характера, в которых разрабатываются основные принципы ленинской теории отражения, так и статьи, посвященные актуальным проблемам социалистического реализма. В сборник включены работы, в которых автор рассматривает творчество выдающихся русских, советских и болгарских писателей — А. С. Пушкина, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Толстого, М. Горького, В. Маяковского, Х. Ботева, И. Вазова, Г. Караславова и других.

Следует отметить, что в статьях, посвященных отдельным писателям, Т. Павлов затрагивает и общие проблемы эстетики, как, например, значение формы, интуиции и вымысла в художественном творчестве. В этом плане особый интерес представляют работы «Единство содержания и формы в поэзии Владимира Маяковского», «Заветы Максима Горького», «Максим Горький об интуиции, вымысле и критике».

Вообще с большим вниманием и любовью относился Т. Павлов к творчеству многих советских писателей. В статье «Что такое социалистический реализм?» он писал: «Самые лучшие художественные произведения советских мастеров искусства (например, М. Горького, Серафимовича, Маяковского, Шолохова, Фадеева, Н. Островского и др.) характеризуются именно тем, что они не только глубоко идейны, социалистически идейны, но и выполнены с высоким художественным мастерством, чем и объясняется их воспитательное, глубоко эмоционально волнующее воздействие на советских читателей».

Сегодня труды Т. Павлова — действенное и острое оружие в борьбе с реакционными взглядами буржуазных теоретиков искусства. Особенно убедительно и научно последовательно Т. Павловым разработаны вопросы о взаимосвязи литературы и искусства с наукой и моралью, об отношении художественного творчества к мировоззрению и нравственности, о принципах партийности и народности в художественном методе социалистического реализма, о разнообразии индивидуальных творческих манер в рамках единого метода.

Большой друг советских литераторов и литературоведов, Т. Павлов на правах друга иногда спорил с ними, а то и критиковал, особенно за неточности в конкретно-историческом анализе и оценке отдельных произведений, в общих вопросах истории и теории литературы и искусства. Так, в статье «О наших дискуссиях» он полемизирует с отдельными положениями в выступлении Д. Благого на дискуссии о реализме

в мировой литературе, а в статье «Об индивидуальном и коллективном начале в искусстве» оспаривает некоторые эстетические и литературно-критические взгляды Я. Эльсберга.

Знакомясь со статьями Т. Павлова по эстетике, сразу отмечаешь, с одной стороны, актуальность его работ, живость стиля, смелый и тонкий подход к художественным явлениям, а с другой — опромную эрудицию, энциклопедичность знаний, теоретическую глубину. И нельзя не согласиться с Атанасом Стойковым, членом-корреспондентом Болгарской Академии наук, который во вступительной статье к одному из томов, говоря о вкладе Тодора Павлова в развитие марксистско-ленинской эстетики, подчеркнул: «В его многочисленных эстетических и литературно-критических трудах творчески разрабатываются кардинальные проблемы эстетики, литературоведения, литературной и художественной критики, современного художественного процесса. Они являются ценным теоретическим достоянием и болгарских, и советских, и других марксистско-ленинских эстетиков, литературоведов и искусствоведов, которые всегда найдут в них надежную опору и необходимые стимулы для своих исследований».

Наверное, все это, вместе взятое, и ставит Тодора Павлова в один ряд с крупными и авторитетными представителями марксистско-ленинской эстетики.

Вл. Котовсков.

Ростов-на-Дону.



**Н. Б. БИККЕНИН. Социалистическая идеология. М. Политиздат. 1978. 295 стр.**

XX век — это век гигантских революционных сдвигов, вовлекших народные массы в сознательное историческое творчество; век разрывания научно-технической революции, наиболее полно раскрывшей духовные силы и возможности человека; век противоборства двух общественных систем — социализма и капитализма, когда небывало обостряется борьба в сфере идеологии.

Фронт идеологической борьбы сегодня проходит через все коренные проблемы современности. Именно поэтому нам интересно ознакомиться с книгой советского философа Н. Биккенина, вносящей заметный вклад в разработку проблем идеологии.

Автор дает глубокий, многоплановый анализ идеологических процессов, исследует соотношение идеологии и науки, идеологии и пропаганды, определяет роль и место идеологии в современном мире, рассматривает основные внутренние и международные идеологические аспекты жизни общества развитого социализма, анализирует процесс усиления социально активной роли идеологии в формировании социалистического сознания.

Главной задачей идеологии, пишет Н. Биккенин, является «теоретическое осоз-

знание положения и интересов класса как целого, проведение его теоретически осознанных интересов в политике и других областях общественной деятельности, создание такой программы, на основе которой класс мог строить политическую борьбу, достаточно точно определять свое отношение к другим классам и партиям». Эти программные цели и задачи впервые нашли свое выражение в научной идеологии рабочего класса. Отмечая две стороны становления социалистической идеологии — ее научную объективность и партийность, — автор подчеркивает: в социалистической идеологии с самого начала целиком совпали поиски истины и защита классового интереса пролетариата.

Каждый класс придает огромное значение проведению своей идеологической линии в сфере духовной жизни, влиянию на общественное сознание. Поэтому идеологию можно рассматривать как «концентрированное выражение политики класса в сфере духовной жизни». В книге отмечается единство теоретико-познавательных, классово ориентирующих и социально организующих задач социалистической идеологии.

Автор широко и всесторонне раскрывает роль социалистической идеологии в развитии социалистическом обществе, рассматривая совокупность проблем идеологической деятельности в современных условиях: идейно-нравственные проблемы социалистического образа жизни, борьбу идей в обстановке разрядки международной напряженности, углубление духовного кризиса буржуазного общества и его идеологии. Говоря об усилении роли идеологии в общественной жизни, что было подчеркнуто в решениях XXV съезда КПСС, в партийных документах последних лет, автор придает первостепенное значение комплексному подходу к решению назревших общественных задач. Особое внимание он уделяет проблеме формирования и воспитания нового человека, гармонично развитой личности в процессе идейно-политического, трудового и нравственного воспитания.

Социализм как общественная система может успешно развиваться лишь на основе глубокого знания социальных и экономических процессов, на основе научной идеологии, в результате сознательного творчества миллионов. «Сердцевинной идеологической, политико-воспитательной работы было и остается формирование у советских людей научного мировоззрения, беззаветной преданности делу партии, коммунистическим идеалам, любви к социалистической Отчизне, пролетарского интернационализма», — говорится в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». Неуклонно усиливать эффективность идейного воспитания, обеспечить высокий уровень пропаганды и агитации — таковы важнейшие требования этого постановления.

Георгий Степанидин.



**МИХАИЛ АРЛАЗОРОВ.** Артем Микоян. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1978. 271 стр.

В конце 50-х, на протяжении 60-х годов о «МИГах» говорили как о чем-то необычайно фантастическом. Рекордам истребителя, в большинстве абсолютным и мировым, посвящались многие газетные статьи, радио- и телепередачи. Достижения в воздухе следовали одно за другим. Только в год пятидесятилетия Октября бесстрашные испытатели Федотов, Остапенко и Комаров установили на серийном истребителе «Е-266» четыре мировых и один абсолютный мировой рекорды скорости. Страна по праву гордилась своими героями и отличными боевыми самолетами.

То, что происходило в воздухе, было конечным результатом напряженного труда многочисленного конструкторского бюро, которое возглавлял Артем Иванович Микоян. И в восхищение людей, разумеется, приводила видимая доля работы КБ — «надводная часть айсберга». А что там, внизу, «под водой»? Книга Михаила Арлазорова «Артем Микоян» хороша тем, что большинство ее страниц отведено неукрстимому научному и конструкторскому поиску, тому, что творилось в свое время «ниже ватерлинии» и о чем до выхода книги в свет знали лишь очень немногие.

А. И. Микоян отдал авиации более тридцати лет. За годы, когда он впервые переступил порог завода № 1 по окончании Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского, и до декабря семидесятого года, когда перестало биться сердце Генерального конструктора, перед читателем проходят развитие, становление и героическая история отечественной реактивной истребительной авиации, борьба идей и научной мысли. Были в той истории радостные и грустные минуты, случались и печальные, почти драматические события.

В начале войны КБ Микояна отказали в двигателях под вышускавшиеся самолеты. Мотор АМ-35 (конструкция академика Миккулина) после переналадки его производства передали бронированному штурмовику «ИЛ-2». «МИГи» сняли с производства. В разгар войны КБ Микояна стало... опытно-конструкторским. Почти год Артем Иванович работал далеко от Москвы директором и главным конструктором опытного завода. Но пришло время — и коллектив КБ вернулся в столицу.

Микояна и Гуревича, пишет автор, война научила выдержке. Это действительно так. В то время как другие совершенствовали старые и создавали новые боевые машины, микояновцы должны были довольствоваться разработкой самолетов, которые в серию не шли. И лишь четыре года спустя, увидев в полете в апрельские дни послевоенного года позже ставший серийным реактивный истребитель «МИГ-9», можно было с уверенностью говорить, что выдержка взяла свое, что годы поиска и экспериментов не прошли напрасно. Вско

ре за ним последовал «МИГ-15», о котором А. Н. Туполев, человек весьма строгий и беспощадный в суждениях, сказал: «„МИГ-15“ был лучший самолет, бесспорно лучший самолет в мире!»

Рассказывая о разных этапах в развитии реактивной истребительной авиации начиная с первых ее шагов, автор нередко останавливается на ступенях роста КБ, внимательно следит за жизнью Генерального конструктора, за его беспокойной творческой мыслью, исследует характеры людей, которые окружали Микояна и были его верными сподвижниками. Прежде всего это М. И. Гуревич, с кем Артем Иванович рука об руку прошел почти всю жизнь в авиации. Второй — Р. А. Беляков, возглавляющий ныне конструкторское бюро. Есть страницы в книге о конструкторах А. Г. Брунове, Д. Н. Кургузове, С. Н. Люшине, Н. З. Матюке, А. В. Минаеве, о многих других ученых и инженерах, о летчиках-испытателях. Испытателям в книге посвящено немало интересных страниц. Ведь они смело и бескомпромиссно идут в бой за новые крылатые машины и нередко отдают за них свои жизни.

Сознательно замедляя ход основного, «вертикального», повествования, М. Арлазоров с разных вершин в работе КБ бросает дальние прицельные взгляды по «горизонталям». Он подробно сообщает читателю о том, что делалось в иные годы в истребительной авиации за рубежом, о новых вехах в науке на пороге предзвучных и сверхзвуковых скоростей, о внимании, которого удостоивались А. И. Микоян и сотрудники его КБ со стороны правительства, когда была доказана жизнеспособность новых реактивных истребителей, и о том, как трудно давались людям реактивные двигатели — сердце самолета, — а потом и ракеты, поднявшая Юрия Гагарина в космос, о первых нелегких шагах в работе над катапультной и т. д.

Книга «Артем Микоян», этот своеобразный сплав документальной, научной и художественной прозы, дает обширное представление о целой эпохе в отечественной истребительной авиации. Она окажется полезной любому, кто возьмет ее в руки.

Г. Резниченко.



**ЛОУРЕНС Д. КУШЕ. Бермудский треугольник: мифы и реальность. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1978. 351 стр.**

Не скажу, чтобы меня очень уж волновали события, происходившие где-то там, в Атлантическом океане. Признаться честно, никогда я Легенду (будем писать это слово с большой буквы — ведь десятилетиями столько людей истово верили в нее) всерьез не принимал. И все-таки книгу Куше проглотил залпом, за один вечер. В чем же дело?

Всегда приятно наблюдать за работой ученого, а книга как раз является собой пример самоотверженного, бескорыстного тру-

да подвижника от науки (хотя какой автор ученый — просто отставной пилот!). Говорю «бескорыстный», потому что такие книги бестселлерами обычно не становятся: сколько бы ни получил за нее Куше, его гонорар (и славу) не сравнить с гонорарами и славой, скажем, его соотечественника Чарльза Берлитца, автора нашумевшего боевика о Бермудском треугольнике. Дело в принципе, в подходе: Берлицц лепил Легенду, Куше ее разрушал. Да еще и употребил в подзаголовке слово «мифы» — миллионы читателей никогда не простят ему этого. Те миллионы, для которых интригующие слова «Бермудский треугольник», «летающие тарелочки» (а раньше были «Атлантида», «Лемурия», «полая Земля...») обещают сладостное забвение мысли, уход от повседневных неприятностей и глобальных проблем далеко не простой современности. Насколько проще верить в чудеса, вместо того чтобы исследовать, анализировать, перепроверять — одним словом, работать...

Не мудрено, что у Легенды было мало сторонников в научном мире. К настоящим ученым, исследователям я бы отнес и Лоуренса Куше, хотя, если разобраться, что он, в сущности, открыл? Скорее «закрыл». Однако разрушил он Легенду непредвзято, с подлинной научной корректностью. Четыре года он скрупулезно исследовал, перепроверял и сопоставлял «факты», положенные в основание Легенды. Работа, достойная ученой степени в любой из уважающих себя наук! А в итоге? Специалисты еще раз убедились, что ничего экстраординарного «там» нет (они утверждали это и раньше). Страховое агентство Ллойда тоже не в долгу перед Куше: невзирая на существование Легенды, бизнесмены давно предпочли иметь дело с реальностью и потому страховые полисы для судов, следующих в «проклятое» место, ничем не отличались от обычных. Японцы же, как выяснилось, даже и не подозревали о существовании зловещего Моря дьявола у берегов Японии, а ведь об этом «все говорили».

Зато читателей Куше против себя возставил, это точно. И никогда не сорвать ему лавров Берлитца (а также более ранних Чарльза Форта, Бержье и Повеля, Адамского...). Автор послесловия академик Л. Брежневских не случайно приводит горькую фразу, почерпнутую из письма читательницы: «...была в океане тайна. Вы... ее разрушили. В результате на свете стало скучно жить...»

Итак, была в океане тайна... А впрочем, почему бы и а? — тайнами океан богат и поныне. Исследования, проведенные в 1969 году группой ученых под руководством Ж. Пикара на батискафе «Бен Франклин», изучение советскими учеными гигантских океанических вихрей (программа «Полигон-70»), наконец, недавние международные исследования по программе ПОЛИМОДЕ (и как раз в районе пресловутого треугольника)... — выяснились одни вопросы, и возникали новые загадки и проблемы. Но

то были тайны и научные, менее броские, действительно, а не мнимые.

Не знаю, относится ли книга Куше к географической литературе или исторической, нет в ней ничего и от столь милой моему сердцу научной фантастики (хотя автор и говорит о «пришельцах», «локальном замедлении времени» и тому подобных материях). Но это, безусловно, труд исследователя, а не мистификатора или просто возбужденного энтузиаста. Правда, имени этой «науке» еще не придумано («наукоохранение»?), а жаль.

Так что же в результате: стоит ли разрушать легенды? Конечно, нет: ведь по легендам и мифам древних мы многое узнаем о жизни и мыслях их создателей. Кроме того, легенды, чудеса — неиссякаемый источник вдохновения для поэтов и художников, и это прекрасно. Только игра должна быть честной — не стоит легенду выдавать за правду. Когда это еще делалось по скудости научного знания, это было простительно. А если сознательно — право же, стоит потратить годы и усилия, чтобы разоблачить миф, прикрывающийся именем науки. И работа Лоуренса Куше не пропала даром.

А Легенда о Бермудском треугольнике... — что ж, видимо, и она останется как память о тех, кто ее поддерживал, об «усталости сознания» человека XX века, пытающегося в мифологическом лесу спрятаться от вездесущей, напирющей, сложной, напоминающей о себе реальности.

Вл. Гаков.



**Д. М. ПРОЭКТОР.** Пути Европы. М. «Знание». 1978. 208 стр.

1 августа 1975 года руководители 33 европейских государств, США и Канады скрепили своими подписями Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Четыре года слишком небольшой срок для всесторонней оценки результатов такого крупнейшего исторического события, каким стало общеевропейское совещание, но его благотворное воздействие на все стороны жизни нашего континента, более того — на атмосферу международных отношений во всем мире очевидно уже сегодня.

Старый Свет за две с половиной тысячи лет своей истории знал великое множество международных региональных конференций, имевших целью установление мира в Европе. При всем разнообразии этих форумов им была присуща одна отличительная черта — мир строился по воле наиболее сильного и нарушался всякий раз, когда менялось соотношение сил.

Хельсинкское совещание — и в этом его принципиальное отличие от всех предыдущих — означало признание всеми его участниками отсутствия в наш ядерный век альтернативы мирному сосуществованию, признание необходимости добрососедства и вза-

имовыгодного сотрудничества, исключения войн из политической жизни Европы. Испокон веку считалось, что мир неизбежно сменяется войной, разрядка — напряженностью. Грелись войны, менялись цвета и оттенки на политической карте Европы, а жизнь текла своим чередом. Потребовалось два мировых катаклизма, унесших более 60 миллионов жизней, главным образом европейцев, для того чтобы привычное мышление наконец взбунтовалось против рока войны. Создание смертоносного оружия, поставившего под вопрос само существование цивилизации и человека как биологического вида, завершило психологический перелом в сознании людей и правящих групп. Хельсинкское совещание могло состояться лишь на определенной ступени исторического развития, подготовленной всем предшествующим опытом. Хельсинки означают, что у европейцев, у всего человечества появилась некая новая модель политических отношений. Намечались новые перспективы мирного европейского развития.

...Пути Европы, их прошлое, настоящее и будущее. Этому посвящена книга известного военного историка и международного Д. Прозктора. Книга не совсем обычна, а вернее, не совсем привычна. В самом деле, можно ли на 200 страницах уложить всю европейскую историю от падения Рима до наших дней, провести обстоятельный анализ всего комплекса актуальных проблем европейской безопасности и даже рискнуть заглянуть в завтрашний день Европы? Задача была бы невыполнимой, если бы автор при всей его богатой эрудиции применил традиционный «излагательный» подход. Он пошел другим путем: огромный исторический материал у Д. Прозктора даже не иллюстрация, он фон, на котором автор яркими, выразительными штрихами показывает, как решались проблемы войны, мира, европейской безопасности на протяжении столетий в связи с другими аспектами развития; как ныне Европа может стать континентом мира и сотрудничества, несмотря на непрекращающиеся классовое, идеологическое противоборство и экономическое соревнование.

Главная мысль книги — единство истории, современности и будущего Европы. «Современность всегда пронизана историей, а в минувшем часто угадываются черты будущего», — замечает Д. Прозктор. В короткой рецензии трудно отметить все основные проблемы, затронутые в книге. Историкам будет любопытно ознакомиться с авторской интерпретацией европейского развития на протяжении двух с половиной тысячелетий. Для специалистов-международников наиболее интересен будет анализ проблем военной разрядки в Европе и попытка автора дать прогноз перспектив развития европейской безопасности. Пропагандисты найдут в книге убедительный разбор стереотипов буржуазной пропаганды в области политической и военной разрядки.

П. Черкасов,  
кандидат исторических наук



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** КПСС о нормах партийной жизни и принципах партийного руководства. 575 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. Калинин.** Айсберг коррупции. («Империализм: события, факты, документы») 110 стр. Цена 20 к.

**И. Свистунов.** Из боя в бой. Очерк о дважды Герое Советского Союза Маршале Советского Союза К. К. Рокоссовском. 78 стр. Цена 20 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ю. Антропов.** Неделя ущербной луны. Повести и рассказы. 430 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Я. Брыль.** Повести. Перевод с белорусского. 430 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Б. Бурсов.** Личность Достоевского. Роман-исследование. 680 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Я. Микелинас.** Не поле перейти... Роман. Перевод с литовского. 232 стр. Цена 60 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Ж. Алениар.** Ирасема.— Убиражара. Повести. Перевод с португальского. 254 стр. Цена 75 к.

**К. Вольф.** Избранное. Перевод с немецкого. 550 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Из классической арабской поэзии.** 318 стр. Цена 85 к.

**Д. Чарквиани.** Стихи. Перевод с грузинского. 230 стр. Цена 75 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Астафьев.** Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 1. Стародуб.— Перевал.— Звездапад.— Пастух и пастушка.— Ода русскому огороду. Повести. 493 стр. Цена 2 р.

**Люди вокруг меня.** Сборник рассказов писателей социалистических стран. 240 стр. Цена 1 р. 50 к.

**А. Мошковский.** Когда налетел норд-ост. Повести 367 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Подвиг.** Т. 6. А. Чаковский. Блокада. Роман.— А. Алексин. Действующие лица и исполнители. Повесть. 462 стр. Цена 1 р.

## ВОЕНИЗДАТ

**Ф. Боков.** Весна Победы. («Военные мемуары») 446 стр. Цена 2 р.

**А. Кузьмичев.** Год службы. Роман. 413 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Я. Лысановский.** Партизаны. Повесть. Перевод с польского. 250 стр. Цена 1 р. 60 к.

**А. Межиров.** Медальон. Стихи и поэмы. 271 стр. Цена 1 р. 20 к.

**В. Черкашин.** Отцовский рубеж. Стихи и поэма. 32 стр. Цена 10 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**В. Богомолов.** За ваше завтра. Повесть и рассказы. 208 стр. Цена 1 р.

**А. Вампилов.** Белые города. Рассказы, публицистика. 288 стр. Цена 60 к.

**П. Ребри.** Это гудит время. Очерк. 187 стр. Цена 1 р. 20 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**И. Гуммер.** Сначала поверить. Очерки. («Писатель и время. Письма с заводов истроек») 79 стр. Цена 10 к.

**В. Федоров.** Как совесть велит. Поэмы. 189 стр. Цена 85 к.

**В. Шугаев.** Арифметика любви. Повести и рассказы. 365 стр. Цена 1 р. 40 к.

## «ИСКУССТВО»

**Л. Дурново.** Очерки изобразительного искусства средневековой Армении. Вступительная статья Н. Степанян. 331 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Лев Свердлин.** Статьи. Воспоминания. Составители Н. Келехова и А. Образцова. 368 стр. Цена 1 р. 60 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**М. Бараташвили.** Я и Она. Стихи. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 78 стр. Цена 35 к.

**П. Крученко.** Наши сыновья. Стихотворения и поэмы. Перевод с молдавского. Кишинев. «Литература и артистикэ». 190 стр. Цена 40 к.

**И. Науменко.** Последняя осень. Рассказы и повести. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая литература». 414 стр. Цена 2 р.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 27/VI 1979 г. Объем 13 п. л. Подписано к печати 9/VIII 1979 г.  
A 13225. Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
Тираж 271.000 экз. Заказ 2243.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 03392

Цена 70 коп.)

70636